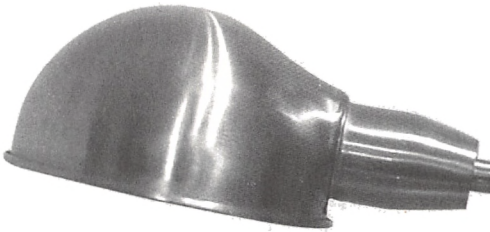
Nota Bene • 2004 • 4

Nota Bene

4

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • № 4 АВГУСТ 2004 • ИЕРУСАЛИМ

- Д. СОБОЛЕВ. Азаэль
- Б. ПАРАМОНОВ. Жена
- В. БУКОВСКИЙ, ДЖ. ВУЛСИ, М. ПАЧЕПА: Возрождение КГБ
- Б. САРНОВ. Огонь с неба
- «КРУГЛЫЙ СТОЛ»: Израиль – судьбоносные проблемы
- М. ХЕЙФЕЦ. Неизвестный Сталин
- Л. ДЫМЕРСКАЯ-ЦИГЕЛЬМАН. Нацизм, советизм, исламизм и леволиберализм



Nota Bene

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№4

АВГУСТ 2004
ИЕРУСАЛИМ

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

3 **Денис Соболев**. Азазель
49 **Марьян Беленький.** Пророк
51 **Илья Арамановский.** Дневник добровольца
57 **Ира Олейник.** Кто знал, кто был готов?
65 **Владимир Порудоминский.** Яд
83 **Яков Пятигорский.** Постмодернизм
95 **Алексей Устименко.** Китайские маски Черубины де Габриак

НАД ТЕКСТОМ...

124 **Борис Парамонов.** Жена

146 **«КРУГЛЫЙ СТОЛ»: ИЗРАИЛЬ – СУДЬБОНОСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ**
Я. Хисдай, Д. Сливняк, М. Бринкер, С. Михаэли, С. Куриц, М. Дорфман, М. Кремницер

РОССИЯ – ЗАПАД – ИЗРАИЛЬ

181 **Владимир Буковский, Джеймс Вулси, Михаль Пачепа.** Возрождение КГБ
195 **Людмила Дымерская-Цигельман.** Нацизм, советизм, исламизм и примкнувший к ним леволиберализм
224 **Борис Столяров.** Стены

NON FICTION

232 **Владимир Прибыловский, Юрий Фельштинский.** Олигархия при Путине

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

253 **Валентин Герман.** Терроризм против человекоцентризма

ДАЛЕКО БЛИЗКОЕ

264 **Михаил Хейфец.** Неизвестный Сталин

МЕМУАРЫ

294 **Бенедикт Сарнов.** Огонь с неба

ВЫБРАННЫЕ МЕСТА... (дайджест)

322 **Асар Эппель.** Рождество в Пропащем переулке
328 **Евгений Попов.** Консультант с копытом
332 **Борис Хазанов.** Долой историю, или О том, о сем
345 **Савелий Дудаков.** Русские евреи на фронтах Первой мировой войны

ISSN 1565-5318

Денис Соболев

АЗАЭЛЬ

То, что мокрое и течет вниз, создает соленое; то, что горит и поднимается вверх, создает горькое; то, что поддается сгибанию и выпрямлению, создает кислое; то, что подчиняется и изменяется, создает острое; то, что принимает посев и дает урожай, создает сладкое.

Шу Цзын

1

На самом деле я даже не знаю, к какой категории отнести нашу дружбу; считать ли ее личной привязанностью или семейной традицией. Мы были друзьями еще в детстве, проводили много времени вместе, читали одни и те же книги; да и в университетском общежитии жили в соседних комнатах. Мы очень многое знали друг о друге, и мне долго казалось, что настоящее объединяет нас ничуть не в меньшей степени, чем прошлое. Понимание того, что это не так, приходило крайне медленно; но постепенно разговоры становились все более пустыми, а слова повисали в воздухе. Общих интересов оставалось все меньше, и я заметил, что наша дружба незаметно превращается в абстрактную и бесформенную идею. Аня как-то сказа-

Денис Соболев – доктор философии, писатель, культуролог, автор прозы, стихов и нескольких десятков статей, опубликованных в Израиле, России, США, Англии, Германии и Голландии. Занимается английским модернизмом и общей теорией литературы. Живет в Израиле.

ла мне, что в моем воспитании была заложена идея друга, чисто умственное, априорное представление об особых отношениях, которые подразумевает подлинная дружба. Поначалу эта теория показалась мне достаточно странной, мало что объясняющей и не очень правдоподобной, но чем больше я про нее думал, тем больше убеждался в ее правоте. Аня вообще была наделена очень высокой степенью проницательности, видела и замечала больше меня, а ее наблюдения за людьми удивительно часто оказывались правильными; она уберегла меня от многих ошибок. Так что и в случае с Сашей она была, по всей видимости, права; уже перестав читать Жюля Верна и строить снежные города, мы продолжали верить во многие фантомы, из которых строился уютный и безопасный мир нашего детства. Идея друга была одним из таких фантомов; слившись с этой идеей однажды, Саша продолжал оставаться для меня другом детства и тогда, когда выяснилось, что наши пути все больше расходятся. Я никогда не задумывался, что моим близким другом он стал почти случайно, а точнее – благодаря давним семейным связям.

Сестра его деда, Регина Марковна, была старой приятельницей моей бабушки. В течение многих лет я почему-то думал, что они были подругами еще в юности, пока, наконец, не узнал, совершенно случайно, что они познакомились в конце тридцатых, будучи соседками по квартире на Таврической. Нашу семью эвакуировали довольно быстро, и всю войну моя бабушка о Регине Марковне ничего не слышала; впрочем, зная ее упрямство, гордость и мрачный фатализм, бабушка была уверена, что Регины Марковны давно уже нет в живых. Но, вернувшись в город, она нашла ее там же, где и оставила за четыре года до этого; постаревшую, похудевшую и осунувшуюся, но в остальном такую же, как и раньше, только книг в ее комнате больше не было и от мебели остались только стол и кровать. Встретив в дверях мою бабушку, она сказала, что рада ее видеть, что во время блокады она взломала дверь их комнаты и сожгла в буржуйке часть мебели; потом предложила накормить и напоить чаем. Бабушка согласилась, и они продолжили жить как раньше; а еще через год с фронта вернулся мой дед, и в доме появилась новая мебель взамен сожженной.

Впрочем, в шестидесятые дом на Таврической пошел на капитальный ремонт; его жильцов разбросало по городу, и то, что некогда было близкой дружбой, постепенно превратилось в смесь редких визитов и обязательных поздравлений с днями рождения. Для моей бабушки эти поздравления были связаны с известным ощущением неловкости – она чувствовала себя виноватой в том, что они видятся столь редко и что их дружба почти сошла на нет. В нашем же доме Регина Марковна была всего лишь именем, иногда встречавшимся среди случайных тем случайного разговора, призраком, долгое время лишенным зрительного образа, – пока однажды Саша не сказал мне, слушай, я же обещал сегодня зайти к тетке, пойдем вместе. Был апрель, холодный и язвительный, с черной талой клинописью надежд на сером весеннем снегу, когда гранит еще холоден, серая вода бурлит, но лед

уже взломан, и пена разбивается о его плывущие глыбы. Но, в отличие от марта, с его холодами и обманчивыми проблесками солнца, апрель уже был весной, хотя, конечно же, весной северной, а значит, неровной, грустной и лукавой; но часто и теплой, иногда дождливой, почти всегда иллюзорной.

Мы сидели в «Гноме», полутемном кафе на полпути от Фурштатской до дома Мурузи; и, войдя, Женька сказала, что так и знала, что застанет нас здесь; и Саша ответил, было очень, очень сложно догадаться. Мы пили светлое варево, помеченное в меню как «кофе-сурагат», заедая его пирожными буше и ромовыми бабами, купленными в кондитерской напротив. Женька села около окна, потом, подумав, передвинулась правее, поближе к стенке, переставив этюдник и вазочку с мороженым, которая оставила на столе влажный и круглый, светящийся в полумраке, след. «Мы идем к моей тетке», сказал он Женьке. «Ты же знаешь тетю Регину. Я ей позвоню и скажу, что мы все идем к ней пить чай». «Я иду красить в Михайловский сад», сказала Женя, запихивая в карман оставшуюся ромовую бабу; допив кофе, мы пообещали составить ей компанию. В булочной напротив мы купили буханку хлеба для уток и лебедей; в киоске на остановке – пачку дешевых сигарет. Как мне показалось, трамвай шел из парка, задний вагон был почти пуст, и даже шепот откликался эхом; мы тоже молчали, вслушиваясь в холод сидений и неровный перезвон колес. Выйдя сразу после Пантелеймоновского моста, мы вернулись чуть назад, Саша прислонил Женькин этюдник к чугунной решетке со щитами и перекрещенными под ними секирами и копьями; единым движением отпрянув от проходящего автобуса, мы перегнулись через перила к мутной весенней воде.

А потом мы вспомнили про буханку хлеба, и по раскрашенной зелеными тенями воде пруда к нам потянулись медлительные и высокомерные лебеди, подбиравшие кусочки хлеба с томной манерной грацией, и обгонявшие их вечно голодные утки; чуть позже, уже после нас, исчезнут и те, и другие – судя по рассказам, их просто съедят. Перейдя трамвайные пути и Садовый мост, мы свернули в Михайловский сад; навстречу нам, по почти пустой аллее, прогуливались две седовласые дамы в сопровождении мохнатого рыжего спаниеля. Медленно ступая по чуть влажной земле, еще не освободившейся от тонкого настила прошлогодних листьев, они время от времени оглядывались, подзывали к себе спаниеля, чтобы, мельком взглянув на него и отпустив его на свободу, вернуться к разговору. Женька сказала, в любом случае она не смогла бы уйти, их не нарисовав; а Саша, засмеявшись, ответил, что, судя по всему, спаниельные дамы гуляют здесь каждый день, и она успеет это сделать и завтра, и через год, и через десять лет; ни дамы, ни спаниели, ни она, ни Михайловский сад никуда не денутся.

А потом он пошел искать автомат, собираясь спросить Регину Марковну, можно ли к ней зайти – то ли вдвоем, то ли втроем, а я смотрел, как на Женькиной картонке возникают прозрачные контуры деревьев и желтая охристая волна дорожки, рыжий несущийся клубок шерсти и два стремительных женских силуэта – коричневый, прогнувшийся в своем летящем

шаге, с книгой, зажатой под мышкой, и темно-синий, согнутый спиралью, с рукою, выброшенной навстречу рыжему пятну, скатывающемуся по лучу аллеи, вдоль ее темно-матовых и светящихся полос. Женька была погружена в свой этюд, а для меня мир как будто остановился; сквозь течение холодного и чуть влажного апрельского воздуха я вдруг почувствовал, что ценность того, что она делает, не измеряется качеством ее рисунка, и что больше всего я боюсь, что, устав от своей бесконечной прогулки, ее дамы уйдут или просто усядутся на скамейку, что исчезнет солнце или просто пойдет дождь, превратив светящуюся зелено-голубую декорацию, сливающуюся на этюде в единый бирюзовый фон, в белесо-серую, а неспешную прогулку, превращающуюся на Женькиной картонке в воздушный летящий танец, в поспешное бегство; в течение нескольких секунд потускневшие фигурки растворятся в белесом дождевом сумраке, а обжигающе-желтая каменная тень павильона, отражающаяся в воде, посереет и, отступая в глубь сада, почти исчезнет в древесном строю, застывшем в холодном неприязненном молчании.

Вернувшись, Саша сказал, что Регина Марковна будет нам рада, но у нее уже сидят какие-то гости, и, возможно, до нашего прихода они не уйдут; и спросил, что я по этому поводу думаю. В другой ситуации я бы ответил, что будет лучше, если мы зайдем к ней как-нибудь в другой раз, но я неожиданно понял, до какой степени мне не хочется быть молчаливым созерцателем чужого дела, одним из тех праздных и невежественных людей, которые останавливаются на набережных за спиной у художников и со смесью скуки и любопытства на лице следят за их движениями. Я сказал, что все-таки стоит попробовать, мы попрощались с Женькой и пошли в сторону автобуса. Регина Марковна оказалась почти в точности такой, какой я ее себе и представлял: жесткой и любезной одновременно, насмешливой и немного грустной; вдоль стен теснились книги, а ее речь была столь же правильна, как и осанка. Позднее, довольно часто бывая у нее в гостях, я понял, что за всем этим скрывается и другой человек: она могла быть крайне резка и даже груба в своих суждениях, очень эмоциональна, проницательна и несправедлива, невежество и корысть она не выносила столь же страстно, сколь старательно эту страстность скрывала. Я не мог решить, какое из двух ее обличий нравится мне больше; Саша же, с которым я однажды про это заговорил, сказал, что любит в ней именно второе. И еще через много лет я понял, насколько острым и неизбывным было для нее чувство утраты; в глубине своей высокомерной души она дистанцировалась не только от партийных товарищей и советской черни, но и от новой, как «про-», так и «пара-», советской интеллигенции; и, когда она говорила «наши милые шестидесятники», в ее спокойных глазах и доброй улыбке читалось «этот полуграмотный советский сброд».

Впрочем, ее гость к интеллигенции явно не принадлежал; более того, он не был похож ни на один из тех типов людей, которые я привык встречать у нас дома или в домах наших знакомых. Это был странный, несколько кари-

катурный и почти книжный образ; рваная клочковатая борода, засаленный пиджак и сандалии на босу ногу. Одна моя приятельница, избалованная постоянной родительской заботой, незадолго до этого говорила мне о том, что, в отличие от нас, любой алкаш, лежащий в луже возле метро «Технологический институт», снимет с себя последнюю рубашку и отдаст другу. Как физик, так и не увидевший никаких эмпирических доказательств подобного, я в эту теорию не верил никогда, но мне пришло в голову, что я вижу перед собой живую материализацию такого рода пристрастий; однако все оказалось еще более странным и неожиданным. Регина Марковна, с которой Саша меня познакомил еще в прихожей, провела нас в гостиную и представила сидящего за столом человека: «Борис Аронович», сказала она; «Барух Аронович», поправил ее гость мрачно и, указывая на Сашу, добавил, «а это Азаэль». Мы растерялись, но как ни в чем не бывало Регина Марковна назвала наши имена и чуть позже добавила, как если бы это все объясняло: «Вообще-то Барух Аронович живет на Украине»; «в Меджибоже», поправил он ее еще раз, надолго замолчал и погрузился в сосредоточенное поедание пирожного. «Мне показалось, что вам было бы интересно и полезно познакомиться с Барухом», добавила Регина Марковна, но было понятно, что даже при ее уме и такте спасти положение практически невозможно.

Мы немного поговорили и ушли.

– Ну, как тебе тетка? – спросил Саша.

– Замечательно. Именно такой я ее себе и представлял. Я же про нее с детства слышу. Хотя, ну у нее и гости...

– В первый раз вижу. Но, вообще-то, это, наверное, один из наших родственников; они приезжают отовариваться из своих украин и живут у тети; я не знаю, почему она их терпит. Дед выходит из себя, как только о них слышит; это сплошь провинциальные скобари; ты бы их видел! А тетя, можешь себе это представить, терпеливо объясняет им, что у вещей может быть не только цена, но и стиль, и позволяет у себя жить. А они рассказывают ей о том, что купили, что сколько стоило, как надо жить, кто из общих родственников как «устроился» в этой жизни, и о том, сколько зарабатывают знакомые продавцы и зубные техники.

Как ни странно, это была правда; впоследствии я обратил внимание на то, что, разговаривая с людьми не своего круга, не давшими, по ее мнению, повода относиться к ним с пренебрежением, Регина Марковна была не только предельно любезна и предупредительна, но и бесконечно осмотрительна, никогда не позволяя собеседнику почувствовать свое несравненное душевное превосходство или низменность тем, занимающих его мысли; ее, как казалось, врожденная, доброжелательная и безусловная любезность была столь велика, что часто заставляла даже случайных знакомых и родственников, регулярно пользовавшихся ее услугами, строить самые немыслимые предположения в отношении того, почему именно она перед ними заискивает, и проникаться к ней, как и ко всем зависимым от них людям, тайным, но глубоким и искренним пренебрежением, смешанным, впрочем,

с не менее искренней завистью. В довершение ко всему этому, как и большинство выходцев из низов, ее родственники оценивали положение людей в зависимости от степени нелюбезности, с которой эти люди с ними обходились, или исходя из того количества усилий, которое им пришлось потратить, чтобы в тот или иной дом проникнуть. И в этом смысле гостеприимство Регины Марковны также не прибавляло уважения к ней – по контрасту, между прочим, с Сашиным дедом, который, воспринимая подобные визиты как тяжелейшее бремя и намеренную кражу его времени, не пускал родственников на порог.

Я думаю, что, будучи человеком проницательным, Регина Марковна, разумеется, знала о чувствах своих гостей, но это знание не могло, как это ни странно, повлиять на ее поступки, которые, в данном случае, были совершенно безличны и безобъектны. Если бы ее гостеприимство и предупредительность были направлены на конкретных людей, то возмущение их неблагодарностью или корыстью могло бы на нее повлиять и, в конечном счете, тем или иным способом изменить общий склад ее отношения к ним. Но, на самом деле, это было не так. Ее любезность и снисходительность были частью ее самой, совершенно беспредметным образом бытия; что же касается людей не ее круга, то они интересовали ее столь же мало, сколь искреннее и подчеркнутое внимание она к ним проявляла. Ее подлинное отношение к этим людям становилось ощутимым в те крайне редкие моменты, когда те или иные чувства или погруженность в свои мысли оказывались сильнее врожденного такта, и Регина Марковна начинала отвечать на вопросы своих случайных собеседников так, как если бы действительно пыталась донести до них свои мысли; не имея ни малейшего представления об общеобязательном, она могла долго пересказывать хорошо известные банальности, которые, как ей казалось, ее собеседникам следует узнать, чтобы потом, неожиданно сорвавшись в область интеллигентной речи, вымостить свой рассказ десятками ничего не говорящих им имен, которые, уже следуя за упругим шагом привычной ей мысли, она не могла или не считала нужным объяснять. Принимая у себя своих родственников, она знала, что их существование ни в одной точке не пересекалось с ее жизнью, да и с жизнью этого города, расстеленной между безбрежными музейными залами, печальной гордостью своею чуждостью и неизбывным чувством обреченности. Если у ее любезности и гостеприимства была какая-то иная причина, помимо верности выбранному ею образу бытия, то она так и осталась от меня скрытой; в любом случае, никакой цели у них не было.

– Но вообще-то он не похож на наших родственников, – сказал Саша, подумав, – обычно это такие разряженные крикливые мещане с чемоданами для скупки товара. Они даже время измеряют покупками; «это было через два года после того, как мы купили холодильник ЗИЛ». А это просто бомж какой-то.

– Может, и правда бомж?

– Вряд ли. Откуда у тети знакомые бомжи.

– А что это за странное название он для тебя придумал? – спросил я.
– Какое?
– Ну ты же слышал – Азаэль.
Саша с удивлением посмотрел на меня.
– Это он *тебя* так назвал, – ответил он.
– Ага, и показал на тебя.
– Показывал он на дверь, а в дверях стоял ты. Я стоял в углу, – сказал Саша убежденно, и я не стал спорить.

Через несколько дней я спросил бабушку, что такое Азаэль. «Черт по-еврейски», ответила она удивленно, «а где ты это слышал?»; «У Регины Марковны, у нее был очень странный гость, бомж бомжом»; «С каких это пор ты у нее бываешь?», спросила она чуть обеспокоенно. «Да Саша должен был зайти и позвал меня с собой; посидели там на кончике стула». «А, н-да; у Регины всегда бывали очень странные люди». Но хотя я и не входил в число «очень странных людей», Саша передал мне, что тетя будет очень рада видеть меня снова; и я стал часто бывать у нее. Здесь было тихо и как-то очень светло; я иногда брал у нее книги и пластинки. Когда она умерла, Саша слетал на похороны и привез в Иерусалим часть ее вещей; я хотел попросить что-нибудь на память о ней и ее доме, но у меня хватило такта этого не делать.

2

Сам по себе этот сон был достаточно обычным; если он меня и раздражал, то только потому, что повторялся с навязчивой пугающей регулярностью. И еще, наверное, потому что я не мог соотнести его ни с одним из своих воспоминаний; скорее он напоминал второразрядный голливудский фильм в стиле «фэнтези». Мне снился туман, окружающий меня со всех сторон, белый и на первый взгляд не очень густой, как если бы я находился в середине облака; потом я опускал глаза, и становилось ясно, что я скачу на лошади без седла, и ее копыта утопают в тумане. Туман полностью скрывает землю, как если бы ее и не было, и во сне я даже не чувствую ударов копыт; кажется, что лошадь беззвучно скользит по невидимым рельсам. Я наклоняюсь чуть вперед, потом выпрямляюсь, и в разрывах тумана, впереди и далеко внизу, видимо, на дне расщелины, проступает земля. Проснувшись, я часто думал о том, что в этот момент я должен был бы испугаться и постараться удержать лошадь от неминуемого падения в открывающуюся пропасть. Но во сне так никогда не происходит. Я лишь немного придерживаю коня, и он, не меняя направления, замедляет шаг; потом проходит несколько минут, наполненных неизвестностью и странным нервным ожиданием, и, наконец, следует удар о землю. Но это совсем не тот удар, который должен был бы быть при падении на землю с высоты в две сотни метров, откуда, как мне казалось, я смотрел на дно долины; скорее он напоминает толчок, какой бывает, когда прыгаешь на асфальт с не-

высокого парапета. Конь делает еще несколько шагов и останавливается. Я оглядываюсь вокруг и обнаруживаю, что незаметно развиднелось, туман немного рассеялся и оголил неровную каменную площадку; недалеко от меня я вижу нескольких всадников; часть из них стоит на месте, другие медленно движутся; никто не покидает седел. Чуть дальше еще пять или шесть конных силуэтов выныривают из тумана, и издалека кажется, что они падают прямо с неба; а рядом со мной двое, безмолвно склонившись к земле, рассматривают серый каменный склон. Вспоминая этот сон, я могу с уверенностью сказать, о каком именно месте идет речь; это вершина Хермона, где я был дважды. Но во сне я почему-то никогда ее не узнаю и начинаю с изумлением рассматривать окружающий пейзаж, проступающий в разрывах тумана. Память о звуке удара о землю постепенно растворяется в шуме ветра, и невидимый голос начинает перечислять имена, как бы проводя перекличку, но ни одно из этих имен мне неизвестно. Впрочем, во сне я просто слушаю, не удивляясь и не пытаясь понять, что эти имена означают. А потом я просыпаюсь.

К сожалению, я не помню своих ощущений после того, как этот сон приснился мне впервые. Но не думаю, что я очень удивился; в юности мне часто снились длинные и запутанные сны; Аня как-то сказала, что подробные и цветные сны – это первейший симптом шизофрении. И хотя с годами мои сны становились все проще и понятнее, подобный сон не должен был меня излишне удивить. Да и то, что я не помню своей реакции, косвенно свидетельствует о том же; вероятнее всего, я забыл о нем через пять минут после того, как проснулся. Однако его повторение меня насторожило; как мне казалось, мои сны никогда не возвращаются. Точно также я прореагировал на него и в третий раз, но его четвертое повторение меня по-настоящему испугало; да к тому же это был не единственный симптом, который свидетельствовал о вполне ощутимом нервном переутомлении. Я даже подумал о том, чтобы начать ходить в тренажерный зал. Но сон приснился мне снова. Целый день я не мог успокоиться и к концу дня решил пересказать мой сон Ане; не подчеркивая, разумеется, тот факт, что этот странный сон превращается в своего рода навязчивую идею. Но, как ни странно, Аня меня опередила. «Ты сегодня во сне говорил о каких-то лошадях», сказала она за ужином. Я рассказал ей про сон и сразу же почувствовал, как мне, практически на глазах, становится лучше; о других странностях последнего времени я, естественно, умолчал.

Анина реакция была достаточно неожиданной; она пробормотала нечто маловразумительное и ушла гладить свою блузку. Два последующих дня она разговаривала со мной сквозь зубы, что, в общем, случалось довольно часто, и я, как обычно в таких случаях, не мог добиться от нее никаких объяснений по поводу того, что же, собственно, произошло. Обычно так бывало, если, придя домой раньше нее, я не замечал, что в раковине осталась не вымытая с утра посуда, и принимался за свои дела; или же когда я отказывался заниматься математикой с сыном ее старшего брата из Кирьят-

Малахи. Но на этот раз я не мог вспомнить ни о чем подобном, а про то, что все это началось с пересказа сна, я начисто забыл. На третий день мне все же удалось уговорить ее объяснить, что же произошло. «Я хотела бы напомнить тебе, что у тебя жена и ребенок», сказала Аня, «а тебе снятся лошади и орки»; «орки мне не снились», ответил я, не понимая в чем дело; «если ты начнешь играть в "Хироуз" не только по выходным, но еще и по вечерам, как Бергер, тебе и тролли приснятся».

«Хироуз», или, если уж быть совсем точным, «Герои могущества и магии», действительно были проблемой. Аня считала, что, вместо того чтобы в субботу, сразу после завтрака, садиться играть с компьютером в «Хироуз», мне следовало посадить в машину ее и Иланку и отвезти их за город. И, собственно говоря, она была не так уж и неправа. Но замки и боевые походы, даже виртуальные, казались мне все же более интересными, чем марокканцы с мангалами в пыльном парке у поворота на Бейт-Шемеш, и, несмотря на то, что я, в принципе, любил наши семейные выезды (а уж то, что Аня рассказывала, было всегда по-настоящему интересно), я иногда предпочитал им «Хироуз». Да к тому же на работе мы часто обсуждали сыгранные партии. Это была часть моей свободы, от которой я не был готов отказаться. И все же не могу сказать, что я играл в «Хироуз» каждый выходной; скорее это был повод для обид, часто заслуженных. Я и вправду много занимался всякой ерундой, болтался по интернету и читал абстрактные статьи по физике, которые в этой жизни мне уже никогда не пригодятся, да и на работе проводил достаточно много времени – так что, про то, что у меня жена и ребенок, мне действительно следовало иногда напоминать.

И, тем не менее, ее реакция меня успокоила; как обычно, Анюта увидела самую суть проблемы в ее незамысловатой простоте. Сон, который начал меня всерьез волновать и чье происхождение мне не было понятно, оказался обычной реакцией на компьютерные игры; и в течение последующих нескольких дней я не переставал удивляться тому, что это, казалось бы, самоочевидное, объяснение не пришло мне в голову. В первый же вечер я стер «Хироуз», а заодно и «Воркрафт», «Старкрафт», «Поселенцев», «Силу и магию» и «Семь королевств»; а в выходные мы поехали в Парк имени Канады. Стояла прекрасная погода, было солнечно и тепло, мы припарковались на площадке около деревянных столиков, погуляли по лесу и даже отошли от дороги настолько, что машина полностью скрылась из виду, растворившись среди зелени. Потом мы достали из багажника переносной холодильник, накормили Иланку, перекусили сами и только после этого поехали на детский день рождения к одной из Аниных бывших сотрудниц по работе. И хотя Иланка была еще слишком маленькой, чтобы по-настоящему принять участие в общих детских играх, было видно, что ей все равно там очень понравилось.

День рождения проходил в сосновой роще под Иерусалимом, чуть ниже квартала Бейт ха-Керем; рощица была несколько замусоренной, но, с другой стороны, подумал я, когда мы приехали, мясо уже жарилось и бутербро-

ды были разложены на больших пластиковых тарелках. Даже прозрачные пластмассовые вилки лежали аккуратной пачкой совсем рядом с тарелками. Так что в смысле готовки от нас ничего не потребовалось; почти сразу по приезде нас накормили прекрасными шашлыками, салатами, сосисками с потрохами и отменными бутербродами. На вине они, правда, как мне показалось, немного сэкономили, но это, разумеется, не имело значения. Да и наши подарки тоже очень понравились; Анина подруга, имя которой я, к своему стыду, уже успел забыть, ужасно обрадовалась и сказала, что это именно то, о чем ее сын всегда мечтал. «Это все Лёнчик», сказала Аня, показав на меня, «в том, что хотят дети, он разбирается, как никто». Вторую семью, праздновавшую детский день рождения, мы, к сожалению, не знали. Довольно быстро выяснилось, что среди гостей много моих коллег, и Анина приятельница порадовалась, что нам будет, о чем поговорить. Правда, в основном, это были люди, закончившие различные программистские курсы, и, как это обычно бывает в таких случаях, наша профессия представлялась им огромной таблицей, в одном столбце которой записаны стандартные действия, а в другой – желаемый результат. Мы вместе поругали винды и «Майкрософт», посмеялись над пользователями, рассказали друг другу десяток старых программистских анекдотов; потом поговорили про политику.

Но тут, в значительной степени по моей вине, произошло нечто, что, как мне показалось, немного испортило Анюте настроение. Посреди разговора я вдруг обнаружил, что вино в моем пластиковом стаканчике неожиданно кончилось, и, вместо того чтобы попросить передать бутылку, я встал, чтобы налить себе еще. А потом, по не вполне понятной мне причине, я, вместо того чтобы вернуться на свое место, лег со стаканом чуть в стороне – там, где шум разговора уже сливался с шумом сосен. Сначала я просто лежал, вдыхая воздух, шелест, голубизну неба, а потом, приоткрыв глаза, посмотрел перед собой и увидел, как стволы сосен восходят в небо высокими, чуть красноватыми, колоннами. Их зеленые кроны касались небесной синевы, покоя и молчания; шум разговора отступил; это было мгновение тишины, прояснения, ясности. Вдоль безупречных линий сосновых стволов, вдоль пропилей зелени я смотрел в толщу прозрачной голубизны, и мне показалось, что мир неожиданно наполнился едва ощутимой музыкой, ниспадающей из пространства тишины, пространства покоя и безвременья. Я лежал так довольно долго, вслушиваясь в синеву неба, в несуществующую музыку, в незримую и иллюзорную пульсацию вечности, пока вдруг не услышал Анин голос: «И сколько ты будешь так лежать? Тебе опять скучно, да? Я уж и не знаю, как должны выглядеть люди, чтобы ты до них снизошел». Я сказал ей, что, я, кажется, немного задремал, что мне ужасно неловко; вернулся в компанию и даже рассказал несколько забавных историй.

Мне, действительно, было несколько неловко за свою рассеянность, но, по большому счету, мы все прекрасно провели время; еда и компания стоили друг друга. Было видно, что Аня очень довольна; а Иланка на обратном пути уснула на заднем сиденье машины, хоть поездка была и недолгой.

Анюте гости тоже очень понравились, хотя некоторые из них, как ей показалось, и были несколько туповаты; что же касается Лены, то к ней Аня относилась очень нежно еще в те времена, когда они работали вместе, и она была ужасно рада, что та ничуть не изменилась. Даже то, что Лена безвкусно одевалась, сказала она, и не очень умела краситься, ничуть ее не портило; в этом наши мнения полностью совпадали. В конце концов, она была замужем за человеком много старше ее и, естественно, выглядела старше своих лет. Да и детство в Кременчуге едва ли способствовало воспитанию хорошего вкуса. А матерью она была очень хорошей, это было сразу видно – хотя бы по тому, с каким умилением она смотрела на своих детей.

Так что выходные прошли очень удачно; и Анюта была вполне счастлива. И все же в ночь на воскресенье этот странный сон приснился мне снова. Он был ясен, как никогда; шумел ветер, холодный воздух наполнял легкие, удар копыт о землю заставил меня вздрогнуть, где-то заржала лошадь, сквозь разрывы в тумане было видно, как восходит солнце. А потом, снова, невидимый голос начал читать список имен; и среди этих имен я услышал имя, которым тогда, у Регины Марковны, назвали Сашу: Азаэль. Я помню всплеск удивления, потом страх, почти панику, а еще чуть позже душевную судорогу, выбросившую меня из сна. В спальне, за наглухо закрытыми жалюзи, не было ничего видно; Аня спала почти беззвучно, сливаясь с темнотой. Я выбрался из комнаты на ощупь, трижды прошелся по квартире, потом вышел на балкон. Слева темнел силуэт соседнего дома; свет во всех его окнах был погашен. А справа к балкону подступали горы; навстречу им, вдоль склона холма, спускались дома; сгустки темноты с вплетенными между ними нитями уличных фонарей. Чуть ниже, вдоль невидимых дорог, скользили светлячки автомобильных фар; еще дальше проступали очертания арабской деревни. Горы дышали резким пронзительным ветром; было холодно; я почувствовал, как кожа покрывается мурашками. Вернувшись в салон, я завернулся в лежавший на кресле плед, закурил, снова вышел на балкон. Холодный воздух наполнил легкие, очищая душу и прогоняя мысли; я сидел почти неподвижно, восторженно и опустошенно глядя в пространство. А потом, где-то вдалеке, я услышал ржание лошади, перемешанное с шумом ветра; и на секунду мне показалось, что мой сон вернулся. Я вздрогнул, но сон не отпускал меня; мне стало казаться, что темнота начинает рассеиваться – как туман, обнажая отроги дальних гор; еще немного, и сквозь разрывы тумана проступят чуть влажные камни на серых склонах, невидимые долины и лучи восходящего солнца. Чувство узнавания было столь сильным, что я испугался.

3

На следующий день я сказал Ане, что задерживаюсь на работе. Но, спустившись на стоянку, я сообразил, что ей, скорее всего, захочется проверить, где я, и она будет звонить на работу, а не на мобильник; и надо ее пре-

дупредить, что меня в моей комнате не будет. Я вернулся к себе и позвонил домой, чтобы домашний опознаватель номера зарегистрировал звонок с рабочего телефона; посмотрев на часы и убедившись, что уже нерабочее время, Аня поймет, что я говорю правду.

– Анькин, привет, я еще у себя. Как ты там?

– Ничего. Вот Лена звонила, звала нас с тобой в гости. Говорит, что с тех пор, как я от них ушла, там все идет как-то криво. А та крыса, которую на мое место взяли, их совсем уже достала. Короче говоря, все меня вспоминают.

– А я тут задержусь еще часа на два. Может, даже больше.

– Бедный ты мой. А что они от тебя хотят?

– Да тут будет заседание; похоже, мне придется в Сингапур еще раз лететь. Кроме того, здесь еще не все работает, надо будет переговорить. А как Иланка? – сказал я, стараясь сменить тему.

– Уже нормально. А то чего-то мы тут утром загрустили. А потом мы с ней смотрели книжку, потом спали, а теперь смотрим «Покемонов». Слушай, ты после своего совещания зайди в супер, а то, когда ты вернешься, я уже не успею сходить – все закроется.

– А что нужно купить?

– Давай, я сейчас составлю список и звякну тебе на мобильник.

А вот это уже лишнее, подумал я, через полчаса я как раз буду стоять в пробке. И записывать там будет не сильно удобно, да и нечем.

– Через полчаса я уже буду на совещании и мобильник выключу.

– А ты не мог бы оставить его включенным? Я могу ровно через два часа позвонить. Сразу после заседания.

– Нет. Во сколько все это кончится, никто не знает; а шеф очень сердится, когда звонят мобильники. Он вообще нервный последнее время. Я ж тебе говорил. Как только мы тут доразговариваем, я тебе сам позвоню.

– Так ты зайдешь в супер?

– Зайду. Куда я денусь.

– Ой, я тебя люблю.

– Я тебя тоже, котенкин, – сказал я и повесил трубку.

Я снова спустился на стоянку, сел в машину, открыл окно, закурил. В последнее время я опять стал много курить; и, кроме того, совершенно не представлял, куда же я хочу поехать. Я развернулся, спустился с горы, выехал на нижнюю дорогу, отделяющую старую часть города от северных кварталов, оттуда – на дорогу, ведущую к Мертвому морю. За несколько минут зеленые лесистые склоны превратились в белесые каменные холмы с красноватым медным отливом. Но, проехав по этой дороге минут десять, я вырулил на обочину и остановился. Темнело, а делать на Мертвом море мне было решительно нечего. Я развернулся и поехал по направлению к городу, повернул на север, в сторону Писгат-Зеэва, потом снова на юг и выехал на длинный белый мост, ведущий к Французскому холму. Оттуда, еще раз повернув направо, я оказался в религиозных кварталах, с их бесформенными домами, изуродованными бесчисленными достройками, облу-

пившимися фасадами, аляповатыми вывесками и мутными витринами, похожими на маленькие филиалы городской свалки. Поплутав среди черных теней, я выехал на улицу Короля Георга, а оттуда, резко повернув направо, к садам около кнессета и Верховного суда. К тому времени совсем стемнело. Я припарковался и вышел из машины.

Сады по правую руку от меня подступали к самой улице и следовали за ней в темноту, туда, где в уже невидимой долине за кнессетом поднимались тяжелые приземистые стены монастыря Креста. Внизу парк был редким: старые развесистые деревья над однообразными плоскими газонами, пересеченными гравиевыми дорожками; и со всех сторон нависало холодное ночное небо с безупречным незамутненным рисунком звезд. Но ближе к вершине холма парк густел, контуры дорожек растворялись в темноте, деревья становились все ниже; и белые стены Верховного суда, наполовину скрытые зеленью, мерцали на фоне звезд. Отойдя от проезжей части, я сел на землю под деревом и снова закурил; «мне нужно собраться с мыслями», сказал я себе; и вечерний покой, и тишина парка начали медленно отступать. Возможно, продолжил я, что все решения, важные и случайные, которые мы принимаем ежесекундно, ставят нас перед истинной, не иллюзорной свободой выбора, перед развилкой; и наша жизнь – это только один из миллионов открытых нам путей, который мы выбираем только потому, что не знаем, какой именно. Но может быть и иначе; вероятно, что все эти возможности выбора лишь иллюзорны, и все дороги ведут нас к одному и тому же выбору, который, в сущности, есть мы сами и который нам не дано выбрать. И все же я был уверен, что истина где-то посредине, но не знал, как заговорить о ней. Мне казалось, что я где-то сделал ошибку, непоправимую, возможно, неизбежную, но не знал, что это за ошибка и к чему именно она привела. Я чувствовал себя морским берегом, погруженным в ночную темноту; и волны накатывали на меня и отступали.

Я встал, пересек газон и, выйдя на петляющую дорожку, стал медленно подниматься наверх; случайные, хаотически перемежающиеся мысли кровью приливали к голове; черепная коробка стала тяжелой и осязаемой. А потом все стихло, и дышать стало легче. Через несколько минут я оказался перед маленьким деревянным павильоном для наблюдения за птицами; в его стенах были оставлены узкие смотровые щели, вокруг висели картинки с разными породами пернатых. Я заглянул в одну из щелей, но было уже темно, и мне пришлось отправиться дальше. Чуть позже я вышел на площадку перед Верховным судом, подсвеченным невидимыми прожекторами, и остановился. Под моими ногами лежала темная масса парка с его путаными невидимыми дорожками, за ним во все стороны уходил город, наполненный огнями и черепичными крышами; безупречное ночное небо казалось еще выше и дальше. Я повернул налево в узкий каменный коридор без единого окна, разделяющий два здания Верховного суда; его плиты заплывали мне под ноги; барельефы скалились со стен. Я прошел между стенами суда, сказал я себе. А на той стороне коридора я снова увидел го-

род; его огни и долины. И подумал, что так и не пришел ни к какому выводу, кроме того, что очень устал за последние недели. Позвонил Анюте и сказал, что у нас перерыв, что возникли серьезные проблемы с уже выпущенным в продажу программным продуктом, что мы тут еще будем долго совещаться. Она продиктовала мне список покупок, и я пообещал, что заеду в супер, который работает до полуночи. Потом я позвонил Саше, сказал, что давно у него не был, спросил, можно ли зайти. По дороге остановился у лавки и уже собрался купить продукты по списку, но сообразил, что если я у Саши задержусь, то в машине все это нагреется, и Аня поймет, что куплено давно. А идти к Саше с авоськой, вынимать сметану, йогурты и молоко и ставить их к нему в холодильник мне не хотелось. Ладно, сказал я себе, придется сделать крюк на обратном пути.

Я не был у Саши уже несколько месяцев; но мы часто виделись с ним в городе, и пару раз он заходил к нам домой. Впрочем, за это время его квартира ничуть не изменилась; она была похожа на его комнату в общежитии, но только разросшуюся до чудовищных размеров и окостеневшую. На самом деле наши комнаты в университетском общежитии мало чем отличались; мы покупали похожие книги, одинаково разбрасывали вещи и получали одинаково бесполезные подарки. Но с тех пор я стал старше, научился думать не только о себе, но и о других, не раскидывать свою одежду по квартире, прятать все то, что может оказаться опасным для ребенка, покупать в первую очередь те вещи, которые нужны семье, а не крокодилов из черного дерева или книги, которые никто и никогда не будет читать. Сашина же квартира была зримым воплощением инфантилизма как осознанного образа существования; среди книг, принцип подбора которых мне давно уже не был понятен, были расставлены гипсовые статуэтки и деревянные маски, чугунные кольца и деревянные ложки, старые курительные трубки, потускневшие фарфоровые вазочки и даже плюшевые звери. На стене, рядом со вполне достойными картинами, висели два аляповатых сувенирных меча. Не могу сказать, что в этом не было ничего привлекательного; и все же я хорошо понимал – для Саши этот растущий и все более самодостаточный хаос постепенно заменил то, что для любого человека должно быть значительно более важным. И к тому же с годами всего этого становилось все больше.

Мы поздоровались, постояли у входа, посмотрели друг на друга, потом сели; Саша вскипятил чайник. Посмотрев на разбросанные ксероксы с формулами, я спросил его о том, как продвигается статья, куда он собирается ее послать и есть ли шанс получить на кафедре еще полставки. Он спросил меня о работе, об Иланке, об Ане; я ответил ему, что у нас все хорошо и мы уже скоро пойдем работать. Зазвонил мобильник; я сообразил, что оставил его включенным и, не отвечая, сразу же выключил, так, как я бы выключил его во время заседания; потом украдкой посмотрел на часы. Саша проследил за моим движением и налил еще чаю.

– Так что же у тебя произошло? – спросил он.

– По-моему, просто устал, – сказал я неуверенно, – непрерывно рабо-

таю. На ребенка нужно много денег, а Аня давно дома. Две машины. Да и наша квартира недешево стоит, ты же знаешь.

Саша кивнул, у него никакой машины не было вовсе; потом отхлебнул еще чаю. С сомнением посмотрел на меня; но я решил быть с ним искренним, иначе все это уж и совсем не имело никакого смысла.

– Да и вообще, как-то не очень себя ощущаю, – добавил я.

– А как именно?

Он снова поднял на меня глаза, и в его взгляде я увидел если не насмешку, то вполне ощутимую иронию. Это была не та реакция, которой я ждал от друга, к которому пришел за помощью. Но я не был в этом уверен; возможно, что, хорошо его зная, с самого начала был готов к чему-то подобному.

– Слушай, ты можешь меня выслушать? – спросил я.

– Да; и постараюсь помочь, – сказал он и снова посерьезнел.

Я рассказал ему о том, что у меня, кажется, нервное переутомление, о том, что я подолгу не могу уснуть и, главное, о повторяющихся снах, точнее об одном сне. Саша попросил его пересказать; и, пока я рассказывал, он изумленно, не опуская глаз, смотрел на меня. Я почувствовал, что начинаю злиться; я пришел к нему, чтобы поговорить как с другом, а не для того, чтобы выступать в роли подопытной морской свинки.

– И что это были за имена, – спросил он; но спросил так, как будто не задавал вопрос, а просто ждал подтверждения.

– Ну, просто имена. Абсолютно бессмысленные сочетания звуков.

– Тогда почему ты решил, что это имена?

На этот вопрос у меня не было ответа, да и, кроме того, мне казалось, что он не относится к делу. Впрочем, в них было нечто, что наводило на мысль о том, что это именно имена; но я совершенно не понимал, что конкретно. К тому же в его вопросах не было ни тени понимания или участия; это были вопросы математика, обнаружившего забавный логический парадокс. Я разозлился еще больше и уже был готов признать, что счел их именами по ошибке, когда сообразил, в чем дело. Все эти слова имели один и тот же суффикс, который на иврите может быть только у имени: Рафаэль, Габриэль, Узиэль и тому подобное.

– Ты можешь вспомнить хоть одно из этих имен? – спросил Саша.

– Нет, – твердо сказал я, собираясь сменить тему.

– Но все они кончались на «эль»?

– Да, я же тебе сказал.

– Сериэль, Баракель, Эзекеэль?

– Да, как-то так, – сказал я изумленно, на секунду забывая о подступающем раздражении, – какая-то такая тарабарщина. Ты их классно придумываешь; из тебя получился бы отменный филолог.

– Самсовель, Аракиэль, Кокабель, Армарос…

– Минус один. Я же тебе сказал, все кончались на «эль», так что Армарос отменяется.

– А может, ты просто не услышал? Армарос, Шемхазай. Хотя, что я говорю; какой Шемхазай.

«Вот и расплата за глупость», подумал я и добавил уже вслух:

– У тебя очень хорошо получается.

Я неожиданно понял, что давно уже так не злился. Но Саша все не мог успокоиться; сделав особенно серьезное лицо, он спросил меня, не было ли в этом списке того имени, которым меня назвали у его тети.

– Которым назвали тебя, – поправил его я, так же как поправлял его и раньше, когда речь заходила об этом странном имени, – нет. Никакого Азаэля там не было.

– Это очень странно, – сказал он, – этого не может быть.

– Я вдруг понял, что он имеет в виду. Я знал, что, помимо математики, он много занимался психологией, но не подозревал, что его познания остались на уровне фрейдизма из популярных брошюр.

– Не надо искать в моих снах детское воспоминание, ставшее, как это называется, «структурной основой сна». Как видишь, я тоже умею изъясняться на этом тарабарском жаргоне.

Он снова изумленно посмотрел на меня, и в его глазах появилось нечто, похожее на раскаяние. Может быть, даже горечь.

– Но ведь ты пришел узнать у меня, что этот сон значит, – сказал он.

– Нет. Я всего лишь пришел к другу. Возможно, бывшему. Но уж никак не к психоаналитику.

Это была чистая правда. К психоаналитику я бы не пошел ни при каких обстоятельствах. В отношении психоанализа у меня, как и у любого интеллигентного человека, не было сомнений; эта нелепая лженаука, обращенная к самым примитивным инстинктам западного обывателя и дающая единое чудодейственное объяснение для всех проявлений человеческой жизни, меня никогда не занимала.

– Но ведь ты же пришел узнать, что значит этот сон.

– Хватит, – ответил я и встал.

– Подожди, – сказал Саша, берясь за заварочный чайник, – я только начну, и ты сам все вспомнишь. Ты не можешь этого не знать.

Ага, «подсознательное». Похоже, меня скоро просветят про эдипов комплекс. Это было уж слишком, и я почувствовал, что мое бешенство готово вырваться наружу.

– Я не был влюблен в свою мать и не собирался убить своего отца, – сказал я, с трудом сохраняя видимость спокойствия; Саша с ужасом посмотрел на меня, – и, кроме того, у меня не так уж и много времени. Не забывай, что у меня жена и ребенок, и они меня ждут.

– Но, – начал он, похоже, испытывая запоздалый приступ раскаяния.

– Нет, – ответил я, – на сегодня вполне достаточно.

Мы наспех попрощались, и я вышел. Он попытался меня удержать; разумеется, безуспешно. Горы окатили меня ночным холодом, легким дыханием, прозрачностью темноты. «Как хорошо, что мне еще нужно заехать в

супер», подумал я; и впервые в жизни я почувствовал, что буду рад стройным и спокойным рядам полок супермаркета. Я позвонил Анюте по мобильнику; «привет, котенкин, я уже в супере и через полчаса буду дома». С неожиданным упоением я складывал продукты в тележку, выбирая те, которые Ане нравились; как бы впервые рассматривал этикетки. «Я больше никогда не буду морской свинкой», сказал я себе и неожиданно почувствовал себя героем романа Диккенса. Меня ждал мой дом, ласковый голос жены и тепло прогретых комнат; я знал, что хаос отступил.

4

Когда я вернулся домой, Аня уже дремала; я положил продукты в холодильник, заглянул в комнату к Иланке, наспех согрел себе ужин и тоже лег спать. Во сне она была почти красивой, несмотря на рождение ребенка; и я вспомнил Аню тех времен, когда мы с ней познакомились. Она была такой юной, светлой и искренней, хотя и немного нервной; мы ездили с ней в Италию, нас окружали прекрасные итальянские палаццо, и солнце отражалось на ее коже. Все было, совсем как в фильмах; она почти не изменилась с тех пор: лицо на подушке; тонкая кисть руки. Я посмотрел на нее с нежностью и быстро уснул; но, когда я встал утром, оказалось, что Анюта уже на ногах; ее разбудила Иланка, проснувшаяся раньше времени. «Между прочим, ты тоже мог бы и услышать, как плачет твой ребенок», сказала Аня; на что я ответил нечто вроде того, что я и так занимаюсь ею каждое утро, когда встаю; она молча посмотрела на меня и вышла из комнаты. После вчерашнего в голове было шумно, как после попойки. Иланка снова заплакала, и я пошел ее успокаивать, что, впрочем, мне не всегда удавалось; еще до Иланкиного рождения Аня прочитала, что первые несколько месяцев ребенка нужно постоянно держать на руках с целью развития интеракции между ним и матерью, и, как мне кажется, излишне буквальное исполнение этой рекомендации привело к тому, что Иланка часто плакала. Возможно, что мне следовало как-то этому противостоять, но в свое время я пытался бороться с ежедневным изучением неизбежных признаков беременности по интернету, и ничего хорошего из этого не получилось – мы все равно прошли их все, но с изрядным количеством скандалов. Впрочем, на этот раз Иланка затихла, и я услышал, что Аня меня зовет; с достаточно сквернымi, хотя и необъяснимыми предчувствиями я пошел на кухню.

«Значит, в пекарню ты не зашел», сказала она, глядя на меня холодно и насмешливо. «Было уже поздно», ответил я, «и она была закрыта»; «она была закрыта в Писгат-Зеэве», уточнила Аня, «а я просила тебя зайти туда, когда ты еще был на работе; так что не надо». «После работы я забыл», сказал я, «но я же купил кекс в супере»; это было крайне неудачное возражение, и Аня взорвалась окончательно. «Вот забыл, и надо было с этого начинать, а кекс из супера ни один нормальный человек, если он, конечно, не

американец, есть не станет; ты бы еще биг-мак принес». «Ну не знаю», пробормотал я, «эти кексы все покупают»; «все и в спущенных штанах ходят», ответила она и продолжила рыться в холодильнике; я был, конечно, ослом, что забыл про пекарню; надо будет сегодня купить что-нибудь из того, что она любит. «А это что еще?», сказала она, доставая коробку сока; «я же тебе говорила, что они изменили технологию, и это пить нельзя; ты что, не мог купить ту упаковку, которую я тебе показывала?». «По-моему, ты мне ничего не говорила», сказал я неуверенно, и она снова с насмешкой посмотрела на меня, «а ты вообще-то хоть что-нибудь слышишь? Да и вообще, твоя способность покупать дорогие и несъедобные вещи поразительна». Я решил не отвечать, но потом, решив, что было бы хорошо свести все к шутке, сказал: «Короче, мои приобретения тебе не понравились». Это снова было ошибкой; «ты купил еду для себя», сказала Аня, с откровенным раздражением выбрасывая что-то из моих покупок прямо в ведро, «а нам с Иланкой есть нечего». Но, в принципе, она была добрым и отходчивым человеком, хотя часто и излишне прямолинейным, и ее раздражение быстро прошло; «ладно, давай чек», сказала она, «пойду запишу твои ценные расходы; если бы я их не контролировала, мы бы вообще разорились». Она аккуратно записала мой неудачный ночной поход в супер в расходную книгу и пошла досыпать. Я выпил чаю, оделся и тихо вышел.

Все утро я повторял себе, что сегодня надо будет купить ей что-нибудь, что она действительно любит; но, к сожалению, до пекарни я так и не добрался. Я помню, что в тот вечер я очень хотел побыстрее доехать до дома, но, несмотря на это, мне все же пришлось ненадолго задержаться на работе. Около двух мне позвонил один мой приятель, и мы довольно долго обсуждали общих знакомых, у которых, в отличие от нас, в жизни очень многое не сложилось; поговорив с ним, я взялся наверстывать работу, но, как это обычно бывает, когда торопишься, все получалось вдвое медленнее, чем обычно. К тому же, я немного задержался в нашем кафе во время перерыва, да и ушел я туда чуть раньше обычного, так что и утренняя часть работы как-то незаметно перешла на вечер. Где-то в четыре к нам зашел Ури, чтобы потрепаться, и мне пришлось отвлечься – не только потому, что я любил с ним общаться – он ужасно много знал из совершенно разных и неожиданных областей, – но и потому, что он регулярно устраивал мне сверхурочные и командировки, без которых Аня не могла бы позволять себе даже те небольшие радости и приобретения, которые немного скрашивали ее одинокое пребывание дома. А когда он ушел, я вдруг почувствовал, что мои мысли уже очень далеко от проекта, и, дабы отвлечься от разговоров и сосредоточиться, ненадолго вышел в интернет. В конечном счете, мне удалось наверстать значительную часть работы, но ради этого все же пришлось чуть-чуть задержаться. От компьютера меня, собственно, отогнал Серега, сказав, что все равно давно стемнело, хватит смотреть в этот чертов ящик, и лучше пойдем в паб пить пиво. Я, разумеется, отказался, ответив, что у меня нет времени и что Анюта меня ждет, и что если я и пойду,

то только совсем ненадолго – он был моим другом, и мне не хотелось его обижать; мы поехали в город.

В пабе мы просидели совсем недолго: меня ждала Аня, да и, зная, что завтра на работу, мне не хотелось задерживаться; так что, когда мы вышли из паба, еще даже ходили автобусы, и в центре было шумно и людно. Но по дороге домой я вдруг заметил, что в ветхих старых кварталах, прилегающих с севера к Старому городу, уже были потушены все огни; и неожиданной теплой волной на меня нахлынуло любопытство, давнее и почти детское; я спрашивал себя, какой жизнью живут эти дома ночью, есть ли там фонари или случайные прохожие, шелестят ли деревья на ветру и постукивают ли их ветхие крыши, – я спрашивал себя об этом так, как ребенок или философ может спрашивать себя о том, что происходит со столом и чернильницей, когда в комнате никого нет. Так что, проезжая госпиталь Нотр-Дам, я решил еще немного задержаться; доехал до первого разворота, вернулся и нырнул на одну из боковых улиц, проводившую меня в темноту кривых переулков, ограниченных с юга улицей Колен Израилевых и улицей Пророков. Найдя относительно широкое место, я припарковался и вышел; со всех сторон подступала темнота. Я решил прогуляться; позвонив Ане, я спросил, не разбудил ли я ее, и сказал, чтобы она не волновалась, что я все еще на работе – борюсь с этим чертовым проектом, за который мне обещали сверхурочные, но уже выезжаю, выключил мобильник и посмотрел на небо. У меня было не так уж много времени – время, необходимое на дорогу с работы домой, минус время, которое нужно на дорогу от центра; но я и не собирался здесь задерживаться. Я никогда не забывал про то, что меня ждет дом и жена, даже в те дни, когда Аня на меня обижалась или злилась, что было в основном заслуженно, и мне не очень хотелось возвращаться домой. Впрочем, этот вечер к подобной категории не относился.

На самом деле, даже если бы я никуда и не торопился, долго гулять здесь в полном одиночестве я бы не стал; когда-то я любил подобные прогулки, но с годами понял, насколько однообразны иерусалимские ночные улицы: бесконечные каменные мостовые, арки, ступеньки, внутренние дворы, решетки на окнах первых этажей и черепичные крыши. Да и, кроме того, удовлетворить мое любопытство было не так уж и сложно. Ветра почти не было, и поэтому ветхие окна, двери и крыши сохраняли полное безмолвие; сколько ни прислушивался, я не услышал ни скрипа, ни стука, ни дребезжания, ни загадочного еле слышного постукивания – ничего из той трогательной и нелепой романтики старого города, которая была нам внушена еще в детстве запойным и некритическим чтением английских романов. Деревья, действительно, тихо шелестели, но их было так мало, что этот шелест показался мне достаточно скучным, однообразным и невыразительным. Довольно долго я гулял в одиночестве, так и не встретив ни одного прохожего, пока, наконец, метрах в пятидесяти передо мной в желтом пятне фонарного света не мелькнул человек в черной шляпе; мне стало интересно, куда он идет, и я ускорил шаг. И в ту же секунду понял, что эта

бессмысленная погоня настолько напоминала какой-нибудь из рассказов Стивенсона или Эдгара По, что мне захотелось засмеяться. Тем не менее любопытство оказалось сильнее самоиронии, и довольно быстро я обнаружил себя в десяти шагах позади идущего; но он так и не оглянулся. Еще несколько минут мы шли друг за другом, пока, наконец, он не свернул в темный проем с левой стороны: то ли во двор, то ли в переулок, сказал я себе. Я остановился на несколько секунд, не только раздумывая, но и давая ему возможность отойти от угла, а потом все же последовал за ним.

Черное пятно между домами действительно оказалось переулком, но к тому моменту, когда я, в свою очередь, повернул налево, то обнаружил, что моего преследуемого уже не видно; я ускорил шаг и почти сразу уперся в глухую стену; переулок оказался тупиком. Ага, подумал я, похоже, что на бегу я не заметил поворота; я вернулся назад, тщательно оглядываясь по сторонам, но так и не заметил никаких выходов из переулка. Это было ужасно странно, и я снова вернулся в свой тупичок. На этот раз я медленно прошел вдоль левой стены, постоянно касаясь ее рукой, и точно так же вернулся вдоль правой; я нащупал около двух десятков дверей и окон, несколько решеток, но никаких дворов или боковых переулков здесь не было. Возможно, что черный силуэт в шляпе, за которым я гнался, нырнул в одну из дверей, но у него явно не было времени отпереть замок. Но если дверь была открыта, спросил я сам себя, непонятно почему она не открылась, когда я к ней прикоснулся. Все это показалось мне достаточно странным – по крайней мере, до тех пор, пока я не сообразил, что, по всей вероятности, дверь была приоткрыта, а, войдя, мой странный ночной человек захлопнул ее изнутри. Это все объясняло, но все равно как-то неубедительно и не полностью; неужели они оставляют двери открытыми по ночам, спросил я себя, да еще так близко от арабского города?

Я вышел на улицу и, посмотрев на часы, стал медленно возвращаться к машине. Как и в прошлый раз, я довольно долго шел один, пока, наконец, в бледно-желтом пятне низкого освещенного окна передо мной не мелькнул высокий силуэт в черной шляпе. Снова посмотрев на часы и подумав, что мне уже пора бы ехать домой, я последовал за ним; поначалу он шел прямо, потом свернул налево; не задерживаясь ни на секунду, я повернул вслед. Это оказалось вполне разумным решением: в отличие от прошлого раза, мой преследуемый никуда не исчез, и мы довольно долго бродили по переулкам, ускоряя и замедляя шаг, ныряя в темноту низких арок, поворачивая, петляя и постоянно меняя направление. Если таинственное исчезновение предыдущего объекта наблюдений было, скорее всего, плодом моей фантазии и избыточного чтения книг в детстве, на этот раз человек в шляпе вел себя действительно подозрительно. И вдруг мне показалось, что он принял какое-то решение: резко ускорил шаг, и наш маршрут неожиданно выпрямился – по моим расчетам, мы шли в сторону улицы Пророков. И, действительно, довольно скоро впереди засветились огни улицы Пророков и скользящие пятна фар; вдруг, не дойдя до угла нескольких десятков мет-

ров, он бросился бежать, на бегу оглянулся и, с ужасом посмотрев на меня, исчез за углом.

Мне стало ужасно стыдно; и все же подспудно чувство неловкости смешивалось с растущим напором смеха. Все неожиданно прояснилось; очевидно, обнаружив, что я его настойчиво преследую, тот, кого я мысленно назвал человеком в шляпе, отчаянно испугался. И если его первые зигзаги, по всей вероятности, объяснялись желанием проверить, действительно ли я следую за ним или просто гуляю, уже чуть позже растущая паника подсказала ему, что таинственного ночного преследователя не следует приводить к своему дому, а его зигзаги, повороты и петли объяснялись тщетным стремлением избавиться от преследования. Не было ничего странного в том, что в городе, лишенном уличной преступности, подобное объяснение не пришло мне в голову сразу, но, если предположить, что мой несчастный преследуемый был наделен небольшой склонностью к паранойе, подобное развитие событий оказывалось крайне вероятным. Да и его лицо, которое я на долю секунды увидел в свете улицы Пророков, свидетельствовало о том же. В любом случае, это было единственное разумное объяснение всего произошедшего, и, еще раз посмотрев на часы и с ужасом подумав о том, что скажет Анюта, я вернулся в темноту низких двухэтажных домов, к глухим каменным стенам и редким светящимся окнам, с некоторой неуверенностью вспоминая дорогу назад, к машине.

Впрочем, это был маленький квартал, и потеряться в нем было невозможно; в крайнем случае, я мог ошибиться переулком, и мне бы пришлось возвращаться. Подул ветер, заскрипели крыши, зашелестели кроны деревьев; мимо меня опять заскользили темные каменные фасады, низкие окна, ступеньки, закрытые двери. Впереди мелькнули два силуэта, потом исчезли; я мысленно рассмеялся и ускорил шаг. Но неожиданно усталость последних недель взяла свое; мне стало казаться, что я окружен тенями домов, смыкающимися при каждом моем шаге; они заглядывали в лицо и пытались прикоснуться ко мне. Темные пятна между домов превратились в неясные человеческие фигуры, а редкие силуэты деревьев пришли в движение; почти всюду я чувствовал молчаливое и настороженное присутствие, хотя в большинстве случаев и не смог бы объяснить, что именно стало источником этого чувства. Но мне не было плохо, и не было ощущения страха или тошноты. Темнота, нет, не расступилась, но как-то побелела, вылиняла, и на сером фоне ночи мне показалось, что темный и спящий город невидимо бодрствует; он населен звуками и тенями, лицами, которые я никогда не увижу и которые невозможно рассмотреть, пристрастными к живым и одновременно равнодушными к их страстям, ссорам, желаниям и обидам; в шелесте ветра, в скрипах, в дальнем шуме машин, в моих собственных шагах мне стали мерещиться голоса, лай собак, блеянье коз. Я остановился, сел на низкие разбитые каменные ступени; на мгновение закрыв глаза, и неожиданно вспомнил, как тогда, в детстве, тот старик назвал Сашу Азаэлем, и мне показалось, что чья-то рука легла мне на плечо.

Я вздрогнул и отдернулся, но вокруг никого не было; за спиной холодела стена, и город подступал ко мне своими настойчивыми сухими тенями. Я медленно встал и в полубеспамятстве вернулся к машине; долго не включал зажигание. Этот город был всюду, и, только подъезжая к дому, я по-настоящему испугался за себя.

5

В течение нескольких дней я обдумывал то, что со мною произошло в тот вечер; поначалу я даже собирался пойти к психологу, но потом все же передумал. Это не было галлюцинацией в полном смысле этого слова, болезненным видением, которое могло бы сделать желательным, или даже необходимым, врачебное вмешательство. Собственно говоря, ничего особенно страшного и не произошло: ночные тени и шумы города переплелись с моим воображением, и эта смесь, наложившись на переутомление и многодневное недосыпание, меня неожиданно испугала; возможно, дополнительным фактором, обострившим ситуацию, были мои размышления об этом нелепом повторяющемся лошадином сне; в любом случае, подобное нервное истощение, которое наступает на том или ином этапе в жизни почти каждого человека, еще не было причиной для паники. И все же это был, как говорится, звоночек: мне следовало изменить режим дня, заниматься спортом, больше отдыхать и больше бывать дома. Я порадовался, хотя и ретроактивно, тому, что в выходные мы все-таки выбрались на природу; если в субботу мне иногда и становилось скучно от разговоров Анютиных сослуживцев, то теперь я сообразил, что если бы я просидел все выходные у компьютера, последующий нервный срыв мог бы оказаться гораздо более серьезным, и он вряд ли бы ограничился приступом усталости и загадочными шумами. В любом случае, это еще раз подтвердило то, насколько разумными являлись многие Анины идеи.

Дополнительным материалом для размышлений стал разговор с Изабеллой Борисовной, которая приходила к нам три или четыре раза в неделю повозиться с Иланкой и отпустить Анюту в город, в магазины или в гости к подругам. Обычно она уходила еще до моего прихода, но на этот раз я, избавившись от всех накопившихся рабочих долгов и исполняя принятое решение, пришел даже чуть раньше обычного, да и Аня задержалась, и мы оказались с тещей один на один. Впрочем, слово «теща» ей не очень подходило: от тещи из анекдотов в ней не было почти ничего, хотя и не могу сказать, что меня она очень любила; но, с другой стороны, я же женился не на ней, а на Анюте. Аня позвонила и сказала, что задерживается в каньоне, и после некоторых колебаний, мы сели обедать без нее. «Кстати, Леночка только что приехала из Швейцарии», сказала Изабелла Борисовна, «вы же знаете, что у нее старшая дочь замужем за швейцарцем». «Леночкой» называлась ее бывшая соседка по дому, где несколько

лет назад они снимали квартиру, и с которой Изабелла Борисовна до сих пор иногда перезванивалась.

– Она тогда ужасно радовалась, что Ирочка уехала в Швейцарию, все-таки цивилизованная европейская страна и не будет так страшно за детей. Да и после Москвы это все-таки более подходящее место.

– Ну и как ей теперь? – спросил я, так и не успев окончательно решить, про кого я спрашиваю – про «Ирочку» или про «Леночку».

– Они там живут в маленьком городке рядом с Альпами, – сказала Изабелла Борисовна. – Швейцарцы, конечно, ужасно, жутко богатые; то, что они оставляют около мусорных ящиков, у нас могли бы продавать в магазинах. Там можно обставить квартиру роскошной мебелью, просто собирая ее по улицам.

Я помнил подобные разговоры про «там» еще в России, и если и удивился, то только их неизменности.

– Но, с другой стороны, Леночка говорит, что нормальному человеку там очень тяжело. Они ужасно скупые; пока Ирочка не работала, все родственники ее мужа разговаривали с ней сквозь зубы. Она думала, что едет туда для того, чтобы стать хорошей женой и хорошей матерью, а им были нужны только деньги; и только когда она наконец-то устроилась на работу, к ней стали относиться по-другому.

– Но, может быть, дело не в деньгах? – предположил я осторожно.

– А в чем же, – ответила Изабелла Борисовна с заметным и искренним удивлением, – и это притом, что она получила совершенно грошовую зарплату, чуть больше чем полставки, пятую или шестую часть зарплаты ее мужа, минус деньги на детский сад. И ради таких денег они готовы разрушить нормальную семейную жизнь.

– Ну, то, что я слышал от тех европейцев, которые у нас бывают, – сказал я осторожно, – так они считают, что у женщины должно быть тоже какое-то дело; иначе она будет просто содержанкой.

– Да нет же, – сказала Изабелла Борисовна, без тени раздражения и с ощутимым упорством продолжая толкать разговор к какой-то ей одной видимой точке, – я же тебе сказала, она за ним официально замужем. Что же касается дела, как ты говоришь, то быть хорошей женой и хорошей матерью – это и есть настоящее дело женщины. Но, возможно, ты и прав, и там все действительно пропитано феминизмом, а наши женщины слишком настоящие женщины, чтобы во всем этом жить. Они просто не ценят то, что наши женщины могли бы им дать.

Я решил, что не буду спорить дальше, и пошел наливать воду в чайник.

– Я думаю, – продолжила Изабелла Борисовна, когда я вернулся, – что мужчины просто пользуются феминизмом, когда им это удобно. Удобно не платить в кафе, удобно не уступать место в автобусе, удобно гнать на работу жену с маленьким ребенком. То, что настоящий мужчина должен в первую очередь содержать семью и обеспечивать ей достойную жизнь, – наглухо забыто. Но ты, к счастью, не феминист, – по крайней мере, в этом

Анечке очень повезло. Ведь тебе же не придет в голову отправить ее работать, пока Иланочка не подрастет?

«Ага», подумал я, «кажется, приплыли».

– Н-ну, мы это еще всерьез не обсуждали.

– А что ты про это думаешь?

– Да ничего, – сказал я, – будет день, будут песни. Мне не хотелось ничего ей обещать; слишком часто я утешал себя тем, что, когда Иланка хоть немного подрастет, Аня пойдет работать, и это решит значительную часть наших проблем.

– Это хорошо, что ты пока всерьез про это не думал, – сказала Изабелла Борисовна, – а то Аня что-то говорила про то, что ей уже пора пойти работать. Ты же настоящий мужчина, ты не можешь с ней так поступить.

– Да нет, нет; что вы, – сказал я, и мы перешли на политику.

Анюта пришла довольно быстро, мы еще немного поговорили, и Изабелла Борисовна ушла. Поначалу я хотел пересказать Ане наш с ней разговор, но потом передумал; Аня довольно болезненно относилась к критике в адрес своей семьи, и пересказ мог закончиться скандалом на весь вечер. Кроме того, мне пришло в голову, что Изабелла Борисовна могла начать этот разговор с ее ведома; но, с другой стороны, Аня же сама постоянно говорила о том, что денег нам не хватает, и, если бы не Иланка, она была бы готова пойти работать кем угодно – хоть дворником, хоть моделью. Все это было слишком запутанно, и мне даже захотелось снова отправиться к Саше, выпить виски и поболтать; но, вспомнив его последнюю выходку, я передумал и пошел смотреть «Улицы разбитых фонарей». Аня заглянула в телевизор, поморщилась, но промолчала.

На следующий день я проснулся около пяти – безо всякой причины, но с мыслью о том, что уснуть мне снова не удастся; минут через сорок эта мысль превратилась в твердую уверенность, и я вылез из кровати. Боясь разбудить Аню и Иланку, я не стал включать душ, обтерся полотенцем и пошел завтракать. Раньше в такой час я бы вышел на балкон выкурить сигарету, но Аня не переносила дыма, и еще до свадьбы я пообещал ей бросить курить; так что дома курить было нельзя. Я попытался почитать краткое описание новой версии одной из программ, которой мы пользовались, но довольно быстро почувствовал, что в моей голове еще очень сумрачно и как-то сыро, и описание закрыл. Анюта как-то сказала мне, что я хожу такой мрачный (это была неправда, точнее, не слишком удачная фигура речи), потому что совсем перестал заниматься спортом; но бегать в такую рань мне не хотелось, так что я оставил Ане записку о том, что решил, по крайней мере, прогуляться по свежему воздуху, и вышел из дома. На самом деле, выходя, я еще не был полностью уверен, что и вправду собираюсь устроить себе часовую прогулку, но ничто другое мне в голову не пришло, а возвращаться было как-то нелепо, да и Анюта просыпалась обычно в дурном настроении, и я, действительно, отправился гулять вдоль широкой каменистой долины с рощицей на дне, отделяющей Писгат-Зеэв от соседнего района Неве-Яаков.

Было сумрачно и холодно; по утрам мне всегда казалось, что, по крайней мере, несколько месяцев должны отделять нас от дневного иерусалимского жара; тяжелый шум машин рассекал студенистое спокойствие, покрывшее пейзаж; сквозь пелену утренней дымки проступали силуэты дальних домов и сухая ночная нежность гор. Рассветный холод обострил зрение и чувства, на полупрозрачной ткани раннего утра они дорисовали буро-зеленые склоны долин с белыми проплешинами и мелкой рябью, светло-желтые силуэты Иудейских гор, красноту песчаных холмов и густые тени ложбин. Хизме безглазой каменной массой обозначилась на полпути до горизонта, ее дома скатывались к Писгат-Зеэву белой туманной лентой, напоминая каменный след, оставляемый в горах сошедшим селем: голубизна утреннего неба медленно приходила на место рассветной крови. И неожиданно в неясном утреннем свете я увидел черную фигуру, пересекавшую напрямик пустыню и медленно поднимавшуюся от Неве-Яакова по южному склону долины; выбранная им дорога едва ли сокращала путь и, вне всякого сомнения, делала его более долгим и тяжелым; на половине подъема идущий стал забирать все правее, двигаясь почти параллельно склону и медленно приближаясь ко мне.

Еще через несколько минут я уже смог его рассмотреть; черное пятно на буро-зеленом склоне холма превратилось в высокого тощего старика ортодокса с клочковатой бородой и холщовым мешком за плечами; по всей вероятности, он шел из ортодоксального квартала Кирьят-Каменец, форпоста города, выстроенного к северо-востоку от Неве-Яакова, на самом краю Иудейской пустыни. Появление старика в столь неурочный час, выбранный им путь, да и весь его облик были исключительно странными и нелепыми, но ничто не могло сравниться по нелепости с его бутафорским серым мешком из грязного грубого холста. Старик шел медленно, неуклюже и с видимым трудом; и чем ближе он подходил, тем более отчетливым становилось мое чувство, что он пытается выйти к дороге в том самом месте, где я стоял; возможно, он хотел о чем-то спросить. Поначалу я собирался уйти, но старик меня заинтересовал; я сел на один из валунов и закурил; минут через пять черная шляпа старика показалась над холмом. Я встал с камней и подошел к нему.

– Вы что-нибудь ищете? – спросил я.

– Да, – ответил он, сипло кашлянул и замолчал. Вблизи он производил еще более странное впечатление; его лапсердак и брюки были не просто старыми и потертыми, на них были отчетливые пятна грязи, прилипшие травинки и листья; казалось, что он много ночей спал на земле; было похоже, что это один из иерусалимских нищих. Впрочем, с этим не вязалось его лицо, узкое и выразительное, несмотря на рваную с желтизной бороду, его окаймляющую, – в других обстоятельствах я бы назвал его благородным и одухотворенным. В нем даже сохранилась известная доля надменности; и мне стало грустно, что человек, наделенный природным умом и когда-то вероятно живший далеко не среди отребья, пал так низко. Впрочем, его

судьба меня не слишком интересовала, и к тому же мне было неприятно показаться навязчивым; тем не менее я решил, что уйти молча будет невежливо, и сделал еще одну попытку.

– Я вам могу чем-нибудь помочь? – спросил я. – Что вы ищете?

– Да, ищу, – сказал старик, медленно и отчетливо выговаривая каждый звук и подчеркивая свои слова интонацией и жестами. Все мгновенно объяснилось; и холщовый мешок за плечами, и предыдущий ответ, и его странная прогулка по утренней пустыне. Нищий старик был явно пьян; возможно, что пьянство и было тем пороком, который довел его до нынешнего отталкивающего и унизительного состояния. Мой интерес к нему почти мгновенно испарился, уступив место жалости и отвращению.

Он был похож на гигантский подберезовик, разросшийся вопреки законам природы и необъяснимо изменивший свой цвет; я отступил на шаг и вновь взглянул на черную сомнамбулическую фигуру, подплывшую ко мне в пустом воздухе. И в ту же секунду все неожиданно изменилось, наполнившись прозрачным мерцанием, иллюзорной судорогой памяти; так по нашим первым встречам с Аней я помнил, что как в редкие моменты любви, когда мысль неожиданно совпадает с видимостью, встраивается в обманчивый ряд предполагаемой реальности, становясь на мгновение вещью среди вещей, и обретает определенность, так же и мгновения, когда нечто известное обретает призрачные земные контуры, погружая нас в необъяснимый паралич узнавания, обладают свойством мгновенно менять не только облик, но и саму природу окружающего нас мира – я взглянул на старика и увидел, как он улыбается, как если бы он следил за ходом моих мыслей; еще несколько секунд его взгляд маячил и мерцал в моей памяти, как бы завершая ускользающий круг узнавания. «Какая чушь», подумал я; и по всей вероятности, мои губы, следуя за движением моих мыслей, молча повторили мои мысли, потому что старик, почти перестав улыбаться, кивнул и согласился: «Да, действительно, чушь». Я хотел удивиться его странному восклицанию, но, качнувшись, слова неожиданно оставили меня; становилось все жарче, и в пустыне шумел ветер. Я молча повернул к дому.

6

Обдумав события последних дней, я решил, что мне все-таки следует показаться психологу; результаты многомесячной усталости и нервного истощения все чаще и все ощутимее давали о себе знать. Кроме того, все последние месяцы я чувствовал себя достаточно дискомфортно; я не всегда был готов себе в этом признаться, но и это чувство было, по всей вероятности, результатом переутомления на работе. В любом случае, если по отдельности повторяющийся сон, многоголосые шумы старых кварталов и моя откровенно невротическая реакция на встречу с нищим стариком и не являлись причиной для беспокойства, их сочетание серьезно испугало ме-

ня и навело на мысль о том, что было бы хорошо заняться собственным здоровьем, пока эти симптомы не приняли более серьезную форму. Я нашел себе спокойного, интеллигентного психолога, одним своим видом опровергавшего распространенную теорию о том, что все психологи и психиатры страдают разными формами психических расстройств, и мы договорились на серию из десяти встреч. Он попросил меня сделать два списка: тех событий моей жизни, которые представлялись мне наиболее значимыми, и тех странных «симптомов», которые меня испугали. Его подход показался мне разумным и рациональным, а уже во время первой «встречи», как он их называл, он заверил меня в том, что в рассказанном мной нет никаких намеков на психическое заболевание, и во врачебной помощи в строгом смысле я не нуждаюсь; он же постарается помочь мне как психолог и друг, а не как психолог и психиатр. Мне нравилось, что он не смотрит на меня свысока, как на ребенка, которого нужно образумить и наставить на путь истинный, и, уж тем более, не пытается изображать из себя пророка, чудотворца или фокусника. Мне нравилось и то, что он всегда объясняет ход своих умозаключений; наши встречи были разговорами двух интеллигентных людей, уважающих друг друга. Мне импонировал его язык, достаточно научный, построенный на уважении к собеседнику, но без всяких попыток произвести впечатление.

Во вторую из этих «встреч» мы начали более спокойный и достаточно подробный разговор обо всех этих странностях. Не могу сказать, что мы далеко продвинулись в их анализе, но, по крайней мере, совместными усилиями нам удалось отделить то, что действительно заслуживало внимания, от случайных эпизодов; и достаточно быстро я понял, что мои собственные оценки далеко не всегда адекватны произошедшему. Так, начав рассказывать об утренней встрече с нищим ортодоксом и отвечая на вопросы, которые мой психолог мне задавал, я достаточно быстро понял, что, собственно говоря, решительно ничего не произошло, кроме нахлынувшего на меня потока мыслей и чувств, не имевших ни малейшего отношения к нищему старику. И поэтому к тому моменту, когда он сказал, что, по его мнению, этот эпизод всего лишь свидетельствует о некотором переутомлении, ставшем причиной неадекватной эмоциональной реакции, я и сам уже пришел к подобному же выводу. «Нам же с вами, – сказал он, – следует понять психологические корни этого нервного переутомления, а не объяснять его исключительно переутомлением физическим, несмотря на то, что последнее тоже, несомненно, сыграло свою роль»; и мы перешли к моей нелепой попытке сыграть роль ночного сыщика и слуховым галлюцинациям, за ней последовавшим. Вопреки здравому смыслу, эти галлюцинации заинтересовали моего психолога в очень небольшой степени; к нашей третьей «встрече» он заставил меня вспомнить, подробно и почти по минутам, во сколько я ложился и вставал в те семь дней, которые предшествовали этим галлюцинациям, и, просмотрев мой подробный отчет, сказал, что странно, что это не кончилось значительно хуже. В отличие от этих галлюцинаций, моя

попытка проследить за незнакомым человеком заинтересовала его гораздо больше: он спросил меня, читаю ли я детективы, в каком возрасте я перестал читать приключенческие романы, о чем я говорю с друзьями, если у нас есть достаточно времени, чтобы поговорить по душам, играю ли я в компьютерные игры, и тому подобное. Полученные ответы ему явно понравились, он сказал, что теперь общее направление движения ему вполне ясно, и посоветовал пока побольше бывать с семьей и побольше спать.

Во время четвертой нашей встречи мы перешли к моему повторяющемуся сну; он уверен, сказал мой психолог, что по нему можно понять многие из моих проблем, но бесполезно рассказывать мне о них; я должен понять этот сон сам. Впоследствии я прочитал в интернете, что подобная точка зрения характерна для гештальтпсихологии. «Если свести ваш сон к простой схеме», продолжил он, «он описывает прыжок в неизвестность, сопряженный с риском разбиться, потом обретение твердой почвы под ногами и попытку оглядеться и освоиться на новой местности. Если у вас это вызывает какие-нибудь ассоциации, попытайтесь о них подумать и мне рассказать». Ассоциации у меня, разумеется, появились сразу же, столь очевидные, что мне показалось странным, что я не подумал об этом гораздо раньше, без всякой подсказки психолога; с другой стороны, я был уверен, что эти ассоциации не имеют к делу никакого отношения. Я уже было решил о них промолчать и сразу же приступить к поиску подлинного психологического значения сна; но потом вспомнил о том, что обещал себе быть с психологом предельно искренним, и раз уж он спросил, я решил ответить. «Мне кажется, что это уведет нас в сторону от того, что мы ищем», сказал я, «но я все же постараюсь кратко ответить».

И я действительно постарался быть как можно более лаконичным, перечислив, во время нашей пятой встречи, с минимумом комментариев, такие ассоциации, как принятие решения о переезде в чужую и малознакомую страну, кратко рассказал о надеждах, о страхах, которые, как мне кажется, я должен был бы почувствовать, о стрессе, связанном со сборами, о потере многих друзей, об утрате привычной среды обитания, о попытках освоиться в новой стране и ее понять, о постоянной нехватке денег, о неопределенном будущем, о том, как я решил переквалифицироваться в программиста, о постепенном обретении экономической базы, о том, как мы покупали квартиру, и Аня никак не могла ее выбрать. «Ну, вот и весь ваш сон», сказал он, наконец, «то, что мы на профессиональном жаргоне называем травмой репатриации, а затем постепенное врастание в новую реальность, обретение социального статуса, семьи и материальной базы. Эти воспоминания все еще с вами, несмотря на то, что этот период в вашей жизни давно кончился, но вам потребуется еще время и изрядные усилия, чтобы это осознать». И я неожиданно понял, в какой степени я еще нахожусь во власти своего прошлого, его страхов и надежд, которые уже не имеют никакого отношения к реальности и которые не позволяют мне двигаться дальше. Мой «прыжок в неизвестность» давно закончен, и для меня он тоже должен стать

фактом прошлого; чтобы стать свободным, мне необходимо освободиться от власти чувств, переживаний и проблем, давно ушедших в небытие.

«Мы уже почти обо всем поговорили», сказал я, придя на нашу шестую встречу, «осталось только сделать выводы»; «никоим образом», ответил он, «мы еще даже не подошли к самому главному». «О чем же мы еще не говорили», спросил я; «Ну, например, о вашем сне». Я искренне удивился; «Но мы же только о нем и говорили, может быть, вы забыли?» «Никоим образом. Но мы говорили только об одном значении этого сна, а сны могут иметь много значений, и первое из них обычно далеко не самое важное. Самые яркие, запоминающиеся, повторяющиеся сны вбирают в себя целые цепочки проблем и читаются страница за страницей, слой за слоем». Еще чуть позже он заговорил о том, что мой сон описывает не только изменение места и положения, но и изменение формы движения и его скорости, в центре сна находится «удар, вызванный силой инерции»; «строго говоря», сказал я тогда, «с точки зрения физики силы инерции не существует». «Речь может идти», ответил он, «о профессиональной деятельности, например». В любом случае, судя по сну, изначальная форма моего «пребывания в пространстве», чтобы она ни значила, все еще воспринимается моим сознанием как естественная для меня («помните, вы подчеркнули плавность движения и отсутствие ударов копыт») и соответствующая моей внутренней потребности в свободе («вы обратили внимание на символ "лошади без седла"?»), а новая обретенная форма «нахождения в пространстве» – как вызванная внешним препятствием достаточно приземленного свойства («столкновением с землей»). Мне было приятно, что он говорит со мной, совсем как со своим коллегой. Отступив чуть в сторону, он обратил мое внимание на то, как языковые метафоры реализуются в визуально-символическом пространстве сна; было очень приятно, что он не пытается строить из себя гуру и рассказывает мне о ходе своих мыслей, как равный равному. А потом, вернувшись ко сну, он указал на то, как любопытно расставлены в нем оценки и смысловые акценты: первая форма «пребывания в пространстве» обозначена как прогресс, движение, развитие, в то время как вторая предстает как стагнация, стояние, потерянность. «До следующего раза подумайте об этом», сказал он.

Во время нашей седьмой «встречи» мы вернулись к той же теме. «Расскажите мне о том, почему вы решили изменить профессию», начал он, «вам было неинтересно заниматься физикой?». Я сказал ему, как я обычно это и делал, что я программист по призванию, что физика была мне интересна, но никак не более программирования, и что не вижу причин нищенствовать ради того, чтобы облагодетельствовать человечество. Впервые он спросил меня, абсолютно ли я уверен, что говорю чистую правду; и я неожиданно вспомнил о том, что плачу за эти «встречи» деньги, что обещал себе говорить психологу правду, что иначе это все и вообще теряет смысл, и снова заставил себя сказать несколько слов и об обратной стороне медали. Я рассказал ему о том, что очень долго не видел себя вне науки и что

процесс научного поиска, размышлений, неясного света, вспышки видения до сих пор кажется мне одним из высших проявлений человеческой мысли, о том, что научные гранты и стипендии невелики и ненадежны, о том, что, пока не появилась Аня, я не чувствовал столь остро, как мало у меня денег и как их мне не хватает, и о том, как она убедила меня в необходимости повзрослеть, научиться принимать решения, прекратить обманывать себя и изменить профессию таким образом, чтобы она позволила содержать себя и семью. На самом деле, подчеркнул я, я очень благодарен Ане за то, что она уговорила меня стать программистом; она часто говорит, и в этом она совершенно права, что деньги дают совершенно иной социальной статус; при нашем статусе мы очень многое можем себе позволить и очень со многими можем разговаривать иначе. «Но ваш сон», сказал он мне, «говорит о том, что на подсознательном уровне вы все еще думаете иначе, и этот когнитивный диссонанс является одной из причин ваших психологических проблем. Вам предстоит всерьез поработать над изменением отношения к вашей бывшей и нынешней профессии. Чаще думайте о том, сколь многие возможности открыло перед вами радикальное изменение ваших доходов и социального статуса».

Перед восьмой «встречей» я больше думал не о своих проблемах, а о том, куда еще нас заведет изобретательность моего психолога; все три эпизода, которые казались мне психологически проблемными, были разобраны и исчерпаны. Но, как это ни странно, он вернулся к моему сну. «В снах», сказал он, «важны не только символы как таковые, но особенно их повторы и комбинации». Он напомнил мне, что мы обсуждали символ «лошади без седла», и сказал, что мой сон примечателен еще и тем, сколь последовательно тема, обозначаемая этим символом, проявляется и в других манифестациях: свободный полет в небе, лошадь без седла, удар о препятствие, ограничения видимости, каменная площадка («вы обратили внимание на то, что это не плато, а именно площадка?»), остановка движения. Во всех этих символах тема свободы проявляется ясно и рельефно; и невооруженным глазом видно, что она занимает меня и что существует нечто, что я подсознательно воспринимаю как смертельную угрозу собственной личной свободе. Не к своему ли браку я так отношусь? Если это действительно так, то подобное инфантильное отношение не могло не стать причиной серьезных психологических проблем. «Кстати, в свободное время подумайте о том», сказал он, «о чем мы говорили на самой первой встрече – о некоей, присутствующей у вас склонности к инфантильному отношению к вещам и инфантильным занятиям, например, компьютерным играм». К сожалению, в этом была известная правда. «А теперь перейдем к самой загадочной части вашего сна: его концовке, о которой мы еще не говорили», сказал он, «вы оглядываетесь вокруг в поисках других людей, прошедших тот же путь и оказавшихся в той же ситуации; это достаточно ясно указывает на вполне разумную склонность оценивать себя и свою жизнь, соотнося их с жизнью окружающих, смотреть на себя глазами других. Но затем во

сне происходит нечто, уже не вполне соответствующее здравому смыслу, – вы начинаете вслушиваться в звонкие имена, которые уже не соответствуют никакой знакомой вам и наличествующей реальности. Не говорит ли это о склонности соотносить свою жизнь с жизнями великих людей, например великих физиков, вместо того чтобы прожить свою, пусть и гораздо более скромную, жизнь – свою жизнь со своим домом, своей женой и своим ребенком. Подумайте, нет ли во всем этом доли правды».

На девятую «встречу» я пришел с пониманием того, что и в этом есть своя правда – и далеко не «доля». Похоже, что несколько биографий и книг воспоминаний «великих людей», которые я читал в разное время, действительно сослужили мне не лучшую службу. Так, например, по всей вероятности, Анины коллеги по работе, да и мои собственные сослуживцы, иногда казались мне не очень интересными именно потому, что я соотносил их не с реальными людьми, а, скажем, с героями биографии Нильса Бора, которую я читал еще студентом. То же самое касалось и моих частых размышлений о приземленности мыслей тех или иных людей. Но главное было не в этом; говоря о том, что брак с Аней я воспринимаю как ярмо и обузу, как угрозу своей свободе, мой психолог попал в самую точку; подумав, я нашел многочисленные доказательства подобного отношения к Анюте и Иланке. Главная проблема была в том, что «семья» как таковая не являлась для меня центральной и несомненной ценностью; я попеременно искал в ней комфортного существования, продолжения романтических иллюзий или замену дружбе. И я, действительно, был во многом невнимателен к ним, мало уделял им времени, мало бывал дома, да и ко многим Аниным словам я относился совершенно не так, как следовало. «Я очень виноват перед ними», сказал я тогда, но этот вывод ему не понравился. Чувство вины, ответил он, только усугубляет психологические проблемы; человек, который хочет жить счастливо, должен от него освободиться. Вместо этого мне следует понять, что мое восприятие моей семьи как ярма и рабства связано, по крайней мере частично, с пережитками детскости, инфантильными установками, о которых мы с ним уже говорили, а частично с попыткой соотносить свою жизнь не только с реальными людьми, которые меня действительно окружают, но и с вымышленными жизнями тех людей, в своем большинстве давно мертвых, чьи имена я в разное время слышал.

На десятой встрече он заставил меня пройти снова весь тот путь, который мы уже прошли. Сначала мы поговорили о том, что прошлого, с его иллюзорной свободой и проблемами, не существует; что человек должен научиться жить настоящим – в особенности такой человек, как я, обладающий стабильными и достойными доходами, социальным статусом и прочной семьей. Потом мы вернулись к теме моей профессии – к тому, что нужно научиться ее ценить, и в первую очередь благодаря тем благам, которые она мне принесла, вместо того чтобы мучиться нелепыми угрызениями совести по поводу упущенной возможности облагодетельствовать человечество. И, наконец, мы перешли к тому, что мой психолог определил как глав-

ное. Он заговорил о моих инфантильных склонностях вообще и в особенности о моей инфантильной склонности к «свободе», которую я все еще воспринимаю как разрушение общеобязательного и как отсутствие многих ограничений, неизбежных в человеческой жизни; чуть позже он напомнил мне о моих полуосознанных попытках измерять свою жизнь меркой, снятой с вымышленных жизней известных людей. Важно постоянно помнить, сказал он, что свободы в вашем понимании не существует. Главное, что мне нужно, – это увидеть свою новую жизнь и свою семью такими, какими они являются, – не в свете прошлого, которого уже не существует, не как предательство некоего фиктивного высшего предназначения и, разумеется, не как форму рабства – но как одну из наиболее удобных и многообещающих форм существования, возможных в этом мире: как базу, на которой возможно идеальное врастание в окружающую меня социальную реальность и достижение полного соответствия между моей вполне состоявшейся жизнью и нормами окружающего мира с его законами, требованиями и возможностями.

Мы еще немного поговорили, но уже не как психолог и пациент, а совсем как друзья; на прощанье он сказал мне, что, на его взгляд, теперь я располагаю всей информацией, которая необходима для решения моих психологических проблем. Разумеется, уточнил он, знание ключа еще не гарантирует фактического решения, но существуют и такие люди, которые, зная, в чем корень проблемы, оказываются способными решить ее самостоятельно. Если же по той или иной причине я почувствую, что нуждаюсь в помощи, на которую смогу опереться в достаточно долгом и непростом процессе изменения своих взглядов, поведения и жизненных установок, то он будет рад продолжить наши встречи на более постоянной основе. Я искренне поблагодарил его, но, выходя, я был абсолютно уверен, что его помощь мне больше не понадобится. Так получилось и на самом деле. Я чувствовал себя внутренне перестроившимся, освобожденным от груза несбывшихся желаний, проблем и вымыслов, которые я сам же на себя навалил. Теперь, когда я понимал ценность своей семьи и своей профессии, был готов нести ответственность за свои решения и свои поступки, я вдруг почувствовал себя частью нормальной, сложившейся жизни; «теперь я знаю, что такое семья», сказал я себе, «я буду стараться создать для Ани и Иланки комфортное существование, нормально их обеспечить и больше с ними бывать». Я был очень благодарен моему психологу и неожиданно понял, что нежелание обращаться к профессиональной помощи было частью моего инфантилизма. «Зачем было заниматься самокопанием», подумал я, «изобретать велосипед, искать самому давно проторенные пути, если существует надежная, проверенная и профессиональная помощь». К счастью, все обернулось хорошо; я пришел домой наполненный – нет, пока еще не счастьем, – но надеждами и ликованием. «Ты купил мясо?», спросила Аня; «Какое мясо», ответил я изумленно, «ты мне ничего не говорила»; «У тебя шизофрения», сказала Аня, уходя к себе в комнату и хлопая дверью, «тебе лечиться надо».

7

Встречи с психологом меня, естественно, успокоили; мне даже пришло в голову, что Саша был не так уж и неправ, когда пытался расшифровать мой сон с точки зрения психоанализа. Впрочем, подумав, я пришел к выводу, что, собственно говоря, он не сказал мне ничего нового, но, как это иногда бывает, объясненное им подтвердило мои собственные догадки и прояснило то вполне однозначное, хотя и смутное понимание ситуации, которое у меня уже сложилось. И, главное, – страх того, что переутомление на работе могло привести к нервной болезни, со всеми возможными последствиями, отступил – хотя, как выяснилось чуть позже, и не исчез окончательно. Я решил побольше бывать с Аней, а в ближайший же свободный вечер пойти в библиотеку для того, чтобы почитать медицинскую энциклопедию. Кроме того, поначалу я решил попытаться найти необходимую мне информацию в интернете, но потом начал колебаться. На работе, где все были друг у друга на виду, мне не хотелось искать материалы про психические заболевания, а что касается дома, то я уже неоднократно замечал, что Аня довольно ревниво относилась к моему хождению по инету и моей переписке (что, впрочем, было вполне естественно), и иногда, как показывали записи в графе «история» моего компьютера, в мое отсутствие она заглядывала на те сайты, где я бывал перед этим. А если, дабы избежать вопросов по поводу моего неожиданного интереса к психиатрии, я бы стер соответствующие записи из раздела «история», это все равно не решило бы проблему взгляда через плечо; так что, в конечном счете, я решил не рисковать. У меня уже были многочисленные возможности убедиться в том, что Анюта гораздо умнее и проницательнее абсолютного большинства ее подруг и женщин вообще.

Обдумав все это, я решил остаться на работе попозже, чтобы прочитать то, что меня интересовало, не прячась от любопытных глаз коллег. Но они расходились исключительно медленно; и я начал читать последние русские новости. Новости, как водится, были довольно однообразные, за небольшими исключениями на криминально-эротические темы; и если бы меня спросили через пять минут после их прочтения, что именно я читал, мне бы пришлось не вспоминать, что оказалось бы бесполезным, но скорее домысливать по аналогии. Потом, пытаясь найти для себя занятие, я стал смотреть раздел «мистика»; но и здесь заголовки были какими-то бесцветными: «Шамбала как путь к вашей карьере», «Тантра и семейная жизнь», «Каббала, или Как стать банкиром», «Секту хлыстов создали инопланетяне». Я начал с «Тантры», которая вывела на целую страницу заголовков, из которых я выбрал один, показавшийся мне небезынтересным; но за ним открылись словесные цепочки из «шакти», «майтхуны» и «кундалини», соединенные с «эротико-магической практикой махаяны», «космическими началами», «глубинами материи», «пиромагией» и почему-то «ночью друидов». Я вернулся на основную страницу «Тантры». Но второй заголо-

вок вывел на достаточно простые и очевидные советы по «гармонизации семейной жизни», и мне достаточно быстро стало скучно. Я вернулся к «мистике» и открыл раздел, посвященный хлыстам; впрочем, оказалось, что инопланетяне создали хлыстов с целью разрушения России и всего русского, и мне снова стало неинтересно. Я опять вернулся в «мистику», выбрал каббалу и долго водил глазами по столь же бессмысленным заголовкам, пока в какой-то момент мне не бросилась в глаза строчка «Магия чисел в вашей жизни».

«На самом деле», писал автор, «вопреки распространенному заблуждению, числа 3 и 7 не являются священными. Подлинно священным и чудодейственным является число девять, которое соответствует числу сфирот в Каббале, а также числу наиболее важных органов человеческого тела. Это число отвечает за космическую гармонию и за здоровье каждого отдельного человека. На какую бы цифру вы его ни умножали, вы получите число, сумма чьих цифр равна девяти. А это, как известно, полностью соответствует каббалистическим представлениям о мироздании». Ну и бред, подумал я; во-первых, такого быть не может; а, во-вторых, если бы это было так, то, как физик с многолетним математическим образованием, я бы не мог этого не знать. Девять на два, мысленно сказал я себе, восемнадцать; один плюс восемь. Но такие простые примеры они явно проверяли. Возьмем нечто менее тривиальное. Семью девять – шестьдесят три. Странно, но сошлось. 3 x 9 = 27; 9 x 9 = 81. Черт, подумал я. Пока сходится. 6 x 9 = 54; 7 x 9 = 63; 8 x 9 = 72. Жутко странно. Может, это все-таки у меня едет крыша. Я вернулся к началу и решил действовать систематически. 1 x 9 = 9; 2 x 9 = 18; 3 x 9 = 27; 4 x 9 = 36; 5 x 9 = 45. Ладно, сказал я сам себе, этот фильм мы уже видели; похоже, что и правда сходится. Ну и что, хотя чертовщина какая-то, и, главное, не приходит в голову, как это объясняется математически; похоже, что долгое написание программ даром не проходит. А ведь, наверное, совсем просто. Да и при чем здесь эти сфирот; и вообще интересно, что там дальше. И вдруг я обнаружил, что последний из моих коллег уже ушел, не прощаясь. Волевым решением я закрыл «магию чисел» и запустил поиск слов «шизофрения» и «паранойя»; количество полученных ссылок оказалось шестизначным, и я стал думать, как бы задать более внятные параметры поиска; моих знаний по психиатрии явно не хватало.

Пока я думал, я как-то автоматически запустил на компьютере программу-калькулятор. Но поначалу калькулятор не потребовался –11 x 9 = 99; я сразу же вздохнул с облегчением, проклятая девятка кончилась; и все-таки это выглядело как-то неубедительно – не одна, так две. 12 x 9 = 108; я выругался и стал нажимать кнопки все более лихорадочно. 13 x 9 = 117; 14 x 9 = 126; 15 x 9 = 135; 16 x 9 = 144; 17 x 9 = 153; 18 x 9 = 162; 19 x 9 = 171; 20 x 9 = 180. Это уже переходило все границы приличия. И вдруг я вспомнил, что автор статьи про каббалу писал только о «цифрах», явно имея в виду числа от единицы до девяти. Неужели я настолько поверил в его брс-

довую идею, что мне стало мерещиться именно то, во что я поверил. А как же тогда компьютер; неужели и он мне мерещится. Или это все-таки психическая болезнь; или я просто сплю, подумал я с надеждой, как обычно думали герои читанных мною в детстве и юности романов. 21 x 9 = 189. Это уже лучше; но снова как-то неубедительно; опять эти проклятые две девятки. 22 x 9 = 198; 23 x 9 = 207. Снова девять; все вернулось на круги своя. 24 x 9 = 216; 25 x 9 = 225; 26 x 9 = 234. Из математических соображений было ясно, что дальше считать бесполезно, потому, что так оно и будет повторяться. Но я все-таки решил попробовать и взял несколько чисел наугад. 37 x 9 = 333; 34 x 9 = 306; 41 x 9 = 369; 47 x 9 = 423. Ладно, сказал я себе, на все нужно смотреть рационально, это была бы хорошая задача для школьной олимпиады, хотя все равно, наваждение; попробую дальше. 64 x 9 = 576. Наконец-то, мне хотелось закричать от радости; наваждение кончилось. И тут я сообразил, что эти числа в сумме дают восемнадцать, т. е. девять в сумме; смысл двух девяток стал неожиданно ясен; здесь не было никакого удвоения, никакой натяжки; они тоже дают в сумме восемнадцать, т. е. девять. Но, может быть, это случайность. 92 x 9 = 828; 76 x 9 = 684; 53 x 9 = 477. Дальше пробовать не имело смысла.

Неужели я все-таки действительно болен, говорил я себе, и все это галлюцинации. Не надо было постольку сидеть на работе; но, с другой стороны, нашему ребенку были нужны деньги. Анюта была права, что он не может и не должен расти в таком сарае. У всего этого должно было быть простое, тривиальное математическое объяснение, не имеющее никакого отношения ни к каким сфирот, но оно как-то ускользало от меня. Должно было быть, уточнил я, если, разумеется, мне все это не казалось. Но почему тогда я никогда про него не слышал. Меня начало мутить. Чтобы отвлечься, я снова вернулся в интернет и, вместо того чтобы менять параметры поиска, выбрал случайную группу ссылок, из тех, что были выданы предыдущим неудачным поиском, и вошел по случайной ссылке. Здесь оказались рисунки шизофреников, подобные которым я, впрочем, видел и раньше: странные, часто очень талантливые. Но на этот раз к ним прилагались портреты авторов; чудовищные, искаженные безумием и страданием лица. Судя по датам жизни, многие из них были уже мертвы. Я вышел из интернета и выключил компьютер; неожиданно обнаружил, что начало темнеть. И тут я вспомнил, что забыл позвонить Ане и спросить, что купить по дороге; стал оглядываться в поисках мобильника, который оказался на столе в соседней комнате. На нем было четыре звонка без ответа и ни одного сообщения. Я набрал наш номер. «Привет, котенкин», сказал я, стараясь оправдаться еще до того, как она успеет начать скандал, который остановить уже будет невозможно, как бы ей ни хотелось, «я тут задержался на работе, а ты, наверно, ужасно волнуешься». «С чего это ты взял», сказала Аня, «у тебя мания величия. Да сиди за своим компом сколько хочешь, мне плевать, когда ты приедешь». «Я уже выезжаю», сказал я, и мы попрощались. Все могло обернуться гораздо хуже.

Возможно, сказал я себе, выходя из здания, то, что меня так поразили эти бессмысленные цифры, – это расплата; расплата за пристрастие к абстракциям, за эгоцентризм, за недостаток внимания к Ане и ребенку, за пренебрежение к ее друзьям и, между прочим, еще и за то, что мне было скучно читать все то, что я прочитал до этих идиотских бессмысленных девяток, а ведь это то, что любят и во что верят миллиарды людей. А, с другой стороны, может быть, мне все это и правда не нужно. В любом случае, мне следовало торопиться домой; я, хотя выбрал несколько кружной путь, сделал это вполне сознательно – на этой дороге никогда не было пробок, и, по моим расчетам, я должен был добраться до дома быстрее обычного. И только на полпути к дому я сообразил, что уже достаточно поздно и пробок в это время уже нет нигде. И все же на этот раз пробка была; в самом неожиданном месте, на подъезде к Французскому холму, в полной неподвижности стояла длинная цепочка автомобилей, противоположная же полоса была полностью пуста. Позвонив в Центр движения, я узнал, что на перекрестке у холма найден «подозрительный предмет», и движение перекрыто в обоих направлениях. Чтобы сэкономить время, я развернулся и поехал назад в сторону Рамота, надеясь проехать через промышленную зону и религиозные районы и выехать на шоссе, разделяющее западный и восточный Иерусалим и ведущее к Старому городу; если бы мне это удалось, я бы смог выехать на мост, ведущий от Французского холма на север, и, таким образом, обогнуть пробку. Но еще до того, как я доехал до моста, позвонила Аня; «ну и где ты», сказала она, «я, между прочим, не кухарка, чтобы ждать тебя с ужином до полуночи». «Уже подъезжаю к мосту», сказал я; «С какой стороны», спросила Аня; «со стороны Бар-Илана». «Ты едешь с работы», сказала Аня, но не вопросительным, а скорее, как мне показалось, раздраженным голосом; «да», ответил я, «я тут решил сократить путь, чтобы приехать побыстрее, так я поехал по нижней дороге, но там что-то нашли, и все было перекрыто, и я поехал на первую дорогу, но вот еще не доехал». «Что меня удивляет, дорогой», сказала Аня медленно и задумчиво, «это то, что ты меня держишь совсем за полную идиотку». Я попытался ответить, но в трубке наступила тишина, и я услышал эхо собственного голоса; было похоже, что она, как обычно, бросила трубку. Я подумал, что надо изменить устройство мобильников, и сделать так, чтобы при окончании разговора раздавался длинный гудок – в точности так же, как это бывает по телефону.

Надо было дать ей время остыть, и, не доезжая до Гиват-Атахмошет, я свернул в сторону старых религиозных кварталов; оттуда, сказал я себе, всегда можно будет выехать по одной из параллельных улиц. Мне неожиданно стало приятно, что я так хорошо знаю город; при наших пробках это экономит массу времени, подумал я. Я припарковался в одном из переулков, и, уже начав вылезать из машины, неожиданно передумал и остался сидеть, разглядывая сквозь лобовое стекло текущую мимо меня толпу в черных лапсердаках; я попытался всматриваться в их лица, но довольно

быстро понял, что на этот раз они не вызвали у меня никаких чувств, кроме равнодушия: ни раздражения, ни радости, ни умиления, ни горечи – ничего. Я все еще был способен чувствовать нечто, похожее на умиление, при взгляде на девочек в длинных платьях с рукавами до самых ладоней и светящимися глазами; но в это время их уже не было на улицах. Мимо меня проносило чужую и равнодушную черную толпу, волна за волной. Но неожиданно среди лиц я увидел странного человека, того самого, которого я не стал догонять в то утро; он шел неторопливо, как бы намеренно не сливаясь с толпой, постоял у моей машины, внимательно посмотрел на меня и пошел дальше. В первую секунду его взгляд меня испугал; даже если предположить, что в то утро старик меня запомнил, я был абсолютно уверен, что в полутьме машины меня практически не видно. Чуть позже я сообразил, что это был всего лишь праздный взгляд любопытного прохожего, пытающегося рассмотреть странного водителя, который перегородил тротуар и при этом явно никуда не торопится идти. И все же чувство узнавания, скорее всего иллюзорное, было столь сильным, что я вышел из машины и отправился вслед за ним.

Он довольно долго кружил по улицам, все еще неторопливо, но при этом как-то странно и почти судорожно в своей несомненной бесцельности. Потом остановился у низкого двухэтажного дома шириной всего в два окна, выстроенного из грубого белого камня, открыл дверь и, неожиданно повернувшись ко мне, жестом пригласил меня войти. Он выглядел так же, как в то утро, низкорослый, с усталым и помятым лицом, но из-за отсутствия своего нелепого и бутафорского холщового мешка он уже не производил впечатление нищего или пьяного. Я подошел поближе, и он снова показал на дверной проем; ошибиться было невозможно, он действительно меня запомнил. На мгновение мне показалось, что я его тоже знаю, точнее, знал, задолго до этого утра; в мозгу, в памяти вспыхнуло и засветилось бледное расплывчатое белесое пятно узнавания. Но почти сразу я понял, что никакого желания с ним разговаривать у меня нет; да и Аня ждала меня дома. «Простите, это должно быть ошибка», сказал я, «мы с вами не знакомы. Вы меня принимаете за кого-то другого». Он немного удивленно посмотрел на меня; но его удивление показалось мне неискренним и наигранным. «Лейб Сорес», сказал он, протягивая руку, «а вас зовут Азаэль». «Азаэль», сказал я себе; все прояснилось и стало неожиданно обжигающе ясным; а потом на меня снова нахлынула тошнота, ноги наполнились ватой, а тротуар, чуть качнувшись, сделал шаг вниз, и на долю секунды мне показалось, что я стою на ходулях. Мне не следовало так распускаться, подумал я; я должен пережить и это; но руки начали неметь и наполняться мелкими слабыми уколами, как бывает с ногами, когда их отсидишь; я перестегнул ремешок часов на одну дырку. Было бы странно пытаться прощаться с этим странным созданием моего переутомленного и больного мозга, и, осторожно развернувшись, я медленно пошел в сторону машины. Каждый шаг требовал усилия, и казалось, что я ступаю не на асфальт, а на рыхлую и толстую перину. Да, сказал

я себе, то, что произошло со мной, пугает меня больше, чем пугала бы любая обычная болезнь, но ради Анюты и ребенка я смогу справиться и с этим; душевные болезни тоже излечимы. Я решил ничего ей не рассказывать, а завтра утром вместо работы пойти к врачу – на этот раз психиатру.

Становилось все холоднее, и неожиданно я почувствовал парализующую внутреннюю тишину; голос, которым я говорил с собой, с Аней, с психологом, с родителями, друзьями, коллегами, исчез. И снова, как и тогда со стариком-галлюцинацией, на долю секунды мне показалось, что эта тишина когда-то была со мной, что я возвращаюсь туда, где я был дома; небо, еще чуть серое и не вполне ночное, наполнилось прозрачным покоем. Но последним усилием воли я заставил себя избавиться от этого приступа самообмана и сказать себе правду, «да, я болен»; а потом, все дальше погружаясь в тишину внутренней пустоты и безнадежности, я снова сказал себе, что эта болезнь излечима, главное ее не запускать. Я шел медленно, чуть покачиваясь, преодолевая слабость тела, инерцию потрясения и удушающую тяжесть безнадежности; мимо меня катились черные волны безлицых шляп, и лицо старика с клочковатой желтой бородой не отпускало меня. Мне не хотелось быть на виду, и я отправился к машине в обход, улочками и темными переулками; казалось, что небо уже совсем рядом и своим черным маслянистым сводом касается нищих домов и дырявых черепичных крыш. Мир, к которому я теперь принадлежал только наполовину, разошелся в стороны, оставляя меня в пустоте, как бы на полпути к низкому ночному небу. Это, наверное, вкус прощания, подумал я, и неожиданно почувствовал, что счастлив, как не был уже много лет.

8

Как это часто бывало и в прошлом, к утру я успокоился и начал смотреть на многие вещи значительно более трезво; вероятность того, что вчерашний старик был галлюцинацией, была крайне велика, но я все же не мог сказать, что полностью в этом уверен. Возможно, что старик был вполне реальный, а галлюцинацией были только его слова – и если так, то это возвращало меня к проблеме кратких слуховых галлюцинаций, с существованием которых я уже смирился; разумеется, их едва ли можно было счесть поводом для особой радости, но они также не были причиной для того, чтобы немедленно бежать к психиатру и требовать госпитализации; было значительно более разумным успокоиться, постараться следовать советам моего психолога и внимательно понаблюдать за собой. Так я и решил, тем более что, в любом случае, неделя уже кончалась.

В субботу к нам должны были прийти друзья, не самые близкие, но и не совсем посторонние люди; в любом случае, с женской половиной этой пары Аня училась еще до того, как мы с ней познакомились. В пятницу утром я был отправлен в магазин с длиннющим списком; потом Аня взялась

готовить, а мне была поручена уборка. В обычной ситуации я бы предпочел компьютер, но теперь, помня о принятом решении и все еще под влиянием определенного чувства вины, я взялся пылесосить ковер и мыть полы в квартире и на балконе; потом поиграл с Иланкой. За делами день прошел незаметно, а вечером я еще потратил пару часов на свои профессиональные книги; действительно, если заниматься делом, подумал я, то на «Хироуз» времени и не должно оставаться. На следующий день Аня закончила готовку, а потом довольно долго одевалась к приходу гостей; «правда, я красивая», сказала она; и, вспомнив о принятом решении, я постарался согласиться как можно более красноречиво, не ограничиваясь простым кивком или обычным «правда, котенкин». Она с благодарностью посмотрела на меня; «но ведь ты же не собираешься встречать гостей в этом свитере», сказала она; «ну», ответил я, не зная, как сказать, что именно это я и собирался сделать. «Если ты его еще раз оденешь куда бы то ни было, кроме леса, я с тобой разведусь». «В таких свитерах», добавила она, «ходят только румынские рабочие». Я переоделся.

Наши гости пришли почти вовремя, опоздав на двадцать или двадцать пять минут; Аня показала гостям Иланку («мы та-ак выросли»), наш новый буфет («ну, естественно, много нового; вы у нас когда последний раз были?»), и сели обедать в салоне. Раньше меня удивлял тот факт, что субботний визит наших ровесников должен сопровождаться обеденным ритуалом, но, как выяснилось, так было заведено в Анином доме, и я уже давно перестал спорить; но теперь я наконец-то понял, как много в этом хорошего. Накрытый стол создавал особое праздничное настроение, превращая случайный разговор в яркое и приятное событие, позволял красиво и элегантно одеться, уйти из плена бесцветной и наскучившей рутины; Аня говорила, что нормальный и хорошо воспитанный человек испытывает от состоявшегося обеда те же чувства, что и от посещения спектакля или концерта: в элегантной одежде и обуви, среди хорошо одетых, ухоженных и праздничных людей. «Ты же понимаешь», сказал она как-то, «музыку можно послушать и в ватнике; но концертом это называться не будет». Мы сели за стол, и наши гости заговорили о том, как выросла и похорошела Иланка.

– Мы теперь такие любознательные, – сказала Аня, – мы тут уже медведя разобрали, а потом компьютер пытались разобрать. А какой у нас характер; как мы кричим, когда нам что-нибудь не нравится.

Что касается компьютера, это было для меня новостью, если бы он сломался, это бы создало для меня массу проблем; но на самом деле, зная любовное и заботливое отношение Ани к нашим домашним вещам, я мог не беспокоиться; разобрать компьютер она бы не позволила даже Иланке. Так что я снова вернулся к нашим гостям.

– Да, – сказал я, – по характеру она у нас индивидуалист. Живет своей жизнью и не очень стремится под нас подстраиваться.

– И уже создает себе дом, – добавила Аня, – если ей что-то попадает в руки, то отобрать это потом невозможно. Совершенно не коммунистичес-

кий ребенок. Она видела, что, когда любимая мамочка ходит с телефонной трубкой, ей достается меньше внимания, так она стала требовать трубку себе и не успокоилась, пока мы не отдали ей весь телефон. Теперь он живет у нее в кровати.

– А еще, – сказала Аня чуть позже, отвечая на их вопросы, – она хочет себе свой собственный телевизор; похоже, придется ей купить.

– Такой подарок ребенку, – добавил я, – мы уже вполне можем себе позволить; главное его закрепить болтами, чтобы она его на себя не свалила. Так что если захочет, будет смотреть «Покемонов» на своем собственном телевизоре.

– А сколько у нее игрушек, – продолжила Аня, на минуту вставая из-за стола, – как мы их любим; мы сейчас спим, а потом мы проснемся, и мы все пойдем на них смотреть.

Естественно, нашим гостям эта идея очень понравилась.

– Не произносите это имя в моем доме, – закричала Аня уже из кухни, – никакого Спока на расстоянии меньше километра от моего ребенка.

– Мы просто считаем, – объяснил я, – что ребенок должен чувствовать себя достаточно комфортно. И при наших нынешних деньгах мы уже вполне можем это позволить. Да и если вдруг нам захочется поэкономить, экономить можно на чем угодно, но никак не на детях.

– А какого мы зайца привезли из командировки на Тайвань, – добавила Аня, возвращаясь из кухни, – он и ходит, и разговаривает. Так что, Тайвань это не только ценный мех, в смысле сверхурочные за 24 часа, но и полтора метра почти живого зайца.

– Я бы привез и больше, но его бы не взяли в багаж.

Проходя мимо, она обняла меня и поцеловала.

– Ну, естественно, – ответила она им, – при ее-то заработках и сбежавшем муже. Но я все равно ее очень уважаю, она даже в такой ситуации ставит себе цели и их достигает; просто она разделила все вокруг на главное и второстепенное и главным жертвовать не готова.

– А кто это вообще? – спросил я.

Аня недовольно посмотрела на меня.

– Ну работала со мной одна женщина. Мне она как раз нравилась, но ее многие не любили, особенно ивритянки, из тех, которым папа купил квартиру за двести тысяч. Двести тысяч, и не то чтобы бог весть какой дворец, просто за место, поскольку они тут, видите ли, выросли; это же вообще ни с чем никак не соотносится. У них как-то головы иначе устроены.

– Да, – добавил я, – наша фирма тут организовала фонтан прямо в коридоре и купила мебель с какими-то невероятными наворотами. Кому это нужно – непонятно.

– Ну кто бы говорил, – возразила им Аня, – он сам такое покупает, что мне дурно становится; по части дорогих и бездарных покупок мы заткнем за пояс любую ивритскую фирму.

– И что именно я купил? – спросил я изумленно.

– Ты хочешь, чтобы я перечислила? А также то, что взялся чинить, и оно до сих пор разобрано, что ты просто сломал, и то, что ты потерял? Я уж не говорю про то, что одежда на тебе просто горит.

– Ну и что я потерял, – спросил я еще раз, несмотря на крайне недовольный взгляд, брошенный Аней в сторону наших гостей. Но мне не нравилось, что они постоянно переводят разговор на себя, и, к тому же, мне действительно захотелось узнать, что именно я потерял.

– Ну, например, неделю назад ты чуть было не оставил в гостях кошелек и ключи, и оставил бы, если бы я тебе не напомнила. Если бы не я, мы бы и вообще разорились.

– Чуть было не оставил, – уточнил я, стараясь перевести все в шутку.

– А зонтик, который я купила для тебя в Париже; это я его потеряла? Я уж не говорю про то, что ты картинку на стенку нормально повесить не можешь.

Это была уже и совсем неправда, но я знал, что Анина мама так всегда говорит об Анином папе, промолчал и посмотрел на гостей. Впрочем, зонтик я действительно потерял, хотя и больше двух лет назад.

– Я уж не говорю о том, – ответила им Аня, – сколь умные вещи он изрекает в ювелирных магазинах; если рядом есть люди, мне за него просто стыдно, как будто он вырос в семье, где не было ни одного украшения.

Я снова решил промолчать.

– А я люблю, – возразила Аня, – без ресторанов и украшений жизнь была бы совсем бесцветной. И интеллигентный человек должен и в том, и в другом разбираться. Но в нашем случае это не страшно, я вполне разбираюсь за двоих. Хотите посмотреть, что мы купили для меня, когда ездили в Эйлат в последний раз? Чудесная вещь в старинном стиле.

И она принесла из нашей спальни ту чудовищную золотую побрякушку довольно грубой работы, которую ей действительно продали в одном из эйлатских ювелирных магазинов. Впрочем, я и правда мало что в этом понимал и, очень может быть, был пристрастен: но обошлась она нам недешево. Я с тревогой посмотрел на наших гостей, но им наше приобретение явно понравилось, и я подумал, что Анин выбор был совсем не так плох, как мне тогда показалось.

Через некоторое время мы попрощались, они ушли, и я стал помогать ей убирать салон: унес остатки посуды и еды на кухню, сложил скатерть, отодвинул стол в угол. «Они все-таки необыкновенно славные», сказала Аня, «хотя и немного провинциальные»; и то, и другое было правдой, и я согласился. Я попытался ее обнять, но она выскользнула из моих рук, недовольно посмотрела и ушла на кухню. Потом она немного повозилась с Иланкой, тем временем окончательно стемнело; мы уложили Иланку спать, и Аня сказала, что «совсем мертвая»; я снова попытался ее немного растормошить, но она ушла в спальню и сразу же уснула. У меня испортилось настроение, я походил по квартире и вышел на улицу. Пройдя мимо наших домов, я направился в сторону высокого «археологического» холма с детской площадкой и какими-то древними камнями, поднялся на него и, сев на

остатки каменной изгороди, стал слушать, как вечерний ветер шелестит в ветвях и скользит по крышам. Пустыня окружила меня спасительным покрывалом, тканью холода, дыханием ночи, сыпью дальних огней. Горечь, удушающая безнадежность и пульсирующая боль одиночества поднялись от земли и окружили меня; мне захотелось заплакать, узкий месяц висел совсем низко, освещая землю.

Я знал, что в такие моменты нельзя оставаться один на один с подступающей пустотой; и мне пришло в голову, что было бы хорошо снова побывать в том месте, где столь настойчиво и неотвратимо на меня обрушились невидимые голоса этого страшного города. Я вернулся к дому, сел в машину и поехал в сторону госпиталя Нотр-Дам и улицы Пророков; припарковался как можно дальше от того места, где я был тогда – чтобы не нарушить его покой, – и медленно двинулся в его сторону, осторожно петляя среди домов. Но было тихо; сколько я ни вслушивался в колыхание ночного воздуха, я не мог разобрать ничего, кроме шелеста ветра, скрипов, дальних шагов, нескольких слов, произнесенных у открытого окна. Мимо меня, выплывая из темноты и исчезая в ней, скользили арки, двери, решетки, каменные наличники, черепичные крыши. Но неожиданно отчаяние, сомнения и усталость последних недель взяли свое, и мне снова, как и тогда, стало казаться, что я окружен тенями домов, смыкающимися при каждом моем шаге; они заглядывали в лицо и пытались прикоснуться ко мне. Темнота, нет, не расступилась, но както побелела, вылиняла, и на сером фоне ночи я уже видел не только фигуры, но и лица, даже глаза. Голоса снова появились, но, не успев возникнуть, почти сразу отступили на второй план, к кулисам, обрамляя видимое.

Тени скользили и метались между домами, приближаясь ко мне и снова исчезая; среди них были и те, что приветствовали меня, и те, что в ужасе убегали, и такие, кто оставался равнодушным; на мгновение воздух наполнился пляшущими огоньками, потом все стихло. У тяжелого красноватого дома, к которому сходились три переулка, стояли несколько стариков с длинными клочковатыми бородами, казалось, что они возвращаются с потаенной, невозможной в это время молитвы; сидя на низких ступеньках, мне ухмыльнулся одноглазый нищий, а чуть дальше молодая женщина в парике и длинном платье с рукавами до самых ладоней показала на себя и предложила войти; я ускорил шаг, и два ешиботника с белыми неподвижными лицами молча положили мне руки на плечи. Уже с трудом понимая, что я делаю, я вырвался и бросился бежать, споткнулся, подвернул ногу, упал на камни тротуара; девочка, удивительно похожая на кого-то из тех, кого я не мог вспомнить, взяла меня за руку и повела к тому переулку, где я когда-то встретил исчезнувшего человека в черной шляпе. Он помахал мне рукой, заулыбался, показал на плечи и позвал за собой. Я снова вырвался и вернулся к машине; на следующий день, уже рано утром, я был у психиатра. Секретарша сказала мне, что на ближайшую неделю запись закрыта; но это уже не имело значения, церемонии остались в мире, к которому я теперь принадлежал только отчасти.

9

Мне трудно вспомнить первые дни; дело даже не в том, что все было как-то по-новому, неожиданно и пугающе, как будто оттолкнувшись от своего привычного течения, время соскользнуло в какую-то иную плоскость, где линия горизонта уже не скрыта за рваным контуром крыш; так бывает, когда выходишь на берег моря и ложишься на теплый белый песок. Но в эти дни утро сомкнулось с вечером, а вечер с темнотою безвременья, и я понял, что имеют в виду, когда говорят «лежал лицом к стене»; я пытался вспоминать и думать, но мысли сливались друг с другом, и наутро я уже не мог их вернуть, я шел по земле, вымощенной пеплом. Я помню, что ко мне приходили врачи, и еще я рассматривал свою палату, где все было из небьющегося пластика, а потом меня перевели в другое здание, и недалеко от моей комнаты я обнаружил большой белый холл со страшными искаженными лицами. Они постоянно пытались со мной говорить, путано, неясно и многословно, и я перестал там появляться. Чуть позже мне позволили выходить гулять в маленький дворик с высокой каменной стеной позади дома. Я садился на скамейку и смотрел на цветущий куст, имени которого не знал; «я прожил в этой стране столько лет», удивлялся я, «но так и не узнал, как называются ее деревья». Я попросил книгу по ботанике, но мне отказали. «Пока», сказал врач, «вам вредно запоминать новое; вы же и так говорите, что слишком многое забыли».

Несколько раз ко мне приходила Аня, потом принесла какие-то бумаги, связанные со страховкой; я подписал не глядя, впрочем, удивившись, что подпись сумасшедшего может иметь юридическую силу, но ее адвокату было виднее. Я спросил, как Иланка, но она сказала, что ее-то я уж точно больше не увижу; «Я всегда знала, что ты так кончишь», сказала она, «ты бы хоть обо мне подумал; муж в психушке, мне же теперь людям стыдно на глаза показаться». Она добавила, что, тем не менее, не поступит со мной так подло, как я поступил с ней, и не станет разводиться, пока я болен; «вот выйдешь отсюда, тогда и разведемся». «Ты шлемазл и ничтожество», сказала она со слезами уже в дверях, «ты растоптал мою жизнь». Тогда я подумал, что это был обычный женский всплеск чувств; если она решила не разводиться, это значит, что она любит меня и будет приходить ко мне. Но она больше не приходила, и мне неожиданно пришло в голову, что если она разведется, то потеряет страховой полис по нетрудоспособности кормильца и, по всей вероятности, еще и какое-нибудь пособие от Службы национального страхования. Но это объяснение существовало в каком-то ином пространстве, нигде не пересекаясь с Аней, такой, какой я ее помнил; и чем больше я убеждался в его правильности, тем труднее мне становилось совмещать их в едином течении мысли. Несколько дней память об Ане стучала в мозгу, сливаясь с удушающим чувством безнадежности и шумом крови в ушах; мне не хватало ее так, как может не хватать руки или ноги; потом все замерло.

Постепенно мысль об Ане как-то вылиняла и истончилась, и я неожиданно понял, что очень рад, что она больше не приходит; и я сам, думающий о ней, стал внушать себе отвращение. Иногда я вспоминал ее лицо и ее слова, и мне хотелось бежать от них; или точнее – мне хотелось откусить эти воспоминания, как язык, и выплюнуть в лицо этой жизни. И все же я постепенно ощутил, как серое безумие ее мира высветилось, сжалось и отступило. И тогда я стал вспоминать ту неожиданную судорогу узнавания, дрожание раннего утра, когда я впервые встретил этого странного нищего старика, воплощенный образ моей болезни, и мне показалось, что стоит протянуть руку, и я коснусь давно утерянного, знакомого и домашнего, наполненного прозрачным пустынным светом; и я опять увидел его узкое холодное лицо в обрамлении рваной желтой бороды. Всполохи памяти разбивались о берег привычного, как тяжелые морские волны. Я снова начал рассказывать себе историю, но впервые за много лет она не касалась Ани и будущего. Я представил, что в то утро я бы последовал за ним и мы поехали в город; улицы были бы почти пусты. Полусонные торговцы разгружали коробки, возились у дверей и мыли стекла еще безлюдных лавок; немногочисленные прохожие безучастно поглядывали на витрины, дворники дометали вчерашний мусор. Иерусалим, еще вчера привычный и домашний, теплый и суетливый, отступал в холодном утреннем свете, и эта отчужденная и отчуждающая белизна передавалась домам, плиткам тротуаров, асфальту, прохожим; в ней было абсолютное надчеловеческое равнодушие, разрывающее необратимость времени, заглушающее неизбывность и непреложность памяти, рвущее ту иллюзорную серебристую нить, которая превращает Иерусалим в город на карте, отмеченный красной туристской амфорой, но и снимающее с него тонкий шелковый саван быта.

Рыночные торговцы открывали грязные ржавые двери лавок с обрывками предвыборных плакатов, разгружали картонные коробки с овощами, раскладывали их на прилавках, рядами или амфитеатром, кричали, пересказывали новости, переругивались. Лейб Сорес молчал, и я бы молча шел за ним. Я представлял себе, как, петляя по переулкам, мы проходили мимо неказистых двухэтажных фасадов, и после пятого или шестого поворота Лейб Сорес достал бы из кармана ключи, и, подойдя к низкому двухэтажному дому грубой кладки с выпуклыми наличниками из странного, чуть красноватого, камня, мы поднялись по сбитым ступеням, и он позвал меня внутрь. В комнате, в которую он бы меня провел, не было ничего, кроме низких кресел и книжного шкафа. Он бы указал мне на кресло, стоящее спиной к шкафу, и я вынужден был бы сесть, не рассмотрев ничего, кроме одного из томов книги «Сияния» и «Книги тайн ангела Разиэля». «Я не понимаю, зачем вы меня позвали», сказал бы я, «мне нечего вам сказать, я просто смотрел на утреннюю пустыню». Но Лейб Сорес не ответил, и мне бы пришлось продолжать. «Сегодня утром была хорошая погода», продолжил бы я, «и я решил пойти погулять перед работой»; но он, разумеется, не ответил бы и на это. «Зачем же вы позвали меня, зачем вы заставляете ме-

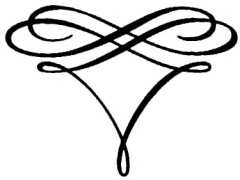
ня говорить?», но он молчал, и я тоже умолк. Мы сидели молча в низких бархатных креслах с гнутыми резными подлокотниками, шелестел дождь, и в камине тихо шуршал огонь.

А ночью мне снова приснился мой сон. Небесная дорога в тумане, падение, упругое касание земли и ржание коней; я снова увидел маленькую каменную площадку, серебристый склон и всадников, скользящих мимо меня; у нескольких из них были копья, пристегнутые к седлам, еще у двух я увидел за спиной сложенные крылья. Впереди меня всадник в сером плаще, чье лицо я так и не смог рассмотреть, поднял голову и начал выкрикивать имена: «Сериэль, Баракиэль, Армарос, Иза, Самсовель, Азаэль, Эзекеэль, Аракиэль, Уза, Кокабель...»; мы пришпорили лошадей и стали медленно спускаться по крутому горному склону. В разрывах тумана, неясным и обманчивым видением, вспыхивали и исчезали долины; красной кровавой полосой медленно восходило солнце. Спустившись чуть ниже, я уже смог разглядеть глиняные домики, каменные изгороди, поля, крестьян, пашущих на волах, женщин, идущих за водой, группу всадников, скачущих по размытой дороге; внизу на юге синело огромное озеро, обрамленное низкими безлесными горами, а вдали на западе, почти сливаясь с горизонтом, лежало море. Но я знал, что это всего лишь картинка, смысл которой еще не был мне ясен. И тогда я попытался прислушаться к голосам этой земли, но не смог разобрать ее слов; я услышал крики боли, смех, плач, проклятья и стоны, похожие на вой зверей. Я неожиданно почувствовал холод воздуха, и у меня перехватило дыхание, сердце забилось быстро, настойчиво и чуть неровно – от ожидания и предчувствия неизвестного; солнце порыжело, наполнилось пламенем, оторвалось от линии горизонта. Еще несколько шагов, и я увидел, что туман кончается, и земля, юная, бесформенная, уродливая и влекущая, лежит перед нами. Серый всадник поднял руку, и мы стали разъезжаться в разные стороны: к морю, в долины, к дальним горам; мне неожиданно стало страшно. «Шемхазай», закричал я; но, не поворачиваясь, он покачал головой и пришпорил коня. Я попытался догнать его, потом передумал, выбрал дорогу к морю и проснулся.

Проснувшись, я понял, что мне не хочется вставать; было тепло и уютно, белые стены комнаты чуть светились, рыжие пятна утреннего солнца лежали на полу, на столике, на книгах, на противоположной стене. Мне показалось, что груз неизвестности, неуверенности, несделанных дел, переживаний и страхов, который я носил в себе уже многие годы, куда-то исчез – так, вероятно, ощущает себя усталая лошадь, неожиданно чувствующая слепящий прилив легкости и обнаруживающая, чуть позже, что ее всадник лежит на дне пропасти с проломленной головой. Но потом я все-таки встал, вымылся и вышел во дворик, там еще никого не было; я сел на скамейку, подогнул ноги, стал снова рассматривать беленую каменную стену и растущий около нее безымянный куст, покрытый цветами. «К вам пришли», сказала сестра, выходя во дворик; это был Саша, он иногда приносил мне книги; сел прямо на траву рядом со мной. «Прости, что я в такую рань»,

сказал он; потом подумал и добавил: «А ты хорошо выглядишь». «Ты не знаешь, что это за куст?», спросил я; «олеандр», ответил он, и мы снова замолчали. На следующий день он пришел снова. «Ты знаешь», сказал он, «у меня есть одна твоя вещь. Тетя перед смертью просила тебе передать; она хотела, чтобы у тебя что-нибудь было в память о ней. А я, вот видишь, так и не передал». «Ты свинья», сказал я. «Свинья», согласился он, «но мне не хотелось, чтобы тетины вещи были в доме у этой женщины».

Я любил сидеть в больничном дворике: читать, думать или просто смотреть на то, как медленно исчезает солнце и глубокие вечерние тени ложатся на кусты. Покой окружал меня тонким воздушным покрывалом, и даже голоса прохожих, доносившиеся с той стороны стены, уже не могли нарушить прозрачной внутренней тишины. «Вы ничего не делаете, чтобы выздороветь», с упреком сказал мне как-то врач, «неужели вам не хочется выйти на свободу». «Я знаю», ответил я, «что как врач вы не будете рады такому комплименту, но нигде и никогда я не чувствовал себя свободнее, чем у вас». Мне захотелось сказать ему, что комната с белыми стенами и прямыми полосами солнца, садик со скамейкой, высоким каменным забором и кустом олеандра – это гораздо больше, чем нужно человеку в этой жизни; и что, в любом случае, мы оба скоро сменим все это на полтора квадратных метра сухой южной земли. Я промолчал, но не потому, что думал, что врач не поймет меня; просто к тому времени я уже знал, что каждый сам выбирает свое безумие, и мне не следует навязывать ему мое. «Да для меня и нет другого места на этой земле», добавил я. Теплый летний воздух кружился по нашему дворику легко и размеренно, ветер шуршал в кустах, и длинные тени лежали у моих ног. «Я не хочу никуда отсюда уходить», сказал я себе, «я уже вернулся». Над моей головой тихо шелестел кипарис, кружились мошки, стрекотали цикады, вечернее солнце касалось моих рук своими длинными и нежными лучами.



Марьян Беленький

ПРОРОК

Хорошенькое занятие вы себе придумали, мосье пророк, – бегать по улицам и сообщать всем о том, что наш город скоро постигнет большое несчастье. Вам кто-нибудь, я, конечно, извиняюсь, за это сообщение дал пять копеек? У вас же даже среди городских нищих плохая репутация. Послушайте умного человека – вы, с вашими способностями, могли бы прославлять нашего замечательного правителя и иметь себе с этого хороший кусок хлеба с маслом. Нет, так вы нашли себе ниврокy цурес на свою голову. Вы не получаете зарплату, носитесь по городу и терпите проклятия за свой счет. Хорошенькое дело!

А вы спрашивали людей – ваши пророчества их интересуют или нет? Ну хорошо. Допустим, вы правы, мосье пророк. Так что нам, по-вашему, надо делать? Бегать из угла в угол и рвать волосы на заднице? А потом, когда несчастье таки да, не дай Бог, случится, залечь на диван носом к стенке и всю оставшуюся жизнь проклинать себя: «Ах, какой я был дурак, что не ценил то, что имел?» Аз ох унд вей, мосье пророк. Может, вы, с вашими пророчествами, и войдете с голой задницей в историю, но меня, простите, это не устраивает.

Я скажу вам честно: я – ваш коллега. Я, конечно, не такой знаменитый, про меня не будут писать в учебниках. Я тоже немножечко предсказываю людям будущее и кормлю с этого семью, дай ей Бог здоровья. Но я же, из-

Марьян Беленький – писатель, журналист, переводчик с иврита, автор текстов для Г. Хазанова и К. Новиковой, в свое время печатался в «Правде», «Огоньке» и «Литгазете», автор множества публикаций на русском языке и иврите. Живет в Израиле.

вините, не бегаю по улицам с высунутым языком и не говорю людям гадостей. Я предсказываю клиентам повышение зарплаты, выигрыши в лотерее, шикарные похороны тещи, разорение конкурентов. И у меня постоянно очередь. Ну так про меня не будут писать стихи великие поэты, я это как-нибудь переживу. А вы, с вашей славой в грядущих поколениях, по-моему, немножечко сильно хочете кушать. А я говорю – нет, таки да! Ай, бросьте, я же по глазам вижу, что вы голодный, как тамбовский волк. Садитесь, мосье пророк, выпивайте и закусывайте – я угощаю – и не берите себе в голову. А! Ну и видик у вас! И в этих рваных штанах вы собираетесь спасать человечество? Ну-ну! Ай, не надо мне рассказывать – что я, спасителей человечества не видел? У нас в горбольнице их целая палата. И у каждого – свой рецепт: кого бить, кого спасать. Вы бы, прежде чем человечество спасать, подумали, что вы завтра будете кушать.

Ну так я не знаю, что будет завтра – война или землетрясение, так что я сегодня буду портить себе аппетит? А если вы таки очень умный, дай вам Бог, завтра войны не будет, так что ж, мы, выходит, зря переживали и портили себе нервную систему? Возьмите икорки, мосье пророк, бо я вижу, что с ваших пророческих заработков вы себе такой не купите. Возьмите с собой, не стесняйтесь, вам же целый день еще бегать по городу. Вы будете смеяться, мосье пророк, но я вам скажу, извините, чтоб я вас имел за умного человека, так нет. Умный человек должен прежде всего себя и семью прокормить. А если он создает гениальные (как он себе положил в голову) шедевры на века, сидя в рваных штанах посреди бардака и грязи и грызя черствый сухарь, так я еще сильно сомневаюсь, что у него таки да получится что-нибудь стоящее. Может, я неправ, мосье пророк, и грядущие поколения не будут мучиться в школах, заучивая мои великие пророчества на память. Но, допустим, вы окажетесь правы, и наш город действительно... не будем об этом говорить. Так вам сильно полегчает от сознания, что вы были правы? Ну-ну.

Послушайте умного человека, мосье пророк. Выпейте, закусите, а потом мы с вами поедем в одно место – там девочки мертвого на ноги поставят...

Что? Что вы сказали, мосье пророк? Здесь, в моем доме, случится пожар? Вон, отсюда, идиот!

Авторский перевод с иврита

Илья Армановский

ДНЕВНИК ДОБРОВОЛЬЦА

Шомрон, поселение «Гершон» Израиль, май 2002 года

Шесть солдат и офицер, охраняющие еврейское религиозное поселение в Самарии (Себастии). Несколько караванов (вагончиков) даже трудно назвать поселением. Три года назад пришел сюда человек по имени Гершон и решил, что останется здесь. Он выстроил дом с башней, привез свою семью и каждую ночь, ветреную, ее охранял. Отчаянный, но убежденный, в окружении недружелюбных арабских деревень, расположенных на соседних холмах. И вот со временем уже новые семьи присоединяются к Гершону, и поселение расширяется. Теперь несем охрану мы – шесть солдат и один офицер: днем четыре часа, ночью шесть часов.

Я демобилизовался семь лет назад, с тех пор не пришлось мне служить на сборах – то учеба, то работа... Теперь же жажда нового материала и впечатлений привела меня добровольцем в поселение Гершона. Мне даже захотелось стать просто безымянным солдатом, одним из тех, кто защищает и погибает... Я даже иногда завидовал тем, кто пал от пули, намеренной или случайной. Прибыв в место нашего расположения и увидев красоту древней библейской природы, мне, конечно, захотелось выжить, чтобы передать эту красоту – суровую, достойную... и я почувствовал: *жизнь и смерть идут рядом, рука об руку, смерть обыденна...*

Я начал с малого, с изображения предмета, живого, молчаливого участника событий. Вещмешок и автомат, прибор ночного видения и бронежилет...

Вчера днем один из солдат заметил фигуры на склоне холма. Был вызван наряд, я присоединился к ним, чтобы спуститься вниз по склону, про-

Илья Армановский – художник-монументалист, участник ряда международных выставок, автор статей в журнале «Наука и религия». Живет в Израиле.

чесать территорию. Камни, темно-красная земля, репей... В броне идти не просто по такой местности, старался изо всех сил.

Библейский пейзаж, пасторальный, философский, навевающий мысли, причудливый... Ночью вся эта красота превращается в черную пустыню, и только огни поселений вырываются из общей черноты. Наше поселение даже не огорожено забором, отчего чувствуешь себя совсем незащищенным... Полоса света от фонарей перед нами, за ней – мертвая зона до следующего поселения... Человек, пришедший из темноты и попавший в полосу света, должен быть уничтожен. Это знает каждый из нас. Даже рассматривая окрестности в прибор ночного видения, не чувствую себя в безопасности, нет, это не *страх*, но погружение в дело обычное. Я сам выбрал эту действительность, поэтому чувствую себя необходимым человеком.

6.05.02. Громадного Цука (нашего офицера) заменил худощавый Ицик. Я вспоминаю. Что самым трудным было для меня, так это первое ночное дежурство. Кто-то заметил движущиеся фигуры в ночи. Начались поиски, несколько часов взлетали ракеты, освещавшие черное, окутывающее нас пространство. На утреннем дежурстве Ицик мне сказал, что караван наш расположен неудачно – в середине холма, в то время как должен быть на его вершине, чтобы господствовать над высотой. Днем же один караульный не может проследить за всем окружающим пространством. Гершон держит овчарку, помогающую нам в ночное время в карауле. Кроме этого, приезжает танк к нам на несколько ночных часов. Фантазия рисует мне нападение и стрельбу. На стрельбище я попал на следующий день после призыва, первая попытка была малоудачной (все-таки я семь лет не стрелял). Мне подправили мушку, и в следующий раз я стрелял намного лучше, кучнее.

Рядом проходила дорога на Шхем, грузовики с грузами выстроились перед контрольным пунктом. В это время шла военная операция, и все знали, что Шхем, как и другие палестинские города, блокирован. Как же можно пропускать огромные грузовые колонны? «Иди пойми это государство!» – в сердцах сказал мой напарник.

Ночь с 8-го на 9-е мая. В 23 часа получено сообщение о готовящемся нападении банды. Группы. С этого момента все заступают в караул автоматически. Офицер распределяет нас по постам. Хорошо, что нас поддерживает танк. Ночью становится холодно, туман наступает стремительно, рваными облаками застилая все. Сигнальные ракеты, шипя, взмывают в небо. Танкисты стреляют предупреждающими очередями из пулемета. Мы их поддерживаем стрельбой по команде офицера. Приближается вертолет, я пытаюсь разглядеть его в прибор, не получается. Связь работает беспрерывно, шипя, отрывисто, настойчиво... Связист требует сигнальных ракет, ругается, что не подвезли вовремя. Наконец, приходит наша очередь посылать сигнальную ракету, солдат втыкает в землю миномет, вверху над нами провода фонарей, он направляет миномет вперед, звучит залп, и вскоре взлетевшая ракета освещает скалу перед нами... Мы снова стреляем... Утром офицер сказал, что обстановка напомнила ему ливанскую войну, однако это был не Ливан, а Шомрон. Офицер меня спросил: «Ты

доволен службой? Будет, о чем в России рассказать?» А я подумал, что именно чувство сопричастности дало возможность мне надеть форму и взять оружие в руки. Чувство сопричастности народу Книги, избранному народу! Я взял с собою планшеты для рисунков, краски, банки для колеров. Военная действительность оказалась строже к моему творческому режиму, но я все равно нашел время для зарисовок и фотосъемки, в перерывах между караулом и сном, отдыхом.

Ночь с 9-го на 10-е. Примерно в 23:00 новое сообщение о группе террористов в нашем районе. Поднимаемся и занимаем посты. История повторяется, но уже с меньшим размахом. Снова сигнальные ракеты, снова огонь в темноту. Танк приезжает примерно к часу ночи. Слышен самолет, разбрасывающий сигнальные огни, и очереди наших автоматов – в темноту...

Овчарка Гершона родила восемь щенков. Она не удовольствовалась той пищей, что мы ей предлагали, и стала охотиться на кур Гершона. Вскоре куры остались в меньшинстве и без петуха, опекавшего их и будившего нас.

И вот наступила тишина, опасная, звенящая, беспокойная. У Гершона красивая жена, я попытался запомнить длинный покрой ее темно-синих одежд, звериный орнамент на платье, темную косынку, покрывающую голову, и, конечно, черты лица – удлиненного, клиновидного. Я попытался запомнить ее стройную фигуру, сандалии, скрытые в складках платья, спускавшегося до земли, движения крепких рук ее, несущих рыжего младенца. Все это попытался изобразить я в своих работах нового библейского цикла.

Моя форма – это моя кожа, штурмовая винтовка – моя третья рука! Погружаясь в здешнюю обстановку, я совсем не мог писать, необходимо было запомнить и обязательно написать позже. Ночью, в карауле, мы навестили танкистов, они угостили нас кофе и пирогом. Говорили о надвигающейся новой военной кампании в секторе Газа, а это будет похлеще, чем Дженин и Рамалла. (По)страшнее.

Говорили о том, что нет, к сожалению, в Израиле сильного, волевого руководителя. Я вспомнил, что за день до этого ночного разговора состоялся у меня разговор с одним из сподвижников Гершона, и я его спросил: «Скажи, Нахшон, ты человек религиозный и убежденный, как узнать еврейского Мессию? Как ощутить, что Он пришел?..» Он ответил: «Если он государь, могущественный, если он объединяет Израиль, а не дробит его, если он собирает колена Израилевы со всех концов света и если, наконец, он строит храм Господень, значит, он и есть Мессия!»

11.05.02. Пятничное солнце заходит за горизонт, и, значит, наступает вечер субботы, время вечерней трапезы. Целый день я боролся со сном, но уснуть не смог в душном караване. Ариэль (один из солдат) приготовил роскошный ужин. Глубокие сумерки спустились на самарийские горы, когда мы сели за праздничный стол, Арик наполнил кубок вином, покрыл голову бело-голубым маген-давидом и прочитал (наскоро) субботнюю молитву. Кубок с вином пошел по кругу.

Но не успели мы окончить ужин, как вновь по рации объявлена была повышенная боевая готовность. Вбегаю в комнату, надеваю бронежилет,

каску, беру винтовку, рюкзак с магазинами... Уже не удивляюсь слаженным движениям, все сходится на мне!

Ночью наш караул посетил один из поселенцев по имени Моше (брат Гершона). Он говорит: «Если бы такое поселение, как наше, находилось бы в полосе Газы, не выстояло бы и двух часов под огнем врага!» И пошел разговор, превращавшийся в спор: какими быть и как жить под здешним близким небом?

12.05.02. Ариэль разбудил меня на полчаса позже (на караул). Пожалел. Пока наша смена спала, продолжались поиски террористов, как только я встал, раздались выстрелы, я выскочил по направлению к постам, откуда стреляли. Два джипа стояли на краю дороги, группа резервистов прочесывала местность, точно по-нашему прошлому маршруту. Там внизу арабская деревня Юсуф (Иосиф), от которой всего можно ожидать, тем более что оттуда, с крыш, следили за нами.

Утренний туман застилал подножия вершин. Когда мы услышали, как те, что были в разведке, вновь открыли огонь, я поймал себя на том, что не могу разглядеть ни одного солдата, скрывавшегося за оливковыми деревьями. Потом стал различать, но сходство зеленых солдат и зеленых оливковых деревьев было потрясающим!

Вчера прибыл к нам новый офицер, сменивший Ицика. Вечером он провел инструктаж, рассказал о местности, о том, какими силами мы располагаем, уточнил посты и место каждого в случае тревоги. Предупредил, чтобы в ночное время не выходили на открытую часть дороги, чтобы не стать мишенью.

Утром начались у меня боли в животе, и я подумал, что солдатская пища, такая привлекательная и вкусная, все же не всегда мне полезна.

Софи (овчарка) ранним утром задрала очередную несушку, а я успел ее заснять на пленку.

Хаим, наш новый офицер, говорил о том, как опытен и опасен местный житель, знающий каждую тропинку. При всей нашей боевой готовности, стрельбе, желании быть в нужное время в нужном месте... Неожиданность – удача врага, а потом здесь столько естественных укрытий... Впрочем, если он переоденется в поселенца, наклеит бороду, наденет кипу (такое случалось), ему и укрываться незачем, никто и не распознает в нем террориста, пока он стрелять не начнет.

Временами мне кажется, что только чудо нас может спасти! Да еще прибавить армейскую безалаберность; приезжает патрульный джип – без предупреждения, мол, у нас вертушка, нас и так видно, вот и догадывайся: кто в гости пожаловал?!..

Всех интересует моя профессия, всех удивляет, что художник из России добровольцем пришел в Армию обороны Израиля. Я объясняю свой поступок тем, что чувства мои и сердце мое здесь сокрыто, в горах самарийских, в камнях огненных Ерушалаима, и хотя я впервые оказался здесь, в этой части древнего Шомрона, а кажется мне, будто жил я здесь исстари, и мои предки... Моше говорил нам, что слово «шалом» обозначает не только «мир вам», но и «цельный, целый, целостный», завершенный. Это значит, что

без Храма не сможет народ Израиля объединиться, и Храмовая гора без Храма, что дом со стенами, но без крыши, ни Храма, ни ковчега...

13.05.02. Приехал патрульный джип, стали обсуждать координацию усилий, совместных при нападении врага, начальник патруля собирался устроить облаву в деревне Юсуф, просил нашей поддержки, когда он их гнать начнет. Ночь выдалась спокойная, патрульный офицер вспоминал Газу времен первой арабской интифады (1987), когда «у них» не было еще оружия. Но камни, ножи... Жестокие события он вспоминал с улыбкой.

Ночная тишина обманчива, прислушиваюсь к любому шороху. Собака – самый лучший сторожевой в такую ночь. И когда Софи начинает лаять, встает и направляется вверх по дороге, откуда вероятнее всего нападение, можно не сомневаясь заряжать винтовку. Так я и поступил, потому что неизвестный двигался навстречу нам. Там, наверху, год назад подложили взрывчатку, от которой чудом не пострадал патрульный джип. Через несколько минут показался свет от фар, и автомобиль выскочил из-за поворота! Нам говорили: по машинам не стрелять! Только если она преднамеренно мчится на тебя, только если ты видишь, как солдата захватывают в машину... Я не стал стрелять, хотя автомобиль был мне неизвестен, это оказался патрульный, но не от армии, а гражданский, поселенческий. Его узнал мой напарник по караулу.

Днем посетили нас археологи (военные). Из их рассказа-наброска я понял, что здесь, в Самарии, как и в Иудее, немало мест, свидетельствующих о древнееврейских поселениях, что и пытаются продолжить поселенцы дней сегодняшних. Но главное, археологи рассказали о руинах храма Яхве, построенного самаритянами, соперничавшими с иерусалимским храмом Зоровавеля.

Один из солдат упросил меня нарисовать его, затем, взяв рисунок домой, он поместил его в рамку, под стекло, и повесил на стену. Вернувшись, сказал: «А подпись свою ты почему не поставил?» Я ответил, что не считаю это необходимым, на что народ, не согласившись, ответил, что имя, поставленное на работе, со временем приносит славу и деньги! Тогда я спросил: «А почему вы решили, что я стану знаменитым и богатым?» И народ мне ответил: «Ты должен стать!»

14.05.02. Ночью начался ураган с дождем, с востока пришел шарав (южный пустынный ветер), он неистовствовал, срывая защитный навес с нашего каравана, сбивая поддерживающие столбы! После двух приехал Нахшон с семьей и скарбом. Мой напарник (которого я нарисовал) осмеял их – мол, так-то вы ночью, шито-крыто...

(Днем) в первой половине дня съездили за провиантом, в этом деле главное – вовремя приехать, КП нас оповестил, и мы с офицером помчались... Машину загрузили, вернулись, рассортировали... Через два часа их начальник приезжает со скандалом. Вот, мол, вы, такие-сякие, нас обираете. Начался переговорный процесс, здравый смысл возобладал над эмоциями, и мы поступились двумя коробками с печеньем и пачкой сыра.

15.05.02. Дождь хлестал под утро, стучал бесцеремонно в закрытую дверь возле моей кровати. На улице развезло. Как они здесь зимой?

Чувствую себя хреново, не успевая почувствовать, где болит прежде.

К здешней красоте совсем привык, рисовать перестал, накапливаю впечатления и фотографирую. Завтра в городе Ариэль, что в двадцати минутах езды от нас, примут нашу амуницию, и мне не придется тащиться на север, за Хайфу, где меня призывали, чтобы сдать ее.

Нахшон обустраивал свой новый дом и между делом рассказывал: «В Хевроне не так давно возобновились археологические раскопки, были обнаружены древние стены, из огромных камней, времен царей Израиля. Археологи раскапывают квадратами, которые местные аборигены засыпают мусором. Учти, – сказал Нахшон, – большинство остатков Древнего царства находится именно здесь: в Иудее и Самарии».

Нарисованный мною напарник рассказывал о том, что потомки тех самых самаритян, что храм выстроили, живут в Шхеме (Самарии) уже много веков отдельной улицей. Их почитают и охраняют. И хотя они себя причисляют к иудаизму, правоверные в Израиле их не принимают, не считают их евреями.

Последняя ночь стала испытанием для меня, а поскольку мы решили дежурить не по двое (как раньше), а по трое, пришлось два раза заступать ночью в караул.

Танк прибыл на позицию часам к девяти вечера. Через два часа дали им разрешение на испытание легкого оружия (пулемета), и началась стрельба, к которой и мы присоединились.

Вторая половина дежурства была труднее, лил дождь, мы сидели под навесом. Арик рассказывал о своих гусарских похождениях с путанами в Эйлате. Я под эти сказки вздремнул.

Люди то появлялись, то исчезали, крепкий чай бодрил, но и усыплял. Все же я продрал глаза под утренним ветром, пришедшим с востока.

Утром природу развезло от ночного дождя, земля липла к подошвам, трудно поверить, что мы в середине мая! Небо заволокло, дождь моросил, сыро и тепло.

Софи почувствовала неладное, увидела, как мы собирать вещи стали, она легла посредине проселочной дороги, будто хотела задержать, помешать нашему отъезду! Ее щенки росли у нас на глазах стремительно, они уже дрались, пытались лаять и кусали меня за ногу!

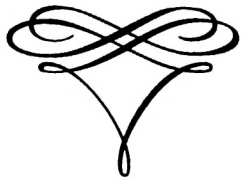
Я делал последний обход, всем уже хотелось поскорее вырваться из этого забытого Богом места, а я начинал по нему скучать!!

Горы Самарии, бесконечные, будто строки в Торе, рукописной. Я не знал, как изобразить эту красоту, мне бы подняться птицей, увидеть расстилающиеся до горизонта горы и нашу маленькую часть, минаретами окруженную. Сколько битв допустит Господь, прежде чем дарует народу своему царство тысячелетнее. Сказано: «и прокалю я вас словно железо, и очищу вас огнем!»

Горы Самарии смыкались за мной, унося нераскрытые тайны свои. В этой земле всё начинается, и заканчивается в этой земле все сущее!

И будто не было ничего, столько тайн хранят суровые горы самарийские, и меня тоже – будто и не было, и это хорошо...

Дальнейшее – молчание.



Ира Олейник

КТО ЗНАЛ, КТО БЫЛ ГОТОВ?

Еду в Москву! Эту фразу я подкидываю, как полено в огонь, вспыхиваю и замираю. Или: зажмурюсь и тяну носом, чтобы поймать в памяти резиновый, лавиной обрушивающийся запах метро.

Вещи сугробами раскиданы по полу, я наступаю на них, перепрыгиваю, меняю местами и вновь замираю: неужели? Не-уже-ли?

Из Москвы я уезжала в девяносто четвертом. К этому времени неприступность столицы пала, ее, как перезрелую девку, наскоро подкрасили, залепили ценниками и выставили. И тут же, из бреши в канализации, мучаясь давней похотью и заливая мстительные мыслишки ядовитым пойлом, в нее хлынула шпана. Растлили быстро. Никто и ахнуть не успел. И уже она, усиженная навозными мухами, гнусаво ботает по фене, торгует дешевкой в серпантине, и ее грибком разъедают злость, показуха и зависть.

И чтобы «там», под звездой из драгстекла не опомнился кто, отвлекшись на миг от сладостных подсчетов собственных выгод, шпана суетливо метила территории. Гадила, тужась, мочилась обильно и праздновала под слезливые исповеди рецидивистов и бесстыжие сопли наколотых подростков. И сразу это – наша ЭСТРАДА и законная российская КУЛЬТУРА!

Вру! Не сразу, поначалу растерялись и даже вяло отторгали. Да недолго. Память не вековая взяла да отказала: скрестила Вертинского с «Мур-

Ира Олейник – журналист, литератор, печатается в израильской русскоязычной прессе. Живет в Израиле.

кой», и давай Мурлинский кособоко приплясывать, крылами темными прихлопывать и глухо зазывать привычно смолчавшего интеллигента. Оч-чень нужен Интеллигент. Оч-чень! А как без интеллигента? Для солидности, чтоб по понятиям. А тот в себе путается – и чем это он интеллигент? Социально – ясно, а если что еще, то что тогда, если еще что-то?

И вот Интеллигент уже хорошо смотрится в колонне нового образца. И сам новый, и во всем новом, и старательный особо! И грамотно пишет, разъясняет, рекламирует, обучает, обучается, других переучивает. И совсем не так страшно, как казалось. А потребуется лизнуть руку со сверкающей печаткой, так и лизнет. А че такого, ваще?

Пей, интель! – гогочет харя. Вишь, чем угощаю? Этикеточка, всенепременно не по-нашему, и с золотинкой. Цени, голожопый! На всех на вас хватит. Вливай, чтоб захлебнулся, сука, «красивой жизнью», не отвертится потом! Все равно ему отвечать.

Это он не со зла, – продуманно оправдывает интель хозяина. Это наш кураж, русский! Стало быть, правильный кураж. Не бусурмане же мы, а христиане в законе! А кому не нравится...

Бежать!

Бежать от золотых зубов и корявой речи! От сладострастно копошащихся в дерьме журналистов, от своего же малодушия и попустительства. Бежать!

Куда бежать? А в Израиль и бежать!

Но... Кто же знал, кто был готов?..

Ахнула. Стояла обмылком под живым солнцем. Дежа вю. Это, страшное до дурноты, уже было. Был мертво-желтый свет. Сухая бездушная каша под подошвами, и не двинуться – всосет. А впереди чутко дрожащая сукровица раскаленного воздуха.

И поняла. Это сон. Мой многолетний, навязчивый, как токсикоз. Стоило лишь закрыть глаза, как он принимался плести мучительную вязь. Я подвешивалась в горизонтальном положении между тяжко чавкающей бурлящей массой и грязно красными сгустками, движущимися толчками с ржавым скрежетом. И далекий, но настойчивый гул, как зуммер в трубке.

Где тот миг, когда я вздохнула впервые? Кровь и слизь на ресницах. Узнать бы, сколько было рождений и смертей. Заглянуть бы в архив, где ждет часа непроявленная пленка моих дат, с черточкой посредине. Тайна. А в насмешку – фокус: упитанный пупс, жопкой кверху, и сутулая от подростковых комплексов неумелая кокетка... Какое я, теперешняя, имею отношение к этим любительским снимкам?

Смерть, новое рождение... Кому дано это осмыслить?

И мозг, боясь разрушений, выставил блокаду – повернул обратно, туда, к привычному! И тут же заманило то, что раньше отторгалось. И удавкой затянула ностальгия, и дайте, чтобы дышать, пустышек с бесстыжими го-

лосами. Не надо мелодий, умоляю! Лишь бой шаманский. И черт с ней, с душой, – сыпаните и мне серпантинчику в граненку! Хочу на руку с перстнем полюбоваться. Позволит лизнуть, лизну!

Ах, грусть-тоска! Стержень-суть российского человека. Кто не знаком с этим, подозрителен, как шпион. Значит, не побило. Где же смог укрыться, шкура? «Наш» – это с мукой в глазах, с недоверием и злобой, с живой готовностью разоблачить, пригвоздить. Даже самый «не наш» – субтильный и благополучный, станет «нашим», если сумеет выдохнуть горечь коротко и выпить, не скривившись.

А что Израиль? Здесь грустить неприлично, и главный стержень в чем-то другом. Чтобы понять, требуется раскрутить в себе ржавые болты и закрепить их в местах иных. К черту болты! В Москву! Еду за силами. Буду вкусно хрустеть сапогами по снегу... говорить, слушать, впитывать, растворяться, дыша-ать!.. Вот оно, пришло мое время. Теперь я не упущу своего, теперь я знаю, где я, кто я и с кем я. И отниму для себя, урву, отгрызу, а-а-а! За страдания и тоску, за страх и ожидание. За... К черту все!!!

Вещи кое-как распиханы по чемоданам. Гуд бай, Америка!

До аэропорта меня везет Петька. В Израиль приехал подростком. Перед отъездом отдали его пионерский галстук соседу, и Петька плакал навзрыд.

Я ерничаю:

– Галстук привезу тебе.

А он серьезно:

– Привези.

За тридцать лет Петька не встроился в ряд «великомучеников» и «героев-отказников», не раздулся от желчи, и за это я его уважаю. Человек не должен предавать в себе прошлое и плеваться в настоящее, чтобы не превращать свою жизнь в смердящий туннель.

Мы неслись по шоссе, хулигански нарушая правила движения и заглушая ветер, кричали песни.

«Встань пораньше, встань пораньше, встань пора-аньше! Только утро замаячит у воро-от...» Или вот, – и бодро завел: «Утро краси-ит нежным светом...»

На светофорах водители из окошек вытягивали на нас лица.

– Знай наших! – гордились мы.

Я умильно смотрела на его разбушевавшийся на ветру чуб и думала: зачем он здесь? Он ведь ТАМ.

В зеркальных стеклах Бен-Гуриона отражалось утреннее солнце. Стойкий аромат кофе. И яркие табло.

– Не, серьезно, че привезти?

– Землю.

На прощание вскинул по-ленински руку, прищурился и с грассирующим «р»:

– Давай, батенька, чеши, голубчик, на Родину! Поднимай на борьбу пролетариат. Это архиважно!

И зависть в глазах.

Мы летим, летим, а прошло всего полчаса. На экране боевик. Глухие выстрелы, ржание лошадей и томные взоры красоток. Время, ну не стой на месте!

И вот, наконец – о, Боже! – там, внизу, реальный, огромный, вожделенный мой город, с понятным и родным уродством: с кургузыми бабками и дедками, с холуйским благоговением перед сильным и безжалостной ненавистью к слабым. Не знала, что по этому можно скучать. Да дайте же парашют!

Дрожа коленками, с прыгающим сердцем спускаюсь по трапу.

– Людк! – надрывно слышится сбоку. – Ну где этот козел, ябтыть?

– А я почем знаю? – огрызаются из темноты.

Меня заколбасило. Готова прямо сейчас облобызать и за «козла», и за сочное, емкое и беззлобное «ябтыть».

Бетонную поверхность площадки, закручиваясь воронкой к ногам, лижет поземка. Одежонка моя, что покрывашка на телевизор, даром что заморская. Кому это здесь нужно, когда зад закаменел и из носа сочится. Сейчас бы душегрейку да валенки. Забытое ощущение холода приятно волнует, как аромат ментола. «Шереметьево». По-русски! Гады, живете и не цените! Перечитываю и перечитываю.

Мы набиваемся в автобус и, покачиваясь, приближаемся к аэропорту. Стою, прижавшись к стеклу носом. Дальше идем посиневшим стадом по крытому туннелю. Израильтяне дуют в кулаки, бьют каблуками, натягивают воротники на головы. Ага! То-то же! Туннель упирается в слабо освещенное помещение с зашарканным до желтизны деревянным полом. Удушливо бьет в ноздри аммиаком. Значит, рядом туалет. Весьма кстати. Не глядя, выкидываю вбок руку. Нет бумаги. То есть как? А позвать сюда Ляпкина-Тяпкина! Отрываю часть списка с телефонами. Возвращаюсь в зал и хочу только одного, чтобы израильтяне не посетили только что покинутое мною местечко. Чтобы не засело это самым ярким впечатлением в их избалованных мозгах.

Тихо. Единственное окошко пустует. Не отрываясь, смотрю на глубокое повреждение в стене. Хочу обвести его кружком и сделать надпись: «Здесь был гвоздь». А человек рядом удивленно смотрит в пол.

По граниту, как Данила по цветку, бьют каблуки. Из-за угла появляется втиснутая в форму строгая женщина с бритым затылком. Мы подтягиваемся, образуя очередь. Она звенит ключами, по-хозяйски осматривая макушки наших голов. Уходит. Место за окошком занимает худенький юноша. Фуражка застряла на ушах. Я гадаю: то ли фуражка большая, то ли голова маленькая. Из-под козырька торчит голубой нос. Тихо-тихо. Кто-то включил музыку, на него шикнули.

– Чего ждем? – не выдержали позади меня. Юноша медленно приподнял авторучкой козырек и внимательно, как сфотографировал, всмотрелся в того, кто это сказал. Из боковой двери, болтая бедрами, выплыл человек с сон-

ным лицом. Облокотился о барьер и заиграл брелком. Юноша тихо заговорил, и он склонил к нему голову. Вновь простучала женщина, кашлянула баском в кулак и выпрямилась рядом с ними, заломив руки за спину. Окошко открылось, и я протянула документы. Под потолком мигнула лампочка. Юноша посмотрел наверх, потом на меня. По губам, как пьяный таракан по вилке, падая, поползла ухмылка. Я поднялась на носках. Фуражка склонилась к документам. Листает и перелистывает, и опять. Что-то не то с документами? Путаюсь в мыслях. Может, я по неведению совершила преступление, и он сейчас сличает мое фото с фото под стеклом на столе? Вот уже и женщина заинтересовалась. Точно, что-то не то. От страха бросило в пот. Наверное, я кого-то убила или зарезала, а потом забыла. Почему нет?

– Вот же, – женщина по-домашнему обняла юношу за плечи. – Чего еще искать? Не понять ни хрена – начиркано, и сумма не указана.

Фу, слава Богу! Младенцев не мучила, государственную казну не опустошала.

– Можно исправить? – поинтересовалась я.

– Как тебе это нравится? – ковыряя в зубе обломком спички, усмехнулась женщина, глядя на юношу. – Артисты, чесслово! Зинаида у себя?

Фуражка утвердительно дрогнула.

– Та-ак. Значит, эту к Зинаиде, – и выпустила в меня перетянутый золотом палец.

«Брелок» воспрял, оттолкнулся от барьера и, сжав меня повыше локтя, развернул к боковой двери.

В маленькой, но светлой комнате с выглаженными шторками пахло сухой пудрой. Рядом со столом, в высоком кожаном кресле, отталкиваясь носком коричневой туфли, задумчиво вращалась большерукая Зинаида.

– Вот, – лаконично доложил «брелок», – напутала с бабками.

Та поправила бумажные фиалки в стакане и легла локтями на стол. Сказала просто:

– Понятно.

И так она это просто произнесла, что я окончательно успокоилась, даже смешно стало. Тоже мне преступление, если вдуматься, – напутала в декларации! А может, я вообще человек несдержанный и неопрятный.

– Ведь не поверите, – облегченно вздохнув, заулыбалась я, – обязательно должна что-то напутать, перепутать. Вот обязательно, – и, продолжая болтать на эту тему, достала из сумки ручку. – Сейчас перепишу.

Зинаида растопырила перед собой пальцы и, разглядывая их с напряженным вниманием, откинувшись на спинку кресла, вперила в «брелка» тяжелый взгляд.

– Ну, тут все ясно, да? Цирк начинается. Давай, зови Евсеича. Будем арестовывать деньги.

– Как? – я сделала шаг назад и тут же уперлась спиной «брелку» в живот. – Зачем арестовывать? Не надо арестовывать.

– А как вы хотели? – в ее глазах высветился интерес.

– Я хотела... я же могу вписать... зачем?..

– Звать? – деликатно напомнил «брелок».

– Ну конечно, – Зинаида развела руки, – ты же видишь. Нас за дураков держат.

– Понял, Петровна, – отрапортовал тот и нежно затворил за собой дверь.

– Простите, – занервничала я, – но это недоразумение, уверяю вас. Я совершенно не...

На глазах, как в сказке, Зинаида превратилась в дымящийся вулкан. От шеи к вискам подскочила кровь. Она ударила ладонью по стене и закричала с яростью:

– Хватит кривляться, женщина! Здесь вам не цирк, а государство! И мы вам, понимаешь, не дурачки. Развели, понимаешь, прятки! Хотят – вписывают, хотят – не вписывают! Что, – раздувая ноздри, продолжала она, – думала надуть? Авось пронесет, да? А когда в Парижи в свои, – она мотнула пилоткой в сторону, – наяриваете, небось в голову не придет с властями в бирюльки играть, а? Потому что – там ничего нельзя, а здесь все можно, так? Так? – допытывалась она, трясясь от ненависти. – Устроили, понимаешь, из России сортир, перебежчики фиговы! Каждый день сюрпризы!

Зинаида прошлась по комнате в задумчивости и как бы что-то припоминая. Казалось, пыл прошел. Но, передохнув, она вновь закричала истошнее, чем прежде:

– Устали мы от вас, понятно? У-ста-ли! Прете сюда, как...

И замолкла, разглядывая рукав. Сняла нитку, намотала ее на палец, размотала, стерла в комок и отбросила. Вернулась на место и сказала отчетливо:

– И запомните: это для вас здесь – сортир, а для нас здесь – Родина, понятно?

Воцарившуюся тишину с равнодушием бесчувственного остолопа нарушало монотонное гудение люминесцентной лампы. Все еще тяжело дыша, Зинаида рассеянно почиркала карандашом по бумаге и уже без энтузиазма, сдерживая зевок, туманно подытожила вышесказанное:

– Мы – ворота России. С нас начинается страна, и мы не дадим вам... понятно?

– Послушайте, – взмолилась я, заламывая руки. – Послушайте, зачем вы так? Вы говорите со мной, как... как со злоумышленником, но я не злоумышленник. Я так же, как вы, люблю эту страну, я... вы не поверите, даже эта ситуация сейчас... замечательно, что вы так болеете душой. Ведь пока есть неравнодушие, понимаете... – никогда вслух, да еще с таким пылом, я не говорила о подобных вещах.

– Ну, где Евсеич, черт бы его побрал? – с досадой оборвала она мою нескладную речь. Сложила вокруг сигареты рупор из ладоней, крепко затянулась и сквозь мутную струю дыма проговорила:

– Блядь, заебала меня эта работа...

С такой обреченностью исповедуются в пустоту дворники, пряча в подсобку ведра и метлы.

Не то чтобы я не слышала до этого грубой искренности недовольного жизнью человека, скорее от неожиданности, что услышала это здесь, мои мысли как-то спутались, и от возникшей неловкости я заговорила с какой-то особенной вкрадчивостью:

– Нельзя так нервничать, – начала я. – Надо себя беречь, ведь...

– А как иначе? – доверительно глядя, оборвала она меня. – Вас сколько? А мы одни. И ведь каждого надо пресечь, ведь каждый норовит! Сперва драпают, как крысы, а после лезут обратно со всех щелей. Чего им здесь надо? Не пойму, хоть ты меня режь! Вы посмотрите на их паспорта, прут по несколько раз в год. Как к себе домой, блин! Откуда только такие деньги? Моя бы воля, не цацкалась бы, а... – и, не договорив, поплевала на окурок и бросила его в корзину для мусора.

Боясь очередной вспышки гнева, я молчала с сочувствующим видом. Зинаида коротко взглянула и, придав лицу деловитую строгость, вытащила из стола лохматую книжку, пролистнула страницы и, задержавшись на какой-то строчке, чиркнула по ней крепким ногтем.

– В законе указано, – с усталым вздохом начала она, – вот, видишь? Так что вы нарушили закон, сейчас придет Евсеич, и будем изымать деньги.

Я молчала как утопленник.

– Так, – теряя терпение, проговорила она и круговыми движениями потерла виски. – Выкладывайте все деньги, будем составлять акт. Только без фокусов! Обыщем во всех местах!

Косметика, употребляемая ею для красоты или устрашения, соединила в себе все цвета вселенной. Поразительно даже: от бледно-голубого и прозрачно-розового до лилового, синего и багрово-черного. Я заворожено смотрела на воспаленные, мятые веки, густо присыпанные фиолетовым перламутром, и ни на чем больше не могла сосредоточиться. Вот она, защитная форма психики.

– Можно водички попить? Жарко у вас, – я сорвала с головы шарф и распахнула пальто. Во рту клейко.

– Вон, в графине.

Стакана не оказалось, и я вернулась на место. С дрожащей мякотью внутри, оглохнув от тоскливой фальши собственного голоса и не совсем отдавая себе отчет в происходящем, я с осторожностью начала:

– А может, как-нибудь... договоримся?

Ведь точно где-то видала или читала, что так надо начать, что именно эта фраза – пароль, ключевая. И вместе с внезапно нависшей тишиной страшным клетчатым экраном возникло передо мной мое сибирское будущее.

Зинаида со скрипом выдвинула ящик стола.

За наручниками, с поразительным спокойствием догадалась я. Как там: «Попытка подкупа представителя госбезопасности Российской Федерации?» Не слабо. Лет двадцать пять. Хотя не знаю, может, и больше. И, не успев ужаснуться, выстроила в рядок защиту: не было этого, ничего не говорила, ничего не знаю, ей показалось. Предъявите свидетеля. Откуда это во мне?

Она закрыла ящик, и из тумана, продираясь сквозь возникшую в моих ушах глухоту, донеслось ее уклончивое: «Не знаю, не знаю, вам виднее».

Еще не веря в услышанное, но уже сознавая, что отзыв верный, спасительный отзыв, какой должен быть, тянусь к сумке. Все в порядке. Верным путем идем, товарищи! Я – «Астра», прием. «Астра», «Астра», я – «Дельфин». Вас слышу, прием!

А дальше – как в преферансе, в бешеном темпе, охваченные взаимопониманием и азартом.

Я: отсчитала вслепую наслюнявленными пальцами и протянула.

Она: быстро взглянула, раскрыв веером. «Еще», – и выдула вбок косую струю дыма.

Я: вытягивая по мелочи: «Еще? Еще?»

Она: «Нас пятеро!»

Я: «Понятно. А так?»

Она: глядя в кар... тьфу, в купюры, благосклонно склоняет голову.

Сумма, признаться, смехотворная. Вот это привратник! Молодец тетка! За такую сумму – и для меня: преступницы, злоумышленницы, вредителя, для той, кто превратил Россию в огромный сортир, распахнула ворота страны, вышла навстречу с хлебом-солью!

Ну, здравствуй, Родина!

Появление «брелка» больше не пугает. Наоборот, отныне мы вместе, одна компания. И хоть он широк в бедрах, зато во взгляде стоит тонкое понимание.

– Иди, не надо Евсеича, – со смешком отмахивается от него Зинаида.

А существует ли вообще этот таинственный Евсеич? – задумываюсь я. Ведь если это персонаж вымышленный, то получается «на четверых», а не «на пятерых».

Зинаида вышла из-за стола, бодро отряхнула юбку и протянула руку для пожатия. Я долго и благодарно ее трясла.

– Одета-то как легко, – заметила она, оглядывая меня со всех сторон. – Ты чего, мать? Здесь не ваши тюльпанчики-одуванчики, здесь Россия! – и у дверей приветливо кивнула:

– Ну, будь!

Я почти горжусь, что с ней на «ты».

С черствым лицом, стянутым каменной улыбкой, продолжая мелко кивать, я неуверенно ступаю по мраморной лестнице, ведущей в просторный зал.

И-и... все-таки был снег!

Им вкусно скрипели разъеденные солью сапоги...

Владимир Порудоминский

ЯД

Евсею Цейтлину

В воскресенье, 22 июня 1941 года, Хаим Варенбуд хоронил жену и про войну узнал с опозданием. Анечка ничем не болела, умерла вдруг, в одночасье, едва перешагнув за сорок. Когда, по возвращении с кладбища, кто-то сказал Хаиму, что началась война, он только отмахнулся: «Война, так война» – и продолжал раскачиваться на стуле и горевать. После, в гетто, он корил себя за эти несколько часов слабости: побеги он сразу с Софочкой на вокзал, еще успели бы втиснуться в какой-нибудь из последних отходящих в тыл поездов. Назавтра немцы разбомбили железнодорожный мост через Сонеж, а к следующему воскресенью были уже в городе.

В гетто Хаим сразу захватил маленькую комнату, почти чуланчик, зато и поселились там втроем, с Софочкой и Симой; в соседней комнате, побольше, разместили сразу две семьи – девять человек. Симу, вдовую Анечкину сестру, Хаим записал женой: говорили, что одиноких женщин отправят на работы в какие-то прибалтийские лагеря. В отличие от Анечки, маленькой и легкой, как синица, Сима, старшая, была грузная, с нависающими на большой живот грудями, но с первой же ночи в гетто Хаим стал жить с ней, потому что крепкий, здоровый мужчина должен иметь женщину.

Владимир Порудоминский – автор большого числа книг по истории русской культуры, в том числе в сериях ЖЗЛ и «Жизнь в искусстве». Историко-литературные, критические статьи, рассказы, повести и мемуарные повествования публикуются в российской и зарубежной печати. Живет в Германии.

До войны Хаим Варенбуд работал агентом по снабжению на заводе «Электродвигатель» – в сером брезентовом плаще с капюшоном колесил по всей стране. Работа не простая – раздобыть что надо, оформить бумаги, погрузить, довезти, но недаром инженер Генох, зам. начальника отдела снабжения, лысым желтым лбом и рыжей бородкой напоминавший Ленина, любил повторять с ободряющей усмешкой: «Варенбуд начинает и выигрывает».

Хаим Варенбуд был замечательно силен. На погрузке, поторапливая других, ворочал тяжеленные ящики с железным барахлом – складские рабочие вдвоем тащили такой по сходням, останавливаясь и отдуваясь. Случалось, вместе с материалами, деталями и оборудованием он загружал в вагон приглянувшуюся ему гражданку, не обеспеченную проездным билетом, – женщинам нравились его статная фигура, его черные, слегка вьющиеся волосы с заметной ранней сединой, румяное смуглое лицо, – но эти случайные попутчицы ровно ничего не значили в его жизни. Хаим Варенбуд был однолюб, и Анечка, с ее скорой неслышной походкой и летящими движениями рук, оставалась его единственной любовью. Он нипочем не пускал ее на службу, говорил, чтобы занималась дочерью, но на самом деле из ревности – Анечка понимала это, радовалась его любви и ничуть не томилась в кругу семейных забот.

Софочка, такая же маленькая и легкая, как мать, росла примерной девочкой, переходя из класса в класс, получала похвальные грамоты с красно-золотым гербом посредине и портретами Ленина и Сталина по сторонам глянцевого листа, в музыкальной школе она тоже делала большие успехи. У Хаима сердце затрепетало от радости, когда учительница музыки посоветовала готовить Софочку в консерваторию, но девочка твердо сказала, что намерена поступать в Московский университет на физико-математический. Услышав это, Хаим проникся к дочери таким уважением, что не всегда решался заговаривать с ней первым.

В гетто, по приказу немецких властей, учредили совет, Юденрат. Членами совета предложили самых уважаемых людей – двух профессоров пединститута, главного инженера кожевенной фабрики, заслуженного артиста республики Абрама Буравского, первую скрипку оперного театра; председателем – известного всей области детского врача Иосифа Львовича Машинского. Но появился долговязый гестаповец Рихтер из Еврейского отдела, тихим шагом обошел просторный кабинет директора бывшей конторы «Кожсырье», оказавшейся на территории гетто, – здесь, в кабинете, и собрался совет – внимательными синими глазами всмотрелся каждому в лицо и показал пальцем на стоящего в сторонке инженера Геноха (как он сюда попал – никто и не думал приглашать его в Юденрат?): «Этот». Спустя два месяца совет вовсе был распущен, инженер Генох оказался единоличным руководителем гетто – его именовали теперь на немецкий лад: «представитель», – и он уже один разместился в бывшем кабинете директора «Кожсырье» за большим письменным столом, покрытым черной кожей.

Представитель Генох предложил Хаиму Варенбуду должность начальника охраны.

– Работа – как в песне. «Часовым ты поставлен у ворот...» Помните еще?

Над столом представителя, на стене, там, где недавно висел портрет кого-то из советских вождей, темнел прямоугольник.

– Мне нужна надежная еврейская полиция, Варенбуд. Люди, которые мне верят и которым я доверяю. Я хорошо плачу.

Он встал из-за стола, подошел к Хаиму, маленькой рукой коснулся его широкой груди.

– Вы умный человек, Варенбуд, и я буду говорить с вами, как с умным человеком.

Его большой желтый лоб был изрисован причудливой сеткой тонких морщин.

– За два месяца с начала войны из гетто увезли пять тысяч евреев. В следующие два-три месяца возьмут еще столько же. Потом еще. И еще. Есть лишь один способ уцелеть – оставаться в живых как можно дольше. Это я вам и предлагаю, потому что вы мне всегда нравились. Ясно?

Уже два месяца Хаим укладывал рельсы на строительстве железнодорожной ветки, силы убывали, да и не вечно же будут строить эту проклятую ветку. Немцы торопятся, он не хотел думать о том, что будет с Софочкой, если отберут у него желтое рабочее удостоверение, с ним самим, с Симой в конце концов. Он взглянул на темное пятно на стене, оставшееся от какого-то недавнего вождя, кивнул:

– Ясно.

– Еще яснее будет позже, – инженер Генох усмехнулся. – Варенбуд начинает и выигрывает...

Теперь Хаим Варенбуд со своим помощником Шмульгевским, плотным, всегда небритым человеком в зеленой фетровой шляпе, с другими своими подчиненными из состава охраны до позднего вечера, а на дежурстве и всю ночь напролет сидел в караульном помещении или прохаживался, вооруженный резиновой палкой, у ворот гетто. Задача была простая: никого не выпускать и не впускать, кроме тех, кто шел на работы и возвращался с них. Проносить что-либо в гетто, как и выносить из него, тоже не разрешалось – и за этим надо было следить: отправляясь на работы, люди прихватывали с собой кое-какие из оставшихся вещей и изловчались менять их на продукты – сидеть на положенной евреям пайке было невмоготу. Среди обитателей гетто нашлись и такие бойкие, что завели делишки в городе и в самом гетто, что-то производили, переправляли туда и обратно, покупали по одну сторону ворот и сбывали по другую. Что греха таить, со всего этого охрана всегда имела навар – буханку-другую хлеба, пару рыбок, чай, сахар, бутылку водки и, того более, что-нибудь из промтоваров, а в особых случаях – золотое колечко или монету (хотя немцы в первые же дни строго-настрого приказали сдать золотые вещи), которые можно было продать тем же бойким обитателям или выменять у них на что-нибудь существенное.

Хаим Варенбуд мог бы и Софочку пристроить на выгодное место, чтобы ей не ходить на общие работы, представитель Генох даже спросил однажды, не хочет ли она к нему в секретарши, но Софочка твердо объявила, что будет работать вместе со всеми, и Хаим не посмел возразить ей. Каждое утро он отворял ворота и стоял, держась одной рукой за створ, пока не проходила мимо колонна женщин, назначенных на кожевенную фабрику, и среди них его Софочка: руки у нее, как у матери, были легкие и спорые на всякое дело, она быстро стала хорошей швеей. Между тем на дворе стояла уже поздняя осень, зябко, сыро, Хаиму больно было смотреть, как девочка, ступая в лужи, шагает под проливным дождем, не поворачивая голову в его сторону, точно он столб, на который навешен створ ворот; замыкая колонну, шел немецкий солдат с собакой на коротком поводке.

Под Новый год пришел приказ выдать новые рабочие удостоверения. Всем было понятно, что тех, кому они не достанутся, скорее всего, отвезут на убой. Гетто застыло в зноблівом ожидании. Поздно ночью представитель Генох вызвал Хаима Варенбуда:

– Возьмите двух полицейских, пройдите по квартирам. Ваша улица – Михайловская, бывшая Пятого года. Все, кто значится в списке, должны быть в шесть утра на школьном дворе. Объясняйте, что людей отправляют в лесной лагерь на заготовку дров.

Список был большой – несколько схваченных в углу ниткой листов, плотно заполненных именами. Хаим стрельнул взглядом в бумагу – первым номером в списке стоял Абрам Буравский.

Представитель Генох, пощипывая бородку, смотрел на Хаима:

– Имеются вопросы?

Хаим растерянно протянул ему список:

– Буравский – он ведь заслуженный артист... первая скрипка...

– Бывший заслуженный, бывший артист, – уточнил представитель Генох, – и бывшая первая скрипка, поскольку вторых, третьих и четвертых, кажется, уже не осталось.

Он стоял, опираясь о черную кожу стола костяшками пальцев.

– Слушайте меня, Варенбуд. Я говорю с вами, как с умным человеком. Каждый год в Судный день евреи просят Бога записать их в книгу живых. Но Бога нет, Варенбуд. Поверьте мне, если вы еще сомневаетесь в этом: Бога нет. Был бы Бог, мы бы с вами пили сейчас чай с вишневым вареньем, а не собирали людей на расстрел. Еще недавно вместо Бога у нас был этот, – Генох показал большим пальцем через плечо, туда, где на стене за его спиной темнел прямоугольник. – Теперь имеется гауптштурмфюрер Рихтер. И есть еще я, представитель Генох. Мы и заполняем книгу живых и одновременно книгу мертвых. Рихтер требовал семьсот пятьдесят человек. Сторговались на четырехстах. Триста пятьдесят я на этот раз записал в книгу живых. Если хотите знать, рискуя собственной жизнью. Берите список и торопитесь по квартирам. В шесть утра все должны быть на месте. Иначе мы рискуем потерять и эти триста пятьдесят. Буравскому, между

прочим, шестьдесят три года, и на своей первой скрипке он поиграл вдоволь. А я еще хочу послушать, как будет играть ваша дочь.

– Софочка – не на скрипке. Она – на пианино.

– Послушаем и на пианино.

И, когда Хаим молча спрятал список в карман брезентового плаща и натянул на голову фуражку, прибавил:

– Я Буравского берег до последнего. Всё. Поспешите.

Была лунная зимняя ночь. Подсыпало снегу. Тяжелые сапоги Хаима Варенбуда оставляли темные следы, когда вестником смерти, сея ужас, скорбь, плач, шел он по гетто. И ему самому не хотелось видеть эту цепочку следов, протянувшуюся от подъезда к подъезду.

Гестаповец Рихтер еще раз подтвердил приказ, чтобы ничего съестного в гетто не вносить. За ослушание пригрозил самыми строгими мерами. Вечером, к тому часу, когда люди возвращались с работ, подъехал нежданный к воротам. Приказал остановить колонну, заводить рабочих по одному в помещение бывшей мясной лавки, стоявшей чуть в стороне от входа (теперь там был склад инвентаря – метлы, лопаты, носилки), – и обыскивать. В карманах, за подкладкой пальто находили хлеб, картофель, сахар в свернутом из газеты кульке, бутылку молока. Трофеи раскладывали на прилавке тут же, в бывшей мясной. Долговязый Рихтер, перегнувшись пополам, внимательно, точно музейный экспонат, разглядывал каждую картофелину. Повернулся к Хаиму Варенбуду, вытянувшемуся «смирно», впился в него синими веселыми глазами:

– А где же мука? Много муки?

С лица Хаима слетел обычный румянец, даже губы побелели. В животе жуткая щекотная пустота. Несколько дней назад кто-то донес гестапо, что в гетто тайком провезли несколько мешков муки. Хаим про муку знал, понимал, что дело рискованное, но какая может быть выгода без риска? О доносе ему сообщил представитель Генох. Пощипал бородку:

– Один очень умный человек говорил, что ошибка хуже преступления. Виновных набралось человек тридцать. Рихтер выстроил их в ряд перед мясной лавкой. Приказал снять пальто, брюки и юбки, исподнее. Мужчины и женщины, обнаженные снизу до пояса, стараясь не смотреть друг на друга, стояли босиком на снегу. Чтобы не замерзли, гестаповец велел им делать гимнастику. Приседания: айн, цвай, драй, айн, цвай, драй. Бег на месте. И снова приседания. Солдаты, приведшие колонну, держали собак на поводке и сильно смеялись. Рихтер с веселыми глазами прохаживался вдоль строя, склонив голову на плечо, следил, чтобы упражнения выполнялись по правилам.

– Ниже приседать! Еще ниже! Шире колени! Еще шире!

Выхватил у Хаима резиновую палку, бил приседавших между ног:

– Шире колени!

Полная Дебора Матвеевна, жена доктора Машинского, плюхнулась задом на снег, не в силах снова подняться, поползла на четвереньках в сторону.

– Одиннадцатиметровый! – крикнул солдатам Рихтер и с разбегу ударил

ее носком сапога... Солдаты корчились от смеха. Собаки, озверев, лаяли до хрипа, рвались на поводке.

– Всем по двадцать ударов, – приказал Рихтер. Погрозил пальцем Хаиму Варенбуду. – Сейчас я проверю, как ты исполняешь свои обязанности.

Первой взяли в мясную лавку Лизу Шапиро – попалась, бедняжка, из-за трех картофелин. Хаим помнил ее еще маленькой девочкой – вместе с Софочкой училась в музыкальной школе. Лиза с малолетства была худая и бледная. «Не будешь пить молоко, будешь худая, как Лиза»... «Не будешь есть морковные котлеты, будешь, как Лиза, бледная»... Это Анечка кормит дочку. Лиза тряслась от стыда и ужаса. Шмульгевский, помощник Хаима, втащил девушку на прилавок, положил лицом вниз, держал за ноги. Гестаповец протянул Варенбуду резиновую палку, смотрел на него с веселым интересом. Хаим взял палку, размахнулся, но удар увяз в воздухе, как в воде, – получился мягкий шлепок. Лиза все-таки закричала.

– Сколько ты получил муки? – Рихтер снова погрозил ему пальцем. Хаим, глядя на него, а не на Лизу, ударил сильнее. И тотчас следом – еще сильнее.

– Хорошо! – сказал Рихтер и сделал пальцем так, будто направил в живот Варенбуду пистолет. – Хорошо!

И вдруг какая-то задвижка сорвалась с крюка, рука Варенбуда сама по себе начала двигаться вверх, вниз, бить легко и сильно. Лиза перестала кричать.

– Всё, всё, двадцать уже, – Шмульгевский осторожно снял Лизу с прилавка и повел к выходу. Лиза снова заплакала.

Так секли они людей, пока не пересекли всех виновных, пока все тридцать, мужчины и женщины, женщины, кое-как натянув платье, а мужчины, как были, держа ком одежды под мышкой, ботинки за шнурки в руке, не скрылись в воротах гетто.

– Ты хорошо наказывал евреев, – сказал гауптштурмфюрер Рихтер, садясь в машину. – Я больше не помню про муку.

И Хаим вдруг распрямил плечи, щелкнул каблуками и ответил: «Есть!» – как учили его когда-то на военной подготовке.

Он послал домой сказать, что остается на ночное дежурство. Вместе со Шмульгевским они выпили бутылку водки, отобранную у кого-то при обыске, закусили отобранным хлебом и салом.

– Не ты, так тебя, – говорил захмелевший Шмульгевский. – Сколько им твердят, чтобы ничего не тащили в гетто! Пусть еще спасибо скажут. Нагрели задницу, зато голова цела.

На другой день, когда колонну с кожевенной фабрики остановили перед воротами, чтобы проверить, все ли в наличии, Софочка, стоявшая с краю, вдруг вынула из кармана три картофелины и, держа их в протянутой руке, направилась к мясной лавке.

– С ума сошла! – Хаим почувствовал, как у него побелело лицо. – Сейчас же домой! Дома поговорим!

Но она, будто не слышала, вошла в лавку, и Хаим со Шмульгевским вошли за ней. Она быстро влезла на табурет, с него на прилавок (такая была

маленькая), подняла подол, стянула трусики: «Бейте!» Хаим успел заметить, что волосы у нее на мыске точь-в-точь как у Анечки, темной продольной полоской, он закрыл лицо руками и выбежал из лавки.

– Бесстыдница! Отца пожалей! – Шмульгевский схватил стоящую у стены метлу и шваркнул Софочку по маленькому белому заду.

Якова Авидана прислали в гетто с небольшой группой евреев откуда-то из бывшей Польши, из тех мест, которые недавно заняты были Красной Армией и которые стали с тех пор называть Западной Белоруссией. Ему было под тридцать, худощавый, бледный, он носил желтый галстук-бабочку и рассказывал, будто прежде был артистом; в гетто его оформили водопроводчиком с редким правом одному выходить по работе в город: под улицами гетто проходили канализационные ходы, связанные с общей системой городской канализации, постоянно требовавшей ремонта. Поселили Якова Авидана в квартире, где жил Хаим, он не захотел задыхаться в общей комнате, бросил свой полосатый сенник в прихожей, у самой двери.

Хаим Варенбуд держался с новым постояльцем настороже, Сима, наоборот, сразу к нему расположилась и в первый же вечер накормила супом. На другой день, возвратившись с дежурства, Хаим увидел, что они сидят рядом на кровати и о чем-то беседуют. Ему это не понравилось, он молча остановился в дверях, стоял и ждал, пока постоялец выйдет из комнаты.

– Ты что, влюбилась с первого взгляда? – Хаим хотел пошутить, но получилось строго.

– Жалко парня, – Сима грустно покачала головой. – С двенадцати лет без отца, без матери. Мыкался, мыкался – и что? Гетто.

– А другие не в гетто?

– Вот именно. Каждый думает, что варит суп с клецками, а сидим все в гетто. Сегодня сто человек, завтра двести... Только и ждем свой черед.

– Тише, с ума сошла.

– А! – махнула рукой Сима. – Я устала уже...

Она с трудом стянула платье с грузного, нескладного тела, плюхнулась на бугристый пружинный матрас в углу, где располагались они с Хаимом; Софочка спала на кровати.

– Где Софочка? – спросил Хаим. – Десять часов уже.

– Подышать вышла. Может быть, у Лизы Шапиро.

– Шапиро!.. А проверка!.. Они ей подышут!..

Софочка с ним теперь почти не разговаривала. «Доброе утро, папа», «спокойной ночи» – весь разговор. «Белую булку ела, не спрашивала откуда», – тоскливо думал Хаим. Попробовал по душам: у него ведь одна забота – ее спасти. «Это тебе кажется, папа», – так она ему ответила, и он замолчал, ошеломленный ее неверием.

– Сима, что ж это? – спрашивал он тоскуя.

– Ты поставь себя на ее место, – отвечала Сима и вовсе его запутывала.

Яков Авидан быстро обжился в квартире. Был он незаметный, хоть и об-

щительный, и говорил много. Исчезнет с глаз долой – и как выветрится, словно не бывало никогда. Истории его были неправдоподобные, но, когда он их рассказывал, в его глазах появлялось какое-то страдальческое выражение, и многие ему верили, особенно женщины. Он рассказал, например, Софочке и Симе, что однажды на пари в зверинце пробрался в клетку со львом, зверь приблизился к нему, потерся о него гривой и отошел, не причинив вреда.

– Зачем же вы это сделали? – спросила Софочка.

– Наш театр закрыли за насмешки над правительством, я четыре дня ничего не кушал, и вот два знакомых офицера – все, как надо: серебряные аксельбанты – предложили пари на обед в ресторане...

У Якова над поднятой бровью легла наискось горестная складочка, даже Хаим, понаслушавшись за свою бродячую жизнь всяких врак, готов был ему поверить, но Софочка, совсем по-анечкиному закусив губку, слушала так напряженно, так доверчиво заглядывала в лицо Авидану, что верить не хотелось.

– Ну, и как, накормили? – спросил он насмешливо. – Или: лев не пообедал и ты не пообедал?

– Непременно накормили, пан Варенбуд! – Яков Авидан вроде бы и не заметил насмешки. – В ресторане «Дон-Жуан» – самый дорогой в городе. Там подавали такой фирменный паштет, тоже называется «Дон-Жуан», из куриных грудок с шампиньонами – крошечные такие тарталеточки, просто, знаете ли, как наперстки. Если бы вы только попробовали!..

Всякий раз, бывая на работах в городе, Яков приносил с собой какую-нибудь еду, нередко что-нибудь особенное, о чем давно и думать забыли. Както само собой получилось, что, пользуясь расположением Симы, он столовался вместе с семьей Варенбудов, из общего котла. Хаим быстро перемалывал крепкими челюстями кусок принесенной Яковом колбасы и мысленно поторапливал остальных: всякую минуту на запах мог заглянуть кто-нибудь из соседей, люди вроде бы не злые, не донесут, но болтать начнут. Яков между тем ел так, будто никогда не был голоден – занятый разговором, отщипывал крошечные кусочки хлеба, карманным ножиком, не глядя, отрезал от колбасы один, другой едва заметный ломтик и как бы между прочим подносил ко рту. Варенбуд удивлялся, что работа в канализационных колодцах с тяжелым, грубым инструментом не оставляла следа на его руках – были они всегда белые, тонкие, разве что под ногтями чернела полоска грязи. Еще удивлялся он, что, стоя у ворот гетто, никогда не мог уловить того мгновения, когда проходил мимо Яков Авидан, отправлялся ли он на работы или возвращался обратно. Яков и в квартире возникал неожиданно: нет его – и вот уже стоит у стола, достает из погромыхивающей металлом рабочей сумки консервную банку или аппетитно пахнущий сверток. Едва переступив порог, он начинал говорить, и Хаиму больно было видеть, как Софочка, подперев кулачком остренький подбородок, не шелохнувшись, слушает этого болтуна, на ее худеньком личике повторялось страдальческое выражение его лица, даже бровка приподнималась, в точности, как у него. Хаим чувствовал, что она, как на огонь, летит к этому человеку.

Однажды вечером, в подъезде, Хаим увидел их силуэты в серовато светящемся прямоугольнике окна: Софочка сидела с ногами на подоконнике, а Яков Авидан склонился над ней. В блеклом свете, едва разжижавшем сумрак подъезда, Хаим, проходя мимо, сумел разглядеть, как белеют Софочкины ноги, обнаженные выше колен, белую ищущую руку Якова. Хаим знал, что любовные дела в гетто между молодыми людьми решаются просто и быстро: теснота жилых помещений и отпущенного на жизнь времени побуждала к этому, но он не представлял себе, что это может произойти с его Софочкой, как не мог себе представить Софочкиной гибели: он был почти убежден, что девочка неведомым образом, каким-то чудом, пролетит, не замаравши крылышек, эту проклятую мороку и вылетит на чистый простор. Особенно задело его, что, когда он, топая тяжелыми сапогами, поднимался по лестнице, Софочка и Яков не прекратили свою любовную игру, как не прекращали ее другие, чужие парочки, которые заставал он в подъездах, на чердаках, в закоулках дворов.

– Что тут можно поделать, – утешала его Сима. – Ей восемнадцать, и у них любовь.

– Какая может быть у них любовь? Знакомы без году неделя.

– У тебя любовь! – сказала Сима. – В первую же ночь взобрался. А меня ты спросил?

– Мы – другое дело.

– Нет, это они – другое дело. Еще и не жили, а уже, как старые старики: с вечера не знают, доживут ли до утра...

Несколько дней спустя он проснулся среди ночи... В тишине спящей квартиры ему почудилось, будто плачет кто-то. Он испуганно прислушался. Прошло несколько томительных минут, пока до него дошло, что звуки эти слышатся из прихожей и что это не плач вовсе – что это в напряжении страсти, не в силах сдержать себя, задыхается, стонет, вскрикивает Софочка, и всего невыносимее было, что стонала и вскрикивала она точь-в-точь так же, как при подобных обстоятельствах делала это его Анечка. «Убьешь ты меня», – говорила потом Анечка и прижимала его большую руку к своей груди, и он слушал, как ее сердечко, понемногу успокаиваясь, колотится о его ладонь. И утром, дожидаясь очереди в уборную и к умывальнику, возясь на кухне, где все жильцы квартиры, торопясь, сердились, ссорились и толкали друг друга, Софочка все что-то весело щебетала, напевала, смеялась, как бывало Анечка после долгой ночи сладких утех.

Отряд еврейской полиции послали в Ляды – местечко в сорока километрах от города – привезти тамошних евреев. До сих пор в местечке было собственное небольшое гетто, но совсем недавно группа молодых людей бежала оттуда в леса, к партизанам. Немцы объявили, что гетто ликвидируется, а его жители переводятся в город, где охрана надежнее. Шмульгевского тоже назначили ехать с отрядом.

Он возвратился около полуночи, зашел в караулку, где Хаим отбывал

вахту, достал из тайничка под полом бутылку водки, выпил полный стакан. Постоял минуту, прислушиваясь, как улеглось выпитое, налил еще стакан и снова выпил. Хаим смотрел на него испуганно, ждал, что скажет. Шмульгевский снял свою зеленую фетровую шляпу, которую никогда не снимал, вытер ею большую потную лысину.

– Хаим, – наконец произнес он. – Не дай Бог дожить до такой смерти. Еврейские полицейские, рассказал Шмульгевский, нужны были только для отвода глаз. Чтобы никто заранее не заподозрил неладное. А люди были рады: пусть гетто, но большой город манил их. Они весело шли к железной дороге, где их ждали вагоны, тащили мешки с каким-то скарбом, который им разрешили взять с собой. Они даже пели в вагонах.

– Хаим, ты знаешь песню «Феркойфн а сапошкелех унд форн ауф а дрошкелех»?

Хаим такой песни не знал. Шмульгевский удивился:

– А у нас ее пели. Я с детства помню.

Он сложил большой и указательный пальцы колечком, хрипло, неверно, так, что нипочем не угадать мелодии, протянул: «Феркойфн а сапошкеле...»

– Не знаешь? А там одна женщина пела ее в вагоне.

Но до города поезд не дошел. Остановился у Красного Бора. Здесь до войны были пионерские лагеря. Вагоны сразу окружили солдаты – из прибалтов, кажется, – местные полицаи. Люди поняли, что попали в западню, начали кричать, рваться из вагонов. Но двери отодвигали вот настолечко (слегка растопырив руки, Шмульгевский обозначил узкую, только протиснуться, щель), вытаскивали нужное число людей и сразу вели убивать. Совсем рядом – полсотни шагов от железной дороги – выкопаны длинные рвы. Рихтер, он всем делом руководил, приказал евреям-полицейским перетащить барахло убитых из вагонов в грузовики, они уже стояли на шоссе, и этими же машинами возвращаться в город.

– Теперь мне конец, – сказал Шмульгевский. – Он нам не простит, что мы это видели. Туда какой-то случайный мальчик заехал на велосипеде. Лет тринадцати мальчик, деревенский, в коротком пальтишке. Наверно, услышал, что стреляют, и захотел посмотреть. Рихтер сам его убил. Из пистолета. Подбежал, бац – и всё... Хаим, я каждое лето возил туда детей в лагерь «Красная роза». Какая это была жизнь, Хаим! Какая хорошая жизнь!

Слезы текли по его отвислым, заросшим щетиной шекам. Он налил себе еще немного водки.

– Там, между прочим, твой зятек был, – прибавил он, плеснув водку в рот и утирая шляпой лысину.

Хаим сразу понял, о ком речь, – словцо «зятек» было ему неприятно.

– И что? – он затревожился в ожидании ответа.

– Кто его знает. Крутился там в своей бабочке. Одно слово – артист. Потом с нами в машине домой приехал.

Недоброжелательный тон почему-то тоже неприятно царапнул Хаима.

– Ты больше не пей, – сказал он помощнику. – Иди спать.

Назавтра вечером – пора было спать укладываться – Яков Авидан позвал Хаима поговорить. Спустились во двор. Хаим взял предложенную Яковом папиросу. Вообще-то он курил мало, но было что-то унизительное в том, чтобы стоять и слушать этого пижона, когда он пускает тебе дым в лицо.

– Пан Варенбуд, – сказал Яков, – вы, может быть, заметили, что мы с Софочкой любим друг друга.

– Это уже и охрана у ворот заметила, – Хаим сердито выдохнул дым. – А я не слепой и не глухой.

– Пан Варенбуд, я хочу, чтобы Софочка сделалась моя жена, чтобы мы жили долго, чтобы у нас было много детей, мальчиков и девочек. Когда я работал в цирке, там был жонглер. Он имел двенадцать детей. Шесть мальчиков и шесть девочек. Представьте себе, однажды во время репетиции ему на голову упал канатоходец и сломал ему шею. Такое несчастье!

Он сильно затянулся, держа папиросу в кулаке, – его тонкие белые пальцы прозрачно закраснелись.

– Ты что, позвал меня про цирк рассказывать?

– Я позвал вас сказать, пан Варенбуд: у меня все подготовлено. Я могу вывести Софочку, и сам с ней уйду.

Он спохватился:

– Если вы, конечно, не против, пан Варенбуд.

– А если против? – Хаим не сумел скрыть грусти в голосе. Он поплевал на пальцы, погасил папиросу.

– Канализация?

Яков кивнул.

– Надежно?

– Старый отвод, даже не отмечен на плане.

– А потом?

– Есть люди в городе.

– А деньги?

– Есть деньги...

Хаим задавал вопросы – прикидывал. Риск, конечно, огромный, и все-таки шансы есть. А здесь – гибель, в любой момент – гибель. Этот Яков Авидан ему, конечно, не по душе: артист, и желтый галстук-бабочка, и эти байки дурацкие. Ну, да ведь другого пока не предвидится. Устроится всё, найдет его девочка кого-нибудь получше. Инженер Генох рассчитывает, что кое-кому удастся пересидеть Красный Бор, да поди угадай, попадешь ли в число счастливцев.

– Пан Варенбуд, – Яков приблизил к нему лицо, и Хаим увидел в темноте его печальные глаза. – Может быть, вы пойдете с нами? Вы, конечно, очень крупный мужчина, вам трудно будет двигаться в этих ходах. Но вы имеете много силы – вы можете силой сжимать себя. Так делал знаменитый Гудини. Вы никогда не слышали про Гудини? Был еще Ежи Поплавский, такой актер, тоже очень крупный мужчина. На сцене, в одном водеви-

ле он сжимал себя так, что прятался с головой в маленькую бочку. Я поверить не мог. Потом у него был глупый роман с горничной в отеле, и она подсыпала ему в кофе яд. Так вы пойдете, пан Варенбуд?

– А Сима?

– Ей нельзя – она толстая. И не имеет силы.

– Без нее не пойду, – сказал Хаим Варенбуд.

Несколько недель он не имел отношений с Симой – уступал ночи Софочке, стараясь уснуть, едва касался головой подушки, чтобы не слышать, но как раз нынче, на рассвете, возвратившись с дежурства, он воспользовался случаем – все уже ушли на работы – и лег к Симе. И что-то странное с ним произошло: он не просто совершил свое мужское дело, он желал снова и снова эту пожилую женщину с толстым животом и плоскими большими грудями, ему казалось, что, пока она с ним, ничего не угрожает ему...

Яков снова полез в карман за папиросами.

– И что? – спросил Хаим. – Он умер, этот артист?

– Какой артист?

– Которому горничная кофе дала.

– Ах, Ежи Поплавский? Еще как умер. Даже сахар в чашке не успел растаять.

– Слушай, а у тебя в аптеках есть знакомые?

– Кое-кто есть.

– Ты мне принеси такой порошок, как этому артисту. Вы уйдете, нам с Симой, наверно, плохо будет. Как говорится, не до всякой смерти хочется дожить.

Он вспомнил, что накануне Яков был почему-то в Красном Бору, но спрашивать не стал...

– Для Симы тоже принеси.

– Ей не надо. Она не боится.

– Вы все-таки не говорите ей заранее. Уйдете – сам скажу.

– Она уже знает, – ответил Яков Авидан.

Инженер Анатолий Каплан и бухгалтер Ася Берман ушли из гетто по канализационному ходу, но возле самого люка, когда они вылезали на поверхность, их ждал немецкий патруль, возглавляемый лично Рихтером. При аресте они оказали сопротивление, их скрутили, конечно, и увезли в гестапо. Оба беглеца были людьми, близкими представителю Геноху: инженер Каплан занимался при нем техническими вопросами, про маленькую смешливую Асю с черной челкой (у нее было прозвище Пони) и вовсе говорили, что она его любовница, хотя точно никто не знал. Геноха вызвали в гестапо. Вернулся он оттуда мрачный, с желтым лицом, приказал немедленно доставить к нему родителей инженера Каплана, мать и сестру Аси и еще одиннадцать человек квартирных соседей. Приехал Рихтер и всех увез.

Яков Авидан появился дома к ужину. Достал из парусиновой сумки с инструментами вкусно пахнувший сверток: «Еден, два, тчи», – изящно

взмахивая ладонями, развернул темневший жирными пятнами лист бумаги и – просто чудо – выложил на стол четыре давно забытых круглых пирожных, увенчанных белыми куполочками крема.

– В театральном буфете проблемы с канализацией, и буфетчица, пани Марина, мой хороший друг.

Достал из-за пазухи бутылку красного вина.

– У меня сегодня день рождения. Год назад я встречал его в городе Барановичи. Для вас еще не началась война, а для меня одна война уже кончилась. Польши уже не стало. Я попал в Барановичи и сказал пану товарищу в исполкоме, что хотел бы работать в театре. Но у него не имелось работы в театре. Он направил меня в райпотребсоюз, и я целый год торговал в палатке сушеными грибами.

Печально приподняв бровь, обвел всех недоуменным взглядом.

Сели ужинать. Молодые радовались обретенному праву не таиться – сидя на кровати рядом с Софочкой, Яков обнимал ее то за плечи, то за талию, и она, отвечая на объятия, всякий раз быстро прижималась к нему. Хаима Варенбуда это раздражало, а оттого, что каждое движение дочери напоминало ему покойную Анечку, раздражало еще больше, но он старался не подавать вида. Софочка теперь снова стала с ним ласкова, какой давно не была, пробегая мимо, быстро проводила ладонью по его волосам или гладила ему плечо. Хаим вспоминал, как когда-то, давным-давно, возвращался домой из долгих командировок – дочка взбиралась к нему на колени, обхватывала тоненькой ручкой его крепкую шею: «Никому тебя не отдам!» – «А маме?» – «Маме тоже не отдам».

Разговор за ужином почти сразу, конечно, перешел на беглецов.

– Они ошиблись поворотом. Надо было повернуть раньше, – сказал Яков Авидан. – Там легко перепутать. Когда идешь по канализации, делаешься совсем сумасшедший. Сгибаешься в три погибели, ползешь на коленях, на животе. Нечистоты, воздух ужасный. Распрямиться и вздохнуть можно только в уличных колодцах, где люки, но долго стоять – опасно. В канализации как будто надышался эфиром. Не можешь хорошо соображать.

После ужина мужчины, как третьего дня, спустились во двор покурить.

– Они теперь в гестапо, – сказал Хаим. – Лучше сразу умереть.

– Моего хода никто не знает, – отозвался Яков. – И колодец не на улице. Бывший склад, люди не живут – пусто.

– Приказано за беглеца брать всю квартиру.

– Рихтера переводят в Латвию, на той неделе уезжает из города.

Хаим удивился, что Яков Авидан знает об этом.

– Новый придет, не сразу разберется. Вы могли бы приписать к себе кого-нибудь в дочери вместо Софочки. К вам, с вашим положением, всякий захочет приписаться. У меня есть для вас хорошая девушка.

– Ладно, – Хаим потушил пальцами папиросу. – Без тебя разберусь.

В подъезде, когда поднимались по лестнице, Яков сказал:

– Я, пан Варенбуд, принес вам, что вы просили.

И сзади вложил ему в ладонь свернутую фантиком жесткую бумажку.
– Что это?
– Надо только раздавить таблетку зубами.
– И что?
– И – как Ежи Поплавский.
Яков вдруг засмеялся в темноте.

На другое утро в подвале одного из домов нашли убитого. Человек этот появился в гетто недавно, с той же группой, что Яков Авидан, – их называли «поляками» – говорили, что он интересуется золотом. Поскольку преступление было совершено в гетто, Рихтер приказал в двадцать четыре часа найти виновных – в противном случае гестапо примет свои меры. Представитель Генох приказал собрать тех, кто, по его данным, числился уголовным элементом, посулил им и их семьям Красный Бор, если не назовут убийц. Через час компания сдала ему двух братьев Вертуховских, Исаака и Меира. Третьим, уже по собственному почину, Генох приказал арестовать Якова Авидана. Его взяли прямо на улице, когда он возвращался с работы.

Хаим, конечно, не пошел бы за него просить, если бы Софочка не сказала, что без Якова дня жить не станет, – тут ему страшно сделалось.

– Расследование закончено, – представитель Генох говорил сухо, как с чужим. – Братья Вертуховские признались, что вчера между девятью и десятью часами вечера с целью грабежа заманили этого полячка в подвал, предлагая купить у них золотые изделия, и задушили. Вместе с ними действовал Яков Авидан. Он сначала поупрямился немного, но после тоже признался.

– Товарищ Генох, – Хаим даже не заметил, как выпорхнуло у него давно забытое слово, – Авидан весь вечер не выходил из квартиры. Если нужно, я могу написать.

– Не нужно. Вы же умный человек, Варенбуд. Вы напишете. Я передам дело в гестапо. Они сразу же возьмут вашу девочку, вас, конечно. Авидан ловкач, но, похоже, больше им не нужен. Он это понимает и тоже туда не хочет. Вы когда-нибудь видели, как у человека на сантиметр, – Генох показал пальцами, – торчит из глаза осколок стекла от очков? А я видел. У Аси Берман.

– Она живая? – хрипло спросил Варенбуд.

– К счастью, она мертвая. А инженер Каплан, к несчастью, все еще живой. Нет, Варенбуд, вашего Авидана я вам не подарю.

Хаим опустил голову.

– Скажите вашей дочке, что Яков Авидан настоящий убийца. Может быть, это послужит ей некоторым утешением.

Вечером всех троих казнили у ворот гетто, возле мясной лавки. До войны здесь был небольшой базар, мясные ряды, – приговоренных повесили на стальных крюках, на которых прежде висели говяжьи туши. Палачом за солидную продуктовую пайку взялся быть один многодетный ломовой извозчик и справился с делом так хорошо, будто всю жизнь только тем и занимался, что вешал людей. Прежде чем надеть петлю на шею Якову Ави-

дану, он снял с него желтый галстук-бабочку и положил себе в карман. Рихтер, присутствовавший при казни, остался очень доволен.

– Ну, вот, – весело сказал он представителю Геноху, – теперь у меня в гетто есть свои убийцы и свои палачи.

Хаим через две ступеньки, задыхаясь, поднялся по лестнице.

– Где Софочка?

– Ушла, – ответила Сима.

– Куда ушла?

– Просто ушла, – сказала Сима. – Никуда.

У Хаима побелело лицо.

– Что значит – никуда?

– Это значит, мы ее больше не увидим, – и Сима громко высморкалась в фартук.

Уже начало светать, а Хаим Варенбуд все раскачивался на стуле и хотел умереть.

– Ляг, отдохни немного, – Сима подвинулась на матрасе, освобождая ему побольше места.

Он, не раздеваясь, лег поверх одеяла.

– Сима, я умираю, – наконец выговорил он.

Она больно обхватила его голову, прижала к себе.

– Ты уже умер. Спи.

Хаим, где мог, сам, где не мог, через надежных людей, искал Софочку – в гетто, в городе, на местах работ. Генох осторожно навел справки в гестапо – нигде ее не видели, не слыхали о ней.

– Но ведь где-то она есть! – твердил в отчаянии Хаим.

– Ее нет, – отвечала Сима и больно прижимала его голову к своей душной груди. – Она ушла. Спи.

Однажды ночью – Хаим как раз дежурил – заглянул в караулку представитель Генох. Попросил:

– Налейте водки. Устал.

Хаим выудил из тайника бутылку, налил ему полстакана.

– Себе тоже налейте, хоть вы и на работе. Я разрешаю.

Выпили. Варенбуд убрал стаканы, достал из ящика ржаной хлебец – в гетто пекли такие, когда удавалось провезти муку, – протянул инженеру.

– Кругом контрабанда, – усмехнулся Генох и неторопливо сжевал хлебец.

– Не отчаивайтесь, Варенбуд, – он коснулся ладонью руки Хаима. – Один очень умный человек еще полторы тысячи лет назад говорил: отчаяние всегда преждевременно. Никто не знает, что его ждет, и есть лишь один способ узнать это – дожить. Мне было восемнадцать лет, шла гражданская война, на наше местечко – я вырос на Украине – налетела какая-то банда, начался погром. Мои отец и мать были зарублены шашками, что сделали бандиты с моей сестрой – она была младше меня на три года – я не в силах и вспоминать. Когда они ворвались в наш дом, я успел через заднее крыльцо

выскочить во двор, добежал до нужника и прыгнул в яму. Я слышал, как в доме орут, гогочут, крушат всё подряд бандиты, слышал дикий визг сестры – и боялся пошевельнуться, по плечи в дерьме. Часа через два они ушли из местечка. Я кое-как выбрался из ямы и стоял, ничего не соображая. Вдруг кто-то меня окликнул. Я обернулся – вижу, в соседнем дворе маленький, согнутый старик-хохол; он опирался на длинный посох. Самое странное, что я никогда не видел его прежде. «Ты что, хлопец, задумался?» – «Да что ж мне теперь делать?» – «Как что? Смой дерьмо да живи дальше». Вы меня поняли, Варенбуд? Я подошел к колодцу, разделся догола и вылил на себя десять, пятнадцать ведер воды. Потом я возвратился в дом. Стараясь на глядеть на изрубленных отца и мать, на истерзанную, с вывернутыми ногами сестру посреди комнаты на полу, в одной белой кофточке, я взял, что осталось из одежды, и ушел, и никогда не возвращался больше. Это у евреев великий грех – не похоронить мертвых; с тех пор я не верю в грехи. Потом я учился, работал, женился, дослужился в Донбассе до зам. главного инженера фабрики, все шло хорошо, но тут настал тридцать седьмой, и меня посадили. Шили мне участие в какой-то диверсионной группе, я ничего не подписывал, следователь попался неудобный, лупил смертным боем, однажды, представьте, пообещал, что заставит меня дерьмо жрать, меня и в самом деле потащили в нужник и тыкали мордой в унитаз, в котором не спустили воду. Я все равно не подписал. Мне хотели дать высшую меру, но что-то замешкались, в это время произошла у них в НКВД перетасовка, скинули Ежова и под это дело кое-кого выпустили. Вот тут-то мне и повезло, что ничего не подписывал. Жена, пока сидел, от меня отказалась. Я был одинок и свободен. Я снова смыл дерьмо и стал жить дальше. Вы чувствуете, Варенбуд, куда я клоню? Главное – жить дальше. Варенбуд начинает и выигрывает. Ну, не жадничайте, налейте еще полстакана. Водки-то у вас, поди, залейся. У кого отберете, кто сам даст...

Пришел приказ срочно отправить транспорт в Латвию – пятьсот человек. Говорили, будто Рихтер назначен там начальником большого лагеря и затребовал себе рабочих. Ехать добровольно вызвались немногие. Хаим с ног сбился – вместе с другими полицейскими отыскивал обозначенных в списке людей по квартирам, доставлял, иногда силком, на сборный пункт. Гестаповец, сменивший Рихтера, атлетического сложения офицер с невозмутимым лицом, понятно объяснил представителю Геноху: «Завтра пятьсот или послезавтра тысяча». Возле сборного пункта толкались родственники отправляемых: жены не хотели расставаться с мужьями, родители с детьми.

– Скажите им, что у них будет возможность поехать следующим транспортом, – приказал гестаповец Геноху. – Пусть расходятся по домам.

Колонна, окруженная немецкими солдатами, отправилась на товарную станцию. Евреев-полицейских послали вперед: они заделывали досками дыры в полу товарных вагонов, забирали оконца колючей проволокой. Людей набивали в вагоны плотно – Варенбуд удивлялся: разве так доедешь до Латвии? Он шел вместе с представителем Генохом вдоль состава и, хотя сам со-

бирал людей для отправки, все-таки с надеждой заглядывал в глубину каждого вагона, всматривался в лица. Вдруг впереди, будто тесто из квашни, из широко распахнутой двери начало выбухать темное тело затолканных в вагон людей. Раздались крики, вопли и над ними высокий отчаянный голос, даже не понять, мужской или женский: «Нас везут в Красный Бор! В Красный Бор!..» Немецкий солдат в каске метался у двери, орудовал прикладом, его оттеснили в сторону. Гестаповец, заменивший Рихтера, мерным шагом направлялся к вагону с другой стороны платформы, на ходу расстегивая кобуру пистолета.

– Выручайте, Варенбуд, – нервно проговорил Генох. – Иначе тут такое будет...

Хаим Варенбуд бросился к вагону, ухватился за скобу по одну сторону двери, напер грудью, свободной рукой ударил одного, другого, загоняя обратно в вагон, некоторые сами попятились назад, увидев подходящего гестаповца. Варенбуд свободной рукой нащупал скобу по другую сторону двери, вцепился в нее, что было силы надавил всем телом, сделал шаг внутрь вагона, упихивая людей еще плотнее, – в эту минуту кто-то сзади коротко и крепко ударил его в спину, от неожиданности он еще подался вперед и почувствовал, как за спиной покатилось по желобу, затворяя его в вагоне, полотнище двери.

– Увидимся на первой остановке, – успел услышать он голос представителя Геноха.

Паровоз сильно дернул состав и начал набирать ход. Хаим стоял, прижавшись спиной к двери, и с трудом привыкал к полутьме вагона. В голове у него шумело, перед глазами плавали красные шары, руки и ноги дрожали, еще не расслабившись от напряжения. Когда поезд тронулся, сделалось было тихо, но минуту-другую спустя все опять разом заговорили, запричитали, и высокий голос опять забился в отчаянном плаче: «Евреи, нас везут убивать, евреи!..» Проехали не более получаса, машинист начал притормаживать. «Что бы это могло быть?» – Хаим перебирал в памяти ближайшие от города станции.

– Красный Бор! – в ужасе закричали стоявшие у окошек. – Красный Бор! Красный Бор!..

Поезд остановился. Было слышно, как по платформе, тяжело стуча сапогами, бегают солдаты. Дверь не отворяли. Потом с улицы донеслись команды, шумный говор – и вдруг, частой россыпью, выстрелы. Все в вагоне замолчали, будто вслушиваясь.

– Убивают, – негромко сказал мужчина у окна. Хаим его помнил: он работал на «Электродвигателе» шофером грузовика.

«Евреи...» – взмыл снова высокий голос. «Да заткнись ты...» Наверно, его ударили.

Генох не приходил. Хаим, по-прежнему стоя спиной к двери, сильно постучал в нее кулаком:

– Откройте! Здесь полиция!

Снаружи не отозвались.

– Полиция! – засмеялась какая-то женщина. – Он думает, что он в воротах!

Следом за ней засмеялся еще кто-то. И еще.

Хаим снова забарабанил в дверь. Никто не услышал его, да и не хотел слышать, там, снаружи, среди криков людей, топота ног, сливавшихся в гул и отдававшихся гулким эхом выстрелов. Наконец дверь приотворили. Резкая полоса солнечного света ворвалась в вагон.

– Выходи по-одному! – скомандовал по-русски кто-то невидимый оттуда, из света, и, словно отброшенные этим уверенным голосом, люди, находившиеся в вагоне, метнулись от двери, вжимаясь в темную глубину.

– Давай, давай, торопись!

Хаим протиснулся в щель двери, спрыгнул на платформу, щурясь и плохо видя, огляделся:

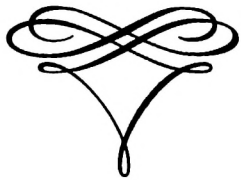
– Где представитель Генох?

Его несильно ударили между лопаток прикладом карабина.

Он повернулся к ударившему, ткнул себя пальцем в грудь:

– Полиция.

Его опять ударили, уже сильно, так, что он невольно сделал шаг вперед, споткнулся, почувствовал еще один умелый удар, шагнул снова – и пошел туда, куда только и оставалось идти между рядами солдат и полицаев: в сторону от платформы, к широкой опушке, где толпился народ и хлестали выстрелы. «Негодяй! – бормотал он вслух, не замечая этого. – Негодяй!» Потом его столкнули в яму, полную людьми, все вокруг торопливо раздевались, как в городской бане. Солдаты сверху кричали: «Шевелись!», подгоняли голых людей скорей перебегать по узкому рву в другую яму, по краю которой стояли тоже люди, одетые в военное и штатское, и безостановочно палили из автоматов, карабинов, пистолетов. Хаим сбросил пиджак, стянул сапог, потом, прыгая неловко на одной ноге и чувствуя, как между пальцами продавливается влажная глинистая земля, стянул другой. Сапоги на нем были хорошие, хромовые, ему даже стало жалко бросать их здесь. Стягивая через голову рубаху, он неожиданно нащупал в кармане крошечный квадратик плотной бумаги, о котором и позабыл вовсе. Он низко нагнулся, делая вид, будто развязывает тесемки подштанников, дрожащими пальцами торопливо добыл из фантика белую таблетку, раздавил зубами и выпрямился. Он почувствовал во рту странно знакомый, обжигающий горло вкус. Застыв в ожидании, он видел, как появилась в соседней яме молодая женщина с красивым большим белым телом, прикрываясь руками, остановилась на мгновенье, будто нежилась на ярком весеннем солнце, и тотчас рухнула, опрокинувшись назад. «Ты шо? Заснул? – крикнули Хаиму сверху. – Сымай скорей портки! Всё сымай! Догола!» (Человек выговаривал «г» мягко: «дохола».) Хаим, торопливо раздирая тесемки, принялся стаскивать подштанники и вдруг вспомнил этот знакомый обжигающий горло вкус – когда уезжал он в командировки, Анечка давала ему такие таблетки на случай простуды. «Ах, негодяй! Негодяй!» – проговорил вслух Хаим Варенбуд и пошел под выстрелы.



Яков Пятигорский

ПОСТМОДЕРНИЗМ

Москву опять замело.

Вчера было так: снега не найдешь. Нигде. Только грязь. Все и думать забыли. А утром проснулись, глядь: вообще ничего нет, один снег кругом.

К полудню, вроде, стал понемногу сходить. Но не тут-то было. Снова воздух в белых хлопьях. Снова люди в белых шапках. Грязь.

А к вечеру еще и мороз ударил. На лицах блестят сосульки, земля скользит под ногами… Мороз. Все недовольны…

И никаких чувств.

Володя стоял у книжного развала и изучал товар. Развал был хороший, качественный, с богатым выбором. Володя уже давно стоял здесь, переминаясь с ноги на ногу, чтобы совсем не окоченеть.

– Не можете выбрать? – спросил бородатый продавец, жующий ароматную жвачку.

– Могу, – возразил Володя. – Но не хочу. Мне нравится все. Прекрасный у вас ларек.

– Да. Говна не держим, – пережевывал жвачку краснолицый продавец.

– Вижу, – согласился Володя.

– При желании можно и говно достать, – продолжал продавец.

– Верю.

Взгляд продавца путешествовал где-то внутри Володи.

– Жвачку хотите? – предложил он.

Яков Пятигорский – по профессии компьютерный график, ранее нигде не печатался. Живет в Израиле.

– Вы и жвачками торгуете? – слегка удивился Володя.

– Нет. Это бесплатно.

– Я не жую.

– Книги и жвачки – практически одно и то же, – заметил на это продавец.

– Знаю, – почему-то согласился Володя. – Но книги интересней.

Лицо продавца осветила снисходительная улыбка.

– Это временно, – заверил он. – Пройдет.

– У меня? – уточнил Володя.

– У вас. И у всех, – продавец перешел на доверительный шепот. – Скоро жвачки станут гораздо интереснее книг.

– Вы имеете в виду технологию?

– Какую технологию?

– Технологию изготовления жвачек.

– Нет. Я имею в виду культурный поворот.

– А! Понятно. Я что-то такое читал.

– А я что-то такое жую, – усмехнулся продавец.

– Что-то наркотическое? – осведомился Володя.

– Тонизирующее, молодой человек, – поправили его.

– А! Ну да, конечно, – спохватился Володя. – А что бы вы рекомендовали тонизирующего на предмет почитать?

– Я бы рекомендовал вот эту книжечку. Здесь стихи, – продавец выхватил с лотка тоненький том в мягкой обложке. – Если не хватит инсульт на первой странице, потом все станет очень хорошо… Тонизирует, да…

– А кто автор?

– Цех…

– Как это? – удивился Володя.

– Да есть люди… – неохотно отвечал продавец. – Цех…Пишут…

«Что это? Кажется, какая-то мистика. Нет? Кажется, все-таки да. Ух. Влезть бы в это глубже. Интересно…» У Володи даже коленки задрожали, как будто подошел он к краю обрыва… *Но он свое еще получит.*

– Какие люди? Что за цех?

– Есть цех! И не один! И вообще, много чего есть, что и не снилось вам, любезный.

Взгляд продавца как-то постеклянел. В его зрачках отражались облака, петушки с карниза какого-то здания… И ничего…

Что-то, в самом деле, интересное как будто готово было приоткрыться для Володи. Но как переступить порог?

И он задал дурацкий вопрос:

– Простите, пожалуйста, а вы не врете?

Продавец хохотнул, потом хмурым взглядом поискал что-то у Володи в области диафрагмы, нашел, сделал шаг назад и в более традиционном ключе осведомился:

– Покупать что-нибудь будем?

Володя от неожиданности аж крякнул. И, смутившись, ответил:

– Э… тогда, эту книжечку, значит… И еще что-нибудь… Вы обо всех книгах на вашем лотке знаете?

– Конечно, я их все читал.

– Все? И вот эту – «Ассенизационные системы»?

– По ней я писал диссертацию.

– Так вы дипломированный ассенизатор?

– Я писал вместо другого человека. За деньги.

– Ах, вот оно что!.. А скажите, это ваше предложение достать…

– Не надо, успокойтесь, не надо так шутить.

Происходящее казалось Володе настолько странным, что он осмотрелся по сторонам, – не снимают ли какие-нибудь авангардисты кино, в котором он невольно исполняет эпизодическую роль. Но камеры нигде не было, люди выходили из метро, подходили к ларькам, копались в сумках, садились в наземный транспорт и исчезали.

НО, ЗАЧЕМ, СКАЖИТЕ, ЗАЧЕМ НЕСЧАСТНОМУ ЗАМЕРЗАЮЩЕМУ ПРОДАВЦУ ПОСРЕДИ КО ВСЕМУ БЕЗРАЗЛИЧНОЙ МОСКВЫ ТАК ВЫПЕНДРИВАТЬСЯ!!!

– Но зачем же вы при таких знаниях работаете в ларьке?

– Элитарная работа, что тут такого, – пожал плечами продавец.

– В ларьке?

– По-другому в ларьках и не бывает.

– Так что же, выходит, что в ларьках работают только…

– В основном, энциклопедисты. По крайней мере, в книжных. Ниже профессора не найдете, потому что на работу не примут ниже.

– А вон ларек. Там бабушка стоит. Неужели и она…

– О, ну, это переводчица с мировым именем! Кажется, еще увлекается поэзией. Сочиняет мистические стихи.

– Бабулька? То есть, бабуська? То есть, простите…

– Да не такая уж она и старая. Кстати, блондинка. Просто, одежда такая. Часть доктрины…

«Подумать только! Доктрины!»

Нужно ли говорить, что мир представлялся Володе уже несколько видоизмененным. Он хотел еще что-то сказать, но вдруг услышал:

– Так, все, я закрываюсь!

– Но…

– Без но. Вы все выбрали? Платите быстрее, я закрываюсь. И так заболтался с вами допоздна. На кухне, что ли, сидим?

Продавец принялся складывать книги со стеллажей в коробку. Вот так вот прямо стоял и кидал их небрежно в черную бездну.

– Хорошо, хорошо. Значит… я возьму тогда… то, что вы мне посоветовали… и вот это.

Он взял тоненькую книжечку.

– Эту тоненькую книжечку?

Продавец моргнул.

– Пф-ф… Хорошо. С вас шестьдесят рублей.

Он выхватил книжки из Володиных рук, завернул в бумагу и крепко-накрепко перевязал веревкой.

– Это необязательно, – сказал Володя.

За книжки он принялся лишь на следующий день. Стихи решил прочесть как-нибудь потом. А пока взял тоненькую книжечку, которую купил наугад. Начиналась она неожиданно и сильно:

«Привет, Володька!»

Наш герой оторопел.

– Что-о-о?

«Да ничего! А что, не ожидал такого поворота?»

«Секунду, – пронеслось в Володиной голове, – спокойно, это розыгрыш, неужели не понятно?»

Меж тем глаза его, автоматически скользившие по листу, прочитали: «Нет, ты ошибаешься. Это не розыгрыш, это – правда. Да, да, это реальность! Вот так. Просто, эта реальность – литературная, а литература – авангардная, вот и все. Дошло? А как, ты думал, будет выглядеть литература будущего? Ведь думал же, прикидывал! А вот так она будет выглядеть – как то, что у тебя в руках. Понял? Отвечай! Ну, понял или нет?»

Володя молчал, не вполне понимая, что же все-таки происходит, черт побери.

«Чего молчишь? – нападали строчки. – Отвечай. Скажи: о'кей».

– Что?

«Скажи: о'кей, тормоз».

– О'кей, – вымолвил наконец Володя.

«То-то. Молодец», – прореагировали строчки.

Володя, у которого мурашки поползли по коже, захлопнул книгу, вскочил со стула, отбежал в другой конец комнаты и вопросительно уставился в зеркало. Сначала он щипал себя. Ничего не изменилось. Тогда он потрогал стены, погладил поверхность зеркала. Глубоко вздохнув, он снова подошел к столу и открыл книгу с конца. Вот что он прочел:

«Э нет, так дело не пойдет! Разве ты, Вова, не знаешь, что в конец заглядывать неинтересно. И глупо. И вообще, это нечестно – мы так не играем».

Текст обрывался.

«Книжный край, – подумал Володя. – Задний книжный край, а вовсе не конец…»

Володя заглянул в середину.

«Ох, как ты замучил своими скачками! – взмолилась книжка. – Тебе что, не интересно узнать, что было дальше? Нет, серьезно… Короче, вот что. Советуем тебе вернуться туда, где ты остановился, и читать все по порядку. Предупреждаем последний раз: иначе все испортишь…»

Послушный Володя вернулся в начало.

«Перед тем как ты пойдешь в магазин, – продолжала книжка, – немно-

го информации. Учти: это серьезное чтиво, не для слабонервных. Более того, мы уверены, что вскоре подобные книги попадут в разряд запрещенных. Обидно за жанр, конечно, но по-человечески мы это понимаем: все-таки жертвы, умопомешательство... Так что, знай: просто тебе повезло. Скоро такое за 40 р. уже не купишь, а только гораздо дороже и у барыг... Ну ладно, все, иди!»

– Куда?

– Вовка, сбегай за хлебом! – послышался с кухни мамин голос.

«Ох, вот это!»

– Слышишь, Вов?

– Да, мам!

– Давай быстрее, обед стынет!

Володя схватил куртку, шапку и выскочил на улицу. Но спешил он вовсе не в булочную, а к ларьку у метро, где давеча купил книжку.

Подбежав к входу в метро, он заметался между ларьков. Нужного не было. Вот это облом! Тут он заприметил давешнюю старушку и подскочил к ней:

– Простите, пожалуйста, я ищу ларек...

– Прошу прощения. Вы, кажется, сказали, что ищете ларек?

– Да. Вчера вон там был ларек. Книжный, рядом с пончиками. Там торговал дядька такой бородатый. Куда он делся?

– А вы, простите, из какой службы будете?

– Я? Не из какой. Мне просто очень нужно кое-что у него спросить. Это очень важно.

– Ах, юноша... Бог свидетель, здесь страшная ротация... Работаем в режиме полной неопределенности... Сюрприз на сюрпризе... Увы... Не обессудьте...

Из-под грязной вязаной шапочки на лоб ее выбивался светлый локон. Володя только рукой махнул. И отправился за хлебом.

Дома он получил нагоняй от мамы за задержку.

После обеда он обрел в себе силы продолжить чтение. Книга раскрыта.

«Ну что, сходил к ларьку? Нет ларька и некого спросить, и вопроса не ведаешь, и ответ сокроют... И вообще, ларьков много, а суть одна... Да и той как будто нет».

«Ерунда какая-то», – подумал Володя.

«Кроме того, сказал же тебе человек – закрываюсь, а ты думал, он слова свои на ветер бросает? Пойми: сказано – отрезано. А если чему сказано закрытым быть – того не открыть вовек».

– Может, хватит юродствовать? – пробормотал Володя.

«Что ты сказал? – обиделась книжка. И тут же объявила: – Ладно, времени мало – переходим к основной части. Сейчас к тебе зайдет один человек...»

– Ой, мама! – испугался Володя.

«Не нужно было эту дрянь читать, – пронеслось в голове. – Сейчас начнется...»

В дверь позвонили.

«Нужно сказать маме, чтоб дверь не открывала!»

Но было уже поздно.

– Володь, к тебе пришли! – услышал он мамин голос в прихожей.

И вслед за этим в дверь Володиной комнаты тихо постучали.

– Черт, – обливаясь потом, прошептал Володя.

Но когда тихий стук повторился, он зло распахнул дверь. За ней стоял улыбчивый молодой человек с бегающими глазами. В руках он держал тонкую книжечку в глянцевой обложке черного цвета. Человек обвел взглядом Володю, потом посмотрел на стол с лежащей на нем книгой. Зрачки его заметно расширились, но улыбка на лице удержалась.

– Вы ведь Владимир, правда? – спросил он.

– Да.

– А я Роман, – представился молодой человек. – Вот книжку вам принес. Берите.

И он протянул Володе книжку.

– Как это мне? Почему мне? Что это вы мне даете?

– Там написано – вам. Я и принес. Да берите же.

– Где написано? – Володя взял книжку и забегал глазами по строчкам.

– Не там. Вон, ниже, видите? – ткнул куда-то пальцем человек, назвавшийся Романом.

Там и в самом деле было написано так: «Привет, Владимир. Поздравляем с книжным обменом...»

Это было уже чересчур. Даже видавший виды Володя оторопел. Его замешательством и воспользовался Роман. Он подскочил к столу, схватил Володину книжку и задал стрекача из квартиры.

– Э! Стой! Гад! Ворюга! – не очень твердо и не то чтобы зло – скорее, удивленно – закричал ему вслед Володя.

– Что такое! – послышался мамин голос из комнаты.

– Ничего, мам, это мы шутим с... Ромой. Все нормально, не беспокойся.

Он закрыл дверь. Присел на диван и углубился в обмененную без спроса книгу. Решил читать сначала.

«Здравствуйте, Степанида Алексеевна! Доброго здоровьичка! Впрочем, какое уж тут здоровье, когда и жить-то Вам осталось всего ничего... Нда-с... Мы понимаем, понимаем... Да нет, Степанида Алексеевна, с чего Вы взяли... Да не Глас... Ну все, начинается... Степанида Алексеевна, да поднимитесь же Вы с колен... Осторожнее, голову... Степанида Алексеевна, послушайте, есть у Вас один шанс на спасение: если Вы НЕ пойдете сейчас к собору на Елоховской, куда Вы, по всей видимости, уже собрались, то останетесь в живых... Нда-с... Эх. Разве Вас остановишь! Вот если бы Вы не думали, что мы – глас неба!.. Да куда там, разве Вы можете так не думать!..»

– Да что же это такое происходит! – кипело в голове у Володи. – Что же это! Как же это называется!

Да, как это называется, – он не знал. Он понимал лишь, что какая-то отвратительная драма развертывается где-то... где-то... в стылом и чуждом пространстве реальности – так, что ли? Да тут еще книжка зачем-то пустилась в философские рассуждения.

«Перед вами яркий пример парадокса, одного из тридцати четырех великих парадоксов, силой которых зиждется мироздание. Вот первая его часть: Степанида Алексеевна, суеверная богомольная старушка, купила нашу книжку, приняв ее за благочестивые писульки, а может быть, и за какой-нибудь сонник. Но книга наша имеет особенность обращаться непосредственно к читающему ее, от каковой особенности у старушки немедленно помутилось в голове, и она решила, что это ей глас Божий. Сейчас она пойдет в церковь, неся в руках книгу, словно хоругвь, ничего не видя перед собой, бормоча какой-то бред, и в двух шагах от храма попадет под грузовик. Выходит, что книжка наша является причиной ее смерти. Вот вторая часть парадокса: мы осведомлены, что произойдет со старушкой, и честно ее предупредили. А значит, в нас же заложено и ее спасение.

В модной реальности способна осуществиться лишь одна из частей, убивая породивший ее парадокс. Во как! Круто, да? Вот такой вот оголтелый детерминизм.

Ага, ну вот, сейчас. Так. Вон, значит, храм. Вон Степанида идет, подвывая. Так... ага, вон грузовик. Прощайте, Степанида Алексеевна. Бум! Книжка отлетает к ногам сидящего на парапете и курящего «Петр I» Романа. Привет, Роман! Как замуты? Реально? Воруешь потихоньку, а? Да не оглядывайся ты по сторонам. Никого тут нет, просто улица. Сшибло старушку у тебя на глазах, а книжка перенеслась к тебе, вот и все. Какая книжка? Во дурень, да эта вот! Что? Волшебная? Ну, конечно же, волшебная, а какая же еще. Вот, молодец, успокоился, сигарету выплюнул. Правильно, самообладание превыше всего. В общем, слушай сюда. Тебе последнее время здорово не везло, правильно? Так вот, сейчас тебе повезло очень крупно, понял? Ты единственный в сезоне, кто книгу не купил, она сама к тебе пришла. (Что ты говоришь? А, да, правильно, прилетела.) Это, знаешь ли, знак. А посему слушай внимательно. Сейчас, не откладывая, ты поедешь вот по этому адресу: ...это северо-восток, Черкизово, знаешь, наверное. Придешь и позвонишь в дверь. Откроет женщина. Попросишь Володю, тебя впустят, зайдешь к нему в комнату, поздороваешься, скажешь, что эта книжка для него. Дашь ему книгу, он станет ее рассматривать, а ты хватай точно такую же у него со стола и давай оттуда тягу. Понял? В той книжке, короче, имеются для тебя очень важные советы по бизнесу. Скажем без преувеличений – бесценные советы. Вот так вот. Если веришь – рискуй. А теперь книгу закрой и не читай – там все равно для тебя ничего нет. Ну, все, хоп. Привет, Владимир! Поздравляем с книжным обменом!»

– Это я уже читал... Ах, да!

Володька захлопнул книжку, и его вынесло из дома. Он спешил на Бауманскую, к храму на Елоховской. И в пути его ужасно мутило. Неужели, правда? Эта бедная старушка... Но ведь это же сущий кошмар!

Книгу он даже не открыл, хотя всю дорогу нервно играл с ней, сгибал и разгибал обложку, мял уголки страниц.

Он выбежал наружу со станции метро «Бауманская» и увидел около собора, со стороны проезжей части, кучу людей – несчастных, какими только могут быть северяне зимой, машин, милицию – храни ее Господь. Подойдя ближе, он разглядел на мостовой красное пятно.

– Что случилось? – спросил он у щеголевато одетого долговязого паренька, стоявшего в толпе.

– Да вот, кого-то семитрейлером сшибло.

– Насмерть?

– Насмерть, насмерть, Вова, не сомневайся, – повернулся к нему щеголь. Указательным пальцем он поправил сползшие с носа очки в дорогой оправе.

– Что? – оторопел Володя. – Откуда вы меня знаете? Кто вы?

Его собеседник достал из кармана своего пальто книгу в глянцевой черной обложке.

– Узнаешь? Гляди, что тут написано.

Он сунул Володе под нос текст.

«Сейчас к тебе подойдет мальчишка по имени Володя и спросит, что случилось. Володя, не надо читать эту книжку. У тебя есть своя».

– Смотрите, там меня просят не читать вашу книгу.

– Что?

Модник схватил книгу и уткнулся в нее.

– Да, правда. Просят. Вот, б…

– Простите, а как вас зовут?

– Евгений, – не отрываясь от текста, протянул ему руку новый знакомый.

– А меня Владимир.

– Знаю, – все так же, не отрываясь.

– Ах да, извините.

Тут Женя внезапно оторвался от своей книги и отрешенно уставился в Володю совершенно косыми глазами. К тому же, он выпятил нижнюю губу. Теперь он мусолил свой аристократический бакен и задел пальцем очки, которые снова сползли на кончик носа. Наконец, он сказал:

– Во-первых, обращайся на «ты». Тебе сколько лет?

– Семнадцать.

– А мне двадцать... – задумчиво обронил Женя, еще пристальнее вглядываясь в Володю, но при этом, как будто не видя его, – три.

Снова молчание…

– Двадцать три мне, понял? Называй на «ты»… А во-вторых, как мне эту тварь победить, а?

И снова – молчание, пристальный взгляд косых глаз.

– Так ты не знаешь? – спросил Женя.

– Какую тварь?

– Вот эту, – Женя постучал пальцем по обложке. – Кстати, дай-ка мне твою посмотреть. Нет, ты не думай, я честный: на, смотри мою.

– А зачем ее побеждать?

Женя аж попунцовел от злости.

– Ты школу окончил? – процедил он.

– Да, я в пединституте на первом курсе.

– Молодец. А я в банке аналитиком работаю. Понимаешь?

– Нет.

В голосе Жени послышались истерические нотки.

– Да ты понимаешь, что это полный п..?

– А где ты ее купил? – спросил Володя, указывая на книгу.

– Какая разница… Ты не понял, что ли? Я в банке работаю, а там еще и не таких… – Женя не сходил с визгливого фальцета.

– Хорошо, хорошо. Чем же я могу тебе помочь?

– Не знаю. Я, кажется, все перепробовал… А! Вот что. Бери свою книгу и давай читай вслух.

– Давай. «Не надо читать это вслух. Эта книга для индивидуального чтения». Ой, просят вслух не читать.

– Да уж вижу. А ты продолжай.

– Что продолжать?

– Вслух читать!

– Что? Нет, я не буду. Просят же!

– Кто просит?

– Да, это… люди.

– Какие люди?

– Ну… которые книгу написали.

– Да откуда они знали, что ты в эту минуту вслух читать начнешь, а?

– Ну… не знаю. Но я к этому уже как-то… привык.

– Привык? Значит – ты лох? – его новый знакомый опять уставился на Володю.

– Может быть и лох, – вздохнул тот. – Какая разница.

Женя в тоске смотрел на купола собора.

– Действительно, разницы никакой.

Теперь Женя смотрел только вверх, словно выискивал там подсказку, отчаявшись найти ее на суетной земле.

– Надо же, ничего в голову не лезет… – меланхолично жаловался он небесам. – В конец заглядывал?

Володя не сразу понял, что обращаются к нему.

– Да.

– Ругаются, правда? Вслух читаешь – тоже ругаются, – продолжал он жалобы. – Будущее предсказывают. Ближайшее. Философствуют. Место покупки книги – исчезает… А меня еще и предупредили, что накажут «за склочный нрав»… Никакой зацепки. Одна сплошная х…

– Они мне написали, что это литература будущего.

– Хорошо, что Сервантес этого не слышал, – совсем упавшим голосом проговорил Женя. – Слушай, старина, у меня дел полно. Я, пожалуй, поеду.

Если ты не против, давай обменяемся телефонами. Если у тебя какие новости, информируй. Ну и я – аналогично.

Они расстались на кольцевой. Через полчаса Володя был дома. Уже в прихожей его настиг телефонный звонок. Звонил Женя. Голос его дрожал. Он умолял Володю немедленно подъехать к магазину «Детский мир», где его, Женю, держат в заложниках.

– Ты шутишь, Женя? – тихо спросил Володя.

В трубке долго слышен был мат.

– Вовка, ты потом будешь предположения строить, когда тебе мой труп по телевизору покажут, ясно?

– Ясно.

И Володя помчался к «Детскому миру». От метро он перезвонил, и Женя описал ему дорогу. Действительно, в одном из двориков Кузнецкого моста он обнаружил примерно такую картину: Женя стоял посреди двора в обществе какого-то человека кавказской национальности. Тот был вне себя. Он что-то беспрерывно говорил, размахивая руками перед самым носом Жени. Сам Женя абсолютно стеклянным взглядом смотрел на оратора. Он был белее снега. Его бакенбарды покрылись инеем. Увидев Володю, он несколько ожил.

– Привет, Вовка. Спасибо, что приехал. Знакомься, это Ашот. Очень хороший человек.

– Это… он? – недоверчиво спросил Ашот, указывая пальцем на Володю. Он тоже был бледен. Во дворике царил страх.

– Он, он, не сомневайся, – заверил Женя. – Я же говорил, – ты его не знаешь. И он тебя не знает. Так что все нормально. Просто кто-то подшутил над тобой…

Тот, кого звали Ашотом, дрожащими руками вынул из своей барсетки тонкую книжку в глянцевой обложке черного цвета и бросил ее на снег к ногам приятелей.

– Я его маму… – не договорил он и выбежал из дворика.

…Снова Володя встретился с безумным взглядом Жени. И вот какой диалог произошел меж ними на этот раз.

– Что все это значит? – спросил Володя.

– Ух! – вращал глазами Женя. – Старик, ты не поверишь!

– Я? Да я теперь в черта в ступе поверю!

– Подожди. Короче, зашел я в дворик, – Женя обвел рукой вокруг, – отлить, а меня этот хачик ждет. Схватил меня за шею. Ох, и перепугался же я… Звони, говорит своему другу Вове, а то живым не выпущу. А у самого руки, ноги и все остальное от страха трясется. Ну, ясно, думаю, – без литературы не обошлось. Спрашиваю его, зачем вам, уважаемый, мой друг. Он говорит, не беспокойся, только вот это ему отдам и все. Пришлось звонить.

– А откуда он меня знает?

– Ты что, дурак?

– А, понял. А зачем так сложно?

– Хм… Ты обратил внимание, что эти чокнутые книжки в принципе устраивают людям абсолютно бессмысленный экшн, а?

– Точно. А зачем?

– Меня спрашиваешь? Откуда я знаю. Авангард, черт его дери. Может быть, это борьба с компьютеризацией. А, соответственно, и с компьютерными играми. Альтернатива, так сказать. А впрочем, в этом что-то есть.

– В смысле?

– В смысле? Ну, лично я, например, начинаю входить во вкус всей этой бессмыслицы. Особенно меня вставил риск для жизни. Или это страх смерти?

И Женя так дико захохотал, что из одной из дверей вышел охранник и прогнал их из дворика. Подняв с земли книжку, оставленную Ашотом, они смахнули с нее снег и полистали.

– Ха-ха, точно так и есть, они его запугали! А ведь он мне на это намекал, пока мы тебя ждали. Знаешь, чем они его шантажировали? Тем, что, типа, знают все его криминальные дела. Стиль тот же: зайдешь в такой-то дворик, дождешься парня, который зайдет по малой нужде, скажешь, чтоб вызвал друга своего Вову. Ему отдашь книжку и считай, что ты свободен. А иначе… Кстати, здесь вначале страницы вырваны – там, наверное, перечислены его криминалы. Ну, разве не бред?..

Они сидели на гранитной скамье у «Детского мира» и курили.

– Как ты думаешь, это долго продолжаться будет? – спросил Володя.

– Сколько надо, столько и будет, – отрезал Женя. Его глаза смотрели куда-то очень далеко, черт знает как далеко.

– М-м… – задумался Володя. – А давай попробуем дочитать эти книжки до конца.

– Ты что, – встрепенулся Женя, – свою не дочитал?

– Не успел. Не дают ведь!

Женя посмотрел на Володины ботинки. Выглядел он подавленно.

– А я дочитал, – глухо пробормотал он.

– И что там?

– Ничего особенного, – Женя щелкнул окурок. – Последняя строчка такая: «До встречи», а до какой встречи – неизвестно.

– Ага, – кивнул Володя. – А я не дочитал.

– Ну так дочитывай быстрее, – начал закипать Женя.

Володя торопливо достал книгу из-за пазухи. И прочел: «Ну вот и все. The session is over».

– Жень, что такое «The session is over»? – спросил он.

– Ну, типа сеанс закончен… – честно перевел Женя. Тут до него дошло, и он схватил Володю за плечо. – Что? У тебя конец?

– Кажется, да, – кивнул Володя и прочитал последнюю строчку: «Не кажется, а точно. Это конец, который ты так жаждал узнать. И Женю это тоже касается».

– Женька, слышишь, мы с тобой, похоже, свободны! – сказал он, закрыл книгу и положил ее за пазуху.

«Странно это все как-то… – подумал он. – По идее, я должен был сойти с ума…»

– Слушай, Женя, а нет ли у тебя ощущения, что нас всех кто-то разыгрывает?

На этот вопрос Женя отвечал почему-то с улыбкой Будды. Такой улыбки не видели на Лубянке лет сто.

– Разыгрывает. Хм… Конечно, кажется… Так это же здорово, старик! Это то самое чувство, которое оставляет у читателя хорошая книга. Потому что литература – это игра. Разве нет?

– Тебе видней… – согласился покладистый Володя.

Они спускались в метро. Володя спросил:

– Жень, а ты хотел бы еще такую книжку почитать?

– Ха, – усмехнулся Женя. – Хотел, конечно! Я ведь уже пробовал выяснять, нет ли где такого рода литературки. Говорят – слышали, авангард… А насчет купить – глухо. Везде одно и то же: «редко бывает». И совсем загадочная фраза: мол, «работаем в режиме»…

– Неопределенности! – радостно выпалил Володя.

Женя опять удостоил его одним из своих проникновенных расфокусированных взглядов.

– А давай Ашотовскую книжку тоже дочитаем! – спохватился Володя. – Там же еще пара строк осталась.

Вот они, эти строки:

«Ребятки, сказано ведь вам: The session is over. Over – значит over. Поймите, когда ничто не препятствует закону сохранения энергии, такая тоненькая книжка долго читаться не может. А что вы, в конце концов, хотели за 40 р.?

Так что, Владимир, можешь ложиться на тахту и читать стихи, которые умудрился всучить тебе этот мудак в ларьке. Посмотрим, не хватит ли тебя инсульт на первой странице.

Чао».

Мороз крепко сковал Москву.

Алексей Устименко

КИТАЙСКИЕ МАСКИ ЧЕРУБИНЫ ДЕ ГАБРИАК

Повесть

В 1927 году от Рождества Христова, когда Юпитер стоял высоко на небе, Ли Сян-цзы, за веру в бессмертие человеческого духа, был выслан с Севера в эту восточную страну, в город Камня. Здесь, вдали от родных и близких друзей, он жил в полном уединении, в маленьком домике под старой грушей. Он слышал только речь чужого народа и дикие напевы желтых кочевников. Поэт сказал: «Всякая вещь, исторгнутая из состояния покоя, поет». И голос Ли Сян-цзы тоже зазвучал. Вода течет сама собой, и человек сам творит свою судьбу: горечь изгнания обратилась в радость песни. Ли Сян-цзы написал сборник стихов, названный им «Домик под Грушевым Деревом», состоящий из 21 стихотворения; всего в нем 147 стихов.

Из предисловия Ли Сян-цзы к сборнику стихов «Домик под Грушевым Деревом»

Глава первая
Тот самый, моющий стекло

Ну, конечно, Елизавета Ивановна Васильева вполне могла написать достойные мемуары о Черубине де Габриак. Она же – совершенно ничего не

Алексей Устименко – выпускник Ташкентского университета, в прошлом зам. главного редактора журнала «Звезда Востока», ведущий редактор журнала «Saida». В данное время главный редактор литературно-исторического издания «Восток Свыше», автор нескольких книг, в том числе романа «Странствующие в золотом мираже» и повести «Тень победителя». Живет в Узбекистане.

писала. Всякое утро она просыпалась с желанием все-таки их написать, и всякое утро она чем-нибудь да непременно отвлекалась.

То слишком громкими были таящиеся звуки рано завтракающего Всеволода: обязательно падала ложка или тарелка, скрипели и хлопали створки кухонного, осторожно растворяемого им шкапа, раздражающе всхлипывали поедаемые мужем водянистые ягоды винограда, шуршала разламываемая им лепешка…

То потом, когда он уходил на работу, начинали громко перекрикиваться через весь двор на незнакомом ей языке соседки-узбечки, становящиеся говорливыми тотчас же, как их тоже покидали неторопливые мужья, тоже уходящие на какую-то здешнюю работу.

Все еще продолжая лежать в постели, Елизавета Ивановна никак не могла понять, какая может быть работа в этом пыльном, не имеющем никаких видимых следов от контор и фабрик, плоскокрышем Ташкенте? Она даже подозревала, что весь этот их уход – сплошная мистификация, обман и восточная хитроумность. Толкаться весь день дома, среди крика и гама многочисленных собственных пропыленных чад, среди жалоб и сетований постоянно беременных жен, занятие не мужское. Куда как спокойней – сказаться идущим на невидимую работу, чтобы затем с обстоятельной неторопливостью войти под сень здешней общественной чайной, называемой «чойхонэ», усесться на собственные же поджатые ноги и весь день с переходом в вечер посвятить опорожнению очередного заварного чайничка с носиком из насаженной на фарфор белой жести.

Потом женские голоса, потеряв первые видимые причины, вызвавшие их перекрикивание, умолкали, Елизавета Ивановна переворачивалась с живота на правый бок и опять словно бы уходила в мутный утренний сон. Но теперь становились слышимыми другие звуки… И она еще в полусне, еще незаметно для самой себя начинала угадывать их, отметая все непохожие и оставляя последние предположения, согласные с полусонно услышанным звучанием. Возможно – звучание зеленой реки за глиняным дворовым забором, совсем под стеной. А возможно и здешнее воркование бесцветно-коричневых птиц, совсем не похожих на толстых и жадных петербургских голубей, однако тоже как будто бы той же породы, но словно усохших и выцветших от здешней струящейся жары, воркующих по-восточному непередаваемо сладко, но называемых совершенно по-русски – горлинками… Тысяча и одна ночь в поэтическом переложении, сделанном кем-то другим, не ею и уже давно, до ее вынужденного приезда сюда, в Ташкент, в ссылку.

«Здесь и в реке – зеленая вода, как плотная ленивая слюда оттенка пыли и полыни… Ах, лишь на севере вода бывает синей… А здесь – Восток. Меж нами, как река, пустыня, а слезы, как песок».

Всеволод все это время недоволен ее утренними прохлаждениями в постели, считая их ленью объевшейся сладостями петербургской гимназистки.

– Русская лень-матушка тебя и в Китае достанет, – засовывая в раскрытый рот почти целую виноградную гроздь и заедая ее отломанным куском узбекской лепешки, сказал он ей сегодня перед уходом. – Ни Париж, ни Сорбонна на тебя отчего-то не повлияли, а вот сарматское ничегонеделание (отчего именно сарматское? – подумала Елизавета Ивановна) – а вот сарматское ничегонеделание неискоренимо. Стихи опять писала бы, что ли.

Господи, да как же возможно ей здесь писать стихи, когда у сидящего перед нею Всеволода так измяты его широкие полотняные брюки? Когда уже начинают поднимать крик – свой единственный язык семейного общения – эти несчастные женщины? Когда, не боясь расстройства желудка, уже убегающий на работу Всеволод запивает недожеванный виноград некипяченою водою и прощально целует ее мокрыми еще губами, безотрадно кислыми от винограда? А еще этот регулярно возникающий скрип…

– Что это? – спрашивает она у Всеволода, уже открывшего дверь.

– А-а, китаец, – говорит Всеволод, не обернувшись. И убегает.

Елизавета Ивановна обертывает себя влажною от ночного жаркого сна измятою простынею и подходит к раскрытому окну.

Маленький желтый китаец в длиннополом – не по его фигуре – толстом и синем ватном чапане моет оконное стекло своей комнаты, экономно обмакивая бесцветную тряпочку в фарфоровую пиалушку, а затем – с писком – натирая стекло комком желтой расползающейся газеты. Возможно, вполне достойное применение для газеты с непонятными, как будто бы не на русском языке сочиненными лозунгами командующей сегодня большевистской партии.

Прыгающий перед ее окном пыльный мальчишка, увидев Елизавету Ивановну в прилипшей к потному телу простыне, перестает прыгать и, сложив из пальцев обеих рук две фиги, прикладывает их к своим ребрам, неприлично шевеля криво торчащими большими пальцами.

– Здравствуйте, товарися девушка, – говорит ей желтый китаец и улыбается так, как улыбается Всеволод от своего кислого винограда.

Елизавета Ивановна, не изменившись в лице, достойно кивает, медленно отходит от окна и почти со слезами падает на давным-давно исплющенный полосатый матрас, с которого ею же содрана мокрая простыня… Китайца она не знает. Знает только этого, скачущего перед окном мальчишку. Впрочем, возможно, ей кажется, что она его знает: в этом дворе они все одинаковы, как картошка на базаре.

Цир, цир… Циркала и скрипела бумага, водимая по стеклу желтым китайцем. Что он делает здесь? Может быть, как она, сослан сюда за какие-нибудь свои вольнолюбивые мысли? А какие вольнолюбивые мысли были у нее? Никаких. Но – пришли, перерыли сундуки и комод. Ходили по ее личным вещам чищеными сапогами. Господи, отчего они так долго разглядывали ее старую порванную наволочку? Стыдно. Она спала на порванной наволочке. И о том тогда стали знать их понятые – всего-навсего ее соседи… Стыдно, Господи, как стыдно. А еще забрали тетрадки со стихами. Зачем они им? Она никогда не писала про политику. Это вот, желтый чело-

век, так скрипуче моющий стекло, мог бы писать о чем-то таком… И его сослали. А она…

«Как для монаха радостны вериги, ночные бденья и посты, – так для меня (средь этой пустоты) остались дорогими только книги, которые со мной читал когда-то ты! И, может быть, волшебные страницы помогут мне не ждать… и покориться».

Покориться, покориться…

Но какой сегодня день?

В налетевшем страхе Елизавета Ивановна вскочила, прихрамывая, подбежала к окну…

– Послушайте! Вы не знаете, какой сегодня день?

Не повернув головы в ее сторону – цир, цир бумагою по взблескивающему стеклу, – желтый человек произнес это – так она и знала! – роковое слово:

– Сейчас среда, товарися девушка. Вчера вторник была.

И оттого, что он не повернул своей маленькой головы в ее сторону, а все циркал и циркал лохмотьями бумаги там, где уже было чисто, она поняла, что, вскочив, совсем забыла про свою простыню… Он же сделал вид, что ничего не увидел.

Каждую среду она должна была приходить в ГПУ регистрироваться.

Господи…

Две фиги у ребер с неприлично шевелящимися, криво торчащими большими пальцами.

Нет, но все-таки это, наверное, не очень плохой человек, ведь он ничего не увидел. Если Юлий приедет, Елизавета Ивановна порасспрашивает у него про китайцев. Юлий про них абсолютно все и всегда знает.

Цир, цир…

Глава вторая
Волошин приподнимает шляпу

Юлиан Константинович Шуцкий получал от Елизаветы Ивановны всегда очень много стихов. Намного больше, чем даже получило пугающее ГПУ, изъяв при обыске все ее тетрадки.

Они любили друг друга – Елизавета Ивановна Васильева и Юлиан Константинович Шуцкий. Но когда сама Елизавета Ивановна припоминала об этом, она не могла избавиться от ощущения, что их любовь в каком-нибудь чужом пересказе могла бы показаться банальным литературным сюжетом, в который уж раз – повторно и весьма неталантливо – написанным скучной жизнью: они были влюбленными, разлученными, как в классических литературных сказках. Да еще влюбленными по классической же схеме: таящимися от третьего действующего лица – Всеволода, ее привычного мужа.

Муж навещал ее в ссыльном Ташкенте, с удовольствием выбивая себе ко-

мандировки в здешний азиатский край. Она ждала их, этих его командировок, с таким нетерпением, с каким полагалось бы ждать его самого, но никак не его бесталанных и неумелых рассказов о покинутом им только что Ленинграде. Всякий вечер, недорассказав об одном, он перепрыгивал на другое, потом, вообще, сбивая матрас и простыни, вскакивал с постели, чтобы немного поесть мокрого винограда, и, наконец, торопливо засыпал, повернувшись к ней влажной широкой спиной, обсыпанной коричневыми конопушками. Ее Всеволод, ее, некогда любимый, Воля, очень боялся проспать утреннее воркование горлинок, потому что без него, без инженера-мелиоратора из столичного центра, без вестника новых государственных устремлений – планируемого уже великого обводнения пустынь, – начинать свою рабочую шестидневку ташкентская мелиоративная контора не торопилась.

Елизавета Ивановна переживала не очень так чтобы… Не до расстройства нервов. Ей только было непередаваемо обидно за незавершенность его петербургских сюжетов, которые она никак не воспринимала как ленинградские.

Что был ее Воля рядом с ней, что не был…

Теперь главное, о чем она думала, так это о том, чтобы он поскорее уехал… В последнем письме к ней Юлиан Константинович ласково предупреждал, что уже скоро, что уже вот-вот, что он тоже приедет.

И ведь они вполне могли взять, да и неожиданно повстречаться. Воля и Юлиан. А она очень боялась таких встреч. Ей казалось, что такие встречи обязательно должны кончаться револьверными выстрелами. Ведь стрелялись же, в конце концов, Коленька Гумилев, с которым у нее как будто бы ничего не было (хотя весь Петербург судачил, что именно было), с Максом Волошиным. Правда, Коленька еще в 1909 году, до появления в «Аполлоне» стихов Черубины де Габриак, делал ей серьезное предложение руки и сердца; да и стихи ее, еще Лили Дмитриевой, а не Черубины, обещал помочь напечатать, только Лиля тогда не согласилась. А согласилась на веселую игру добродушного Макса.

Смелое, хотя и слегка книжное рыцарство Гумилева могло закончиться только рыцарскими же, придуманными стихами. Сказочное, сочиненное Волошиным приключение манило реальным обретением внутри себя, внутри самой Лили Дмитриевой, ощущения некой собственной принадлежности к высокому… Однако же – обманулась. Такою игрушечною принадлежностью к вымышленному высокому заболела не она, но – сам Сергей Константинович Маковский*, редактор молодого петербургского литературного журнала «Аполлон», пришедшего на смену поскучневшим московским – «Весы» и «Золотое руно». Получив по почте густо надушенное – Макс тогда очень переживал, что они с Лилечкой весьма переборщили, обрызгивая набело переписанную рукопись ее стихов духами из нескольких пузырьков сразу, – так вот, получив по почте письмо от никому не известной Черуби-

* Маковский Сергей Константинович (1877–1949) – русский поэт, автор мемуаров.

ны де Габриак, стал даже еще более аристократичен и элегантен, чем был. Не она приобщалась к высокому миру. Но он, Маковский, приобщался к нему через нее. Будто паспорт получал на новое, определенное ему свыше жительство. Он тотчас же напечатал Черубину и принялся обегать все театры Санкт-Петербурга, неутомимо лорнируя ложи в поисках таинственной аристократки.

– Ах, Максимилиан Александрович! – вскрикивал Маковский, поймав однажды Волошина посередине Невского. – Вы даже представить себе не можете, какое чудо эти странные стихи…

Волошин поглубже надвигал шляпу на свои смеющиеся глаза… Ему очень хотелось поскорее уйти, чтобы не выдать себя, не сорвать, не испортить им же самим придуманную игру; он сам напросился быть редактором и цензором стихов Лили Дмитриевой, ведь не Лиля же породила Черубину, но толстенький и веселый Макс запустил ее в будуары и салоны Санкт-Петербурга. Однако уйти не удавалось. Маковский, подпрыгивая на одном месте и вертя пуговицу на волошинском жилете, тоненько продолжал восторгаться:

– Я всегда вам говорил, что вы слишком мало обращаете внимания на светских женщин. Посмотрите, какие одна из них прислала мне тонкие стихи. Такие сотрудники для «Аполлона» необходимы!

Тогда, не зная, как остановить восторг Сергея Константиновича, Макс оторвал от своего жилета измученную пуговицу и уложил ее в восторженно летающую ладонь Сергея Константиновича. Тот в изумлении уставился на нее, не понимая, что может она означать и откуда она здесь взялась, правда – говорить перестал.

Воспользовавшись паузой, Волошин приподнял шляпу, прощаясь, и быстренько свернул в переулок…

Но вот точно так же могли и здесь, в Ташкенте, столкнуться этими днями ее нынче любимый Юлиан и он, прежде любимый Воленька, Воленька Васильев, муж.

Это потом, много позже, после той петербургской истории с Черубиной де Габриак, все станут думать, что Коленька Гумилев и Макс Волошин стрелялись из-за Черубины. Будто бы Гумилев был оскорблен придуманным розыгрышем. Отнюдь… Просто совпало ее саморазоблачение с настойчивым, даже настырным предложением руки и сердца от влюбленного Коленьки. Она молчала, а он бегал по редакциям и всем рассказывал, как однажды, давным-давно, в Коктебеле, и Волошин тому свидетель, у него с Лиленькой возник бурный роман, которому естественно сегодня следует дать достойное завершение, – обвенчаться. Они с нею тогда и читали стихи, и купались в понтийских волнах, и загорали будто бы греческие совершенные боги…

Макс же оказался оскорблен подобными рассказами Гумилева. Не потому, что подобного не было. Всякие, приезжавшие к нему в Коктебель, тотчас начинали читать стихи, купаться в понтийских волнах, загорать и делаться совершенными, как греческие боги… Просто он был достаточно дружен и с Волею Васильевым, женихом, который сам, увы, никак не мог

поучаствовать в явно назревавшем оскорбительном для Лили Дмитриевой деле. Воля Васильев служил тогда вольноопределяющимся, в нижнем чине, под Петербургом, и у него, ну никак не получалось самому приехать в город, чтобы поговорить с Гумилевым.

Некоторое время Макс Волошин молча терпел.

Но, когда Гумилев однажды через мелкого какого-то поэта, обманом зазвав Лилю в комнату со свидетелями, во всеуслышание рассказал про то, в каких одеяниях купались, загорали и читали стихи те греческие боги, и, когда Лиля, заплакав, неубедительно сказала, что он лжет, Макс не вытерпел…

Тем же днем он домчался до места, где стояла часть Воли Васильева, и, напором всего своего крупного тела испросив у него разрешения, – вряд ли Воля по-настоящему понял – что произошло? – умчался обратно: вызывать болтливого Гумилева на дуэль.

«Я тогда примеряла маску Черубины де Габриак, – подумала Елизавета Ивановна, – благородный Макс – маску разгневанной чести, но какую же примерял несчастный Коленька Гумилев? Влюбленного?.. Добивающегося моей руки человека? Бог весть…»

Макс рассказывал ей, что имя Елизаветы Ивановны в день вызова ни разу не прозвучало. Зато Макс по нескольку раз повторял слова Иннокентия Федоровича Головина, невзначай оказавшегося свидетелем, – Макс не выбирал ситуацию…

Когда Волошин подошел к Гумилеву и с размаху ударил того по щеке, Иннокентий Федорович философски заметил:

– А ведь и здесь прав был Достоевский… Звук пощечины действительно мокрый.

Один только Воля Васильев не надевал маски. И от этого был достаточно быстро разлюблен Елизаветой Ивановной – он уже и тогда стал для нее сегодняшним человеком, по-обычному повернутым к ней голой спиной с коричневыми, густо насеянными конопушками.

Глава третья
Без корсета

Господи! Но ведь сегодня же среда… Среда! И она – в который раз! – трагически опаздывает. Нет, ее не станут ругать, если она придет отмечаться на час или на два позже. В ГПУ свой график, к которому никому никогда по-настоящему не приспособиться, – важно лишь быть «от» и «до». Но в приемной, но в длинном темно-зеленом, пахнущем чернилами коридоре, длинно протянутом от входной двери до полукруглого – в решеточке – окошечка, куда она должна будет протянуть свой паспорт и разные мелкие сопутствующие бумажки, ей может достаться самая последняя очередь из таких же, как она, испуганных, равнодушных, озлобленных, будто скрепками пришпиленных к паспортам и бумажкам, терпеливо ожидающих людей. Ей может не хватить длинных скамеек вдоль стен, она не сможет сидеть. И от того,

что ей придется часы отстоять, спиною опираясь на темно-зеленый холод измурзанных стен, – несколько дней, последующих за этим, она станет болеть.

Но ведь днями же приезжает ее Юлиан…

Ей никогда до этого не было так плохо, как стало здесь, в Ташкенте. Прихрамывала Лиля всю жизнь, с самого детства. Она тащила эту свою хромоту из-за туберкулеза костей почти с самого дня своего несчастного рождения. Она была прикована к ней и волокла ее за собой, как каторжанин, прикованный к своей тачке. Из-за нее она всегда считала себя уродом.

Ей иногда казалось, что и все стихи, написанные за всю ее – Лили Дмитриевой – жизнь, не публикуют как раз потому, что знают – какая она уродина, если ее увидеть.

Черубина насмешливо пряталась под обложку яркого «Аполлона», в изящном оформлении Е. Лансере, лишь только Лиля начинала подходить к безжалостному серебряному стеклу.

Ведь и стихи – это как зеркало. А какой она могла отразиться в них? Такою, какой отражалась в зеркале настоящем? Стоя перед ним, как есть. Без поддерживающего корсета. Перекошенной. Одна рука длиннее другой. Одна нога в полусгибе колена, другая – вытянутая в напряженную струнку, будто худенький солдат на плацу. Хромоножка из Достоевского. Вечно мерзнущий Квазимодо, только что без горба на спине. Зато с маленькой, ни для чего не нужною грудью, просвечивающей голубыми прожилками через синюшную кожу, тотчас нервно покрывающуюся пупырышками, лишь только она взглядывала на себя через леденяще-зеркальное отражение стекла.

Всю жизнь это было ее тело, и она постепенно сжилась с ним. И другие тоже, наверно, сживались. Ведь не стали же пугающим зеркалом в те дни, в Коктебеле, ни чересчур внимательные, художничающие глаза благодушного Макса, ни слишком откровенные, приятно поглаживающие – Коленьки Гумилева. Ни даже соленые и теплые глаза Черного моря, освобождающего от всех петербургских холодных условностей, в которые вглядывалась она и которые вглядывались в нее, счастливую тогда своим свободным освобождением, Лилю, тоже не стали…

Здесь, в Ташкенте, ее тело взялось тревожно и надоедливо болеть. Болеть постоянно. Болеть не частями, но – все разом и сразу. Болеть не в одном одиноком каком-то месте, но – и там, и здесь, и повсюду… И там, где одна нога в полусгибе, а другая – вытянутая в струнку, будто худенький солдат на плацу. И там, где, устав от постоянной своей перекошенности, вытянулся надстроенными друг над дружкою торчащими косточками, пунктиром перечеркивающий спину ее позвоночник. И там, где под просвечивающими голубыми прожилками заметно пульсировало и неровно билось ее сердце.

– Я завтра буду кататься на островах, – позвонила однажды Черубина истомленному тайной незнакомства Маковскому.

– Но, подскажите, как я узнаю вас? – взмолился он тогда.

– Сердце подскажет, – смеясь, отвечала она, вешая черную телефонную трубку и крутящейся ручкой давая «отбой».

Следующим днем его голос в телефонной трубке тешился тонким торжеством:

– Я узнал вас! Вы были в черном бархате и проехали мимо меня на звенящем автомобиле…

Черубина смеялась:

– Я никогда не езжу на автомобилях, а только на лошадях.

Звенящий автомобиль для Лили был потом у Ленинградского ГПУ.

Тогда, после ареста в 1927 году, ее не убили сразу. Ее убивали медленно, убивали, как оказалось, сейчас… И сделать такое оказалось куда как просто – следовало лишь перегнать, сначала подследственную, затем и осужденную, Елизавету Васильеву обычным этапом на Урал. И перегнали. И она, хромая, как смогла, но все-таки тогда выдержала, все-таки добралась. Оттуда же, из Екатеринбурга – месяц тюремной физической пытки и голода, – своим ходом сюда, в ссыльный Ташкент, след в след за другими многими; зато вот теперь…

Темно-зеленые липкие стены приемной ташкентского ГПУ. Среда. Окошечко за решеткой. Чернильный запах, змеисто струящийся отовсюду. Половицы, до самого дерева истертые ежедневно шаркающими по ним ногами. И – прихрамывающими – ее.

«В пустыне знойной нет дорог… Последний бой был здесь проигран… Как будто желтой шкурой тигра покрыт трепещущий Восток. Но кровь текла… И Джин Проклятый забрызгал кровью весь песок – и стала шкура полосатой».

Возможно, главное и исключительное достижение свершившейся социалистической революции – великое количество повсюду змеящихся живых очередей. Из сидящих вот здесь, на не уступленных для нее деревянных скамейках вдоль стен. Из одиноко моющих свои маленькие окна китайцев и из всяких других, сосланных, горемычно оторванных от реальности и переброшенных невесть куда и невесть зачем. Освобожденный труд лишал возможности работать.

«Чужеземного дерева плот, по реке ты плыви без страха. И увидишь: Небесная Пряха целый год Пастуха к себе ждет. Только реку Дракон стережет, лишь единожды в год среди звезд птичьи крылья сплетают мост».

– Васильева… – вытянулась рука из замкнутого и зарешеченного пространства. – Возьмите паспорт. Не забывайте отмечаться. Следующий…

Глава четвертая
Последняя из дома терпимости

Телеграмму о приезде Юлиана она нашла подсунутою под дверью. Завтра… Елизавета Ивановна посмотрела на тикающие часы. Завтра они увидятся – ее Всеволод и ее Юлиан. Завтра начнутся крики и, не дай Бог,

револьверные поползновения. Этого было не нужно, это было смешно в сочетании с днями учрежденческих чисток и регулярных отмечаний по средам в окошечке ГПУ.

Впрочем, это было смешно уже и тогда, в дни запоздневшейся осени 1909 года, когда два дующихся друг на друга петербургских литератора, – в тот момент больше думающих о чистоте своих штиблет, нежели о предстоящем смертоубийстве, – пародией на великое противостояние чести и бесчестия, оскальзываясь на мокрых и грязных листьях, выстроились друг против друга на той же самой пушкинской Черной речке.

Монашески длинные – до плеч – волосы Макса Волошина слиплись под сеющим дождливую крупу ветром; Волошин тогда решил, что приличнее стреляться вовсе без шляпы. Нос Николая Гумилева был красен от холода и тоже мокр; как раз на его самый кончик падали капли с тряпичного козырька летней фуражки.

Пятнадцать шагов, отмеренных по скользким же кочкам, не внушали доверия точностью расстояния.

Два мокрых длинноствольных пистолета, едва ли не те самые, из которых здесь уже однажды стрелялись, были мокры, как нос Николая Степановича, и недружно пальнули…

У Волошина пистолет дал осечку, Гумилев промахнулся.

Утерев нос мокрой фуражкой, Гумилев дружески предложил Максимилиану Александровичу стрельнуть еще раз. Тот горделиво согласился, – ему тоже очень хотелось услышать, как бухнет в его руках настоящее военное оружие, и ему понравилось, как черною и крикливою тучей, от страха тоже густо стреляющею вниз поносным дождем, взвихриваются с веток орущие галки. Максимилиан Александрович боялся лишь одного – по неумению стрелять – все-таки попасть в своего противника, опять по-лермонтовски стоящего с каплею на носу.

Промахнулся.

Но нужное эхо произошло.

«А в Макса попасть было легче, – вдруг подумала Елизавета Ивановна, и хотя вздрогнула, ей стало смешно. – Макс толще Николеньки».

Подумав о толстом Максе, Елизавета Ивановна вспомнила и о необходимости бежать на базар. В обычные дни ее Всеволод был ей помощник: в ценах тотчас же разобрался, даром что питерский, в деньгах не скупился, но и поторговаться умел, естественно, не для денежной экономии, но для собственного инженерного удовольствия, а также – для установления всемирного интернационального пролетарского контакта с местным населением.

Но завтрашний день не встраивался в интернациональную очередь стремящихся к пролетарскому единению, любящих друг друга граждан.

Завтрашний день мог закончиться местною Черною речкой – кровопролитием где-нибудь возле Салара. Поэтому, суетливо схватив кошелку, Елизавета Ивановна постаралась забыть про досадные боли, иначе ей было бы

даже трудно выйти из флигелька, и пошла на базар, совершенно еще не решив – что в таких случаях следует покупать.

Зудящие пчелы стукались друг о дружку, кружась над мешочками с тмином, перцем, зирою и барбарисом. Черный виноград, как ей показалось, величиною с коровьи глаза, нежился крупными гроздьями, покрываясь от невостребованного томления матовой патиной блаженного умирания. Зеленый – просвечивал соком пока еще несостоявшегося белого вина.

Этого винограда она и взяла. Потом подбавила немного гроздей черного...

«Он любит такой, – подумала она и тут же обмерла от догадки, пришедшей сразу же вослед этой странной мысли. – Он – это кто?»

Виноград любил Воля.

Дальше она уже не обдумывала того, что стала делать. Она брала все подряд. Бегая между рядов, она нахватывала то того, то другого, набивая кошелку всем, на что хватало немногих денег. Сейчас она не была Черубиной, как не была и Лилей Дмитриевой, невестою Воли. Сейчас она оставалась только лишь Елизаветой Васильевой, завтра встречающей любимого человека. А какая из этих частей ее души была в ней частицею настоящей, она никогда не знала. Может, даже и каждая являлася маской души какой-то другой, еще никогда и ни перед кем не явленной...

Возле самого выхода торговали семечками. С гимназических времен она презирала их, за их привязчивость, их неотвратимое умение придавать тупость любому лицу, плюющемуся мокрою шелухой. В этом и тогда она уже была Черубиною де Габриак, еще не нося несуществующего имени. После октябрьской смены власти она их возненавидела окончательно. Буквально все, пробегающие и идущие мимо нее, вдруг единым разом стали обладать тем самым, ненавидимым ею, общим лицом. И шелуха выстелила Невский проспект царственного Санкт-Петербурга скользким пощелкивающим ковром. Так пощелкивали под босыми ногами мелкие ракушки на камушках в Коктебеле.

Но сейчас здесь все совсем не походило на Коктебель, и она не была уже Черубиной... Семечки смогли бы, наверное, ее успокоить, утишить расходившееся сердце, притупить взнузданные нервы. И – с усмешкою подумала она о себе – придать и ей тоже то самое общее выражение лица, которое сейчас для нее было единственно возможным.

– Неча пул, опа?* – спросила она у тоненькой женщины в парандже, на корточках примостившейся над своим пузатым мешочком у самого входа.

– А сколько не жалко... – неожиданно весело и совсем так же, как отвечали ей когда-то на российских рынках, ответили из-под непросвечивающей паранджи.

– Вы говорите по-русски? – совсем уже глупою фразой удивилась Елизавета Ивановна.

– Отчего же не говорить? – в свою очередь удивился голос под паранджой. – Я ведь самарская...

---

* – Сколько это стоит, сестра? *(узб.)*

«Вот и эта… – подумала Елизавета Ивановна. – Вот и эта тоже не дома. И на ней тоже маска – эта странная паранджа».

Странная уже даже здесь, в Азии. Странная после того, как уже даже и местные узбечки вольно ходят по улицам со своими сказочно красивыми – тысяча и одна ночь – открытыми лицами. И уже выветрился резкий запах паленого конского волоса. И уже давным-давно выметен пепел с каменной площади Старого города, где освобожденные – Бог весть от чего – женщины Востока недавно демонстративно жгли свои серые мешки, сдернутые с черных и седых голов, бросая их в европейские костры азиатского хурджума*.

– Да, но…

– Так будете брать или что…

– Послушайте, – опять неожиданно для себя самой сказала Елизавета Ивановна, – а вы не смогли бы мне помочь?

«Чем она мне может помочь? И для чего мне нужна ее помощь?» – быстро подумалось Елизавете Ивановне, еще и не успевшей закончить собственную фразу.

– Отчего же, коли смогу…

– Сможете, сможете… – обрадовалась Елизавета Ивановна. – Ко мне завтра гость приезжает. А я… Вот, еще и нога…

– Муж приезжает?

– Да нет, просто знакомый…

– Значит – жених…

– Что вы, я давно замужем…

– Тогда ясно, лучше дальше не спрашивать…

– Вы не так поняли, – покраснела Елизавета Ивановна, мгновенно позавидовав тому, что это не она сейчас скрыта под паранджой, под этою древнею маской, но – незнакомая ей тоненькая женщина. – А впрочем…

– То-то и оно… – назидательно донеслось из-под паранджи. – Да вы не смущайтесь, я не из болтливых. Сама таюсь какое уж время.

– Так вы, – испугалась Елизавета Ивановна, – тоже… из ссыльных?

Женщина весело рассмеялась:

– Я ссыльная сама по себе. Еще до ваших, до большевиков…

Елизавета Ивановна хотела сказать, что они… что большевики, вовсе даже и не ее, что вовсе даже наоборот, – однако, конечно же, – промолчала.

– Ну, так что? Будете брать?

– Не знаю… Но вы не ответили мне на вопрос? – вдруг опять неожиданно для самой себя повторила Елизавета Ивановна.

– Это – чтобы помочь? Так ведь всякое время – денег стоит…

– Да? – искренне удивилась Елизавета Ивановна. Так искренне, что голос под паранджой опять рассмеялся.

– Вот и выходит, что вы никогда за деньги ни с кем не спали. Да как же

---

* Хурджум – послереволюционное движение в Средней Азии, направленное на раскрепощение женщин Востока.

без денег да не по времени? Без денег, да на одной любви сразу истреплешься…

– Да? – удивленно приподняв свои желтоватые, почти что уже совсем выцветшие бровки, очень тихо произнесла Елизавета Ивановна.

– Ну, вот что, – решительно донеслось из-под паранджи, – вижу, что – точно – оставь тебя одну, так ты и с любовником не способна будешь время провести. Тебя, как говоришь, звать?

– Лиза… То есть – Елизавета Ивановна, – поправилась Елизавета Ивановна, вспомнив, что она же еще прежде была и Черубиною де Габриак. А стала бы Черубина вот так, на заплеванной шелухою прибазарной улице, разговаривать невесть с кем? – Елизавета Ивановна Васильева. Я – поэтесса, то есть – стихи пишу…

– Я стихи тоже когда-то пела. Много. Теперь, правда, забыла уже… Такой вот стих знаешь: «Маргариточка-цветочек пышно в поле расцвела и сама того не знала, что сводила всех с ума… Маргарита, пой и веселися, Маргарита, смейся и резвися, Маргарита, бойся ты любви!..».

– Вас звать Маргарита?

– Да что с тобой говорить! Лучше дело приказывай... Договаривай уж, когда начала. Ну, а звать меня – Стешей. Степанидой, если по-твоему…

– Знаете, Стеша… Степанида…

– …пусть будет Петровна…

– Знаете, Степанида Петровна, мне бы там салаты немного нарезать, мясо сварить… Может, еще рыбу пожарить… Я сама как-то не очень.

– Господи, – усмехнулись под паранджой. – А бабою называешься. Да тебе, Елизавета Ивановна, при твоей хромоте только бы на салатах и выезжать!

– Не надо так… – обиделась Елизавета Ивановна и опять покраснела.

– Тогда – пошли, – мгновенно набросив на мешочек с непроданными семечками веревочную солдатскую петельку и так же мгновенно ее затянув, поднялась с корточек тоненькая. Такую солдатскую петельку однажды уже затягивал на ее глазах ее Воля Васильев, ее жених, уходящий от нее вольноопределяющимся.

«Мхом ступени мои поросли, и тоскливо кричит обезьяна; тот, кто был из моей земли, – он покинул меня слишком рано. След горячий его каравана заметен золотым песком. Он уехал туда, где мой дом».

Затянутый легкий мешочек теперь несла она, Елизавета Ивановна. Степанида легко волокла кошелку, набитую базарным разнообразием.

– Отсюда ближе, – попробовала было подсказать ей свою дорогу Елизавета Ивановна, но не смогла. Похоже, Стеша взяла власть в свои руки также твердо, как взяли ее большевики.

– Там не пойдем. Не люблю.

– Отчего? Ведь действительно ближе.

Улица от базара до сквера Революции, еще недавно – Константиновско-

го, сокращала дорогу едва ли не в два раза и была малолюдней: здесь на нее, смешно прихрамывающую, оглядывались почти что совсем мало.

– Не люблю, я сказала.

– Ну, ладно… – согласилась Елизавета Ивановна, вздохнув.

Но, помолчав немного, Степанида вдруг пробурчала из-под своей паранджи:

– Чего уж. Идем по твоей. Я ведь и не подумала, что тебе тяжче идти…

– Да нет. Ничего… Спасибо. Я много хожу. Привыкла, – привычно не огорчившись на очередное упоминание об ее хромоте, сказала Елизавета Ивановна. – Только ведь по этой-то улице действительно ближе.

– Да знаю я эту улицу. Работала тут. Отсюда меня и муж откупил. Теперь даже ходить по ней не велит.

– Как это – откупил? Деньгами?

– Немножко деньгами. А больше – словами всякими. Заговорил меня всю… Вот тот дом видишь? Где конторы теперь… Там и прежде еще кабинеты были. Только другие совсем. Каждой девке по кабинету. Как сейчас у начальника. Принимай клиентуру, вот как теперь принимают. Одно только наоборот: не они тебе в кабинет разные справки-бумажки тащат, а ты им сама, даже если не спрашивают, показать норовишь. Врачи нам их каждую неделю продляли. Веселая жизнь. «Маргарита, пой и веселися, Маргарита, смейся и резвися, Маргарита, бойся ты любви!..»

– Вы хотите сказать, что это… что здесь был дом терпимости?

– Ну да. Публичный.

Елизавета Ивановна вдруг все, как ей показалось, поняв, резко остановилась. Перекачнулась с той ноги, что подлинней, на ту, что короче, сказала:

– Теперь я, кажется, поняла – отчего это вы до сих пор паранджу эту носите…

– Дура! – пресекла ее Степанида. – Думаешь, у меня там, под паранджой, нос от сифилиса вовнутрь провалился? Оттого и прячусь? Дура! Сказано же было тебе – нас каждую неделю на обсмотр гнали. Без справки на работу никак не выйти. Такое чистое заведение, может, еще только в Петербурге и было. Ну, и в Москве, может…

– Так отчего… – Елизавета Ивановна не договорила.

– Говорю же – муж. Еще тогда даже не муж, а обычный, как все, посетитель, клиент. Долго он ко мне приходил. Каждую ночь, аж из Старого города. Он у меня из здешних, из местных узбеков. Придет, деньги заплатит, а не делает ничего. Сидит и смотрит. Сидит и смотрит. Я сначала смущалась, потому что не привыкла деньги бесплатно для себя брать. А потом – свыклась. При нем, не боясь, спать стала. Днем я спать никогда не могу. А так – в спокойную ночь, это когда при нем, разденусь и по-человечески сплю. Даже потолстела тогда, потому что работы нет, а один ночной отдых.

– Еще того лучше, теперь я тем более не понимаю. Ну, а паранджа-то зачем?

– Так меня же весь город знает. То есть – знал… – поправилась Степа-

нида. – А какому мужику понравится, когда красоту его бабы другой мужик знает? Вот он меня и спрятал от всех. Закрыл. Только для себя и оставил. Я в одной книжке карнавал видела – там все в масках, ну прямо, как я... Должно быть, развратно до этого-то, до карнавала, всем городом жили. Вот и попрятались друг от дружки*.

И она засмеялась.

Глава пятая
Чачван – всего лишь сетка из конских волос

– Ты вот здесь и живешь? – удивилась Степанида, лишь только они прошли мимо китайца, невозмутимо, с коротенькой трубкой, обжигающей нос, сидящего на перевернутом старом ведре подле своих – наконец до блеска отмытых – стекол окна.

– Здесь я умираю, – как всегда неожиданно для себя самой произнесла Елизавета Ивановна.

– Да-а, – протянула Степанида. – Не житье.

Она оглянулась:

– Никто сюда не войдет? Я бы скинула сейчас сетку-то эту...

– Муж на работе, – Елизавета Ивановна подумала про Юлиана, – а он...

– Ну, да... Завтра.

– Завтра, – согласно кивнула Елизавета Ивановна.

– Тогда командуй, – уже не глухо, не из-под сетки, отброшенной назад, за голову, не из-под сухой и душной своей паранджи, произнесла Степанида, открывая лицо.

Лицо оказалось старым и некрасивым. Черные, безжалостно насурьмленные брови были похожи на графитовый карандаш, жирным потом приклеенный к белесому лбу. Тонкая, еще более тонкая и прозрачная, чем у нее самой, кожа нетугими складками обкладывала – заметно опрокинутый к затылку – напудренный лоб. Мелькнула даже грешная мысль: может, не оттого, что все ее знали, закрыл это лицо ее муж, но оттого, что стеснялся?

– Подожди, не бросай... Дай я померяю...

– А разве ты никогда такой не носила?

– Нет, – сказала Елизавета Ивановна, и ей показалось, что она соврала.

«Воспоминаний злых страна... Каким мучительным пожаром здесь плоть земли опалена? Скажи, какая власть дана твоим обугленным чинарам? – "Здесь под землею черный ад, отсюда я приду назад"».

---

* Подлинная история, случившаяся после революции в Ташкенте. Со слов одного из первых узбекских кинорежиссеров, Наби Ганиева, упоминается также в книге Виктора Витковича «Круги жизни»: Повесть в письмах (М.: Молодая гвардия, 1983).

– Чачван, – встряхивая и расправляя перед собой паранджу, равнодушно произнесла Степанида. – Всего лишь сетка из конских волос.

– Я думала, что изнутри ничего не видно…

– Видно, видно… – усмехнулась Степанида. – Сделано ведь, чтобы не мир от себя прятать, а чтобы себя от мира.

– Как это…

– Что?

– Как это ты так… красиво говоришь?

– А наслушалась. Неужто не знаешь, что всякий, кто с тобой спать норовит, сначала всякие слова вспоминает, которые красивые, даже из книжек разных. Только потом, уже утром, не помнит об них. А мы, вот, дуры, все помним. Тебе разве не говорили?

Елизавета Ивановна задумалась. Пожалуй, что – говорили. Коленька Гумилев, Макс Волошин, да и Воля… Когда-то. Теперь – спиною в веснушках. Вспомнила еще, как звонил ей Маковский. Вернее, она сама позвонила ему. Еще вернее, не она сама, не Лиля Дмитриева, а Черубина.

– Вы знаете, – обрадовался он, – я умею определять судьбу и характер человека по его почерку. Ваш – удивителен! Хотите, расскажу о вас все, что узнал по вашему?

Черубина, быть может, и не захотела, но захотела она, Лиля. Переведя дыхание, согласно кивнула, как будто бы можно было этот кивок разглядеть при помощи телефонной трубки. Но Маковский словно действительно увидел.

– Ваш отец, конечно, француз. Из Южной Франции. Мать – русская. Но она воспитывалась в монастыре в Толедо. Она любила носить белоснежные кружева в сочетании с чем-либо черным… Вы же – немного наоборот. Вам нравится черная отделка на белом шелку…

Это был какой-то бред, обман, наваждение: в одном и том же журнале выходили стихи одного и того же поэта, а единства в них словно не существовало. В одних Маковский видел черную отделку на белом шелку, в других – ее, наверно, такою, какой она сама себя видела перед зеркалом. И еще совершенно неизвестно, в моменты, когда говорили перед нею красивые слова даже и из книжек разных, то кому говорили их? Ей ли, Лилечке Дмитриевой, или все же графине Черубине де Габриак? И Николай, и Макс. Впрочем, только не Воля ее…

Вообще же, честнее всего признаться, что это она сама себе всегда их говорила, не помня, стараясь не помнить про отражение в зеркале, но понимая что-то еще, что-то еще…

А почерк… Стихи Черубины переписывал один пьяный писец из Мариинки. За гривенник.

«Лиля в это время жила на одиннадцать с полтиной в месяц, которые получала как преподавательница приготовительного класса»*.

---

* *Волошин М. А.* Рассказ о Черубине де Габриак.

Глава шестая
Дверь за черной клеенкой

– Ну, вот. Спешу домой. Не знаю, как стану тебе говорить, что надобно мне уезжать. А у нас, слава Богу, – гости. И я рад. И я теперь знаю, что тебе не так будет скучно, когда я опять уеду… – ворвавшийся в комнату Всеволод торопливо вытаскивал свои немногие вещи из раскрытого шкапа, сдергивал их со спинки стула и бросал в раскрытый свой, еще дачный, плетеный чемоданчик.

– Воля, это не гости. Это Степанида Петровна. Она пришла мне немножко помочь.

– Да-да… Помочь… Понимаю… Ты не видела мой помазок?

– Есть будешь? – поняв, что Всеволод недоволен, но, совершенно не зная, что сказать, чем оправдаться и, главное, за что, – сухо произнесла Елизавета Ивановна, впрочем, в глубине души понимая, что все-таки за что-то ей следует оправдаться. За что-то, что еще не произошло, но что может произойти завтра. За что-то, что произойдет не при нем, не при Всеволоде, но без него, следовательно, как будто даже и тайно, и потому и стыдно, и грешно.

– Ты ему бутербродов-то заверни, – подсказала вдруг Степанида, первой поняв, что на вопрос Лизаветы ее этот муж вряд ли ответит.

– Вот это – хорошо, вот за это спасибо, – словно бы даже обрадовался Всеволод. – С собой заберу. А то, в дороге… Никогда не знаешь, будешь есть или голодным уснешь.

«Нет больше журавля! Он улетел за другом, сомкнулось Небо кругом, под ним такая плоская Земля! О, почему вернуться мне нельзя туда, домой, куда ушел ты, а следом за тобой журавль желтый».

– Ты далеко? – зашуршав газетами, оборачивая приготовленное, опять попробовала спросить Елизавета Ивановна.

– Я-то? Я… Нет, недалеко. Денька на два в Джизак. Мы на машине, от управления. Представляешь, всего одна машина, а для командировки не пожалели. Ну, не скучай, я скоро…

Улыбнувшись, Всеволод поцеловал ее в лоб и осторожно прикрыл за собой обитую черной клеенкою дверь.

– Как покойницу... – произнесла Степанида.

– Что? – не поняла Елизавета Ивановна.

– Как покойницу, говорю. В лоб-от поцеловал.

– Ты забыла надеть это, – сказала тогда Елизавета Ивановна, чтобы тоже сказать неприятное. – И он тебя видел.

– Ну, не тогда же… – равнодушно отмахнулась Степанида. – Говори теперь, с чего начинать. – И добавила: – Закрываться-то надо от того, кого знаешь, да кто тебя знает. А так-то, зазря, так-то зачем?

– Действительно, – гордо потянулась всею спиной Елизавета Ивановна. Но и, вопреки вновь появившейся этой гордости, поморщилась от прежней боли.

– Действительно, – совсем неслышно подтвердила графиня Черубина де Габриак.

Глава седьмая
Синьцзянский диалект

От вокзала Юлиан Константинович Шуцкий поехал на извозчике. Он неторопливо мечтал рассмотреть новый для него азиатский город, но поднятая колесами пыль была столь обильна, что мечтания – не подтвердившие, но и не опровергшие сами себя из-за невозможности осуществиться в этакой пыли – остались лежать нераспечатанно, будто непереведенный им китайский иероглиф.

Юлиан Константинович Шуцкий считался многообещающим филологом-востоковедом, переводчиком и знатоком Китая. Таких, как он, было еще немного, и это огорчало и пугало московских и ленинградских руководящих работников, поскольку отсутствие китаеведов и знатоков древнего языка великой закрепощенной императором страны могло притормозить ход истории, затруднив всемирное понимание пролетариатом целей друг друга. И потому, естественно, – отдаляло всеобщую мировую пролетарскую революцию, но вполне реально приближало арест, суд и высылку, если таких, как он, в ближайшее время не станет больше…

Когда Елизавета Дмитриева учила свои старофранцузский со староиспанским, применять их для революции никто не собирался…

Почти всю дорогу проехав с зажмуренными от пыли глазами, Юлиан Константинович, доехав до ворот дворика, где во флигеле жила Елизавета Ивановна, с кожаной подушки сиденья сполз весьма осторожно и только уже стоя на земле быстрым и резким движением встряхнулся всем телом. Так – от загривка и до хвоста – встряхиваются собаки, только что не от пыли, а от воды. Первое впечатление от Ташкента было душным. Но когда в очень низком – распахнутом почти что в самый двор – окне он увидел ее, то чуть успокоился.

– Ну, вот, – сказал Юлиан Константинович. – Я и приехал…

И он развел руками.

– Какой же ты стал… Пыльный.

– Это все ваша пыль, не моя…

– Наша, наша! – рассмеялась Елизавета Ивановна, и ей, так же как только что ему, стало легче.

«На пороге гость крылатый: строгий облик, меч и латы… Под землею – змей – источает смрад и пламя… Вниз с открытыми глазами за крылатыми шагами вниз иди смелей».

– Ну, так что… Встречай, декабристка… – вытирая руки вафельным по-

лотенцем, точно такое ему давали в поезде, произнес Юлиан Константинович. – Здесь ты и живешь… Понятно. Теперь рассказывай…

– Я? – удивилась Елизавета Ивановна. – Нет уж, рассказывай ты. У тебя – новости. А у меня – ничего.

– Как это – ничего? – ища глазами, куда бы это положить мокрое полотенце, сказал Юлиан Константинович. – Такой стол накрыла, а говоришь – ничего…

– Это мне помогли, – улыбнулась она.

– По-нят-но… – многозначительно прищурился Юлиан Константинович, протянув полотенце Елизавете Ивановне. – Следовательно, можно садиться?

– Можно, можно, – засмеялась она, и ей сразу же стало грустно.

– Стихи пишешь?

– Я же тебе посылала…

– Ну, да. Ну, да. Помню. Я сейчас не про те… Я про новые. Что-нибудь новое есть?

– Нет, – сказала она и тоже присела к накрытому столу.

– Не помню, я дарил тебе свою «Антологию»?

– Нет, – сказала она. И сказала правду, хотя «Антологию» она знала. «Антология китайской лирики VII–IX веков по Рождеству Христову», вышедшая еще в 1923 году во «Всемирной литературе», стояла на ее этажерке, и она помнила ее наизусть, выучив еще до издания – редактируя и дружески помогая ему ее составлять. Но только купила она ее себе сама, уже здесь, в Ташкенте, случайно увидев в небольшой книжной лавке на Алайском базаре.

– Тогда напомни, – сказал он. – Я тебе подарю. У меня есть с собой экземпляр.

– Спасибо, – сказала Елизавета Ивановна. – Напомню. Ты все еще любишь свой Китай?

– Кроме него, у меня больше ничего нет, – заметил он и взглянул на Елизавету Ивановну, не подняв головы, исподлобья.

– Тогда тебе повезло, – произнесла она, отворачиваясь. – У нас во дворе живет настоящий китаец. Мне почему-то кажется, что его тоже сюда сослали.

– И он тоже, как ты, служил в библиотеке своей Академии наук, и он тоже, как ты, руководил каким-нибудь своим антропософским обществом, и его тоже, как тебя, сослали за это в азиатскую Тмутаракань. А еще говоришь, что стихи перестала писать.

– Перестань! Как ты можешь, вот так? Ты, который всю свою жизнь занят Востоком? Если бы я была на твоем месте, я бы каждый год приезжала сюда, чтобы все это увидеть.

– Что – все? – усмехнулся он.

– Ну, все, все… Минареты, чинары, медресе…

Юлиан Константинович не ответил. Он поднялся из-за стола, слегка потянулся и подошел к окну.

– Какой смешной мальчишка, – заметил он, помолчав.

– Да, – согласилась она.

– И – китаец… Сидит, курит…

– Да, – снова согласилась она. – Это он и есть. А то, что я не пишу стихов, я тебе про это не говорила.

И они опять замолчали.

– Я их просто тебе не посылала…

– Да, – теперь сказал он. – У меня их много. А у твоего китайца неглупый вид. Он, действительно, вполне бы мог быть каким-нибудь сосланным философом. Каким-нибудь Ли Сян-цзы… Интересно, о чем он думает?

– Он думает обо мне, – тотчас ответила Елизавета Ивановна.

Юлиан Константинович с удивлением обернулся.

– Да-да… А я – о нем. Мне теперь кажется, что я и он – это один и тот же человек. Что он так же все чувствует и понимает, как понимаю я. Что он несчастен, точно так же, как я. Что ему здесь совершенно не с кем поговорить, как не с кем и мне… Что он, наверное, пишет стихи, как пишу их я, но никому не показывает, потому что всегда и всех боится.

– Ты пишешь стихи? – опять с удивлением посмотрел на нее Юлиан Константинович.

– А разве я тебе говорила, что я их не пишу? – опять повторила она.

– Впрочем, да, – верно. Я получал… Тогда знаешь что, – подойдя к ней и положив руку ей на плечо, вдруг сказал Юлиан Константинович. – Если так, то ты могла бы писать стихи теперь уже и под его именем.

– Зачем? – спросила она почти шепотом.

– Ну, как – зачем? Если ваши образы совпадают, это вовсе не значит, что китаец становится европейцем. А вот, наоборот, – да… Всякий русский способен надеть чужую шкуру, не сняв свою. Поди догадайся, кто он на самом деле… А в нашей поэзии чужая одежда куда заметнее, чем своя. Спрос на нее всегда больше. Ты же сама была Черубиной. И ты ведь хочешь еще что-то сделать?

– …особенно, когда не дают…

– Вот-вот! Так будь китайцем.

– Но я не знаю, как его звать, – тихо, стараясь не потревожить ладонь Юлиана на своем плече, просто так, чтобы только что-то сказать, сказала Елизавета Ивановна и щекою прижалась к его ладони.

Юлиан не заметил.

– А кто такой Ли Сян-цзы? – вдруг вспомнив себя и отстраняясь, спросила Елизавета Ивановна.

– Кто? А-а-а… Ли Сян-цзы – философ, поэт… Ты же сама говорила. Скажем так – философ, живущий в маленьком домике под грушевым деревом.

Ветер хлопнул узенькою створкой плохо вымытого окна в комнате ее флигеля. Стукнув о раму, створка скрипло поползла обратно.

«На столе сине-зеленый букет перьев павлиньих... Может быть, я останусь на много, на много лет здесь в пустыне... "Если ты наступил на иней, значит, близок и крепкий лед"... Что должно придти, то придет!»*

– Ли Сян-цзы, Ли Сян-цзы... – повторила вслух. – Маленькие колокольчики, колокольцы, колокола. Красиво... А все-таки, почему я до сих пор не знаю, как зовут и того, со двора?

– Да зачем тебе надо? Стоит ли портить поэтический образ приметами жизни? Ссыльной и пыльной. Как у тебя...

Юлиан засмеялся.

– Мы одно и то же, – опять повторила Елизавета Ивановна.

– О, Господи! – сдернув ладонь с ее плеча и воздев обе руки над собой, торопливо заговорил он. – Ты, окончившая гимназию с медалью и еще Императорский педагогический институт, ты, облазившая все библиотеки Парижа, Сорбонны, – как ты не понимаешь, что есть герой и есть автор. И, не понимая, – всегда все путаешь. И в Петербурге путала, и в Ташкенте путаешь. Не Черубина писала твои стихи. Это ты их писала! Ты! Тебе и хвала и слава. Дмитриевой, тире – Васильевой... Да и я ведь не к Черубине ехал, к тебе... А, впрочем, сейчас я узнаю, как зовут твоего китайца. Пойду, поговорю. Вот мне и еще одна практика в языке...

– Ты хочешь сказать, что я никакая не Черубина...

– Что? – переспросил Юлиан Константинович.

– ...что я всего лишь надела ее на себя, как надевают платье?

– Что? – снова переспросил Юлиан уже от самых дверей, обернувшись.

– ...и что теперь я смогу натянуть на себя и эту китайскую маску, оставаясь самой собою?

– Ты пока ставь чай, я скоро, – скрипнув досками пола и прошуршав черною клеенкою двери, сказал Юлиан. – Только виноград не убирай. Он в вашей Азии чудесный...

«Черной гроздью винограда стало сердце, вот оно! Эту гроздь мне выжать надо, чтоб из чаши, полной яда, сделать доброе вино? Сердце выжатое плачет, почему нельзя иначе?»

Виноград любил Воля. И сейчас он, наверное, приревновал бы Юлиана к этому винограду...

Лиля сидела за накрытым столом спиною к окну. Ветер по-прежнему гонял створку то туда, то обратно. Пахло пылью. И от каждого, даже небольшого, удара с давным-давно покрашенной рамы чешуйками голубой рыбы облетала пересохшая старая краска. Лиля не видела этого, но как будто бы слышала, когда ветер вместе с невидимой пылью заносил в ее комнату еще и невнятные пробормотывания Юлиана, говорящего с ее китайцем.

---

* Цитата из китайского поэта. *(Прим. Ч. де Г.)*

– Знаешь, что? – через несколько минут задумчиво произнес Юлиан, возвратившись и усаживаясь напротив. – Похоже, все мои знания ни к черту не годятся. Я почти ничего не понял из его слов. Боюсь, что и он из моих тоже. Понимаешь, я говорю так, как говорят в Пекине или в Шанхае. А у него очень странный диалект, весьма странный. Я ничего не понял… Скорее всего, он из Синьцзяна. Именно, именно из Синьцзяна…

– Ты останешься ночевать у меня?

– Что? – спросил Юлиан.

«Пустыни горький океан… Слова в душе оцепенели… Идет к неведомой мне цели сквозь пыльный, солнечный туман, как серый жемчуг, караван… Что может быть прекрасней линий верблюдов, странников пустыни?»

– Что? – переспросил Юлиан.

Глава восьмая
Венецианский карнавал

«Секретно. Срочно. ГПУ Туркреспублики
14 августа 1928 г. № 5093/с

Препровождаем при сем копию служебной записки агента наружного наблюдения за ссыльнопоселенкой Васильевой Е. И., проживающей по адресу: Ташкент, Ново-Городская часть, Коларов переулок, дом 9, во флигеле.

Предлагаем обратить особое внимание на упомянутые контакты, а также, по принятию необходимого решения, немедленно дать милиции следующее задание: в ближайшее время провести выборочную проверку помещения на месте проживания гражданки Васильевой Е. И., забрать все дела, документы и книги, могущие оказать помощь при ведении необходимого дознания о происходивших контактах с упомянутыми в служебной записке лицами, и объявить гражданке Васильевой Е. И. под подписку о дальнейшей нежелательности их.

Об исполнении – донести.

Вр. исп. об. начальника оперативного отдела /Малышев/»

«Начальнику секретного отдела ОГПУ

Служебная записка.

Во исполнение Вашего указания о необходимости скрытого наружного наблюдения за ссыльнопоселенкой гражданкой Васильевой Елизаветой

Ивановной, родившейся 31 марта 1887 года в Петербурге, из бывших дворян, прошедшей по делу о нелегальном петербургском антропософском обществе, где она являлась одним из руководителей, и по нелегальным делам которого неоднократно посещала Финляндию, Швейцарию, а также Германию, в связи с чем была арестована, судима и выслана в Туркестанский край, проживающей ныне по адресу: Ташкент, Ново-Городская часть, Коларов переулок, дом 9, во флигеле, имею необходимость донести следующее:

Гражданка Васильева Елизавета Ивановна, до ареста и высылки служащая Библиотеки Академии Наук, ныне проживающая по адресу город Ташкент Ново-Городская часть, Коларов переулок, дом 9, во флигеле, с последнего времени вновь ведет активную организационную работу по установлению связей и контактов с различными лицами, проживающими, как в Туркестане, так и за его пределами. В частности установлено, что ею получена телеграмма из города Ленинграда от некого гражданина Шуцкого Ю. К. ученого-китаиста*, и ранее неоднократно предпринимавшего попытки установления контактов с некоторыми заграничными эмиссарами, в которой он предупреждал Васильеву Е. И. о своем скором посещении Туркестанского края, что и произошло. Данная телеграмма мною лично была передана гражданину Васильеву В. Н., на данный момент тоже проживающему в Туркестане, мужу вышеозначенной гражданки Васильевой Е. И. с целью недопущения подобных контактов. Однако гражданин Васильев В. Н., очевидно, уже находился в курсе предполагаемого посещения гражданином Шуцким Туркестанского края и, в частности, ссыльнопоселенки Васильевой Е. И., поскольку им не было предпринято никаких действий семейного характера, а сам он скоропалительно отбыл в нсзапланированную командировку в город Джизак. Подобное необъяснимое действие может предполагать и выполнение некоей разведывательной работы, поскольку, имея профессию инженера-мелиоратора, гражданин Васильев В. Н. обладает возможностью посещения самых отдаленных мест Туркестанского края для проведения различного рода регоносцировки** с возможностью передачи полученных им материалов научного и разведывательного характера за границу Социалистической Республики.

Далее: прибывший в Ташкент гражданин Шуцкий Ю. К. о чем-то активно пытался договориться с гражданкой Васильевой Е. И., и, по-видимому, по получению от нее соответствующих инструкций, отбыл в Восточный

---

* Шуцкий Юлиан Константинович – филолог-востоковед, переводчик. Профессор. Прославился фундаментальными работами по Востоку. Особенно исследованиями по китайской классической «Книге перемен». Е. И. Васильева посвятила ему множество стихотворений. См.: журнал «Русская литература». 1988. № 4, а также упомянутые Владимиром Глоцером в сборнике «Петербургское востоковедение» / «St Petersburg Journal of Oriental Studies». Вып. 9. СПб., 1997: «И вот опять придет суббота...» – осень 1922; «Ты сам мне вырезал крестик...» – июль 1924; «Ты сказал, что наша любовь – вереск...» – август 1924 г. *(Прим. авт.)*

** Стиль и орфография оригинала сохранены.

Туркестан, в район Синьцзяна, где находится и до сих пор, возможно, подготавливая их организованный уход за границу, чему доказательство примеряние скрывающей лицо паранджи гражданкою Васильевой Е. И., производимое накануне, а также вступание в контакт с представителями местного населения, возможно, с целью изыскивания проводника для подхода к охраняемой зоне и пересечению государственной границы.

Агент наружного наблюдения /Желтый/.

г. Ташкент 12 августа 1928 года.

Добавление: прибывший из Ленинграда в Ташкент гражданин Шуцкий Ю. К., очевидно уже имеет установленные связи с неким мною не установленным лицом – Ли Сян-цзы, с которым настойчиво предлагал установить контакт и гражданке Васильевой Е. И., возможно, с вышеназванными целями.

Агент наружного наблюдения /Желтый/.

Пометка секретаря: «исправленному верить».

Резолюция в правом левом углу служебной записки: «К.! Принять к сведению».

«Вся комнатка купается в луне, везде луна, и только четко, четко тень груши черная на голубой стене, и черная железная решетка в серебряном окне... Такую же луну видала я во сне, иль, может быть, теперь все снится мне?»

Глава девятая
Из книги философских стихов Ли Сян-цзы «Домик под Грушевым Деревом»

* * *

Домик под грушей...
Домик в чужой стране.
Даже в глубоком сне
Сердце свое послушай:
Там обо мне!
Звездами затканный вечер –
Время невидимой встречи.

* * *

Покрыто сердце пылью страха.
Оно, как серые листы...
Но подожди до темноты:
Взметнется в небо фуга Баха, –
Очнешься и увидишь ты,

Что это он весь страх твой вытер
И наверху зажег Юпитер.

* * *

Не навеки душа ослепла –
Золотые цветы огня
Расцветают под грудой пепла
Для тебя и для меня,
Потому что такое пламя,
И его погасить нельзя.

* * *

Здесь всюду мчался белый конь
Молниеносного героя,
И среди пыли, вихря зноя
Звучат рога его погонь.
И как запекшийся огонь
Стал цвет земли темно-лиловым.
О, странник, к битве будь готовым.

* * *

За домами, в глухом переулке,
Так изогнуты ветви ив,
Как волна на гребне застыв,
Как резьба на моей шкатулке…
Одиноки мои прогулки:
Молча взял уезжающий друг
Ветку ивы из помнящих рук*.

Глава десятая
Часовня «Всех скорбящих Радость»

Теперь она уже не вскакивала и не подбегала к окну так безоглядно и ожидающе, как подбегала и выглядывала недолгое время тому назад.

И так происходило совершенно не потому, что на нее со своего перевернутого ведра равнодушно, невозмутимо и – не видя – смотрел одинокий и несчастный, как она, желтый китаец. Внешне он был невидим для нее никогда. Она переживала, как бы – переощущала его только внутренне, так, как переживала и переощущала в самой себе собственное одиночество, а это – другое.

И так происходило совершенно не потому, что вдруг испугалась и застыдилась самой себя, прорисованной открытым беспомощным телом в

* Китайский обычай: при разлуке давать ветвь ивы. *(Прим. Ч. де Г.)*

облупленной раме распахнутого окна перед постоянно прыгающим возле нее мальчишкой.

Теперь, просыпаясь, она лежала в постели, пытаясь обрести внутри себя осмысленность дальнейшего существования, осмысленность предстоящего дня, даже самой минуты подъема и вхождения в этот день, ничего для нее теперь не представляющий.

– Цир-цир! – вызывающе вскрикивал подпрыгивающий и заглядывающий в полумрак ее жизни мальчишка.

Но, только не торопясь и равнодушно теперь одевшись, она подходила к окну и смотрела на кричавшего так странно, что он тотчас же сбегал за крестовую дранку ободранного дома и там исчезал среди жужжания золотых мух и мутных запахов общественной помойки, где лучше всего росла вечно мокрая трава, пружинила земля под ногами и можно было надергать для себя из-под мусорного хлама целую гору бесполезных вещей, более веселых, чем костистое растрепанное привидение в раме окна.

Частым обрамлением Черубины де Габриак служила красная тяжесть театральных лож бенуара, окантованная золотолиственным размашистым рококо. Черубина появлялась в них очень легко, чтобы остаться все-таки невидимой для суетящегося в поисках ее Маковского. Маковский на всякой премьере балета, выбрав самую красивую из сидящих в ложах бенуара дам, уверял всех и саму Лилю, что, наконец-то, он видел сегодня истинную Черубину. Лиля, смеясь, только по его намекам, сама сразу же определяла предмет его театрального восторга и двумя-тремя точными словами уничтожала красавицу, естественно и сразу побеждая в заочном соперничестве с ней.

«На веере – китайская сосна... Прозрачное сердце, как лед. Здесь только чужая страна, здесь даже сосна не растет. И птиц я слежу перелет: то тянутся гуси на север. Дрожит мой опущенный веер...»

Всеволод уже давным-давно уехал домой в Петербург, заскочив из Джизака только на пару дней, – окончательно собраться.

Юлиан был где-то рядом, на той же самой, на ссыльной для нее земле, но оказывался так же недоступен даже для простого, ободряющего ее разговора, как и в первый день ее приезда, – тогда даже собственную ладонь у ее щеки он не заметил... Впрочем, может, и заметил, но тотчас забыл, переувлеченный размышлениями о Китае, китайце и непонятном для него синьцзянском диалекте, пониманию которого он теперь посвятил все оставшееся время, исчезнув в стороне Восточного Туркестана.

«Китайский лиловый платочек знаки твоей страны. Узор из серебряных точек и ветка сосны. Я при слабом свете луны узор на платке разберу... И слезы со щек сотру».

Так, лежа, она однажды пропустила опасную для себя среду, но отчего-

то никто не пришел, не поинтересовался, не забрал ее за тюремную решетку, как сделал это в прошлом году в Петербурге звенящий автомобиль. Все произошло так, будто бы теперь сидящие в зарешеченном автомобиле знали, что она, хоть и не отметилась у них, в ГПУ, но уже отметилась на земле, а такое – выше.

Оба они уехали так, как уже однажды уезжала она. И – теперь она понимала – оба вызвали у нее точно такое же ощущение пустоты, как – она теперь знала и это – вызвал однажды отъезд Черубины де Габриак из Санкт-Петербурга в Париж. Как же умолял ее тогда Маковский разрешить прийти на вокзал – проводить, увидеть. Лиля бы не выдержала, кивнула. Черубина же сделала полкивка: дала согласие приехать на вокзал любому из друзей Сергея Константиновича, но не ему самому. Позже, вот как сейчас, в Ташкенте, Лиля, наоборот, не захочет друзей, но только любимых, которые хотя как будто и придут на вокзал прощания, но не поймут этого и станут смотреть на нее глазами временных друзей, торопясь уйти. Впрочем, может, просто не почувствовав, что теперь ей отъезжать не на две недели в Париж за шляпками, как отъезжала Черубина де Габриак, но в страну тьмы и света, света и тьмы, где не существует некрасоты костистых и хромающих тел, а только законченность и совершенство низменною землею не измятого творения. Но собственники удерживают собственность, не видя и не ощущая ее. Их взгляд – всегда на приобретение новой. Собственники не верят, что никогда не обладали хоть чем-нибудь. А только руки их всегда оказывались и оказываются пусты.

Черубина тоже предчувствовала конец своей жизни.

По воскресеньям она посещала католический костел и исповедовалась у отца Бенедикта. Тот склонял ее уйти в монастырь, и Маковский был в ужасе, что земное умирание Черубины однажды осуществится. И Лиля тоже стала этого бояться. И она тоже облегченно вздохнет, когда на очередном заседании петербургской Поэтической академии в Обществе ревнителей русского стиха вдруг побледневшего Маковского срочно вызовут к телефонному аппарату, по которому дворецкий Черубины де Габриак бесстрастно сообщит:

– Кризис миновал. Графиня Черубина де Габриак жить будет.

Умирала Елизавета Васильева. Она теперь совсем перестала подниматься и распахивать в сквозняковый ветер шелушащуюся раму окна. Однажды пришла Степанида. Вымыла пол, перевернула и искупала ее саму, еще раз вымыла пол, но постель не переменила – было нечем.

Маковский носился по Петербургу и подкупом всяких мелких людей у разбросанных дач на Каменноостровском отыскивал следы ее возвращения из ниоткуда. Наконец и опять как будто нашел.

Какой-то дворецкий, получив двадцать пять рублей, побожился, что та, которую разыскивают все богатые господа, – внучка их графини Нирод. Их две у нее: одна нынче вроде в Германии, вторая как раз возвратилась, только он позабыл, как ее звать.

– Черубина? – встрепенулся Сергей Константинович.

– Черубина! Так! Вот-вот – Черубина... – радостно согласился старик дворецкий.

Елизавета Ивановна испугалась. По нескольку раз в день, наконец обнаруженная Маковским, Черубина заходила к ней в комнату, и Елизавете Ивановне становилось стыдно, что постель не мененная и вокруг нее нестерпимо душно. Тогда она звала своего китайца, он тотчас приходил, садился возле ее кровати на перевернутое ведро, которое приносил с собою, и тихонько курил, отгоняя петербургского призрака.

Поезд отходил. У Елизаветы Ивановны не оказалось билета в Париж, куда уехали все, но она все равно побежала на вокзал, чтобы выпросить его у Черубины, а только из-за своей хромоты, конечно же, опоздала. На тех путях, с которых десять минут назад отошел поезд во Францию, уже стоял совершенно другой, и из его красных теплушек горохом рассыпались по деревянному перрону китайские солдаты-интернационалисты, приехавшие делать мировую революцию. Юлиан вслушивался в их чирикающие голоса и что-то постоянно записывал в книжечку.

Ли Сян-цзы среди приехавших не было. Ли Сян-цзы преданно сидел с ней рядом, терпеливо согревая в своих маленьких желтых – совсем цыплячьих – ладонях круглое зеркальце, когда-то подаренное гимназистке Лиле Дмитриевой мамою на день ее ангела.

Голубая ростовская финифть обрамляла пока еще теплое стекло, быть может, единственное, что не выщербилось днями ее неудавшейся жизни. Мама не вспомнила, что как раз такое стекло следует приложить к губам умершего, чтобы оно осталось холодным, без земного дыхания.

То есть однажды и тонкие губы Лили уже не смогли поцеловать любимое мамино зеркальное стекло. Однако стекло, вынутое из рук китайца, само поцеловало давным-давно посиневшие и потресканные губы. И осталось долгожданно холодным*.

Елизавету Ивановну Васильеву отпевали в маленькой часовенке «Всех скорбящих Радость». В двух шагах от старого кладбищенского храма, ставленного в Ташкенте во имя святого благоверного князя Александра Невского. А ей, наверное, очень хотелось, чтобы ее отпевали в этом самом Невском, где в самом начале не полюбившего людей двадцатого века уже отпевали один великий талант – Веру Федоровну Комиссаржевскую**. Но в Невском теперь властвовали живоцерковники-обновленцы, она же не хотела допускать в себе никаких перемен. Ведь вот и ее Черубина никак не могла быть православною, но сделалась католичкой – единственная возможность допустить маленький духовный театр, не потревожив внутри себя дух мирен.

Подвиги ее на земле в борьбе с миром, плотию и диаволом закончились.

---

* Елизавета Ивановна Васильева (Елизавета Дмитриева) умерла 5 декабря 1928 года.

** Комиссаржевская Вера Федоровна (1864–1910) – талантливейшая русская актриса. Умерла в Ташкенте, по время гастролей, от оспы.

Венчик со священными изображениями, положенный на холодный девичий лоб умершей Лили Дмитриевой шевелило ветром, и все вокруг беспокоились о нем, думая про себя – не сдует ли его на скользкую желтую землю…

Так думал и китаец, оставленный ею на земле в одиночестве, и женщина под черною паранджой, на которую взглядывали не меньше, чем на шевелящийся венчик, крестящуюся скрытно, задвинутою под сетку чачвана невидимою рукою. Так думали и совсем почти ничего и никогда не знающие об усопших кладбищенские калеки и старухи, живущие поминальною милостынею от живых. Старухам и калекам могло бы повезти больше, если бы здесь, на старом Боткинском кладбище Ташкента, отпели бы и неизвестного им Волю Васильева и неизвестного же какого-то Юлиана Шуцкого. Но не повезло. Этих никто не отпел, за них не помолился и не помянул белым и сладким рисом с изюмом, новыми, раздаваемыми в память носовыми платками, мелкими многочисленными копеечными монетками и редкими рублями. Воля растворился в одинаковых днях, а Юлиана Шуцкого расстреляли, как и положено, в самом конце тридцатых.

Отпев в церкви Александра Невского, актрису Веру Комиссаржевскую увезли хоронить в Санкт-Петербург.

Отпетую рядом Елизавету Васильеву, бывшую неизвестную поэтессу Лилечку Дмитриеву, оставили лежать здесь, на старом Боткинском.

Неизвестная могила неизвестной поэтессы среди других неизвестных могил.

*«...И сон один припомнился мне вдруг: я бабочкой летала над цветами; я помню ясно: был зеленый луг, и чашечки цветов горели, словно пламя. Смотрю теперь на мир открытыми глазами, но, может быть, сама я стала сном для бабочки, летящей над цветком?»**

Курящий трубку ушел после отпевания последним.

– Вот, ведь и такие тоже-то веруют, – сказала кладбищенская старуха и решила перекреститься, но, не выбрав куда лучше – на Невского или на «Всех скорбящих Радость», перекрестилась совсем просто так.

---

* Образ из китайской поэзии. *(Прим. Ли Сян-цзы)*

Борис Парамонов

ЖЕНА

В «Воспоминаниях о Блоке» Андрей Белый рассказывает, как однажды в Москве В. В. Розанов, водя его по вечерним темным улицам, «поплевывал» «страшные кощунства на тему: ***Пол и Христос***». Потом завел в кофейню Филиппова на Тверской – и там:

*В. В. вдруг выразил поразительную заинтересованность Блоком... всё как будто выведывал, как у Блока дела обстояли с проблемою пола; и каковы отношения супругов Блоков друг к другу <...> подглядывание в В. В. вдруг сменялось гениальным прозрением о **поле**, о **поле** у Блока и т. д. Я не помню слова Розанова о Блоке (записать же их было нельзя: было многое в них нецензурно): но если бы те слова увидали когда-нибудь свет, то к «Опавшим листьям» прибавилось бы несколько гениальных страниц.*

Я догадываюсь, о чем говорил Розанов, как он связывал темы Блока, пола и Христа; можете считать нижеследующее этими отсутствующими в «Опавших листьях» гениальными страницами.

Начну, однако, с Андрея Белого. Шкловский в работе о нем приводит одно место из «Записок чудака»: описывается сон, в котором появляется устрашающий сновидца предмет – толстотелый удав, лежащий у него на подушке. Потом, уже наяву, действие переносится на швейцарскую границу, где рассказчика должны подвергнуть личному осмотру в присутствии

Борис Парамонов – кандидат философских наук, культуролог. Автор множества статей, а также книг «Конец стиля», «След»; ведущий постоянной рубрики («Русские вопросы») на «Радио Свобода». Живет в США.

толстого француза, похожего на удава из сна. Его охватывает ужас, как тогда во сне, он боится, что его «заставят – Бог весть, что заставят».

Дальше Шкловский пишет:

Не нужно увлекаться биографией художника, он любит и пишет, а потом ищет мотивировок.

Меньше всего нужно увлекаться психоанализом. <...> Психоанализ анализирует душевные травмы одного человека, а один человек не пишет, пишет время, пишет школа-коллектив.

Это обычная формалистская ересь, повторяемая всеми, кто до сих пор тщится построить литературоведение как науку, – от Лотмана до Фуко и Барта с их «смертью автора». Автора хотят дедуцировать из литературного процесса. Мандельштам очень убедительно отвергал это представление, говоря, что у писателя, у поэта интересна не школа, не традиция, а его собственное ***сырье***.

У других писателей другие раны, продолжает Шкловский, но это неинтересно с точки зрения литературы.

Но как быть, если рана у всех одна? Когда индивидуальные травмы оказываются чем-то вроде всеохватывающей эпидемии, культурной пандемии?

Как раз А. Белый и та школа, к которой он принадлежал, шире – та эпоха, в которой развертывалось творчество его современников, страдали одинаковыми ранами. Вопреки Мандельштаму, сырье у них оказывалось сходным. И эту рану, эту травму позволяет определить именно психоанализ. Получается, что он вскрывает некую литературную проблему, способен описать травму тогдашней культуры, а не только чей-то индивидуальный «комплекс».

Поль Валери в конце знаменитого эссе о «Персидских письмах» Монтескье задается вопросом: почему в тогдашней литературе столь частой фигурой был евнух? Что-то вроде этого можем спросить и мы, говоря о пресловутом «серебряном веке»: почему в нем превалировал гомосексуалист как культурный тип? Именно культурный: известная девиация утратила сугубо личностную окраску.

Что в этом смысле можно сказать, допустим, о ближайшем сподвижнике А. Белого Александре Блоке?

Нужно взглянуть на их переписку.

Блок – Белому (19 июля 1905):

Видел во сне, что мы с Тобой в росистом и тенистом лесу – зашли вдвоем далеко и отстали от остальных прогуливающихся. Тут я принялся показывать Тебе, как я умею летать всяческими манерами, и сидя и стоя на воздухе; ощущение было приятное и легкое, а Ты удивлялся и завидовал. Так продолжалось долго и не хотелось прерывать. Осталось воспоминание сладкое.

Белый – Блоку (январь 1906):

Ласковая волна прилетела. Плеснула в лицо Финским Заливом – морем. Ты был в лодке. Ты указывал веслом на зорю; зоря была золотая. От весла капали смольные, искрящиеся капли. Сильными движениями рук Ты оттолкнулся веслами, когда я прыгнул в лодку с края земли. У меня закружилась голова. Я лежал на дне лодки. Было приятно и радостно видеть оттуда Твой четкий профиль, обложенный золотом. Это было золото зори. Ты указывал путь. Было уютно в лодке с Тобой, милый, милый брат. Это всё я как бы увидел, и захотелось Тебя обнять – обнять и поцеловать. Море было беспредельное и такое знакомое, сонное.

Потом мы увидели ходящую по водам. Сейчас я не знаю, видел или не видел я такой сон; но я знаю, что у меня есть любимый брат. Какой я счастливый!

Боря

Помимо прочего здесь интересна «ходящая по водам». Фраза кажется загадочной, но разгадать ее не представляет трудности. За этим сонным видением, или так называемой «дневной грезой», стоит не только мистическая Душа Мира, София, но и вполне реальная женщина. Сюжет этот слишком известен, чтобы говорить экивоками. Это Любовь Дмитриевна, жена Блока. Известен культ, создавшийся вокруг нее в кругу Блока. Какова была природа этого культа? Вряд ли тут нужно непременно вспоминать философию Владимира Соловьева. Здесь нет «философемы» – как нельзя видеть в переписке Блока и Белого литературный факт. Это то, что называется «человеческий документ», в первую очередь. Люди, обменивающиеся подобными письмами, находятся в сложных отношениях с женщинами. Главный персонаж их переписки – ОНА. Да и персонаж ли, впрочем, «персона» ли, то есть личность, индивидуальное человеческое существо? Вот что, к примеру, пишет Блок Белому 18 июня 1903 года (были еще на «вы»):

Она – Неподвижна. Это – один из главных Ее признаков (если хотите, – символом уже, – может служить разноцветность Астарты и синтезирующая одноцветность Ее). Главным «утешением», однако, является, я думаю, не диалектическое развитие различия Ее и Астарты, а интуитивное знание о том, сколь различны их дуновения. Это – при мистическом состоянии. Но вопрос столь краеугольен, что необходимо ввести скептицизм. Сначала, переходя к «мистическому скептицизму», можно уловить слияние ее и Астарты в одно. При полном скептицизме (без мистицизма) остается незабвенной одна Астарта, потерявшая свое древнее имя, и вместе – религиозные краски. На такой, вполне невыгодной, позиции стоит логический угол зрения на Нее. <...> Итак, мыслить о Ней приходится всё реже и реже. Но «усвоенные» мысли о Ней таковы: Она единственна в своих явлениях, ничего общего ни с чем не имеет, ощущение Ее странно и в высшие моменты вполне отлично от Астарты. Здесь выступает Ее неподвижность. Однако же, хотя и по изве-

стному мистическому шаблону, следует не придавать Ей никаких определений по существу, только увивая мысль о Ней розами хвалы.

Несколько ниже появляется еще один Персонаж, чрезвычайно значимый у Блока: «Добр Христос, но не Она, потому что она – окончательна».

Вспомним этот пассаж при цитации воспоминаний Л. Д. Блок со всеми их хронологическими деталями. Наложение этого текста на воспоминания Л. Д. дает поражающий эффект понимания.

Но Христос со временем окажется не так чтобы добр, а Она окончится.

В этих темных словах есть вполне угадываемый реальный, даже житейский смысл. Главное: речь тут идет о недоступности Божества в образе Женщины; самая эта недоступность превращает женщину в Божество, в Женщину с прописной, в трансцендентный референт апофатического богословия. Отсюда – мистификация женщин вполне земных, вроде Любы Менделеевой. За этой мистификацией – простое нежелание общения, десексуализация женщин.

Блок писал Белому цитированное выше письмо из Бад-Наугейма летом 1903 года, уже обрученный со своей будущей женой. Оттуда же слал письма ей – обязательные, ежедневные (те, что потом сам назвал в Дневнике «фальшивыми», полными ненужных «надрывов»). Например, такое:

Милая, Милая, Единственная, Ненаглядная, Святая, Несравненная, Любимая, Солнце мое, Свет мой, Сокровище мое, Жизнь моя – или лучше без имен. Я ничего, ничего не могу выговорить. Верь мне, я с Тобой, я всю жизнь буду у Твоих ног, я мучительно люблю, торжественно люблю, звездно люблю, люблю всемирной любовью Тебя, Тебя, Тебя Одну, Единственную, Жемчужину, Единственное Святое, Великое, Могущественное Существо, Всё, Всё, Всё. <...> Чувствую свое убожество перед Тобой, целую Твои ноги, недостойный и страстный, страстный, измученный тем, что столько не видел Тебя. Больше ничего, всё, больше не нужно, подол Твоего платья целую горящими недостойными его губами, я, пыльный человек, Ангел Света, былинка у ног Твоих, Розовая, Крылатая, Светлая, Дивная, Чудесная.

В письмах Блока невесте нет живых слов. Станиславский бы сказал: «Не верю!» Влюбленный не будет называть невесту Женой, Облаченной в Солнце, он скорее назовет ее «солнышком»: не прописные у них в ходу, а уменьшительные суффиксы, всякие *-еньки* и *-ёньки*. Чехов писал, что с женщиной нужно разговаривать так, как будто вы в расстегнутой жилетке и без галстука. Это слова человека, несомненно, «опытного». А какой опыт был у Блока? К. М. Садовская, якобы обучившая его любви? Но вот о ней – стихотворение «Фантазия»:

«Ее» восторг самолюбивый
Я в этот вечер обманул.

Она смутила сон мой странный –
Пусть приютит ее другой:
Надутый, глупый и румяный
Паяц в одежде голубой.

Это воспоминание о неудаче с женщиной, прикрытое формой стихотворной шутки. Но речь идет отнюдь не об «опытах», не о «пробах и ошибках» – у кого из молодых людей их не бывало? – а о чем-то большем: о расположении или нерасположении, об «установке». Блок пишет Любе: «Приходило в голову, что жених лишний перед свадьбой...» Или на свадьбе? Получив согласие Любы, он вдруг заболел (декабрь 1902) и перестал с ней встречаться; в письмах постоянно ссылается на «жар» и пр.; между тем в те же дни как ни в чем не бывало ходил к Мережковским. Всё это совершенно по-подколесински, и было бы комично, если б не было трагедией (как и у Гоголя).

Трагедии не бывает, однако, без элемента абсурда (многие скажут, что трагедия и есть абсурд по преимуществу). Как по-другому понять такой, например, факт: Блок получил письмо от невесты и, переписав его, отправил ей обратно – сменив, однако, женский род на мужской. Впрочем, тут уже и не абсурд, а некая у Блока демоническая ухмылка. Невесте как бы послан мэссэдж: обходись собственными силами. Таково «бессознательное» этой ситуации.

Люба всё это бессознательно же чувствовала. Она пыталась порвать с ним, еще до свадьбы и до обручения. Написала ему письмо (29 января 1901):

Я не могу больше оставаться с Вами в тех же дружеских отношениях. До сих пор я была в них совершенно искренна, даю Вам слово. Теперь, чтобы их поддерживать, я должна была бы притворяться. Мне вдруг совершенно неожиданно и безо всякого повода ни с Вашей, ни с моей стороны стало ново – до чего мы чужды друг другу, до чего Вы меня не понимаете. Ведь Вы смотрите на меня как на какую-то отвлеченную идею; Вы навоображали обо мне всяких хороших вещей и за этой фантастической фикцией, которая жила только в Вашем воображении, Вы меня, живого человека, с живой душой, и не заметили, проглядели...

Вы, кажется, даже любили – свою фантазию, свой философский идеал, а я всё ждала, когда же Вы увидите меня, когда поймете, что мне нужно, чем я готова отвечать от всей души... Но Вы продолжали фантазировать и философствовать... Ведь я даже намекала Вам: «надо осуществлять»... Вы отвечали фразой, которая отлично характеризует Ваше отношение ко мне: «мысль изреченная есть ложь». Да, всё было только мысль, фантазия, а не чувство хотя бы только дружбы. Я долго, искренне ждала хоть немного чувства от Вас, но, наконец, после нашего последнего разговора, возвратясь домой, я почувствовала, что в моей душе что-то вдруг оборвалось, умерло; почувствовала, что Ваше отношение ко мне теперь только возмущает всё мое

существо. Я живой человек и хочу им быть, хотя бы со всеми недостатками; когда же на меня смотрят как на какую-то отвлеченность, хотя бы и идеальнейшую, мне это невыносимо, оскорбительно, чуждо... Да, я вижу теперь, насколько мы с Вами чужды друг другу, что я Вам никогда не прощу того, что Вы со мной делали всё это время – ведь Вы от жизни тянули меня на какие-то высоты, где мне холодно, страшно и... скучно!

Если переписка Блока с Белым – насквозь не литературный факт, а материал для психотерапии, то это письмо – высочайший образец русской литературы, освященный и канонизированный поколениями классиков. Это ведь письмо Татьяны к Онегину – и всех дальнейших русских героинь к их незадачливым героям – «пробникам» (тот же Шкловский). Ошиблась Л. Д. только в том, что это письмо не отправила. Современный человек, знающий то, что нынче знать положено, не может не стать на сторону Любы в этой драме. Она и сама это знала – узнала – про себя, и пишет об этом в своих замечательных мемуарах: что чувствует свою правоту во всем, что было в дальнейшей ее, так называемой, замужней жизни с Блоком. Эти мемуары все заинтересованные лица и стороны знают, и никто не хочет принимать их во внимание; более того – толкуют их не в пользу Л. Д. Есть известная работа Вл. Орлова о семейной драме Блока, но она написана для посвященных, для людей, которые, в свою очередь, знакомы со всеми этими неопубликованными документами, вроде мемуаров Любы и дневников А. Белого. «Простой человек» мало что поймет, прочитав Орлова. Остаются келейные разговоры, вроде тех, когда Ахматова назвала воспоминания Любы порнографическими. Русская презумпция: поэт всегда прав. Очевидно, в этом качестве поэта Ахматова, числившая за собой разнообразнейший сексуальный опыт, от лесбийской любви до садомазохизма, сочла себя в праве дезавуировать несчастную женщину, «изменявшую» поэту. Между тем именно Ахматова должна была понимать, что стояло за всем этим: назвала же она Блока «трагический тенор эпохи». Нужно ли растолковывать эти слова: говорить, что «тенор» здесь означает «кастрат»? С чего бы иначе тенорам, любимцам публики, быть трагическими?

Позднейшая поэтка:

Любовь – это тенор альтино.
Ты понял, скотина?

Слова, слова, слова...

Л. Д., при всех ее дальнейших эскападах, оставалась достаточно невинной. Она так и не поняла, например, что «Боря» (Бугаев – Андрей Белый) был из той же породы, что ее муж. Верила легендам о том, что Блок в юности ходил к проституткам и там «заболел». Как Блок ходил к проституткам, мы еще увидим. А сейчас, чтобы окончательно артикулировать неизвестно от кого скрываемую тему, процитируем еще кое-что

из мемуаров Л. Д. Блок. Она намекает, что болезнь («жар»), мешавшая Блоку встречаться с невестой в декабре 1902 г., была венерической, и пишет дальше:

Физическая близость с женщиной для Блока с гимназических лет это – платная любовь, и неизбежные результаты – болезнь. Слава Богу, что еще все эти случаи в молодости – болезнь не роковая. Тут несомненно травма в психологии. Не боготворимая любовница вводила его в жизнь, а случайная, безличная. Купленная на несколько минут. И унизительные, мучительные страдания... Даже Афродита Урания и Афродита площадная, разделенные бездной... Даже К. М. С[адовская] не сыграла той роли, которую должна была бы сыграть; и она более, чем «Урания», чем нужно было бы для такой первой встречи, для того, чтобы любовь юноши научилась быть любовью во всей полноте. Но у Блока так и осталось – разрыв на всю жизнь. Даже при значительнейшей его встрече уже в зрелом возрасте в 1914 году было так, и только ослепительная, солнечная жизнерадостность Кармен победила все травмы, и только с ней узнал Блок желанный синтез и той и другой любви.

О «Кармен» – Л. А. Дельмас речь пойдет дальше, сейчас мы говорим о Л. Д. Блок, о ее жизни и ее наивном сознании. Она, похоже, искренне верила, что это проститутки внушили Блоку отвращение к женщинам.

Продолжим цитацию:

Короткая вспышка чувственного его увлечения мной в зиму и лето перед свадьбой скоро, в первые же два месяца погасла, не успев вырвать меня из моего девического неведения, так как инстинктивная самозащита принималась Сашей всерьез.

Я до идиотизма ничего не понимала в любовных делах. Тем более не могла я разобраться в сложной и не вполне простой любовной психологии такого не обыденного мужа, как Саша.

Он сейчас же принялся теоретизировать о том, что нам и не надо физической близости, что это «астартизм» и Бог знает еще что. Когда я ему говорила о том, что я-то люблю весь этот еще неведомый мне мир, что я хочу его – опять теории: такие отношения не могут быть длительны <...>

Молодость всё же бросала иногда друг к другу живших рядом. В один из таких вечеров, неожиданно для Саши и со «злым умыслом» моим произошло то, что должно было произойти, – это уже осенью 1904 года. С тех пор установились редкие, краткие, по-мужски эгоистические встречи. Неведение мое было прежнее, загадка не разгадана и бороться я не умела, считая свою пассивность неизбежной. К весне 1906 года и это немногое прекратилось.

Блок был по-своему прав: такие отношения не могут быть длительными. Архетипический праобраз их отношений, «вековой прототип» – Гамлет

и Офелия, которых они провиденциально разыгрывали в бобловском домашнем театре.

Он ее утопил.
Убегаю в прошедшие миги,
Закрываю от страха глаза,
На листах холодеющей книги –
Золотая девичья коса.

Мне скажут, что в написанном нет еще Блока, ибо Блок главным, да и единственным образом – стихи. Гимназист, подхвативший от проститутки венерическую болезнь или подвергнутый нецеремонному (?) обращению Ксенией Садовской, – это не Блок. И несчастный муж несчастной Любы – тоже не Блок. Всё это как бы и так, но нужно понять, о ***чем*** его стихи. А стихи как раз о том, что и не было у него жены – ни осенью 1904 года, ни весной 1906-го, ни в промежутке. И Садовской не было, ни Дельмас–Кармен. «Стихи о Прекрасной Даме» – своего рода заклятие, «моление о чаше»: да минует меня чаша сия. Или по-блоковски: «Но страшно мне: изменишь облик Ты», то есть от сублимированного (проще сказать, изгоняемого, отгоняемого) призрака превратишься в реальную женщину, общение с которой налагает определенные обязательства.

Поэтому тема «Стихов о Прекрасной Даме» двоится: с одной стороны, это эротическое ожидание и надежда, с другой – страх, приводящий к (бессознательному) желанию избавиться от женщины, попросту – «похоронить» ее.

Мы встречались с тобой на закате,
Ты веслом рассекала залив.
Я любил твое белое платье,
Утонченность мечты разлюбив.

Были странны безмолвные встречи.
Впереди – на песчаной косе
Загорались вечерние свечи,
Кто-то думал о бледной красе.

Приближений, сближений, сгораний
Не приемлет лазурная тишь…
Мы встречались в вечернем тумане,
Где у берега рябь и камыш.

Ни тоски, ни любви, ни обиды,
Всё померкло, прошло, отошло…
Белый стан, голоса панихиды
И твое золотое весло.

Блок начал убивать свою Катьку задолго до «Двенадцати».

Прекрасная Дама, превратившаяся в проститутку, – это и есть Люба, «пошедшая по рукам».

Ты отошла, а я в пустыне
К песку горячему приник.
Ни слова гордого отныне
Не может вымолвить язык.
О том, что было, не жалея,
Твою я понял высоту:
Да, ты родная Галилея
Мне – невоскресшему Христу.

И пусть другой тебя ласкает,
Пусть множит дикую молву.
Сын Человеческий не знает,
Где преклонить ему главу.

Прекрасная Дама потеряла небесное измерение, приобретя земное. Но Поэт остался ни с чем, отсюда – идентификация с Христом. Позднейший Христос «Двенадцати» отнюдь не был «богом из машины», Его появление долго подготавливалось, хотя Блок и признавался в «нелюбви» к Нему (см. выше письмо к А. Белому). А вот еще письмо, о том же (5 июня 1904):

В прошедшие годы изредка мелькал в горах Кто-то, Кому я был склонен минутами сказать: здравствуй. Чаще всего – это был всадник в голубом. Иногда хотелось принять его за Христа, но он был так близок ко мне, что я ни разу не решился сделать этого: оттого, что Христос, я знаю это, никогда не был у меня, не ласкал и не пугал, никогда не дарил мне ни одной игрушки, а я всегда капризничал и требовал игрушек.

Теперь всадник ездил мимо. Но я наверное знаю, что это не Христос, а милый, близкий, домашний для души, иногда страшный. А Христа не было никогда и теперь нет. Он ходит где-то очень далеко. Пускай даже в ***этих*** *странах. Но меня это не касается, потому что я живу и жил главным образом в* ***тех*** *странах, а из* ***этих*** *«убежал с королевой».*

У Блока здесь догадка об архетипе, символизируемом Христом, но действует культурное вытеснение, и Его подменяет кто-то «близкий, домашний для души, иногда страшный». И Блок знает, чего боится. Он боится «двойника» – постоянный персонаж его лирики, блоковская «тень». Появляется еще один шифр – «страна». Сравним это с записью в Записных книжках о Кузмине и Городецком: Кузмин не может уйти из «страны», а Городецкий – «весь полет». Эта «страна» – гомосексуализм. Городецкий в ней не живет, а только «подрабатывает» (он был самой настоящей гомосексуальной прости-

туткой – см. статью Н. Богомолова в нашумевшем «эротическом» выпуске «Литературного обозрения» – ноябрь 1991). Он, однако, вошел во вкус и навязывался Блоку, о чем свидетельствуют недавно опубликованные письма (Литературное наследство, т. 92). Блоку же нравилась «Анна Городецкая» – одно время наваждение его дневников; это то, что в психоанализе называется «мотив Кандавла»: схема, по которой строились отношения к Блоку А. Белого. Для последнего Люба играла ту же роль, что Анна Городецкая для Блока. (Та же история повторилась у Белого с Брюсовым и Ниной Петровской.)

Убежать с королевой Блоку не удалось, но, похоже, что он и не жил «в стране». Гомосексуализм был у него скорее латентным, вытесняемым. (Интересно, впрочем, что сдержаннейший Блок был на «ты» с Кузминым.)

Поэтому он старался вести «нормальную жизнь». Отсюда, после неудачи с Любой, многочисленные попытки «романов». Слово это всегда и только следует брать в кавычки. Попытки были – пытками, он пытал себя женщинами. Романов не было – ни с Волоховой («Фаина»), ни со Щеголевой («Валентина – звезда, мечтанье»). Существуют их мемуары, вносящие сюда необходимую ясность. Наблюдавшие ситуацию пишут о том же – например, Веригина. Она расхохоталась, услышав блоковское: «И женщин жалкие объятья / Знакомы мне, я к ним привык…»: «он мне всегда казался бесконечно далеким от земли».

Блок не любил – он «уступал»: так это у него называлось:

Как первый человек, божественным сгорая,
Хочу вернуть навек на синий берег рая
Тебя, убив всю ложь и уничтожив яд…

Но ты меня зовешь! Твой ядовитый взгляд
Иной пророчит рай! – Я уступаю, зная,
Что твой змеиный рай – бездонной скуки ад.

Этот цикл – «Черная кровь» – компендиум блоковой мизогинии, его откровение и Апокалипсис.

Над лучшим созданием божьим
Изведал я силу презренья:
Я палкой ударил ее.

Поспешно оделась. Уходит.
Ушла. Оглянулась пугливо
На сизые окна мои.

И нет ее. В сизые окна
Вливается вечер ненастный,
А дальше, за мраком ненастья,
Горит заревая кайма.

Далекие, влажные долы
И близкое, бурное счастье!
Один я стою и внимаю
Тому, что мне скрипки поют.
Поют они дикие песни
О том, что свободным я стал!
О том, что на лучшую долю
Я низкую страсть променял.

Слепота тогдашних (если не всех, то многих) людей была удивительной. Уж на что умная и умудренная женщина Ахматова, но и та заблудилась в трех соснах Блокова секса:

Какая страшная у них была жизнь! Это видно из Дневника, да и раньше было видно. Настоящий балаган, другого слова не подберешь. У него – роман за романом. Она то и дело складывает чемоданы и отправляется куда-нибудь с очередным молодым человеком. Он сидит один в квартире, злится, тоскует. Пишет в Дневнике: «Люба! Люба!» Она возвращается – он счастлив, – но у него в это время роман с Дельмас. И так всё время.

И той же Лидии Чуковской (19 августа 1940):

<...> я кое-что знаю случайно о его романах... Мне рассказывали две женщины в разное время историю свою с ним – в сущности, одну и ту же... Обе молодые и красивые... Одна была у него в гостях, поздно, в пустой квартире... другая – в «Бродячей собаке»... Обе из породы женщин-соблазнительниц... А он в последнюю минуту оттолкнул их: «Боже...уже рассвет... прощайте... прощайте...»

«Одной и той же» были не две истории, а, в сущности, все. В стихах, посвященных Ахматовой, по ее словам, главное – отстраняющий жест: «не тронь меня». Даже и Дельмас не была бесспорным исключением, как показалось Любе.

Костер Блока был поистине снежным, но за всеми его сложными метафорами стоит самая настоящая, «простая» реальность. Однако тогдашним людям она отнюдь не казалась простой. Приходилось следовать зафиксированным в культуре образцам. Это и было пыткой. В Дневниках Блока появляется некая «циркачка», и тут же слово «мучительно».

Есть тема – Блок и проститутки. Об этом говорить вроде было бы неудобно, если б с такой охотой не говорили его друзья, и, прежде всего, лучший друг Боря.

Есть соответствующие записи Блока:

Зовут ее Мартой. У нее две большие каштановые косы, зелено-черные глаза, лицо в оспе, остальное – уродливо, кроме божественного и страстного тела. Она – глупая немка. Глупо смеется и говорит. Но когда я говорю о Гете и

Фаусте, думает и влюбляется <...> Когда я говорил ей о старости и смерти, она сначала громко хохотала, а потом глубоко задумалась <...> моя система – превращения плоских профессионалок на три часа в женщин страстных и нежных – опять торжествует.

Тяжело это читать. Говорить с проституткой о Фаусте? Хотя бы и о Маргарите? «Моя система». Бедный, бедный Блок. И не секс здесь, а литературные реминисценции, даже и не Гете: «Записки из подполья», конечно.

Вот интереснейшая запись Максима Горького:

В ресторане «Пекарь» барышня с Невского рассказывала мне:

– Это у вас книжечка того Блока, известного? Я его тоже знала, впрочем – только один раз. Как-то осенью, очень поздно и, знаете, слякоть, туман, уже на думских часах около полуночи, я страшно устала и собиралась идти домой, – вдруг, на углу Итальянской, меня пригласил прилично одетый, красивый такой, очень гордое лицо, я даже подумала: иностранец. Пошли пешком, – тут, недалеко, по Караванной, десять, комнаты для свиданий. Иду я, разговариваю, а он – молчит, и мне было неприятно даже как-то, я не люблю невежливых. Пришли, я попросила чаю; позвонил он, а слуга – не идет, тогда он сам пошел в коридор, а я так, знаете, устала, озябла и уснула, сидя на диване. Потом вдруг проснулась, вижу: он сидит напротив, держит голову в руках, облокотясь на стол, и смотрит на меня так строго – ужасные глаза! Но мне – от стыда – даже не страшно было, только подумала: «Ах, боже мой, должно быть музыкант!» Он – кудрявый. «Ах, извините, говорю, я сейчас разденусь».

А он улыбнулся вежливо и отвечает: «Не надо, не беспокойтесь». Пересел на диван ко мне, посадил меня на колени и говорит, гладя волосы: «Ну, подремлите еще». И – представьте же себе – я опять заснула, – скандал! Понимаю, конечно, что это нехорошо, но – не могу. Он так нежно покачивает меня и так уютно с ним, открою глаза, улыбнусь, и он улыбнется. Кажется, я даже и совсем спала, когда он встряхнул меня осторожно и сказал: «Ну, прощайте, мне надо идти». И кладет на стол двадцать пять рублей. «Послушайте, говорю, как же это?» Конечно, очень сконфузилась, извиняюсь, – так смешно всё это вышло, необыкновенно как-то. А он засмеялся потихоньку, пожал мне руку и – даже поцеловал. Ушел, а когда я уходила, слуга говорит: «Знаешь, кто с тобой был? Блок, поэт – смотри!» И показал мне портрет в журнале, – вижу: верно, это он самый. «Боже, думаю, как глупо вышло».

Умилившийся Горький заканчивает: «Отдал барышне все деньги, какие были со мной, и с того часа почувствовал Блока очень понятным и близким».

Трудно не поддаться тем чувствам, что умилили Горького. Конечно, Блок в этой сцене предельно обаятелен. Но «близок» ли он кому-либо – кроме «близких», разумеется? Обаяние Блока в этой сцене – так сказать, не общечеловечно. Это – маргиналия, а не норма. Но вот тут-то и возникает мучительный вопрос: а что норма? что маргиналия? кто был Самым «нормальным»?

В то же время трудно отделаться от впечатления, что современники Блока понимали его специфические проблемы (хотя бы потому, что и сами эти современники в подавляющем большинстве были из той же «страны»). Вот знаменитые в свое время стихи Вячеслава Иванова, посвященные Блоку, – «Бог в лупанарии»:

Я видел: мрамор Праксителя
Дыханьем Вакховым ожил,
И ядом огненного хмеля
Налилась сеть бескровных жил.
И взор бесцветный обезумел
Очей божественно-пустых;
И бога демон надоумил
Сойти на стогны с плит святых, –
И, по тропе бродяг и пьяниц,
Вступить единым из гостей
В притон, где слышны гик и танец
И стук бросаемых костей, –
И в мирре смрадной ясновидеть,
И, лик узнав, что в ликах скрыт,
Внезапным холодом обидеть
Нагих блудниц воскресший стыд, –
И, флейту вдруг к устам приблизив,
Воспоминаньем чаровать –
И, к долу горнее принизив,
За непонятным узывать.

Это – возведение в миф, торжественное преклонение. Но были отнесения и описания попроще, вполне «реалистические». Так дан Блок (Бессонов) у Алексея Толстого в «Сестрах» (к чести автора – после смерти Блока):

Бессонов глубоко втянул носом воздух, повернулся на спину и открыл глаза. <...> Рядом, тоже на спине, лежала женщина, лицо ее было прикрыто голым локтем.

«Кто такая?» Он напряг мутную память, осторожно вытащил из-под подушки портсигар и закурил. «Вот так чорт! Забыл, забыл. Фу, как неудобно!»

– Вы, кажется, проснулись, – проговорил он вкрадчивым голосом, – доброе утро. – Она промолчала, не отнимая локтя. – Вчера мы были чужими, а сегодня связаны таинственными узами этой ночи. – Он поморщился; всё это выходило пошловато. И, главное, неизвестно, что она сейчас начнет делать – каяться, плакать, или охватит ее прилив родственных чувств? Он осторожно коснулся ее локтя. Она отодвинулась. Кажется, ее звали Маргарита. Он сказал грустно:

– Маргарита, вы сердитесь на меня?

Тогда она села в подушках и, придерживая на груди падающую рубашку, стала глядеть на него выпуклыми, близорукими глазами. Веки ее припухли, полный рот кривился в усмешку. Он сейчас же вспомнил и почувствовал братскую нежность.

– Меня зовут не Маргарита, а Елизавета Киевна, – сказала она. – Я вас ненавижу. Слезьте с постели.

Тут тот же случай, что с трагическим тенором. Почему девушка, отмеченная гением, да еще и эпохальным красавцем, должна его возненавидеть? Грубый парень А. Толстой обо всем догадался, даже «Маргариту» угадал из Блоковых дневниковых записей.

Поговорим об исключениях – Дельмас.

Он пишет ей 2 апреля 1914:

Счастья в этом *для меня не было никогда, было только мученье и скука, разве – короткие часы, зато, когда они проходили, было тяжело.*

20 июня 1914:

Из ***бури музыки*** *– тишина, – нет, не тишина;* ***старинная женственность****, – да, и она, но за ней – еще: какая-то глубина верности, лежащая в Вас; опять не знаю, то ли слово: «верность»? – Земля, природа, чистота, ЖИЗНЬ, ПРАВДИВОЕ лицо жизни, какое-то мне незнакомое; всё это, всё-таки, не определяет. ВОЗМОЖНОСТЬ СЧАСТЬЯ, что ли? Словом, что-то забытое людьми, и не мной одним, но всеми* ***христианами****, которые превыше всего ставят крестную муку; такое что-то* ***простое****, чего нельзя объяснить и разложить. Вот Ваша сила – в этой* ***простоте****.*

Проще и понятней (6 мая 1914):

...искусство там, где ущерб, потеря, страдание, холод... кроме коротких минут, когда я умею в Вас погрузиться...

Дельмас – исключение – очень просто понимается: она была Кармен – убиенная Кармен. Она была – труп. Блок мог любить труп, «входить» в труп. Прибавьте к гомосексуализму некрофилию, и вы получите что-то вроде Гоголя. Да просто – Гоголя. Вернее, Блока. В любом случае – великого художника.

Впрочем, сам Блок не всегда идеализировал свои проблемы. В творчестве это у него – отказ от Прекрасной Дамы, демистификация «Ее», то самое обращение в «проститутку». Это началось с пьесы «Балаганчик» – свидетельство честности Блока, его искренности с самим собой: то, чего фатально не хватало «Боре», накручивавшему на Софию антропософию. Нам незачем подражать этим заведомо обреченным на неудачу попыткам

заменить эрудицией элементарную правду. Андрей Белый обманывал сам себя, и у него были для этого персональные и вполне веские основания. Зачем же обманываться нам, тем более в отношении Блока? Об одном таком (само-?)обмане хочется сейчас сказать несколько слов.

Блок однажды написал чрезвычайно интересную, «интимно» звучащую статью о Стриндберге:

Ясно обновляются пути человечества <...> культура выпустила в эти «переходные» годы из своей лаборатории какой-то временный, так сказать, «пробный» тип человека, в котором в различных пропорциях смешано мужское и женское начало. Мы видим этот тип во всех областях нашей деятельности, может быть чаще всего – в литературе; приходится сказать, что всё литературное развитие XX века началось «при ближайшем участии» этого типа. От более или менее удачного воплощения его зависит наше колебание между величием и упадком. Культура как бы изготовила много «проб», сотни образцов – и ждет результата, когда можно будет сделать средний вывод, то есть создать нового человека, приспособленного для новой, изменившейся жизни. <...> Ведь дело идет о новом «половом подборе», о гармоническом распределении мужественных и женственных начал, тех начал, которые до сих пор находятся в дисгармонии и кладут препятствие освобождению человека <...> Мы видим, сверх того, работу природы и культуры, которые стремятся к обновлению обоих вырожденных типов, пытаясь облагородить мужское – женственным и женское – мужественным; большинство сочетаний дает, разумеется, средний, ничего не обещающий тип, тип людей «невоплощенных», неврастеников, с сильной патологической окраской; меньшинство сочетаний дает, напротив, обещания «нового человека». Среди этих единиц, и, может быть, впереди их всех стоит Стриндберг как тип мужчины, «мужа», приспособленного для предстоящей жизни, которая рисуется (уже, кажется, всем теперь) исполненной всё более интенсивной борьбы не только государств друг с другом, но особенно общества и личности с государством.

Блок был явно смущен при написании этого текста, о чем свидетельствует множество кавычек в нем, как бы извиняющихся и призывающих не смотреть на текст слишком прямо. Автору хочется представить проблему чем-то внеличностным, общекультурным, и, строго говоря, он прав: почему сегодня гомосексуалист столь же необходим в культурном обиходе, как евнух у Монтескье? Блок здесь озадачен вопросом о гомосексуализме, превратившемся из персональной проблемы в культурную. Ясно ведь, что «тип мужчины», явленный Стриндбергом, – репрессированный гомосексуалист, и знаменитое его женоненавистничество мы можем сейчас понять, не прибегая ни к каким метафизическим – или метабиологическим – концептам. В Блоке здесь ощущается человек дофрейдовой эпохи, с ее тогдашним культурным набором от Дарвина до Вейнингера. Всё это, плюс Стриндберг, не лучше – но и не хуже – Девы Радужных ворот обоих Соловьевых (дяди и племянника) и Андрея Белого.

Но вот что совсем уж непонятно, это как человек, стоящий на высоте самоновейшего знания, продолжает играть в те же старомодные игры. Я имею в виду статью Вяч. Вс. Иванова «Блок и Стриндберг», напечатанную в блоковском томе «Литературного наследства» (92–5). Он подхватывает тему Софии и прочую гностическую фантастику, демонстративно игнорируя наиболее вероятный способ объяснения проблем как Блока, так и Стриндберга, да и вообще чуть ли не всех деятелей «серебряного века». Появляется такая фраза:

При всей соблазнительности поверхностного истолкования пути Блока от символа Прекрасной Дамы к Незнакомке в духе современных популярных психоаналитических исследований комплекса «мадонны и проститутки» сопоставление с историей Симона Гностика как с архетипом подобной жизненной ситуации представляется более глубоким и поучительным.

Но Симона Гностика ученому автору показалось мало, и он продолжает:

Традиция, продолжавшаяся в раннегностическом учении о Софии, как теперь установлено, имеет более древние корни. Новые открытия, относящиеся к ранним переднеазиатским памятникам 2-й половины второго тысячелетия до н. э., позволяют уточнить некоторые из начальных этапов развития обозначений и эпитетов, приведших в дальнейшем к выработке того представления о Мудрости (Софии), которое детально исследовано в более поздних традициях, в частности византийской и древнерусской. Особый интерес представляют угаритские клинописные алфавитные тексты, в которых повторяется формула: thmk. il. hkm. hkmt ('m'l.hyt.hzt)thmk (...) Но особенно важный для генезиса идей Вл. Соловьева и Блока аспект раздвоения Мудрости и ее воплощений принадлежит, по-видимому, к более позднему слою гностических учений.

У Блока есть статья «Педант о поэте»: здесь тот же случай. Нечеловеческая эрудиция автора при столкновении его с сюжетами, так сказать, бытовыми рождает незапланированный комический эффект. Какое отношение к Блоку имеет Передняя Азия и второе тысячелетие до н. э.? Что сказано о Любе Менделеевой в угаритских клинописных текстах? И можно ли понять стихи о Прекрасной Даме, оперируя формулой hkm.hkmt? Не полезнее ли здесь окажется «популярный и поверхностный» психоанализ? Вяч. Вс. Иванов умножает сущности без основания, являя собой эффектную и стильную, конечно, но очень уж далекую от жизни фигуру старонового схоласта. Как все семиотики, он играет с культурными формами, совершенно игнорируя их «референты». Что же касается архетипов, то Блоку можно подобрать куда более подходящий и выразительный, нежели Симон Гностик, чем, я собственно, сейчас и занимаюсь.

(Попутно: а не приходит ли в голову мысль о том, что как этот Симон, так и прочие гностики, отличались теми же самыми ориентациями, что и деяте-

ли «серебряного века»? Что сам гностицизм есть сублимация специфически гомосексуального отторжения от мира, нелюбви к нему? И в таком случае следует говорить не о вульгаризации высокой культурной проблемы, но о необыкновенном углублении проблемы гомосексуализма, видимого уже не как сексуальная девиация, а вариант культуры, бытия, самого Творения.)

Статья о Стриндберге неслучайна: Блок искал культурный контекст, «страну» – одиночество в такой ситуации воспринималось действительным проклятием, всяческой «осужденностью». И «страна» довольно быстро нашлась, у нее был даже точный почтовый адрес: Таврическая, 25, «башня» Вячеслава Иванова. Маргарита Сабашникова пишет в мемуарах «Зеленая змея», как они с Максом (Волошиным, ее мужем) открыли секрет повышенного внимания мужчин друг к другу в этом кругу. Перечисляя знаменитых завсегдатаев этого «демонического логова» (слова Вячеслава Иванова о ставрогинском «кантоне Ури»), легче, кажется, сказать, кто среди них ***не был*** гомосексуалистом (Бальмонт и Брюсов, из философов – С. Булгаков; уже второй софиолог, П. Флоренский, вызывает сомнения; кстати, эти люди на «башне» засзжие, москвичи). При этом все были женаты: дань буржуазным условностям, выплачиваемая этими революционерами духа. Впрочем, не женат был Михаил Кузмин, избравший благую часть: Юркуна. Это был открытый гомосексуалист, напечатавший «Крылья», и Блок в статье о Кузмине делает ему что-то вроде мягкого выговора: зачем «обнажается».

Вячеслав Иванов писал в статье «О достоинстве женщины»:

Подобно тому, как в древней церковной общине мужчины становились по одну сторону храма, а женщины – по другую <...> подобно этому древнецерковному разделению, прекрасным кажется мне во всех сферах жизни и деятельности это братство мужчин и это содружество женщин. Человечество должно осуществить симбиоз полов коллективно, чтобы соборно воззвать грядущее совершение на земле единого богочеловеческого Тела. Индивидуальный же симбиоз должен слыть в общественном мнении не нормой половых отношений, а отличием и исключением, оправдываемым и великою любовью, и добрыми делами четы.

Это – Платон, платонический коллективный брак. Такова – «социология»; психология же – «мотив Кандавла», социальное, так сказать, выражение находящий в «свальном грехе», групповом сексе, совместными сношениями в борделе. У того же Стриндберга в романе «Слово безумца в свою защиту» описана соответствующая сцена.

Пишет же М. Сабашникова, как Вячеслав с Лидией (Зиновьевой-Аннибал) завлекали ее в групповой секс.

Атмосфера на «башне» царила вполне непринужденная: так, на диспуте об Эросе (председательствующий Бердяев) в скучных ораторов бросали апельсины. Но, конечно, происходившее никоим образом не напоминало

пресловутые «бани» нью-йоркских гомосексуалистов 70-х годов, куда более оживленные, чем описанная в «Крыльях». Соблюдали культурный декорум – сублимировались. Были придуманы псевдонимы для корректного обозначения сюжета. Андрей Белый говорил о кентаврах (переименованных потом в андрогинов), Бердяев держался старомодного уже термина «декаданс» («Я человек декаданса» – в письме к Гершензону), а Вячеслав Иванов в тех же целях пользовался нейтральным вроде бы обозначением «символизм».

Он писал в статье «Заветы символизма»:

Не нужно желать быть «символистом»; можно только наедине с собой открыть в себе символиста – и тогда лучше всего постараться скрыть это от людей.

Пафос ивановского текста – ***тайна***, скрытый, неявляемый смысл «символистского» мироощущения. Это у него мотивировано и рационализировано Тютчевым («мысль изреченная есть ложь»), магической практикой древнего шаманизма («сакральный язык») и даже гносеологическими экскурсами во всяческое неокантианство. Но поэтическая «несказанность» и есть психологическая «тайна»: в этом контексте – самая элементарная, «эмпирическая», даже не тайна, а ***секрет***. Попросту говоря, «скелет в шкафу».

Сходную трактовку сюжета мы находим, понятно, и у Блока. Это его статья-доклад «О современном состоянии русского символизма» (1910) – работа, которую он считал лучшей у себя в этом жанре и даже переиздал отдельной брошюрой в 1921 году, то есть счел сохранившей актуальность в течение этого трагического и катастрофического десятилетия. Это тот темный текст, в котором много говорится о «лиловых мирах», ставших темой газетных фельетонистов. Но он становится кристально ясен, если мы будем исходить из уже обозначенной психологической предпосылки, вникая в строй души человека, чувствующего свою необычность, свое одиночество, даже отверженность. Установка такого человека: (1) искать родственные души и (2) прозревать некие обетования в объективном строе бытия, залоги того, что трагедия одиночества неслучайна, имеет высший, не данный в земном опыте смысл. Люди такого склада суть «символисты», они знают друг о друге и мистически, как бы молча общаются – «перемигиваются», как в одном месте прямо говорит Блок: это общение авгуров, тайное знание. Отсюда же теургические порывания – вера в возможность и необходимость преображения бытия, когда исполнятся обетования и реализуется прозреваемый смысл. Вне этой веры человек описанного склада остается «только поэтом», и жизнь в искусстве для него, знающего, верящего в сверхэмпирические и сверхэстетические смыслы, будет *Адом*: с прописной и курсивом. Ср. обращение Блока к Музе в стихах: «Для иных ты и Муза, и чудо. Для меня ты мученье и ад». В стихии искусства небесные ценности и, так сказать, персонажи превращаются в красивых мертвых кукол, а мир – в балаганное действо. Поэзия вне теургической перспек-

тивы становится «речью рабской» (из Вл. Соловьева). Теургическое чаяние происходит от отчаяния. Но если надежды и обетования не исполнятся, то в мире не стоит жить.

Мы убеждаемся в уместности психоанализа для описания философем «серебряного века». «Комплекс» отнюдь не был индивидуальным ни у Блока, ни у Белого, ни у Иванова – это была культурная тема времени. Это тема метафизического оправдания гомосексуализма. Искались сверхэмпирические «соответствия» (символы) персональных ориентаций. Соответствия, разумеется, оказывались платоническими.

Блок в той же статье:

Реальность, описанная мною, – единственная, которая для меня дает смысл жизни, миру и искусству. <...> символистом можно только родиться <...> писатели даже с большим талантом не могут ничего поделать с искусством, если они не крещены «огнем и духом» символизма. <...> быть художником – значит выдерживать ветер из миров искусства, совершенно не похожих на этот мир, только страшно влияющих на него <...> Искусство есть Ад. <...> По бессчетным кругам Ада может пройти, не погибнув, только тот, у кого есть спутник, учитель и руководительная мечта о Той, которая поведет туда, куда не смеет войти и Учитель.

В этом мире – мире искусства – «Та», «Она» превращается в мертвую куклу, в Незнакомку, попросту в проститутку. «Метафизика» проституции у Блока – гетеросексуальное общение: то, чего не должно быть, профанация бытия, его умопостигаемого строя. У «символистов» происходит десексуализация мира. Психологически это свидетельство гомосексуальной установки. Статья Блока недаром кончается цитатой из Оскара Уайльда.

Почему Вяч. Иванов и Блок говорили об одном, их восторженно поддерживал А. Белый, а возражал им Брюсов, не соглашавшийся на роль теурга, говоривший, что ему и искусства достаточно? Не потому, что он был поэт на порядок ниже Блока и Белого, а потому, что он был «нормальный мужчина». В мире этих «трагических теноров» он был пушкинский «скрыпач».

В статье Блока есть слова, вызвавшие негодование Мережковского: «То, что происходит с нами, происходит и с Россией». Здесь намечена даже и не тема, а ***трансцендентальное априори*** «Двенадцати». Возникает малоприятное, пугающее ощущение того, что мы здесь выходим за пределы индивидуальной психологии. Раскрываются, действительно, «миры», уж какие они там ни есть – лиловые или сиренево-пурпурные.

Полностью:

Как сорвалось что-то в нас, так сорвалось оно и в России. Как перед народной душой встал ею же созданный синий призрак, так встал он и перед нами. И сама Россия в лучах этой новой (вовсе не некрасовской, но лишь традицией, связанной с Некрасовым) гражданственности оказалась нашей душой.

Несмотря на поправки и отмежевки Мережковского, именно так всё и произошло. Эти люди напророчили большевицкую революцию – они ***были*** большевицкой революцией: и Вяч. Иванов с его коллективными браками, переименованными в «соборность», и Бердяев с его идеей творчества из ничего, теургически преображающего падший мир, и Блок, убегавший от Любы то ли к проституткам, то ли к «скифам». Эти люди пытались в коллективном действе восполнить индивидуальную пустоту. Эмоциональную, конечно, пустоту, а не интеллектуальную, не «творческую» (вспомним: поэзия – это Ад). Опасной, зловещей, судьбоносной, роковой была именно сублимация, заставлявшая строить фантазии вокруг культурно неприемлемого индивидуального «комплекса». А нужен был попросту «Юркун». Как бы ни был он плох – всё же лучше Ленина.

Что происходит в «Двенадцати»? Убийство женщины, так сказать, в присутствии Христа. Убийство Катьки заметили, и Христа заметили (не одобрив, впрочем, Его появления), а вот связи этих двух линий не увидели. Отсюда почти уже вековое непонимание поэмы и, как результат, многочисленнейшие домыслы, подчас весьма остроумные. Б. Гаспаров, например, установил, что «Двенадцать» построены по схеме святочного балаганного представления с вертепом. Это то же, что разъяснение Блока при помощи угаритской клинописи: люди вертятся в культурной кунсткамере, не замечая удава.

Мне известна единственная работа о Блоке, приближающаяся к правильному его пониманию. Это «Революция как кастрация: мистика сект и политика тела в поздней прозе Блока» – глава из книги Александра Эткинда «Содом и Психея. Очерки интеллектуальной истории Серебряного века». Предельная цель революции у Блока – уничтожение пола через кастрацию; к такому выводу привел автора анализ блоковского эссе «Катилина». Но А. Эткинд, как водится у него, не делает последних выводов из своих работ, не называет подлинной проблемы, стоящей у Блока за подобными фантазиями. К тому же сказанное о поздней прозе Блока в равной мере относится к его ранней поэзии, к Блоку в целом.

Приведу очень типичное суждение о «Двенадцати», которого, так сказать, объективность подчеркивается антисоветской настроенностью автора, отсутствием у него антихристианского априори. Это Ю. И. Айхенвальд:

В самом деле, разве то, что Петька, ревнуя к Ваньке, убил Катьку, разве это не стоит совершенно особняком от социальной или хотя бы только политической революции? И разве революция – рама, в которую можно механически вставлять любую картину, не говоря уже о том, что и вообще рама с картиной не есть еще организм? Изображенное Блоком событие могло бы произойти во всякую другую эпоху, и столкновение Петьки с Ванькой из-за Катьки по своей психологической сути ни революционно, ни контрреволюционно и в ткань новейшей истории своей кровавой нити не вплетает.

<...> самое название «Двенадцать», а не хотя бы «Тринадцать» (эта дюжина была бы здесь уместнее, чем обыкновенная) и не какое-нибудь другое

число символически намекает, что поэт имеет в виду некий священный прецедент <...> И что такое сближение не является произвольной выходкой со стороны кощунствующего читателя, а предположено самим писателем, – это видно из неожиданного финала поэмы.

<...> Этого уже за иронию никак нельзя принять. Помимо тона, заключительный аккорд поэмы, Христос с красным флагом, с кровавым флагом, должен еще и потому приниматься нами не как насмешка, а всерьез, что здесь слышатся давно знакомые и заветные лирические ноты Александра Блока – нежный жемчуг снега, снежная белая вьюга, дыхание небесной божественности среди земной метели. Двенадцать героев поэмы, собранные в одну грабительскую шайку, нарисованы, как темные и пьяные дикари, – что же общего между ними и двенадцатью из Евангелия? <...> Так не сумел Блок убедить читателей, что во главе двенадцати, предводителем красногвардейцев, оказывается Христос с красным флагом. Имя Христа произнесено всуе.

Ошибка Айхенвальда, да и всех интерпретаторов Блока не в том, что они не понимают «Двенадцати», а в том, что не понимают большевизма и – не боюсь повторить за Ницше и Розановым – христианства. Нельзя говорить об Октябре как социальной или политической революции. Это революция бытийная, вернее антибытийная, то есть «христианская». Ее метафизика – вражда к бытию, символизированному в образе женщины, – к природе, к естественным плодоносящим силам. Убийство Катьки у Блока – отнюдь не уголовщина на почве «романса», это символическое, ритуальное убийство России. И мотивировано оно христианской мизогинией.

Исследователи и интерпретаторы исходят из презумпции невиновности Христа и христианства. (Один из них даже обнаружил, что у Блока вообще не Христос, а антихрист.) Поэтому им кажется столь странным Христос во главе красногвардейцев. Блок взял тему с иным знаком, поменял плюс на минус. Допустим, это было сделано «бессознательно» – но тем более верно. Ибо бессознательное никогда не ошибается, и тринадцатым был Христос.

Общепризнанна динамика блоковских тем – превращение Прекрасной Дамы в Незнакомку-проститутку и последней в Россию. Но не замечалась психологическая подоснова этого процесса и его предельная логика: нелюбовь к женщине, к «Любе», пройдя стадию сублимации, конечным своим результатом имеет ее элиминирование – равно как и всех ее символов. Остается только «женственный призрак, который я ненавижу» (слова Блока о Христе).

«Русь моя, жена моя». Здесь та же коллизия, что с Любой: это он, безлюбый Блок, отдает ее «чародею», не в силах сам ею мужественно овладеть. Вечная русская коллизия, много раз формулированная, лучше всех Бердяевым: мужское начало в русской истории – насильническое, а не любовное.

Здесь происходит у Блока, у всех гениев «серебряного века» совпадение, слияние индивидуальной драмы с сюжетом национального бытия. Так

и надо понимать слова Блока: что сорвалось в нас, то сорвалось в России. Эти люди были медиумами, пифиями русской судьбы.

Я – скромный жрец, толкующий их темные слова.

Есть стихи Пастернака, которые гораздо больше подходят Блоку: «Всю жизнь хотел я быть, как все, /Но мир в своей красе /Устал от моего нытья /И хочет быть, как я». Это не Пастернак, потому что он всю жизнь ***был***, как все, ему не нужно было насиловать себя для того, чтобы погрузиться в мир, и к проституткам он ходил не так, как Блок. Мир, подражающий Пастернаку, – естественный, реальный мир. Но когда мир, Россия взялись подражать Блоку, вышло то, что вышло.

Это совпадение можно было бы назвать мистическим, если б не наличие культурно-исторического опосредствования, медиации между индивидуальным творчеством и национальным бытием. Этот медиатор – христианство. Если принять за аксиому, что Христос – архетип мизогина, или, на тогдашнем языке, «андрогина», то указанное подобие получает наиболее понятное и экономное объяснение.

Христианство теряет свои яды в богатой культурной среде, даже много способствуя обогащению и утончению этой среды. В России такой среды не было, христианство было в ней единственным культуротворящим фактором. И в красногвардейцах, блоковских и настоящих – настоящих потому, что блоковских, – было больше Христа, чем в церкви и попах. Была динамика христианская, нигилистическое, апокалиптическое горение. Поневоле вспомнишь Великого Инквизитора, сказавшего, что Христу нечего делать в мире, где Он может только навредить. И надо ли нам, вслед за Достоевским, предпочитать Христа истине?

Настоящее искусство – Ницше считал, что и настоящая жизнь, – трагедийны. В двадцатом веке цена такого существования оказалась непомерно высока. Сегодня трудно предпочесть Блока и его стихи – Любе. Она видится более человечным, более актуальным образом России, чем стихи ее гениального мужа.

Россию нужно развести с Блоком. Он ей не муж.

Февраль 98

Участникам «круглого стола» был задан следующий вопрос: *«Какая из бесчисленных проблем, стоящих перед Израилем, является, по-вашему, главной, судьбоносной?»**

Яков Хисдай

МОРАЛЬНАЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДСТВА

При всей важности многих других проблем, стоящих перед Израилем, нет, на мой взгляд, вопроса более значимого, чем стиль работы руководства страны, поскольку именно от него в большой мере зависит сама возможность решения едва ли не всех проблем.

План размежевания, предложенный Шароном, порождает два вопроса: «что» и «как». На первый взгляд важнее «что»: ЧТО будет с поселениями Гуш-Катифа? На этом вопросе сосредоточена общественная полемика, вокруг него кипят жаркие споры. Но внимательному наблюдателю видно, что куда более важен второй вопрос: КАК принимаются решения, КАК ведет себя руководство?

Почему эта тема важнее? Потому что она демонстрирует и истинное лицо политической верхушки, и моральные ценности наших лидеров, и культурный фундамент израильского общества – и понуждает к выводам самого тревожного свойства.

---

* Продолжение. Начало см. в № 3 «NB».

Яков Хисдай – полковник запаса израильской армии. Дважды ранен в боях, награжден Орденом отваги. Историк и юрист. Автор трех книг: «Правда, высвеченная войной» (1978), «Железным резцом» (1982), «На пороге юбилея» (1998). Первая книга вошла в список бестселлеров. Живет в Израиле.

Первый вывод касается руководства государства. Выясняется, что наши вожди склонны радикальным образом менять свои взгляды. Это случилось с Моше Даяном, который накануне Войны Судного дня заявил, что «лучше Шарм-аш-Шейх без мира, чем мир без Шарм-аш-Шейха», а после войны стал одним из архитекторов мира с Египтом, в результате которого мы отдали не только Шарм-аш-Шейх, но и весь Синай. Это случилось с Ицхаком Рабином, который был начальником Генерального штаба во время Шестидневной войны и горячим сторонником концепции «безопасность государства – прежде всего», а потом подписал договор Осло. Это случилось с Эхудом Бараком, который критиковал «Осло», а потом в Кемп-Дэвиде заявил о готовности отступить чуть ли не к границам 1967 года. А сейчас на наших глазах Ариэль Шарон, который тридцать лет был «бульдозером» поселенчества в Иудее, Самарии и Газе, взялся за разрушение поселений.

Если присмотреться к поведению этих руководителей, видна еще одна общая для них черта: самоуверенность и бесстыдство. Они не чувствуют необходимости объяснять изменение своих взглядов и извиняться перед теми, кто верил им и долгие годы следовал их советам, программам и лозунгам. Шарон – наглядный тому пример: он объявил о плане размежевания несколько месяцев назад, но за все это время так и не объяснил, почему то, что тридцать лет было, с его точки зрения, правильным, вдруг стало ошибкой.

Почему эти политические и государственные деятели склонны так радикально менять свои взгляды? Какие общие дефекты полученного ими воспитания выявляются раз за разом в их деяниях?

Политические методы, к которым прибегают политики для реализации своих планов, также вызывают большие сомнения. Эта тема отсылает нас к вопросу о характере израильской политики в целом. И до нынешнего конфликта по вопросу о размежевании много раз случалось, что судьбоносные политические решения принимались в кнессете минимальным большинством голосов и с использованием отвратительных манипуляций. Бегин начал Ливанскую кампанию, имея в кнессете ничтожный перевес голосов. Второй Норвежский договор был утвержден кнессетом лишь в результате того, что премьер-министр Рабин подкупил двух парламентариев, даровав им весомые должности, чтобы они проголосовали, как нужно.

Выясняется, что нашей политической системе присущи силовые методы и трюкачество – без всякой оглядки на моральные нормы. Шарон повторяет ошибки Бегина и Рабина, не понимая, что нельзя принимать судьбоносные для страны шаги, опираясь на поддержку лишь половины населения и прибегая к грязным трюкам.

Министры же и того хуже. Заботы о сохранении своего кресла для них намного важнее, чем какая бы то ни было идеология или обязательства перед избирателями. Целый ряд министров искали любого предлога, чтобы проигнорировать результат недавнего референдума среди членов Ликуда, дабы не разгневать премьер-министра и удержаться в своем кресле.

Все отчетливее видно, как наша политическая система разваливается.

Партии распадаются, парламентарии большей частью руководствуются лишь сугубо эгоистическими интересами, доверие народа к политикам с каждым днем все необратимее стремится к нулю.

Другая, не менее важная проблема – это крайне низкий уровень общественной полемики. Это относится не только к руководству государства и политикам всех рангов, но и ко всему обществу в целом. Шокирующе низкая культура дискуссий о размежевании, поверхностность и демагогичность аргументации неизбежно подталкивают к выводу, что общество, которое на таком уровне судит о важнейших вопросах, просто НЕ МОЖЕТ прийти к верным решениям.

В Израиле склонны пытаться решать самые сложные проблемы при помощи неких чудодейственных рецептов. Израильтянину трудно смириться с существованием проблем, которые не поддаются немедленному устранению, проблем, решение которых требует поэтапного, взвешенного, многолетнего процесса. Например, кризис политической системы пытались устранить с помощью введения прямых выборов премьер-министра. Вскоре выяснилось, что этот нововведение не только не решило проблему, но и усугубило ее.

Причину кризиса руководства, деградации политической системы и падения культурного уровня общества следует искать в двух отдельных плоскостях – в воспитании и экономике.

Израильская политика изначально была силовой. Тому было несколько причин. С самого начала возникновения израильских партий власть была для них средством достижения идеологических целей. Поэтому как правые, так и левые политики не гнушались прибегать к силовым и нечистоплотным методам, чтобы добиться своих целей и сокрушить оппонентов. Цели у них были великие и потому, по их мнению, оправдывали средства, в том числе и сомнительные. Вот и сейчас премьер-министр убежден, что его план размежевания принесет мир… И разве так уж важно, каким образом, нарушая все законы и нормы правового государства, на пути к такой благой и великой цели он уволил ряд несогласных с ним министров?

К этому следует добавить, что весомая часть нашей политической культуры была сформирована партиями, которые являются духовными наследниками российских революционных движений. А у тех одной из главных идей было использование силы для подавления врагов революции. Многие из руководителей израильских левых партий уже забыли, что такое социализм, но не забыли, как добиваться политических целей с применением силы. А руководители правых партий не побрезговали перенять их методы.

На этот урок истории накладывается и другое обстоятельство: в силовой политической системе выбиваются наверх те, кто отличается агрессивностью, наглостью и самоуверенностью. Такие люди не склонны признаваться в своей вине и испытывать стыд. Напротив, они чувствуют, что рождены для власти. А если народ этого не понимает – значит, народ ошибается.

А почему так низок уровень общественной полемики? Этому тоже есть несколько причин, в том числе и исторические. Сионизм изначально был дви-

жением протеста, бунта против галута и традиции. Отцам сионизма не нравились физически непрезентабельные ученые евреи. Они хотели, чтобы их сыновья были гордыми и свободными пахарями и воинами, а не книжниками... В результате значимость, весомость культуры в израильском обществе заметно снизились. И теперь в предвыборных кампаниях часто можно услышать о том или другом «сильном лидере» – но слышали ли вы когда-нибудь, чтобы кто-то призывал проголосовать за «умного, интеллигентного лидера»?

Как бороться с проблемами, коренящимися столь глубоко в истории?

Чудодейственного решения нет. Излечить эти проблемы способно лишь воспитание. Но здесь нужна не та реформа школ, о которой в последнее время трубит министерство просвещения. Сама эта реформа – яркая демонстрация той самой поверхностности, которой больно израильское общество. Нужна такая реформа, которая с детства приобщала бы израильтян к моральным ценностям и культурному уровню, значительно более высокому, чем тот, на который они обречены сегодня.

Какой надлежит быть реформе школ – разговор отдельный. Однако если этот вопрос хотя бы начнет обсуждаться всерьез, это уже будет первым знаком изменений к лучшему.

Воспитание – дело не года и не двух. Но есть другая сфера жизнедеятельности нашей страны, которая сильно способствовала деградации израильского руководства и общества, и вот ею-то можно заняться немедленно. Негативное влияние этого фактора на руководство страны и общество начало сказываться не так давно, в последнем поколении, но объяснение этого феномена все же придется начать с более давних времен.

Государственная власть и политическая система в Израиле с самого начала имели очень большую экономическую силу – значительно более существенную, чем в других демократических странах. Причин тому несколько. Молодому государству пришлось вести войны, привозить и обустраивать репатриантов, строить поселения и т. п. Все эти функции могло выполнять только государство, поэтому в руках руководства страны оказались сосредоточены большие экономические ресурсы. Пока государство было бедным и его ресурсы ограниченными, опасность этой ситуации не чувствовалась. Вместе с тем, по мере того как государство развивалось и обогащалось, все большее число людей начало понимать, какие возможности открываются перед тем, кто сумеет внедриться в политическую систему. Поскольку не существовало четко сформулированных законов относительно того, как следует распределять государственный бюджет и на что именно его тратить, то определенного типа публика и даже целые общественные секторы сообразили, что государственная казна – это золотая жила, разработка которой сулит огромные прибыли.

Борьба за власть, в основе которой некогда лежала идеология, превратилась в борьбу за распределение государственной казны, в ходе которой без оглядки применялись любые средства. Те, чья позиция была сильней, как и те, кто по тем или иным причинам имели возможность торговаться, получали больше. Эта борьба за финансы и льготы имела множество негативных

последствий. Определенная категория общества быстро усвоила, что нет смысла напряженно трудиться, поскольку на политической арене можно, не шибко напрягаясь, получить больше. Политика стала притягательной для людей, лишенных способностей, дав им возможность занять на политической арене влиятельные позиции, которых они никогда не получили бы ни в какой другой сфере деятельности. Многие усвоили, что вместо того, чтобы заниматься производительным трудом, намного выгоднее жить за государственный счет. А политики усвоили, что для того, чтобы править страной, нужно платить определенным категориям общества. Сплошь и рядом высшие государственные должности занимали политики, не блещущие талантами. Чтобы удержаться у кормила власти, они были вынуждены так или иначе подкупать избирателей; а общество, глядя на них, пришло к выводу, что нет ни принципов, ни моральных ценностей – все продается и покупается.

Таким образом, источник моральной деградации политической системы Израиля очевиден, как и соответствующий вывод: чтобы остановить процесс деградации, нужно лишить политиков возможности раздачи денег и должностей.

Тема эта весьма обширна и требует отдельного и детального рассмотрения. Но самое главное – правильно определить принцип. Если это сделано, то, руководствуясь им, можно разработать систему необходимых и эффективных мер. В частности, можно взять на вооружение идею отделения государственного бюджета от «бюджета общества». Государство будет по-прежнему получать средства, необходимые для выполнения своих функций в сферах обороны, законодательства, поддержания общественного порядка и развития инфраструктуры. А вот бюджеты, предназначенные для культуры, образования, здравоохранения и т. п., будут распределяться самими гражданами: раз в год каждый гражданин будет получать извещение о размере своего «бюджета» по каждому пункту (в соответствии с величиной семьи) и «отдавать» его по своему выбору организациям или учреждениям, работающим в соответствующих областях (при условии, что они соответствуют государственным стандартам).

Этот метод имеет несколько преимуществ. Во-первых, государственные средства будут распределяться честно и справедливо. Во-вторых, политические баталии сосредоточатся на принципиальных вопросах, доступ политиков к государственной казне – во всем ее объеме – будет ограничен, а потому и возможности политического вымогательства и подкупа сократятся. А главное, это позволит внедрить в сознание граждан чувство ответственности за благосостояние своей семьи и разумное распределение своего бюджета.

Этот экономический метод, который можно ввести в действие довольно быстро, мог бы стать хорошим началом многолетнего воспитательного процесса, который, в свою очередь, укрепит моральную базу экономического метода.

Главной ценностью в израильской культуре должна стать ответственность – и руководства государства, и народа.

Перевод с иврита – Рахель Торпусман

Дмитрий Сливняк

К МИРУ МЫ НЕ ГОТОВЫ

В 1969 году еще молодой тогда драматург Ханох Левин попытался представить себе, как будет выглядеть жизнь в Израиле, если наступит мир. Выглядела она, по Ханоху Левину, примерно так: «...заходит в комнату босс, велит тебе сделать то-то и то-то, в мирное время ты от него вконец устал, ты хватаешь его за волосы и бьешь головой об стол... возвращаешься домой, приходит ребенок из школы, озорной такой, любит побаловаться в мирное время, орет, не дает тебе спать, ты подзываешь его, хватаешь за волосы и бьешь головой об ножку кровати... на третий день тебя увольняют с работы, ты приходишь домой, соседи орут... у ребенка аппендицит, жена сбежала с бакалейщиком... ты садишься за стол, хватаешь себя за голову и бьешь ею об стол... и это только начало».

Боюсь, что нечто подобное произойдет с нами, если на нас и правда, не дай Бог, снизойдет мир. Огромная агрессия, накопившаяся в обществе за сто лет сионизма (военное противостояние, неслыханных размеров волны алии, взаимная притирка практически несовместимых групп населения), начнет искать выход и, в конечном счете, выльется на ближнего. Нечто подобное уже начало реализоваться в девяностые годы, когда в воздухе только запахло миром. Общество начало утрачивать традиционный образ врага, и новый враг тут же нашелся: «русская мафия», то есть, попросту говоря, мы с вами. Одновременно исчезало ощущение общей цели, которая еще чувствовалась в последние годы правления Ицхака Шамира. Провал «мирного процесса» не только не восстановил прежнюю сплоченность, но, наоборот, добавил агрессии и нетерпимости. (Сужу, в частности, по себе: значительно проще было терпимо относиться к левым, когда предлагаемый ими путь еще не был испробован, чем сейчас, когда после всего, что произошло, они продолжают настаивать на своих провальных идеях и изображают, по-прежнему, титаническое моральное превосходство над правыми, разыгрывая по любому поводу праведный гнев.)

Американский исследователь Джейкоб Нузнер определил в свое время иудаизм как размышление евреев над вопросом о том, кто такие евреи и что значит быть евреем. В отсутствие объединяющего врага это размышление может перекинуться на улицы, в общественный транспорт, обернуться выбитыми стеклами и свернутыми челюстями. Конечно, существуют стра-

Дмитрий Сливняк – специалист по общему языкознанию и библеистике. Сотрудник Открытого университета (Тель-Авив) и Центра Чейса при Еврейском университете (Иерусалим). Автор большого числа эссе и статей. Живет в Израиле.

ны, где религиозно-культурного плюрализма еще больше, чем у нас. Но там и отношение к месту пребывания другое. Само по себе место нейтрально по отношению к живущим там людям. У нас ортодокс выясняет с атеистом, кто из них лучший еврей, а «русский» с «марокканцем» – кто из них вообще еврей. В Лос-Анджелесе, где я недавно побывал, китайцам и испаноязычным нет смысла выяснять друг с другом, кто из них более «правильный» калифорниец. Корейская пресвитерианская церковь соседствует там с реформистской синагогой и центром медитации Махариши. В частности, и еврей может сделать со своим еврейством все, что хочет – пойти к ортодоксам или реформистам, а то и вовсе в центр медитации или в гностическую часовню, что на бульваре Сансет. Государству до этого дела нет – оно внеконфессионально, в отличие от нашего, которое мы объявили «еврейским» и до сих пор не можем договориться, что же это, в конце концов, значит. Это вторая причина, почему различным группам, населяющим Израиль, так трудно «разойтись» без трений. Третья же состоит в том, что у нашей страны попросту крошечная территория (особенно в сравнении с такими поликультурными гигантами, как США, Канада или Австралия). По существу, мы живем в тесной коммунальной квартире, где сидят друг у друга на головах еврейские, нееврейские и полуеврейские общины.

Попыткой вырваться за пределы удушающей «зеленой черты» было поселенческое движение. Один из ветеранов религиозно-идейного поселенчества раввин Менахем Фроман так определил импульс, заставивший его двинуться в путь: «просторов возжелала душа моя». Именно просторов, а не священных камней или могил патриархов. Тем более это относится к «безыдейным» поселенцам (больше половины всего их числа), для которых перемещение на «территории» обозначало, во всех смыслах этого выражения, глоток свежего воздуха. За такой глоток можно потерпеть и опасную дорогу, и враждебную деревню на соседнем холме.

Любое мирное соглашение будет связано с эвакуацией значительной части (если не всех) поселенцев. Для многих из них эвакуация обернется утратой смысла жизни, для большой части – ощущения достойной жизни, практически для всех возвращение в «коммуналку» станет травмой, которую не смягчить никакими компенсациями (впрочем, я и не верю, что приличные компенсации возможны в условиях массового переселения). А травма, как известно, ведет к фрустрации и повышает агрессивность. Не нужно забывать и о кампании натравливания общества на поселенцев, успешно практикующейся и сегодня. Когда начнется эвакуация, травля поселенцев может только усилиться (прецедент уже был в 1982 году, во время эвакуации из Синая).

Безусловно, в обозримом будущем мир нам не грозит. Но рано или поздно он, наверное, наступит, и об этом нужно не только мечтать, но и к этому готовиться. Во всяком случае, на сегодняшний день израильское общество к миру катастрофически не готово.

Менахем Бринкер

ИЗРАИЛЬ НЕ ДОЛЖЕН ОБСЛУЖИВАТЬ ДИАСПОРУ

Меня изрядно позабавило высказывание Иоанна Павла II (если он, конечно, и вправду так сказал) о том, что у палестино-израильского конфликта есть лишь два решения: реалистическое – это Божественное вмешательство; и фантастическое – если стороны сумеют договориться друг с другом. Это напомнило мне известную шутку времен моей службы в Пальмахе. Когда в 1948 году наши части были на подступах к Цфату, тамошние раввины собрали цфатских евреев и сказали им: «Евреи, не рассчитывайте на чудеса, быстрее молитесь Богу». Я думаю, евреям трудно быть «нормальными», им трудно рассуждать в тех «реалистических терминах», которые в ходу у других народов.

Что же касается главного вопроса, то я полагаю, что как только палестинская проблема будет решена (не знаю как – может быть, с помощью международного вмешательства), основной задачей Израиля будет усиление государства. При этом я имею в виду не усиление централизованной государственной власти, а противопоставление роли государства концепции экстерриториального национализма, столь характерной для еврейского сознания, замену этого национализма концепцией либерального государства. Мне кажется, что Бен-Гурион понимал эту проблему, понимал, что государство должно обрести большую весомость в жизни еврейского народа, чем экстерриториальный национализм.

Могучая еврейская культурная традиция, создававшаяся на протяжении трех тысячелетий, должна поступиться своей экстерриториальностью в пользу нормально функционирующего либерального государства. Еврейское государство не может и не должно быть орудием экстерриториального народа или экстерриториальной культуры. Граждане – пожалуйста, граждане могут так о себе думать. Граждане могут, например, считать, что иудаизм – это их наследие, которое они хотят сохранить. Но государство нельзя рассматривать как некое вспомогательное средство, обслуживающее интересы многомиллионного еврейства, живущего вне пределов этого государства. Не интересы этого экстерриториального народа, а интересы

Менахем Бринкер – профессор литературы и философии, лауреат Премии Израиля за исследования в области иврита и израильской литературы (2004 г.). Автор множества книг и статей о Толстом, Достоевском, Спинозе, Сартре, Шекспире и др. Живет в Израиле.

государства – вот что должно занять ведущее место в нашем сознании, в нашем воспитании, в нашем поведении.

Я понимаю, что сама идея создания еврейского либерального государства чрезвычайно проблематична. Она чужда всей еврейской истории, всей еврейской традиции. Но это должно быть сделано. Это главная задача.

И тут я не согласен с Иошуа*, который полагает, что главная задача – это отделение религии от национальности, поскольку, дескать, именно религия мешает созданию нормального государства с еврейским большинством.

Я не думаю, что все дело в религии. Я не думаю, что религия – это то, что препятствует этому процессу. Что ему препятствует, так это представление, будто еврейское государство должно обслуживать интересы экстерриториального народа. Вот в чем главное препятствие. Сионизм как раз и нацелен на то, чтобы евреи вернулись на свою родину и создали здесь современное либеральное государство, а те, кто не захочет вернуться, обречены на ассимиляцию. Вот и все. С какой стати евреи диаспоры должны считаться как бы составной частью государства, гражданами которого они не хотят стать?

Разумеется, существуют разные концепции... Например, Дубнов считал, что еврейство – это экстерриториальный народ, облеченный особой общемировой миссией. Я не намерен спорить со сторонниками этой концепции. Пусть они исповедуют ее. Пусть наслаждаются жизнью в Америке и верят, что этим они осуществляют некую особую миссию. Но государство Израиль не может обслуживать интересы этих людей. Такое понимание роли государства Израиль умаляет его и даже сводит на нет значение той революции, той трансформации, которая произошла с его возникновением. Эта концепция превращает государство Израиль всего лишь в еще одну еврейскую общину. Дескать, существует экстерриториальный еврейский народ, есть разные его общины: американская, французская, русская – и вот еще одна, израильская, которая воюет с арабами и почему-то претендует на ведущую роль в жизни еврейства. Евреям диаспоры очень удобна такая «приватизация сионизма». Она дает им возможность сохранить самоуважение.

Вот почему я считаю, что все экстерриториальные еврейские организации, вроде Сохнута и Керен кайемет, следует распустить. Государство должно быть нормальным.

Подчеркну: я не имею в виду индивидуумов – таковые могут ощущать свою связь с Израилем, свою принадлежность к нему, даже и пребывая в диаспоре. Я говорю о том, каким должно видеть себя еврейское государство. В личном качестве я могу испытывать братские чувства к еврею в США или в России, но государство не может подчинять свою деятельность интересам евреев, не живущих в нем. Оно не может быть государством всех евреев, где бы они ни жили. Это означало бы сужение либеральной концепции государства. Это означало бы угрозу нашей безопасности, это означа-

---

* См.: *Иошуа А.* Религия – одно, национальность – другое // «NB». № 3. С. 217–221.

ло бы увековечивание второразрядного статуса еврейских граждан Израиля, это означало бы конституциональное узаконение таких структурных особенностей нашего государства, которые – в мирное время – попросту несовместимы с представлением о либеральном государстве. Потому что либеральное государство оценивается прежде всего по тому, как оно служит интересам своих – и только своих – граждан. Потому что сама идея сионизма состояла в том, что все будут жить по общим законам, под одним флагом, все будут выполнять равные обязанности и иметь равные права. Израильские черкесы и арабы имеют право голоса по всем вопросам, поскольку они – часть государства Израиль, тогда как евреи Нью-Йорка или Парижа такого права не имеют, потому что они не израильтяне.

В этом суть либерального государства, к созданию которого стремился сионизм. В таком государстве в правовом смысле нет разницы между евреем и арабом. Только тогда (разумеется, в случае ликвидации палестино-израильского конфликта) наши арабские граждане будут испытывать чувство большей солидарности с этим государством, со своими согражданами-евреями, чем со своими соплеменниками в Дамаске или Каире. И еврей будет ощущать себя ближе к своим согражданам-арабам, чем к евреям, живущим в Лондоне или в Москве. Я подчеркиваю: речь идет о чувстве солидарности, а вовсе не о культурном родстве. Пусть существует еврейская культура, еврейская музыка – о'кей, но правовой аппарат государства должен быть свободен от всех национальных предпочтений. Правовая структура и бюджет государства должны быть подчинены только одному – благу всех шести с половиной миллионов граждан Израиля.

Израиль не обязан бороться против ассимиляции евреев. Это не его задача. Это не может быть функцией государства. Не может быть официальной задачей государства и борьба с антисемитизмом во всем мире. Борьба с антисемитизмом – это дело всех евреев, да и вообще любого либерала, но не государства Израиль. Я не хочу, чтобы Израиль объявлял себя застрельщиком в борьбе с антисемитизмом, потому что тогда какой-нибудь еврей во Франции, какой-нибудь еврейский интеллектуал вроде Баренбойма заявит, что Израиль только помогает антисемитам, давая им возможность выступать как бы не против евреев, а против политики государства Израиль. Объявляя борьбу с антисемитизмом своей государственной политикой, Израиль, скорее, вредит евреям диаспоры. Повторяется ситуация, точно зафиксированная в давнем выражении: «Все, что ни сделает один еврей, это непременно повредит другому еврею». Участие евреев в русской революции провоцирует антисемитизм, сионизм – на руку антисемитизму, государство Израиль подпитывает антисемитизм.

Вместо того чтобы заниматься культивированием чувства солидарности граждан своего государства, мы объявляем его защитником евреев всюду, где бы они ни находились. Но что это значит – защищать евреев повсюду? Посылать израильских полицейских в еврейские школы во Франции, в Бельгии или в США? Это их, французов и американцев, обязанность – ох-

ранять свои еврейские школы. Евреи – такие же граждане этих государств, как все остальные. Они должны требовать такой охраны от своих государств, это их право как граждан. Задача Израиля – поощрять такого рода требования, а не притворяться, будто он может спасти евреев диаспоры от погромов. Израиль не может спасти евреев Франции от погромов, это должно сделать французское государство. Израиль должен защищать *своих* граждан, как это делает любое нормальное либеральное государство.

Необходимо очень четкое разделение между сферой культуры, национальной принадлежности и правовыми вопросами. Сегодня Израиль нуждается, прежде всего, в укреплении правовой базы, без чего немыслимо либеральное государство. Мне могут возразить: в стране насчитывается более миллиона выходцев из стран СНГ, многим из которых чужды идеи и ценности либерализма. В стране около миллиона религиозных, для многих из которых «либерализм» – синоним распущенности, вседозволенности, безбожия, индивидуализма и так далее. В стране около миллиона арабов, многие из которых все больше тяготеют к крайнему национализму и исламскому фундаментализму. И даже в среде самих израильских либералов идет ожесточенный спор о том, может ли государство быть одновременно еврейским и либеральным. Я все это знаю, но все это еще больше утверждает меня во мнении, что если мы не укрепим либеральные основы нашего государства, нам грозит война всех со всеми.

Если Израиль не станет нормальным либеральным государством, у него нет будущего. Если мы будем руководствоваться культурными и национальными различиями, а не одинаковым для всех законом, эти огромные, в миллион каждое, меньшинства разорвут страну на части, и мы получим отдельное религиозное государство, отдельное «русско-еврейское» националистическое государство, тяготеющее к России, отдельное арабское государство – придаток арабской Палестины и так далее. И, может быть, еще двухмиллионное либеральное государство секулярных прозападных евреев.

Единственный способ избежать дезинтеграции страны – принятие либерального законодательства. Либеральные основы общества должны найти выражение в законах государства. В мирное время ультрарелигиозные слои населения и арабы должны служить в армии наравне со всеми прочими гражданами. Законы должны обеспечить равенство обязанностей, но также и равенство прав. Только это скрепит разрозненные израильские общины. Культурные различия – это центробежные силы: арабы тяготеют к своим арабским собратьям вне Израиля, религиозные – к своим единомышленникам вне Израиля, русские евреи – к своей российской культурной метрополии. Эту естественную тягу можно нейтрализовать только гражданской солидарностью, основанной на ощущении принадлежности к одному государству. А такое ощущение общей принадлежности может вырасти только на базе равенства гражданских обязанностей и прав.

Я знаю, мне могут возразить, что это утопия. Фантастика, не учитывающая «реал-политик». Но я сабра шестидесяти девяти лет, и я многое видел.

Я видел двухсоттысячную немецкую алию 20–30-х годов, которая долгие годы ощущала – и сохраняла – свою культурную особость. Они с трудом говорили на иврите, они читали немецкие газеты (их было шесть), они писали книги, романы и стихи по-немецки (Бубер, Шолем, Арнольд Цвейг, Эльза Ласкер-Шиллер…), это были сливки немецкой культуры. Они составляли тогда пятую часть всего еврейского населения Палестины (что сравнимо только с нынешней русской алией). Они создали здесь финансовую, банковскую, судебную системы, построили железные дороги. И что же? Их дети и внуки сегодня не считают себя немецкими евреями, подданными великой немецкой культуры – они читают Амихая, а не Гете. Что я хочу этим сказать? Что культурная интеграция длится многие десятки лет, но правовые, конституционные изменения свершаются куда быстрее, и чем скорее мы к ним приступим, тем лучше. Нужно поощрять объединяющие, а не разъединяющие факторы.

Я не знаю, как ускорить интеграционный процесс в культурной сфере. Тем более что я против какого-либо принуждения, как и унификации культуры. Более того, я думаю, что израильское общество обогатится в результате расцвета специфической русско-еврейской культуры, как пошло ему на пользу наличие немецко-еврейской культуры. Я не хочу искусственно унифицировать еврейскую культуру – я за унификацию ее на уровне прав и обязанностей. Я за всеобщую унификацию перед лицом закона. В этом и состоит главная проблема израильского общества: как усилить объединительные элементы, не прибегая к методам принудительной унификации? Но это главная проблема любого либерального государства. Как сохранить плюрализм и добиться хотя бы минимальной солидарности общества? Как совместить культурный плюрализм и определенную базовую солидарность?

Я прекрасно знаю, что многие в Израиле считают, что мы никогда не сумеем воодушевить израильских арабов идеей общеизраильской солидарности. Многие считают израильских арабов пятой колонной. Другие опасаются, что арабское меньшинство сыграет роль демографической бомбы – и не только у нас, но и на Западе. Эти демографические опасения очень ярко выразил недавно Бьюкенен в своей книге «Угроза Западу». На мой взгляд, эти опасения преувеличены. Что касается демографических проблем, то именно либеральное общество способно их решить – оно создает благосостояние, а рост благосостояния всегда ведет к снижению рождаемости. Что же до якобы непреодолимых культурных и религиозных различий, то они вполне преодолимы. Американцы показали, что это возможно. Они сумели абсорбировать 6 миллионов мексиканцев, 20 миллионов выходцев из Восточной Европы, 5 миллионов буддистов, 3 миллиона конфуцианцев, 5 миллионов евреев… Абсорбировать и объединить их в рамках единого для всех закона, внушить им чувство единой гражданской солидарности. Но если вы считаете, что будущее западной демократии предполагает увековечивание гегемонии белой расы, вы лишаете опоры само понятие демократии. Если вы думаете, что демократия выживет лишь в том случае, ес-

ли в ней будет не слишком много черных, не слишком много арабов или не слишком много евреев, вы не сможете защитить основы демократии. Вот тогда Западу действительно наступит конец, он не выживет. Поэтому борьба за подлинную демократию – это на самом деле борьба за выживание.

Разумеется, каждый понимает выживание как выживание прежде всего себе подобных – людей своей культуры, своей религии. Поэтому нужно поощрять понимание, что самой плодотворной почвой для расцвета «своей» культуры является почва либерального, а не мононационального (или, тем более, «расово чистого») государства. Не «кровь», не «почва», а закон – вот что должно и может объединять граждан.

Я знаю, меня могут спросить: вижу ли я появление еврейского Кемаля Ататюрка, который сумеет повести Израиль по нужному пути? Я убежден, что когда арабо-израильский конфликт завершится, израильское общество непременно выдвинет такого лидера, который поднимется на высокую трибуну и скажет: наше общество на грани гибели – его губят центробежные силы. Если мы не объединимся, мы погибнем. Мы не говорим о насильственном объединении, мы не говорим об искусственной или насильственной унификации, но мы хотим, чтобы существовал единый для всех закон, общий язык, общая служба в армии, единые налоги... Если вы спросите меня: есть ли мир после мира? – я отвечу: если мы не пойдем по предложенному мною пути, у нас не будет мира после мира.

Перевод с иврита – Алла Фурман

Сами Михаэли

НАМ ГРОЗИТ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА

Что сказать о нашем будущем? Разумеется, мы останемся на Ближнем Востоке – одном из самых проблематичных районов в мире. Мы, в Израиле, говорим об арабо-израильском конфликте так, будто это самый масштабный, самый главный конфликт на Ближнем Востоке. Но это неверно. Самые серьезные противостояния на Ближнем Востоке – всегда между исламскими странами.

Сами Михаэли – известный израильский писатель, автор восьми романов, один из которых – «Победа» (1993 г.) – стал бестселлером. Живет в Израиле.

В войне между Ираком и Ираном погибло в 20 раз больше людей, чем во всех арабо-израильских войнах. В войне Ирака с Кувейтом последний был почти совершенно разрушен. Гражданская война фактически изменила религиозно-демографическую структуру Ливана – из страны преимущественно христианской он превратился в страну с мусульманским большинством. В Алжире за время гражданской войны было убито больше людей, чем за все арабо-израильские войны. Угроза региональной нестабильности всегда будет витать над нашей головой, даже если мы каким-то чудесным образом и достигнем мира с палестинцами.

Мы находимся в районе, который переживает один из самых бурных периодов за последние 2000 лет. И предположение о возможности достижения мира в течение каких-нибудь 50 лет – это иллюзия людей, оторванных от реальности. Но, допустим, что мы достигнем мира с палестинцами. Возникнет палестинское государство, крайне бедное, потому что у него нет ресурсов. Его существование возле такой богатой страны, как Израиль, – это бомба с тикающим часовым механизмом, ибо бедность и богатство не могут сосуществовать.

Внутренние проблемы Израиля, конечно, тоже никуда не денутся. Например, те, что связаны с попытками реализовать мечту о создании еврейского демократического государства. Это неосуществимо. Или государство еврейское, или демократическое. Иного не дано, если учесть, что в Израиле уже сейчас наличествует гигантская прослойка тех, кто далек от иудаизма. Это и многочисленное арабское население, это и сотни тысяч иностранных рабочих, это и значительная часть русской алии. Возможно, кто-то из них и готов принять иудаизм, но лишь для того, чтобы получить израильское гражданство. Можно насильно навязать всем гражданам Израиля еврейский характер государства, но тогда придется забыть о демократии. Это проблема имманентная, и она требует своего решения – государство будет либо демократическим, либо еврейским.

Я не согласен с позицией Иошуа, изложенной в предыдущем номере журнала «Nota Bene»*, относительно того, что отделение религии от национальности откроет дорогу к мирному сосуществованию разных национальностей. Мы не Франция, где разные этносы могут уживаться друг с другом. В конце концов, цель сионизма в создании еврейского национального государства, а не просто еще одного государства. Ревизия статуса иудаизма возможна и даже необходима, но это не имеет никакой связи с государством Израиль. Со времен Рамбама иудаизм не обновлялся, сотни лет игнорируя сотрясавшие мир перемены. Конечно, религиозные реформы назрели, но нельзя связывать с ними надежды на перестройку Израиля. Частично реформы иудаизма уже имеют место быть – непример, возник реформистский иудаизм.

---

* См.: *Иошуа А.* Религия – одно, национальность – другое // «NB». № 3. С. 217–221.

Равным образом я не согласен и с другим участником «круглого стола» – профессором Гутвайном*. Он видит главную проблему Израиля в приватизации экономики, которая сопровождается процессом разрушения коллективистских взглядов и ценностей, характерных для былого Израиля. Он усматривает угрозу в росте индивидуализма. Я не считаю индивидуализм чем-то негативным. Я за демократическое государство, где индивидуум и личная жизнь – высшая ценность. Я за взаимопомощь, терпимость и тому подобные ценности. Но при чем здесь коллективизм? Это обычные еврейские ценности. Еврейская солидарность присуща нам испокон веков. Верно, эти ценности в наше время все более теряют свою значимость, и это не может не беспокоить меня. Я хотел бы сохранить их, но при этом я хотел бы жить в подлинно демократическом государстве – государстве, которое не навязывает мне тот или иной образ жизни, и сам я не имею права навязывать таковой кому бы то ни было.

Я много думаю еще об одной проблеме, которая встанет перед нами в ближайшем будущем, независимо от того, будет ли у нас мир с нашими соседями или нет. На самом деле, эта проблема и является самой судьбоносной для нас. Я имею в виду демографический взрыв и загрязнение, уничтожение окружающей среды. Плотность населения в Израиле – одна из самых больших в мире. Мы непрерывно выкорчевываем леса и рощи, возводим на сельскохозяйственных угодьях поселки и города. Повышение качества системы здравоохранения и стимулирование естественного роста населения – конечно, великое благо, но, с другой стороны, это ведет к экологической катастрофе. И одна из основных тому причин – рост еврейского и палестинского населения. Я не думаю, что в долгосрочной перспективе эта страна имеет какис-либо шансы на выживание. Если нынешняя тенденция не изменится, Израиль ожидает судьба Каира, с его 16 миллионами жителей, живущих в дикой тесноте нищего, грязного города, отравленного смогом.

Если мы хотим, чтобы и следующие поколения могли жить здесь, нужно, по-моему, сократить еврейскую иммиграцию и аннулировать право палестинцев на возвращение. Это с одной стороны, а с другой – прекратить финансовое поощрение многодетных семей, ограничить рождаемость, например, ввести налог на второго и т. д. ребенка, как в Китае. Что касается ограничения репатриации евреев, то следует им объяснить, что у нас попросту нет места для всех, для евреев всего мира. Если мы немедленно не прекратим алию, государство Израиль вскоре станет одним огромным кварталом бедноты – от Эйлата до Метулы. Хорошо это для евреев? Не думаю.

Нет, в отношении израильского будущего я не оптимист.

Перевод с иврита – Алла Фурман

---

* См.: *Гутвайн Д.* Приватизация – сионистская контрреволюция // «NB». № 3. С. 221–224.

Сергей Куриц

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА – ПОРОКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

За прошедший век сионистское движение и его дитя – Государство Израиль столкнулись с множеством проблем. Одни проблемы были быстро и успешно решены, другие не решались многие десятилетия. Сионистское движение в исключительно короткий исторический срок подготовило создание нового государства на земле предков. Сионистское руководство решило сложнейшие проблемы сбора и переселения сотен тысяч людей, их бытового обеспечения, снабжения деньгами и оружием, подготовило вооруженные силы и добилось международной поддержки.

После провозглашения государства мощная сионистская идея продолжала собирать евреев, обеспечила приезд в страну миллионов энтузиастов, привлекла средства богатых евреев и огромную всестороннюю помощь цивилизованного мира. Все эти факторы позволили в короткие сроки создать государство с развитой экономикой, структурой социальной защиты и мощными вооруженными силами. В ходе развития, естественно, возникали новые проблемы. Однако, в отличие от периода сионистского движения, стратегические проблемы развития не решались, они откладывались из года в год, и так продолжается много десятилетий; принимались (и до сих пор так) только оперативные и изредка тактические решения.

Для простоты обозначим две категории наиболее серьезных (стратегических) проблем, задержка решения которых представляет опасность: 1) для существования государства и для граждан и 2) только для граждан. Первая категория – это комплекс сложнейших проблем, прежде всего *социальных*. Отсутствует взаимопонимание между многочисленными секторами, между общинами, этническими группами. Фактически в государстве существует несколько самостоятельных «государств», живущих по своим законам и на основании своих моральных норм. «Гражданам» этих «государств» предоставлены разные права, у них разные обязанности (это

Сергей Куриц – кандидат наук (техника), доктор (технология, организация и экономика), профессор (управление), специалист по системному анализу проблем управления, лауреат премий АН СССР, награжден тремя Золотыми медалями ВДНХ СССР за решение крупной государственной проблемы в развитии нефтяной и газовой промышленности. Автор шести книг и свыше 160 статей. Живет в Израиле.

касается, например, службы в армии, работы или существования за счет благотворительности, женитьбы, потребления определенных продуктов, досуга и даже получения места на кладбище). Различие прав проходит не только по идеологической границе между светскими и ортодоксальными (ультраортодоксальными) гражданами, но и по полу, национальности, по времени переселения в Израиль и т. д. Эти различия вызывают недовольство и взаимную неприязнь граждан (синдром автобуса: пассажира, который протискивается к выходу в переполненном автобусе, дружно оскорбляют остальные потревоженные пассажиры, не осознавая, что в их неудобствах виноват вовсе не он). Да и может ли быть иначе, если, например, зарплата одной категории госслужащих в 50 раз превышает таковую госслужащих другой категории. Особую остроту имеет проблема школьного образования, которое, по мнению широкой общественности, губительно сказывается на способности детей подготовиться к будущей жизни. Едва ли не все согласны с тем, что нынешнюю систему государственного устройства необходимо изменить. Но ни один министр, декларирующий реформу системы, надолго не задерживается на своем посту, а преемственности планов нет. Недовольство всем этим перерастает в нечто большее, чем неприязнь, – например, в эмиграцию из Израиля, особенно интеллектуалов, которые являются единственным ресурсом бедной полезными ископаемыми страны.

Исключительно велики *экономические проблемы*: этатизм – недопустимо большое влияние государства на управление экономикой (последствия: низкий уровень производительности труда и качества продукции), внутренний долг государства своим гражданам (уже почти в четыре раза превысил годовой государственный бюджет), проблема трудовой занятости и другие. Решение проблем, относящихся к первой категории, требует много времени и огромных средств.

Вторая категория проблем представляет опасность не для существования государства, а для жизни граждан. Это, прежде всего, проблема *личной безопасности*. Почти 30 лет продолжается конфликт с палестинским руководством, теперь перерастающий в войну с народом. Конфликт не представляет никакой опасности для существования Израиля в силу абсолютного военного и экономического превосходства нашей страны. Разрешение конфликта не требует длительного времени – история идеологических (религиозных) средневековых тридцатилетних войн показывает, что для их прекращения нужна только воля ответственных лидеров. (Кстати, именно это обеспечило нам мир с Египтом.) Не требуется и крупных затрат – даже оплату расселения вне Израиля большинства палестинских беженцев и переселения еврейских поселенцев берут на себя зарубежные спонсоры. Однако палестинская проблема продолжает существовать, а власти даже и не сулят ее разрешения, если не принимать политические фокусы всерьез. Граждане продолжают погибать: за невоенные годы погибло в терактах больше израильтян, чем во всех войнах, на-

вязанных Израилю внешними врагами, и число жертв резко выросло за три последних года.

Другая серьезная проблема, последствия которой пока не проявились, – *экологическая*. До сих пор не принимаются меры, чтобы подготовить часть жилого фонда (в котором проживает более половины населения) к разрушительным землетрясениям, хотя значительная часть территории Израиля является сейсмоопасной. Нет решения и «водной» проблемы.

Прерывая скорбный список острейших проблем, самое время попытаться рассмотреть понятие «проблема». Проблему можно представить как противоречие между сторонами, находящимися во взаимодействии. Сторонами могут быть рядовые граждане, руководители различных организаций и государства. Если проблему не решают, она перерастает в кризис с непредсказуемыми последствиями.

Нетрудно понять, что решение всех перечисленных выше проблем зависит исключительно от государственного руководства и что за последствия их *нерешения* расплачиваются граждане – своими жизнями, здоровьем, имуществом и будущим своих детей. Отсюда понятно, что *главная проблема* в том, что власти не решают проблем, которые представляют опасность для граждан и самого государства. По мнению известного американского политолога Аллана Болла, это означает, что власти не выполняют свою главную обязанность – «выходить из проблем и кризисов, а не вступать с ними в конфронтацию».

Неспособность израильских властей (независимо от политической ориентации) своевременно решать проблемы вызвана органическими *пороками* системы государственного управления. Сама система сложилась в результате компромиссов между политическими интересантами. У них не было согласия ни относительно будущего характера государства (цели), ни модели управления, в отличие от успешно осуществивших свои замыслы зачинателей сионистского движения или отцов-основателей США 217 лет назад. Однако и за прошедшие полстолетия пороки системы государственного управления Израиля не были устранены. Почему? Во-первых, не было понимания проблемы в целом (предпринимались попытки внести отдельные улучшения), во-вторых, из-за постоянной нестабильности государственного управления. За прошедший период средняя продолжительность пребывания правительства у власти не превысила 20 месяцев, а фракции в кнессете менялись 367 раз (данные на 2002 год). Нежелание властей заняться главной проблемой вызвано тем, что за время существования нового государства не было создано гражданское общество, которое в правовом демократическом государстве контролирует и направляет действия властей.

В чем суть органических пороков государственного управления и как их устранить? Исторический опыт указывает на впечатляющие итоги проведения в XX веке реформ, например, в малых странах Дальнего Востока (без таких коллизий, которые постигли большие государства – Японию или

Германию). Эти реформы были направлены на устранение дефектов государственного управления. В результате страны, бедные природными ископаемыми, с бедным многонациональным населением многих конфессий, испытывавшие серьезные трудности в результате внутренних конфликтов и военных угроз со стороны соседних государств, превратились в короткие сроки в процветающие государства, наладившие мир с соседями. И хотя одно из них, Гонконг, до сих пор является объектом критики со стороны правозащитных организаций по поводу нарушений прав человека, он становится символом XXI века, символом нового направления глобализации – виртуального государства.

Итак, пороки государственного управления могут быть устранены посредством реформ. За разъяснениями обратимся к современной науке. Согласно общей теории систем, любая организационная система, в том числе государство, устроена как биологическая система – организм: у него есть голова и тело. Голова (мозг) получает информацию, анализирует ее и вырабатывает решения, которые исполняет тело, передающее по обратной связи свою реакцию на решение. Не обсуждая детали, а лишь принцип в самом общем виде, можно понять, что если в мозгу недостает каких-то участков и связей между ними или они поражены, решение может быть не лучшим, а то и абсурдным, исполнение его нанесет ущерб всему организму. Точно так же в государстве. Если в системе управления государством отсутствуют некоторые компоненты и связи, решения власти могут быть несвоевременными и не лучшими, что видно на примере не решаемых долгие годы проблем Израиля.

Реформа должна исправить дефекты управления трех главных подсистем власти, обнаруженные с помощью современной методологии системного подхода: правовой, структурной и гражданского общества.

Правовая подсистема должна быть перестроена с целью закрепления основ правового государства. Для этого необходимо ввести в законодательство недостающие уже полвека главные компоненты и связи в системе управления. Без них ни одно государство не может обеспечить свою стабильность. В их числе – цель, ограничения, принципы подчиненности законов нижнего уровня законам верхнего уровня, верховенства главного (основного) закона, гарантии его стабильности и, наконец, принцип, обязывающий одновременно с принятием закона создать правовую основу для его практической реализации (процессуальность). Власти должны, наконец, выполнить свои обещания народу и мировому сообществу, которые были даны в Декларации независимости 1948 года и не отменены до сих пор. Должен быть принят Основной закон – конституция, которую не могут заменить одиннадцать действующих противоречивых документов, названных Основными законами (итог компромисса политических интересантов 1950 года). Граждане и власть должны, наконец, знать, в каком государстве они живут: в еврейском (национальном) или иудейском (по названию конфессии), или в демократическом, или еврейском демократи-

ческом, какова общенациональная идея такого государства, которая объединяла бы всех не только во время войн. Основной закон положит конец двоевластию светских и религиозных законов на благо всех граждан, закрепит отделение религии не от государства (как это было в тоталитарном СССР), а от управления государством, как это принято в цивилизованных государствах (например, в США с 1787 года). Этим будет создана защита от иррациональности, негативную роль которой убедительно показал А. Этерман в предыдущем номере журнала. В правовом государстве конституция – не бумажка, а взаимные обязательства государства и граждан, которые вынуждают власть принимать целенаправленные и долговременные решения. (Для справки: число поправок к законам верхнего уровня, принятых за первые 50 лет существования Израиля, в четыре раза превышает этот показатель в США; вот откуда 2894 закона, т. е. шесть законов в неделю, принятых кнессетом в период 1979–86 гг.). Должен быть признан безоговорочный приоритет международного права, без которого государство не может считаться цивилизованным – с вытекающим из этого негативным отношением со стороны цивилизованного мира. Должен быть установлен статус конституционного гаранта власти, непосредственно избираемого народом, для которого сохранение конституции – способ собственного выживания. Должны быть установлены процессуальные нормы для государственных решений и, прежде всего, для защиты государственного строя.

Не может быть такого положения, когда закон запрещает избрание во власть партийных списков, члены которых солидарно не признают демократический или еврейский характер государства или пропагандируют расизм, а отсутствие процессуальных норм допускает их во власть (речь идет не об отдельных гражданах, придерживающихся оппозиционных взглядов, а о партиях, цель любой из которых – прийти к власти, в том числе путем изменения государственного строя). Если реформа не заложит основы правового государства, оно рано или поздно превратится в теократическое или националистическое с плачевными перспективами на выживание.

Реформа должна устранить опасные *структурные* пороки системы власти. Важнейшие среди них: ущербное использование демократического принципа разделения ветвей власти. Например, члены исполнительной ветви – министры – одновременно являются членами законодательной ветви, т. е. сами принимают удобные для себя законы, а однопалатный парламент (при отсутствии конституционного гаранта) не способен ограничивать их эгоизм. Должны быть восстановлены недостающие компоненты управления, например, такие функции, как прогнозирование и долгосрочное планирование, подготовка национальных кадров (отсутствие общенациональных лидеров – трагедия государства).

Наконец, реформа должна обеспечить условия для создания *гражданского общества* – главного инструмента влияния на политическую

систему. Тогда станет, наконец, возможным создание представительной системы выборов во власть достойных кандидатов (а не удобных для лидеров интересантов, включаемых в партийные списки), замена кланов политическими партиями. Сейчас в каждой из двух главных партий есть представители почти всех политических взглядов, которые продолжают оставаться в партии только из-за родственных или дружеских связей. Следствием *клановости* является аморальное поведение большого числа представителей власти (коррупция, взаимное амнистирование проступков и преступлений), которое является внешним отражением внутренних пороков управления.

Остается один вопрос: кто и когда сможет провести реформу государственного управления? Как показал анализ, в стране нет влиятельных политических и общественных организаций, которые осознают главную проблему государства и готовы заняться реформой. Не интересует вопрос о реформе влиятельные ивритоязычные СМИ, не говоря о русскоязычных, которые боятся даже обсуждать эту проблему. Безразличными к главной проблеме государства остаются многие организации израильских студентов и молодежи (они уже ангажированы политическими партиями). Безразличной к внутренним проблемам Израиля остается большинство еврейской диаспоры. По мнению некоторых ее лидеров, диаспора видит свою роль в исполнении библейской заповеди: «не откажи просящему в подаянии», а за то, куда просящий дел деньги, он ответствен лишь перед Б-гом. Так же поступила диаспора в 20–30-е годы XX столетия, когда думающие евреи Германии (начиная с Арнольда Цвейга) предупреждали об опасности для евреев развала Веймарской республики.

Что же остается? Надежда на мировое сообщество, в среде которого есть проводники либеральной демократии и активные защитники еврейского народа. Они много лет оказывали огромную всестороннюю помощь молодому еврейскому государству. Начав ныне небезуспешную борьбу всеми доступными средствами (экономическими, правовыми и военными) за демократизацию Ближнего Востока и искоренение терроризма, они, вероятно, сумеют помочь Израилю провести реформу управления и обрести статус демократического еврейского государства.

Хватит ли нам времени до того, как нерешенные проблемы вдруг и сразу заявят о себе, погрузив страну во всесторонний кризис, который разрушит саму возможность выбраться из проблем? Евреи всегда уповали на трансцендентную силу, дважды в истории потеряв свое государство. Не в результате внешней агрессии, а вследствие внутренних противоречий.

Михаэль Дорфман

НАШ ИЗРАИЛЬ – ЭТО СУЩИЙ АНГЕЛ

Рассказывают, как попал Василий Теркин на «тот свет». Водит его ангел, показывает: «Вот здесь "тот свет" социалистический, а вон там – капиталистический. Справа – православный, а слева – католический, мусульманский... буддийский... для агностиков». Подошли они к высокой глухой стене. «А здесь что?» – спрашивает Теркин. «Тссс!!! Тихо! Там евреи сидят. Не мешайте им думать, что они здесь одни».

Вынесенный в эпиграф апокриф показывает хорошо узнаваемую нашу особенность, приобретающую карикатурную форму, поскольку речь идет о «том свете», или, как его именует Талмуд, *олам шель эмет* – мир правды. Следовательно, наш нижний мир – это мир лжи, или, во всяком случае, мир, где, в отличие от единственной Божьей правды, есть много самых разных, часто противоречивых и противоположных истин. Адекватное восприятие реальности помогает выжить нациям и отдельным людям. Мы – израильтяне, живем на Ближнем Востоке и, по сути, являемся типичным ближневосточным государством – с государственным национализмом, с неразделением между государством и религией. В окружении многочисленных арабских и исламских «республик» еврейский характер нашего государства выглядит обычно, чего не скажешь о демократических европейцах и американцах. По многим другим параметрам Израиль значительно ближе своим ближневосточным соседям, чем Европе, а тем более – США. Даже этнический тип израильской толпы мало чем отличается от таковой в Иордании, Ираке или Сирии.

Недавно мне пришлось сопровождать в поездке по Израилю Николая Петровича – сотрудника Министерства внешней торговли бывшего СССР и, как часто водится, кадрового офицера одной из тамошних спецслужб, много лет бывшего резидентом этой спецслужбы в Ираке и Иордании. Наш гость не переставал удивляться тому, насколько похожи израильтяне на своих соседей. И на практике доказал верность своих наблюдений. Почти

Михаэль Дорфман – журналист, публицист, редактор, телепродюсер, участник Ливанской кампании. Автор более 200 публикаций на русском, иврите, английском и французском языках. Живет в США.

не зная иврита, пользуясь лишь русскими и арабскими ругательствами и понятным всем языком жестов, бывший разведчик сумел переспорить вороватого квартирного маклера марокканского происхождения, пытавшегося обмануть его дочь.

Что же касается угрозы безопасности, то фактические отношения Израиля с соседями значительно лучше, чем взаимоотношения арабских стран. Постоянная напряженность между Сирией и Египтом, Египтом и Ливией, Марокко и Алжиром, между Ливией и всеми ее соседями, между Сирией и Иорданией, Ираком и Ираном, многолетняя вражда между Сирией и Ираком – на этом фоне отношения между Израилем и его соседями выглядят идиллией. Хотя многие израильтяне рассматривают свою страну как осажденную крепость, но по-настоящему со времен кровопролитной Войны за независимость в 1948 г. Израиль воевал в общей сложности около трех месяцев.

Даже попытки удержать земли соседей вовсе не редкость на Ближнем Востоке. Достаточно вспомнить многократные объединения и расколы так называемой Объединенной Арабской Республики, попытки Сирии захватить Ливан и присвоить себе часть территорий Иордании, попытки Ирака поживиться за счет Ирана и Кувейта, Ливии – за счет Чада, Уганды и Судана. Арабские пропагандисты часто изображают Израиль в виде кинжала в сердце арабской нации. На самом деле, если взглянуть на карту Ближнего Востока, то Израиль действительно похож на нож, вонзившийся в узкое место, разделяющее богатые, захлебывающиеся в нефтедолларах, но безлюдные арабские королевства и густонаселенный, но нищий Египет. Извечная мечта по справедливости разделить дарованные Аллахом богатства никогда не оставляет арабские массы и их вождей. По мнению израильского аналитика, бывшего начальника израильской военной разведки, генерала и профессора Йошафата Гаркави, будь на месте еврейского государства арабское, оно имело бы с соседями те же проблемы, что и Израиль.

В пропагандистских целях израильтяне и арабские националисты всегда изображают друг друга заклятыми врагами, хотя на самом деле баасистские социалисты в Сирии и Ираке, последователи Насера или алжирские ФЛА очень близки израильтянам по политическому менталитету. Все они противостояли нарождавшемуся фундаментализму, принимавшему иногда коммунистические, а чаще исламистские формы. Многие в израильском руководстве хорошо понимают это и пытаются вырваться из мертвящей хватки США. Накануне вторжения в Ирак войск коалиции достоянием прессы стали контакты израильского руководства с режимом Саддама Хусейна, прерванные лишь после серьезных угроз со стороны США. Во время бомбежек Белграда авиацией НАТО не кто иной, как нынешний премьер-министр Ариэль Шарон заявил по поводу всеобщей эйфории, что нечему радоваться – Израиль может оказаться следующим.

Мирное завершение затяжного израильско-палестинского конфликта

недостижимо сегодня не потому, что это схватка цивилизаций или глобальная религиозная война воинственного ислама против «иудео-христианских ценностей». На самом деле наша война – это обычный в нашем регионе кровопролитный конфликт между соседями за землю и воду, из тех, что постоянно вспыхивают здесь в течение тысячелетий. Решить его как раз можно посредством расширения его рамок. За урегулирование наших конфликтов всегда платила Америка. В 1998 г. тогдашний замминистра обороны Эфраим Снэ рассказал мне в интервью, что премьер-министр Эхуд Барак намеревался получить от США около 80–100 миллиардов долларов в обмен на свои далеко идущие уступки палестинцам. Такого масштаба суммы нужны в первую очередь для модернизации Армии обороны Израиля. Не секрет, что материально-техническая база нашей армии в основном создана в 70-х годах. Наши джипы, танки и самолеты морально устаревают, а средств на их замену нет. При всем том деньги эти не очень большие. За прошлый бюджетный год Пентагон истратил в Ираке около 90 миллиардов долларов. Но сегодня в бюджете США средств на решение ближневосточного конфликта нет. Следовательно, мира у нас ожидать не приходится.

Разумеется, до дружбы, а тем более братства на Ближнем Востоке очень далеко. Все процессы на Ближнем Востоке имеют свои темпы, очень отличные от таковых на Западе. Западные обозреватели занимаются поисками решений, рассчитывают последствия разных шагов в регионе, предсказывают мгновенные политические изменения... В это время неторопливые восточные люди лишь кончают традиционные троекратные поцелуи и рассаживаются, чтобы пить кофе. На Востоке живут процессами и мало верят в конечный результат. Пятидесятишестилетний Израиль еще слишком молод для ближневосточного содружества. Но факт: соседи уже фактически приняли Израиль в свой круг. Израильтяне быстро учатся жить по обычаям региона, иначе история сотрет их, как стерла британцев, крестоносцев или римлян, желавших жить вопреки традициям. Требования «вечного, истинного мира» в Израиле давно уже раздаются лишь в период предвыборной пропаганды. Там помнят, что Талмуд помещает «истинный мир» – *шалом эмет* на небесах, в загробной жизни. Многие израильтяне не принимают определения мира по-ближневосточному, а хотят стабильности, как в Европе, мира, как между Бельгией и Голландией. Но не следует забывать, что за последние сто лет эти страны были дважды стерты с политической карты мира, а гонения на евреев в Западной Европе не имели прецедента на Ближнем Востоке. Наоборот, еврейские беженцы из Европы веками находили пристанище в Оттоманской империи и арабских странах. Президент Египта Анвар Садат заявил на церемонии в Негевском университете им. Бен-Гуриона 26 мая 1979 г.: «Мы смотрели на израильтян как на каких-то агрессоров, колонизаторов, а оказалось, что они просто евреи. С евреями же мы ведем дела тысячи лет».

Действительно, на Ближнем Востоке тысячи лет дела ведутся по-свое-

му. Здесь все так срослось, что лишает смысла западные политические модели, рассуждения о кантонах, заборах безопасности, двунациональном государстве или дорожных картах. Здесь некуда уходить и нечего делить. Предположим, что Арафат искренне признает за Израилем право на существование, на еврейский характер государства и даже на «Великий Израиль от Реки до моря». Предположим, что наши крайне правые согласятся на эвакуацию поселений и создание палестинского государства. Предположим любое другое мыслимое решение. Все это не изменит того факта, что от Беэр-Шевы до Газы всего 60 километров, что Иерусалим, по сути, еврейско-арабский город, часть урбанистического комплекса от Рамаллы до Бейт-Лехема. Такая же непрерывная еврейско-арабская зона находится внутри страны – от Умм-эль-Фахма до Герцлии, и на севере от Галилеи до Хайфы. Здесь просто некуда уходить и нечего делить, точно так же, как невозможно было разделить на кантоны Ливан или Ирак. И характер здешнего общества может быть один – ближневосточный, как в старину говорили, левантийский.

Во внутренней нашей жизни мы тоже плоть от плоти своих соседей, все больше мы перенимаем их нравы и порядки. Чтоб понять динамику развития Израиля в первый период его истории, следует рассматривать его как типичное восточно-европейское государство народной демократии. Шестидневная война все изменила, и после короткого расцвета гражданского общества в начале 70-х мы стали активно интегрироваться в арабский мир, перенимать их модели поведения, обычаи и даже словарь.

Сотрясающие Израиль в последнее время скандалы, связанные с коррупцией, ясно показывают, что коррупция в стране достигла невиданных ранее размеров, приближаясь к уровню наших соседей. Характерно, что новый юридический советник правительства Момми (Менахем) Мазуз, отказывающийся передавать в суд дела против израильских лидеров, – первый *мизрахи* (еврей восточного происхождения) на этом посту. Его семья происходит из Марокко. Даже имя Момми в североафриканском арабском языке обычно производится от мусульманского имени Мухаммед, а не еврейского Менахем.

С точки зрения ближневосточной этики, дело Ариэля Шарона и его сына Гилада, действительно, не стоит такого громкого скандала. Ну, подумаешь, 300 тысяч долларов получил сын знаменитого отца! То ли дело передача по наследству титула президента в «социалистической» Сирии или баснословные похождения сыновей Саддама Хусейна.

Позволю небольшое отступление. В молодости, в 70-е гг., мне случилось жить и в фешенебельном пригороде Тель-Авива Герцлия-Питуах – на вилле богатых людей, уехавших в Америку. Заодно я подрабатывал поваром в знаменитой «Таверне», где тогда собирался весь израильский «свет». Нравы тогда в Израиле были простые, и ничего не стоило познакомиться с именитыми гостями «Таверны». Шароны – Ариэль, которого все по-свойски называли Арик, и его жена Лили – имели свой постоянный столик.

Кстати, с ними за столиком часто сиживали Шуламит Алони и Сариды – Йоси и Сарит. Говорят, там бывали и Рабины, Ицхак и Лея, но я их там не видал. Потом я узнал, что в «Таверне» не только веселились и пили пиво, но и делали политику. Задолго до того, как Шарон задумал обьединить все правые силы, он предлагал второе место в своем партийном списке с условным названием «Профессионалы» ультралевым Сариду, Алони и еще некоторым другим. Причем всем одновременно.

Отчасти благодаря тем давним знакомствам я много лет находился в деловых контактах с министерством строительства, с управлением земельной собственности, был советником генерального директора министерства строительства... И я постоянно сталкивался с парадоксом, над которым немало поломают голову будущие исследователи израильского градостроительства. Если судить по документам, объемам сделок и гонораров, то жена тогдашнего министра строительства Ариэля Шарона Лили была крупнейшим в истории Израиля строителем. Она числилась архитектурным дизайнером практически во всех крупнейших строительных и архитектурных компаниях. Историки будут удивляться: а где же здания, проекты или ландшафты, возведенные благодаря ее гению? Похожая история имела место и в бытность Шарона министром промышленности, торговли и развития. До сих пор в этом министерстве его люди, обязанные ему местом. Лишь сплоченный коллектив министерства обороны сумел не допустить к торговле оружием (наиболее доходной и деликатной сфере израильского государственного бизнеса) назначенца Шарона – американского миллионера израильского происхождения Арье Гангера.

Еще одним свидетельством нашей успешной интеграции в Ближний Восток является то, что мы перестали стесняться своих убеждений. Большинство из нас, от сторонника теорий «почвы и крови» и «еврейской воли» Моше Фейглина до пацифиста Йоси Бейлина, свято верит в избранность евреев. С этой верой нам неуютно в кругу рафинированных европейцев, убежденных в приоритете общества над нацией, или в кругу зацикленных на юридических тонкостях толкования всего и вся американцев. Не так легко, скажем, Шимону Пересу встать и заявить о своей вере в избранность еврейского народа перед своими товарищами из Социалистического интернационала. Не случайно, наверное, евреев подозревают в двойных стандартах. Но ведь в том же самом подозревают и всех наших соседей, рафинированных арабских принцев с оксфордскими и кембриджскими дипломами, тем не менее исповедующих у себя дома ваххабистский ислам. Израильтяне, как и наши соседи, перестают стесняться того, что в нашей традиции держать свои мысли при себе и не выдавать, по возможности, своих истинных намерений. Перестают стесняться того, что для чужих дядей они плохие.

Израильская пропаганда и друзья Израиля возмущаются «двойными стандартами» западных СМИ в освещении палестино-израильского конфликта. И действительно, Израиль судят за то, что прощают, скажем, Си-

рии, Зимбабве, Кубе или Корее, уж не говоря о Народном Китае. Но если мы – часть Ближнего Востока, то нам нечего стесняться. В своей лиге мы – лучшие, и нам далеко до Саддама Хусейна, травившего курдов газом, далеко до Асада, задавившего танками десятки тысяч мятежников в Хаме. Разговоры о «двойных стандартах» напоминают одну еврейскую историю.

Рассказывают, что пришла однажды еврейка к раввину и просит:

– Ребе! Мой муж умер, а у него не было ни одного друга, зато критиков – на каждом углу. Скажите хоть вы о нем что-нибудь хорошее.

– Ладно, – пообещал ребе.

В канун субботы встает раввин в синагоге перед тем как читать поминальную молитву «кадиш» и говорит:

– Евреи! Все мы знаем, как тяжело сказать доброе слово про нашего Израиля Зуареца. Все согласны, что он был большой паскудняк. Слова доброго никому не сказал, долг отдавать всегда забывал. Да и на общину ни копейки не пожертвовал. Но я вам скажу, евреи! По сравнению с его покойным папашей наш Израиль – это же сущий ангел!

Меня могут спросить: «Что же вы, уважаемый? Начали с "того света" и кончаете "за упокой"»! Я отвечу, что Израиля, пришедшего в том веке отвоевать и колонизировать землю предков, уже нет. А потому он – сущий ангел. На его месте – новый Израиль, который здесь для того, чтобы просто хорошо жить. И три кита, на которых он стоит: материализм, милитаризм и расизм, – это плохо, но это нормально плохо и значительно лучше соответствует новым временам, чем суровый, фанатический идеализм отцов-основателей.

Замечательный американско-арабский мыслитель Эдвард Саид предложил термин «ориентализм» – как описание тех искаженных, ложных догм, через призму которых Запад смотрит на арабский и мусульманский Восток. «Ориентализм» Саида, это универсальный метод, хорошо объясняющий, например, почему Россия так страдает от непонимания. Для израильтян проблема усугубляется тем, что они выработали своеобразный ориентализм – для понимания и описания самих себя. Нам следует преодолеть чуждые здешней земле понятия и модели и усвоить, что здесь не возрожденное еврейское местечко, не «маленькая солнечная республика», не место ожидания мессии, не иудаизированный Нью-Йорк, Москва или Касабланка. Здесь образовался новый Израиль. Все мы здесь: ашкеназы и сефарды-«мизрахим», арабы и россияне, поселенцы и кибуцники, ультраортодоксы и светские – все мы израильтяне, только разные. И никто отсюда никуда не уйдет.

Мордехай Кремницер

СНИСХОДИТЕЛЬНОСТЬ СУДА К СИЛЬНЫМ МИРА СЕГО

Проблемой проблем мне представляется утрата обществом доверия к судебной системе Израиля. О пороках израильской судебной системы много чего можно сказать, но в данном случае я ограничусь кратким изложением ряда судебных дел, свидетельствующих об очень опасной тенденции снисходительного отношения суда к сильным мира сего.

Во второй половине 90-х гг. окружной иерусалимский суд рассматривал дело Симхи Диница, которому инкриминировали «получение благ обманным путем» и «обман и нарушение доверия». Суд оправдал Диница по первому пункту обвинения и признал виновным лишь по второму, куда менее серьезному. Судебное рассмотрение дела Диница – ярчайший пример того, как суд, используя различную аргументацию, избегает необходимости обвинять служащих высокого ранга в нарушениях закона, связанных с их деятельностью на ниве службы обществу.

Симха Диниц не единственный из числа заметных общественно-политических фигур, привлеченных к уголовной ответственности и затем избежавших наказания. Подобного рода оправдательные приговоры порождают множество вопросов об отношении судебной системы к чиновникам высокого ранга.

Симха Диниц был главой Сохнута с 1984 по 1994 год. Несмотря на солидное жалованье, он регулярно расплачивался выданной ему Сохнутом кредитной карточкой за покупки и услуги, никак не связанные с деятельностью возглавляемой им организации.

Равным образом в свое время суд оправдал Эхуда Ольмерта – ныне первого вице-премьера, до недавнего времени – мэра Иерусалима, а тогда – казначея Ликуда. Его обвиняли в предоставлении ложных отчетов о финансовом положении дел в Ликуде. Суд принял на веру утверждение Ольмерта, что он не вникал в детали финансовых отчетов, за составление которых отвечал. В судебном заключении сказано, что, принимая в расчет загруженность Ольмерта различного рода деятельностью, можно допустить, что некоторые мелочи ускользнули от его внимания.

Таким образом, суд как бы предполагает, что высокопоставленные

Мордехай Кремницер – профессор Еврейского университета, специалист в области уголовного права, автор большого числа статей о судебной системе и практике Израиля. Живет в Израиле.

чины живут в иной, горней сфере, и такие мелочи, как деньги, их не занимают. Это тем более странно, что речь идет о казначее Ликуда, то есть о человеке, чья основная обязанность – заниматься денежными делами.

Схожий способ аргументирования мы находим и в деле Неэмана (скандал, связанный с назначением его на пост министра юстиции), и в деле начальника полиции Северного округа Ганнота. Последнего обвиняли в получении взятки от Субхи Тануса – богатого подрядчика, одного из старейшин арабско-христианского клана в Назарете, чья семья в то время была причастна к неким криминальным делам. Ганнот был оправдан. Примечательно заключение суда: «Действительно, версия, излагаемая обвиняемым, находится на очень тонкой грани, отделяющей возможное от невозможного. Чтобы ее принять, нужно до предела растянуть границы вероятности и логики». Стал бы суд прилагать такие усилия, чтобы поверить явно неправдоподобной версии какого-нибудь далекого от властных структур преступника?

Рассматривая дела видных политиков и госчиновников, израильские суды демонстрируют отчетливую тенденцию к изобретению различных способов аргументации, нацеленной на минимизацию степени вины обвиняемых. Помимо того, они стремятся занижать поведенческие стандарты для этого рода обвиняемых. Характерно также и снисходительное отношение к противоправной деятельности высоких чинов на том основании, что у таковых есть большие заслуги перед обществом. Каждый раз суд, разбирающий дела высокопоставленных чинов, во всеуслышание напоминает о статусе обвиняемых и их деятельности на благо общества и государства. Вот несколько примеров.

По делу Неэмана суд отметил, что «обвиняемый в дни своей былой славы занимался государственными делами. Не зная сна и отдыха, он формировал правительство. Он примирял, посредничал, советовал – словом, трудился, не покладая рук, чтобы сформировать правительство в срок». Непонятно, зачем перечислять заслуги Неэмана, чтобы ответить на вопрос, знал ли он, что представленные им документы не соответствуют истине. Очевидно, суд намеревался тем самым подчеркнуть, что обвиняемый был слишком занят, чтобы обращать внимание на всякие там мелочи. А мне кажется, что эта ссылка на заслуги обвиняемого имеет другой смысл – она отражает особое отношение суда к лицам влиятельным, занимающим высокое положение.

К этому можно добавить выдержку из решения судьи по делу Эхуда Ольмерта:

«Обвиняемый... долгие годы служит обществу... Сейчас он мэр Иерусалима. Его имя широко известно во всей стране и за ее пределами. Обвинительное заключение сосредоточено на действиях, составляющих незначительную часть общественной и партийной деятельности обвиняемого. Обвинить мэра Иерусалима в мошенничестве (а Иерусалим – город истины,

как сказано у пророка Захарии) – это нонсенс. Поэтому данный судебный процесс обязывает нас вдвойне. С одной стороны, закон одинаков для всех. Статус Эхуда Ольмерта не дает ему никаких преимуществ перед законом. С другой стороны... его нельзя судить только по букве закона, во имя ложного равенства. Я старался изо всех сил заниматься только материалами дела, отрешившись от личности, которая за ними стоит ... но это невозможно».

Что тут можно сказать, если суд провозглашает, что для того, «чье имя широко известно во всей стране и за ее пределами», и для рядового человека закон, в сущности, не одинаков? Получается, что суд говорит следующее: Уложение о наказаниях существует для дурных людей, а те, чье дело мы разбираем в данном случае, – это лучшие из лучших, соль земли, они на голову выше всех прочих.

Хочется напомнить: наказания существуют для дурных поступков, а не для дурных людей. И еще: нет никаких оснований полагать, что человек, занимающий высокий пост, обязательно является носителем высоких моральных качеств.

Оправдательные приговоры по упомянутым выше делам – как и по множеству аналогичных дел – позволяют заключить, что суд относится снисходительно к противоправным деяниям определенной категории лиц. Такие приговоры внушают этой категории публики уверенность, что можно делать все, что вздумается, а потом вешать лапшу на уши суду... и суд примет это за чистую монету.

Последствия такого рода судебной деятельности вредны и опасны для общества в целом. Снижаются моральные и поведенческие нормы, поощряются нарушения закона. Если деяния, воспринимаемые любым здравомыслящим человеком как преступные, судом таковыми не считаются, существует опасность, что вскоре большое число рядовых граждан начнут совершать поступки, которые ранее считали запретными. Возникает сомнение, способны ли наши суды выносить справедливые приговоры, когда на скамье подсудимых оказываются люди, занимающие высокие посты? И не утратит ли широкая общественность доверия к способности такой судебной системы вершить правосудие?

В связи с вышесказанным представляется интересным коснуться отчасти иного типа судебных дел, в которых, однако, присутствуют многие элементы особого отношения к так называемым заслуженным общественно-политическим деятелям.

Очень показателен в этом смысле недавний процесс «Щаранский против Нудельмана». Иск по обвинению в клевете, поданный министром по делам Иерусалима и диаспоры Натаном Щаранским и его партией Исраэль ба-алия против д-ра Юлия Нудельмана в связи с книгой последнего – «Щаранский без маски», – закончился самым суровым приговором, который когда-либо был вынесен в Израиле по делам подобного рода. Судья иерусалимского окружного суда Цви

Сегал* не только запретил дальнейшее распространение книги, но и обязал Нудельмана выплатить компенсацию Щаранскому и судебные издержки в размере 1,2 млн шекелей (!), а партии Исраэль ба-алия – еще 90 тысяч шекелей. Этот беспрецедентный по суровости приговор чреват самыми разрушительными общественными последствиями, ибо ставит под угрозу свободу критических высказываний в адрес общественных лиц, а потому требует пересмотра судебной системы, которая делает возможными такие судебные решения.

В книге Нудельмана около трехсот страниц, посвященных исследованию жизненного пути Щаранского. Гнев истцов вызвали несколько фраз – эдакое вопрошающее размышление над образом героя. «В чем же его секрет? – спрашивает Нудельман. – Одни говорят, что он – агент американских спецслужб, другие – что он агент КГБ и внешней разведки России, третьи – что он агент израильской разведки Мосад. Или, если он и не агент, то, по крайней мере, связан со всеми этими тремя разведками». И далее: «Одни говорят, что он представляет интересы крайних правых религиозных групп Израиля. Другие – что, напротив, он втайне представляет интересы арабов-палестинцев... Есть люди, которые утверждают, что Щаранский, мол, связан с русской мафией, которая его финансирует... Но никто не знает, в чем подлинный источник его влияния и силы». Там же Нудельман цитирует израильского историка и журналистку Дину Сигаль, которая, анализируя силы, способствовавшие Щаранскому стать членом кнессета, отмечает: «Есть мнение, что русская мафия использовала эмигрировавших диссидентов, чтобы внедрить своих людей в кнессет».

Закон гласит, что, когда речь идет о высказываниях, касающихся должностного лица либо общественных интересов, право на свободу слова перевешивает право на защиту доброго имени. В этом свете и следует решать, какому из двух прав следует отдать предпочтение. Тут нелишне напомнить слова судьи Элиягу Маца, рассматривавшего дело «Шарон против Бензимана». Он сказал, что открытость критике «представляет собой элемент социальной опасности, которую может и должен осознавать человек,

---

* Судья Цви Сегал получил лишь базовое академическое образование в области юриспруденции. Он бакалавр. Впрочем, из 15 членов Верховного суда Израиля 9 тоже всего лишь бакалавры; один магистр; докторскую степень имеют только 5 человек. Кстати, как сообщило (19.7.2004) израильское интернет-агентство NFC, бывший генпрокурор, а ныне член Верховного суда Эдна Арбель многие годы выдавала себя за магистра, будучи всего лишь бакалавром.

Согласно опубликованным 6.7.2004 результатам оценки адвокатами работы израильских судей, никто из них не получил отметки, превышающей 3,6 балла (по пятибалльной системе). Опросник заполнили 4246 адвокатов.

По мнению Роберта Борка (бывший замминистра юстиции США, профессор Йельского университета, автор книги «Принудительная добродетель: всемирное правление судей»): «В Израиле наихудший суд во всем западном мире... Они сумели создать положение, при котором они практически контролируют членство в своем собственном суде». *(Примеч. ред.)*

избравший политическую карьеру. Важно подчеркнуть, что уязвимость перед критикой ни в коем случае не умаляет статус политика. Напротив, у него – в отличие от частного лица – есть возможность эффективно бороться с клеветой, у него есть доступ к СМИ, у него есть возможность публично опровергать возведенные на него обвинения, представлять на суд общественности собственную версию». Последнее соображение – весьма важное – отсутствовало в вынесенном судьей Сегалом приговоре. Можно добавить еще одно соображение, которого судья также не учел: резкая критика политических и общественных деятелей представляет собой противовес данной им власти, которая может действовать на них развращающе. Критика способна удержать их от безнравственного и противоправного поведения.

Думал ли об этом судья Сегал, вынося приговор?

Судья Сегал признал Нудельмана виновным по всем пунктам. Верховный суд уже не раз сталкивался с трудностями при определении того, что представляет собой высказывание: констатацию факта или выражение собственного мнения?

На наш взгляд, здесь речь может идти скорее о мнении Нудельмана – учитывая несколько спекулятивный характер предисловия книги, учитывая, что перечисленные варианты, в сущности, противоречат друг другу и вообще приводятся как чужое мнение («говорят, что...»), а главное – ввиду факта, что сам Нудельман предупреждает, что относительно Щаранского «никто не знает подлинного источника его политического влияния и его связей».

В словах Нудельмана судья Сегал должен был усмотреть *мнение*, но он предпочел увидеть в них *констатацию факта*. При этом судья предупредил Нудельмана, что выяснение, правдивы ли эти строки, неуместно, поскольку тот «не рискнул представить суду свидетельства, которые могли бы подкрепить его позицию о "правдивости публикации"». И это, несмотря на то, что Нудельман представил 17 свидетелей защиты для подкрепления фактов, изложенных в книге.

В связи с этим следует также упомянуть о «документах Путина» – протоколах следствия и суда над Щаранским в СССР, переданных ему главой секретной службы России (нынешним президентом) Владимиром Путиным. Судья Сегал отмечает в своем решении, что Нудельман «побоялся представить ряд документов из "документов Путина"». Но именно сам он отклонил попытки Нудельмана представить суду один из этих документов – очень важный, как представляется: оправдательную речь Щаранского перед советским судом.

Представляется также, что Сегал неоправданно преуменьшил ценность одного из документов, представленных защитой суду: «Ходатайство», которое Щаранский вручил 1.6.1978 года главному следователю КГБ уже после окончания следствия. В этом ходатайстве Щаранский просит КГБ допросить ряд активистов алии, имена которых он перечисляет. Сегал пишет: «Даже если предположить, исходя из этого документа, будто истец

"сломался" во время следствия и назвал имена... – мне кажется сомнительным, чтобы на этом могло основываться одно из клеветнических утверждений, из-за которых был предъявлен данный иск. Иными словами, настоящее судебное заседание ограничивается рамками данного иска. Следовательно, любой другой иск, выходящий за эти рамки, не может быть рассмотрен». Здесь имеются две неточности. Первая – не может быть никакой «ломки» во время следствия, поскольку Щаранский сам заявил суду, что написал этот документ уже после окончания следствия. Во-вторых, непонятно, почему такая, казалось бы, серьезная улика относительно сотрудничества с КГБ выходит за рамки данного иска? Сам судья отмечает, что «вопрос о том, могло ли в известных обстоятельствах упоминание тех имен (активистов алии)... подвергнуть опасности жизнь этих людей, – вопрос исторического исследования, а суд не располагает возможностями для его проведения». Сам по себе такой аргумент возможен, но он режет ухо на фоне постоянных замечаний судьи Сегала о том, что Нудельман не представил требуемых доказательств для обоснования своей правоты (не вызвал достаточное количество свидетелей, не представил необходимых документов и пр.). Другими словами, суд обязывает Нудельмана соответствовать тем стандартам, от которых себя освобождает. Ведь если сам суд затрудняется определить вид вещественных доказательств, как же он может требовать этого от ответчика?

Возьмем, например, адресованное Щаранскому обвинение в связях с русской мафией: Нудельман сумел доказать, что Григорий Лернер пожертвовал 300 000 шекелей некоммерческому товариществу, созданному Щаранским. Но на судью Сегала это не произвело впечатления – главным образом, потому, что Нудельман «не доказал, что упомянутый Григорий Лернер, действительно, связан с русской мафией». Я сильно сомневаюсь, можно ли требовать от Нудельмана подобного доказательства, тем более что Лернер, осужденный за серьезные преступления, воспринимается обществом как человек, связанный с русской мафией. Более того, сам Щаранский свидетельствует, что прервал отношения с Лернером, «поскольку мне не понравилось, что он не стал публично отрицать свою принадлежность к мафии».

Характерно и то, что Щаранский под присягой заявил в суде, что не получал 100 000 долларов от российского бизнесмена Григория Лучанского, а когда защита представила свидетельство Лучанского об обратном (с копией квитанции банковского перевода), судья Сегал отказался принять это в качестве доказательства. Причина? Заявление Лучанского было представлено «на слишком позднем этапе суда».

Как сказано в книге Ури Шенгара «Законы о клевете»: «Ответчик не ограничен опубликованными отрывками, в связи с которыми он привлечен к суду. Он имеет право опираться на публикацию в целом» (стр. 217). Если бы суд понял общую направленность книги Нудельмана, он не отказывал бы ему в искренности, поскольку Нудельман воздержался от того, чтобы

превратить вопросительные знаки, которыми он окружил в своей книге образ Щаранского, в восклицательные.

Суд также вменил Нудельману в вину то, что он не предпринял шагов по проверке достоверности своих высказываний прежде, чем напечатал книгу. Это утверждение тоже представляется нам несправедливым. Любой читатель обнаружит в книге результат проведенной кропотливой работы: просмотр документов, сверка источников, многочисленные интервью. Добавим, что Верховный суд решил по делу «Электрическая компания против "Гаарец"», что «если обнаруживается, что ответчик действительно старался предварительно проверить истинность своих обвинений, это значит, что он выдержал одно из испытаний на искренность». И еще: достаточные усилия по проверке достоверности перед публикацией должны выражаться, например, в том, что «автор публикации обращается к тому, о ком он пишет, и просит его отреагировать на те или иные утверждения. Даже если ответной реакции не последовало, сам факт обращения свидетельствует о том, что он предпринял необходимые усилия, чтобы выяснить правду» (Шенгар, стр. 272). Эти усилия были предприняты: за полгода до выхода книги в свет Нудельман обратился к Щаранскому с просьбой прокомментировать изложенные в ней мнения и получил ответ от его пресс-секретаря от 13.10.98, что «в намерения министра Щаранского не входит отвечать на Ваши вопросы». Увы, судья Сегал отказался признать обращение Нудельмана к Щаранскому доказательством искренности ответчика.

Подытоживая сказанное, нельзя не выразить крайнего недоумения по поводу астрономической суммы наложенного на Нудельмана штрафа – даже если допустить, что само решение о штрафе оправданно. Прежде всего, что касается партии Исраэль ба-алия, то правомерность выплаты ей компенсации сомнительна. Закон гласит, что любое объединение (и политическая партия в том числе) не может требовать компенсации за клевету – разве что в случае нанесения ей материального ущерба. В нашем же случае такого ущерба не было.

Что же касается Щаранского – дело не только в трудности выплаты гигантской суммы, присужденной в его пользу без доказательств размера причиненного ему ущерба. Дело еще и в том, что в приговоре большое значение удлялятся соображениям, которые не представляются релевантными. Например, судья Сегал вменяет в вину Нудельману «злобность», выражающуюся в описании внешности и ораторских способностей Щаранского: «Ростом он не более 160 сантиметров. Он лыс, косноязычен на всех языках, на которых говорит». В свое время Верховный суд постановил, что насмешка и сатира, даже если они не отличаются хорошим тоном, не свидетельствуют о неискренности. Сегал идет дальше и объявляет это описание антисемитским: «Даже хорошенько протерев глаза, мы не поверим тому, что видим. Какие ассоциации возникают при виде этого рисунка на обложке? Да это же еврей, неприятный, хитрый и коварный». Таким же образом Сегал находит признаки антисемитизма в эпиграфе к книге – цитате из «Го-

сударя» Макиавелли («Государю нужно только казаться добродетельным... но в случае надобности он должен уметь поступать совершенно противно») и в предположении Нудельмана, что Макиавелли служит Щаранскому источником вдохновения. Логика Сегала такова: образ Макиавелли использовал Морис Жоли в своей книге (1846 г.), которая стала одним из источников антисемитской фальшивки – «Протоколы сионских мудрецов». «Выясняется, – пишет в своем заключении судья Сегал, – что на Макиавелли базируются "Протоколы сионских мудрецов". И тот факт, что ответчик в своей книге считает возможным соотнести истца и его действия с доктриной Макиавелли (утверждая, будто истец строит по ней свою жизнь), несомненно, производит на читателей тяжелое впечатление». В самом деле, судья делает странное сопоставление, правомерность которого весьма сомнительна. Если любое упоминание о Макиавелли обязательно связывается с «Протоколами» и свидетельствует об антисемитизме, то куда нас заведет подобная «свобода слова»?

Пусть судья Сегал прав, и книга действительно производит на читателя «тяжелое впечатление», но не будем забывать, что именно на таких «производящих тяжелое впечатление» публикациях держится свобода слова, в том-то и заключается их главная ценность. В обсуждаемом случае не раз возникала ситуация, когда приходилось выбирать: защищать свободу слова или доброе имя; какому способу защиты ответчика отдать предпочтение; каким образом толковать высказывания, которые можно понимать двояко; насколько тяжело бремя доказательств, какой должна быть сумма компенсации, – и каждый раз судья Сегал предпочитал защищать интересы общественного деятеля и политическое влияние его партии, пренебрегая необходимостью защищать свободу слова. Подобный приговор может оказать расхолаживающее влияние на тех, кому захочется высказаться относительно деятельности политических деятелей.

Боюсь, что судебное потакание сильным мира сего и вопиющее пренебрежение заботой о защите свободы слова чревато самыми серьезными последствиями для израильского общества.

Перевод с иврита – Ирина Верник

СИМПОЗИУМ: ВОЗРОЖДЕНИЕ КГБ

В нашем симпозиуме участвуют два бывших руководителя разведки с обеих сторон железного занавеса и бывший советский диссидент.

Ион Михаль Пачепа, до 1978 года возглавлявший разведслужбу Румынии, автор опубликованной в 24 странах книги «Красные горизонты», – единственный шеф шпионской структуры коммунистической страны, когда-либо бежавший на Запад. За все время пребывания на Западе ему еще не доводилось участвовать в диалоге с руководителем западной разведки, которую представляет в нашем симпозиуме Джеймс Вулси – директор ЦРУ в 1993–1995 годах, позднее занимавший должность помощника государственного секретаря по военно-морским делам. Третий участник симпозиума – Владимир Буковский, один из самых известных борцов с тоталитаризмом.

Ведущий симпозиума – Джеми Глазов, редактор американского журнала *FrontPage Magazine*.

Глазов: **Несмотря на то, что российский коммунизм рухнул вот уже 10 лет назад, тысячи бывших офицеров КГБ и других членов советской «номенклатуры» продолжают удерживать важные позиции в системе сегодняшней российской власти. Одновременно все общество переживает, судя по всему, процесс ребольшевизации, проявляющийся, в частности, в возрождении прежней тайной полиции. Каково значение этого феномена? Как он может повлиять на американо-советские отношения и, что еще важнее, – на борьбу Соединенных Штатов с экстремистским исламом? Господин Буковский, насколько реально возрождение КГБ в России и каковы главные составляющие этого процесса?**

Буковский: Наша национальная трагедия (равно как и трагедия всех бывших коммунистических стран) состоит в том, что у нас не была окончательно уничтожена правящая коммунистическая система, не были осуждены – по образцу Нюрнбергского процесса – ее преступления, не была проведена энергичная декоммунизация. Запад слишком поторопился отпраздновать конец холодной войны и победу демократии за железным занавесом. На самом деле там не произошла настоящая смена правящих элит. Бывшая коммунистическая номенклатура сохранила власть во всех ветвях власти, хотя и под новыми именами.

Особый интерес в этом смысле представляет одна из важнейших составляющих коммунистической номенклатуры – КГБ. Когда-то Ленин охарактеризовал советскую тайную полицию и разведку, которая тогда называлась ВЧК, как «вооруженный отряд партии». Таким отрядом она и оставалась на протяжении всей советской истории, лишь каждые несколько лет меняя свои названия: ВЧК, ОГПУ, НКВД, МВД, КГБ, ФСБ... И ее главная задача всегда состояла в том, чтобы защищать интересы партии и ее идеологии как внутри страны, так и за рубежом.

К началу семидесятых годов руководству КГБ, как и всем прочим, уже надоела эта идеологическая опека партии. Она мешала эффективности работы. И поэтому руководство КГБ энергично поддержало так называемую «перестройку», а та, в свою очередь, в большой мере опиралась на помощь структур госбезопасности. Целью КГБ (как, впрочем, и самого Горбачева) была не ликвидация остатков советской системы, а их сохранение. Последующий развал СССР был завершающим ударом по КГБ в его прежнем виде. Многие его сотрудники перешли в так называемые «коммерческие структуры» (отсюда «русская мафия»), другие ушли в отставку. Но руководство сохранило свои позиции. Самые способные и преданные КГБ офицеры были посланы на «подпольную» работу – создание криминальных банд для рэкета частных предпринимателей и контроля над организованной преступностью. Другие были внедрены – на ключевые позиции – в административные структуры в качестве гражданских служащих (хотя по-прежнему оставались на службе в КГБ). Тысячи оперативников были отозваны с Запада, чтобы использовать их опыт дома. Среди них был и майор КГБ Владимир Путин, которого отозвали из Восточной Германии и сделали вице-мэром Санкт-Петербурга. Сама партия лишилась властных позиций, но ее «вооруженный отряд» по-прежнему действует, в частности – взрывает поезда и мосты.

Тем временем кризис российского руководства продолжал углубляться. Ельцин, который совсем не был готов унаследовать власть, все же заполучив ее, даже и не пытался ее использовать в должном направлении. Не решившись организовать судебный процесс над бывшим советским режимом или очистить властные структуры от бывшей советской номенклатуры, он начал долгое отступление. Сначала он пожертвовал политикой реформ, потом пожертвовал своей командой, в результате уже в 1993 году ему пришлось бороться за собственное политическое выживание. К тому времени

он утратил всякую политическую поддержку в стране, и единственной силой, на которую он еще мог положиться, были «силовики», то есть руководители силовых министерств – армии, МВД и ФСБ. Лишь они еще поддерживали его, хотя, как говаривал Ленин, они поддерживали его, как веревка поддерживает повешенного. С этого момента его главной задачей стало найти преемника, который мог бы гарантировать ему и его семье защиту от суда. Вот почему все три его «кандидата на престол»: Примаков, Степашин и Путин – были людьми КГБ (ФСБ).

Затем – взрывы жилых домов в Москве и других городах России (очевидно, организованные ФСБ, но приписанные чеченцам), «маленькая победоносная война» в Чечне, которая продолжается до сих пор (чтобы подпитывать путинский рейтинг) и превратилась в настоящий геноцид, ликвидация всех независимых СМИ в России, нагнетание сталинского типа ксенофобии и шпиономании, появление первых политических заключенных, строжайшая цензура и все сгущающаяся атмосфера страха в стране, наконец возвращение КГБ к власти – со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Однако на сей раз все это уже нельзя объяснить безумной идеологией, потому что сегодня действия ФСБ не контролируются никакой идеологической организацией. Таким образом, то, что раньше делалось во имя идеи, ради Великой социалистической революции, сегодня совершается просто во имя личных амбиций клики ничтожеств, а также корпорации, именуемой ФСБ. И на этот раз им куда проще «мочить» своих противников в темном переулке, чем в ГУЛАГе. Проще и дешевле. Как говорил Иосиф Сталин: «Нет человека – нет проблемы».

Глазов: **Господин Пачепа, как вы расцениваете позицию Буковского?**

Пачепа: Я с ней полностью согласен. Генерал КГБ Александр Сахаровский, мой бывший фактический начальник, который поднялся до самых верхов могущественной советской разведки в самые горячие годы холодной войны, постоянно мне твердил: «Каждое общество сохраняет свое прошлое». Он был русский до мозга костей, он был убежден, что в один прекрасный день марксизм рухнет и даже сама коммунистическая партия может кануть в прошлое. Марксизм и партия были для него чем-то чужеродным, насильно пересаженным на русскую почву, так что, рано или поздно, они в любом случае должны были, по его мнению, отмереть. Но одно, он был уверен, наверняка сохранится: это «наша госбезопасность». Сахаровский всегда подчеркивал, что «наша госбезопасность» охраняла Россию на протяжении пяти веков и «наша госбезопасность» будет выполнять эту задачу еще пять веков.

Пока что я вижу, что Сахаровский оказался хорошим пророком. Советская компартия действительно сошла со сцены, и никто в стране по ней не скучает. До Ленина в России вообще не было значительной политической партии. Первый свободно избранный российский президент Ельцин,

который совершил исторический шаг, распустив Советский Союз, начал свое правление в Кремле с создания своей собственной полиции, а не своей политической партии. В октябре 1993 года, когда против него поднялся российский парламент, он не стал прибегать к политическим мерам для решения конфликта. Он просто приказал своей политической полиции штурмовать здание парламента и арестовать своих главных противников.

Летом 1996 года Ельцин был вторично избран президентом, но он так и не создал настоящей политической партии, которая обеспечила бы демократическое будущее России. Напротив, он все больше и больше полагался на традиционный российский способ правления с помощью политической полиции. При нем в ней стало больше сотрудников, чем было в КГБ советских времен. По словам Евгении Албац, российского специалиста по делам разведки и автора хорошо документированной книги о КГБ: «Советский Союз с населением почти в 300 миллионов человек имел приблизительно 700 тысяч агентов тайной полиции, а новая "демократическая" Россия, с ее населением в 150 миллионов, имеет 500 тысяч "чекистов". Иными словами, там, где раньше один чекист приходился на каждых 428 советских граждан, теперь один чекист приходится на каждые 300 граждан России».

Остальное – действительно, история. Владимир Путин, прежде чем стать президентом, был главой всей российской госбезопасности, а его бывшие коллеги по КГБ сейчас занимают почти 50% самых высоких постов в российском правительстве.

Глазов: **Господин Вулси, слова господина Пачепы означают, по существу, что в самом русском характере есть что-то такое, что нуждается в наличии сильной и беспощадной тайной полиции, поскольку отсутствие ее приведет к слишком большому индивидуализму и свободе, а это представляет собой опасность для власти. Согласны ли вы с этим?**

Вулси: Не могу представить себе двух других людей, мнение которых я бы так высоко ценил, как мнение господ Буковского и Пачепы, и не вижу никаких оснований возражать против их оценки нынешней ситуации. Как и господин Буковский, я тоже склонен полагать, основываясь на имеющейся информации, что именно чекисты виновны во взрывах домов, которые они приписали чеченцам, чтобы оправдать новую эскалацию чеченской войны. Я бы только отметил две долговременные российские традиции, которые наверняка повлияют на будущее России и могут оказать на него даже более существенное влияние, чем ее былая история и нынешнее господство «силовиков». Во-первых, Россия переживает сегодня демографический кошмар – из-за низкой рождаемости (не считая ее мусульманского населения) и малой продолжительности жизни, особенно среди мужчин. Если эта тенденция сохранится, то к середине века население России сократится до 100 миллионов. Это может подтолкнуть власть к тем или иным радикальным шагам. Например, к попытке, по существу, восстановить

бывший СССР (хотя, разумеется, не под этим именем), чтобы обеспечить свою безопасность, то есть продолжить начавшуюся после холодной войны российскую агрессию против Молдовы, Грузии и Украины. Но это также может послужить толчком к распаду России из-за неспособности защитить такую огромную страну при таком малом населении. Здесь возможны многие сценарии, но чего я не вижу, так это стабильности.

Во-вторых, высокие цены на нефть могут еще долго поддерживать российскую экономику, а также косвенно – многие политические и социальные тенденции нынешней России. Нефтяное богатство зачастую неблагоприятно сказывается на развитии деятельного, предприимчивого среднего класса. Российскому правительству придется серьезно задуматься – если, конечно, оно того захочет – над тем, как распределить доходы от продажи нефти таким образом, чтобы удовлетворить запросы населения в целом и в то же время не поощрять у него иждивенческие настроения. Силовики, разумеется, всегда будут процветать, но будут ли процветать все остальные? И здесь тоже ситуация, как представляется, складывается не в пользу положительных сдвигов.

Чтобы преодолеть негативное влияние своей истории и проблем, порождаемых демографией и зависимостью от цен на нефть, Россия нуждается в решительном руководстве, твердо намеренном порвать с прошлым, – в руководстве такого рода, которое Турция после Первой мировой войны получила в лице Кемаля Ататюрка. Господин Путин пока что никоим образом не продемонстрировал себя в качестве лидера подобного калибра. Остается надеяться, что великий русский народ достаточно скоро выдвинет из своей среды лидера, выражающего лучшие стороны русского характера.

Глазов: **Итак, господин Буковский, Путин явно консолидирует свой контроль над Россией. Он назначил несчетное число бывших офицеров КГБ на важные посты в своей президентской администрации и назначил Михаила Фрадкова, тоже человека КГБ, главой правительства. Российские СМИ все больше практикуют самоцензуру, а политические противники режима все чаще подвергаются преследованиям и запугиванию. Россия явно возвращается к состоянию авторитарного полицейского государства, а сам Путин становится чем-то вроде олигарха.**

К чему все это ведет? Ресоветизация – я понимаю, что этот термин следует употреблять осторожно, – явно не сулит ничего хорошего в смысле надежности России как союзника Соединенных Штатов на международной арене. Может ли возникнуть новая холодная война? Могут ли Америка и Россия сохранить определенные союзнические отношения, учитывая, что обе страны имеют общего противника в лице экстремистского ислама? Как все это скажется на войне Запада с террором?

Буковский: Если под ресоветизацией понимать восстановление какого-то подобия Советского Союза, можно быть уверенным, что такая попытка

обречена на провал. Что бы ни думали Путин и его ставленники в КГБ, крах СССР имел объективные причины, и эти причины не исчезли от того, что их игнорируют. Правящая бюрократия бывших советских республик (которая сегодня стала руководством независимых государств) еще меньше хочет восстановления контроля Москвы, чем КГБ – восстановления контроля компартии. Вооруженная оккупация вряд ли осуществима, как мы это видели в Чечне. Если вся российская армия не может захватить этот клочок земли, она наверняка не в состоянии реоккупировать Украину или Среднюю Азию и даже Прибалтику. На мой взгляд, восстановление Советского Союза еще менее вероятно, чем восстановление Римской империи.

С другой стороны, если под ресоветизацией понимать восстановление тоталитарного государства в России, то это представляется столь же безнадежным делом. Советские власти затеяли кампанию «гласности и перестройки» не потому, что внезапно узрели свет истины на пути в Дамаск, а потому, что воочию убедились, что их система несовместима с современной технологией и ведет их прямиком к тягчайшему структурному кризису.

Сегодня, 15 лет спустя, шансы на тоталитарное правление вряд ли стали лучше. Попробуйте хотя бы представить себе всю трудность сохранения железного занавеса при наличии интернета, спутникового телевидения и мобильных телефонов.

Кроме того, как можно обеспечить тотальный контроль в насквозь коррумпированной стране, где определенный процент населения достаточно богат, чтобы подкупить любого тайного агента или судью? Как это ни странно на первый взгляд, но, чтобы поддерживать жесткий контроль над обществом, нужна некая критическая масса фанатиков.

И опять же, не следует забывать, что Советский Союз рухнул в результате своего собственного банкротства. Попросту говоря, экономическая база СССР оказалась слишком слабой для его глобальных амбиций. Все возрастающие расходы на империю и гонку вооружений, в сущности, истощили российскую экономику задолго до того, как внезапное падение цен на нефть в 1986 году ее прикончило.

Но, может быть, сегодня российская экономика настолько мощней, чем некогда, что способна выдержать бремя второй холодной войны? Вряд ли. Российская экономика изменилась намного меньше, чем думают западные обозреватели. Она не была всерьез перестроена при Ельцине и по-прежнему остается пригодной, в основном, лишь для массированного производства военной техники да для гигантских проектов в рамках социалистической утопии. И она останется в таком состоянии до тех пор, пока цены на нефть будут высокими, а Америка будет ежегодно снабжать Россию миллиардами долларов для «конверсии» ее экономики. Но как только эти два фактора исчезнут, как только цены на нефть упадут, а американцы поумнеют, Россия тут же рухнет в пропасть второго банкротства, куда более глубокую, чем первая. И если первое банкротство привело к распаду советской империи, то второе, весьма вероятно, приведет к распаду самой России.

Так что в целом ресоветизация России кажется мне очень маловероятной. Возможно, единственная область, где наличествуют признаки этого явления, это возрождение советской ментальности. Самоцензура СМИ, бесстыдное публичное прославление Верховного Вождя, политические анекдоты, которые рассказывают только друзьям, и то на кухне, страх, господствующий во всем обществе, – всё это вернулось со страшной скоростью, словно не было никакой «гласности». И превыше всего эта советская ментальность утвердилась в Кремле. Вот почему, вопреки всему вышесказанному и вопреки элементарной логике, новые кремлевские товарищи будут пытаться восстановить Советский Союз, возродить тоталитарный контроль, запугать мир и заставить его относиться к этой Верхней Вольте с ее ржавыми ракетами, как к «Великой державе». Я не сомневаюсь, что им это не удастся. Но сколько вреда может наделать такое безумие?!

Кажется, это Маркс сказал, что история повторяется, только то, что в первый раз было трагедией, во второй раз оборачивается фарсом. Действительно, то, что когда-то было колоссальной трагедией, разыгранной безумными фанатиками, вполне может повториться как фарс, разыгранный ничтожествами, с их комплексом неполноценности. Остается надеяться, что этот фарс будет не таким кровавым.

Глазов: **Господин Пачепа, а что думаете вы? Господин Буковский считает, что всякая попытка ресоветизации России обречена на провал. Какую роль в этом может сыграть возрождение КГБ? Это будет другой КГБ, не так ли?**

Пачепа: В нашу ядерную эпоху даже фарсы могут быть смертельно опасны. Когда говорят о КГБ, то обычно думают о том, что на виду: массовые репрессии, жесткие методы ведения следствия и ГУЛАГ. Но мало кто отдает себе отчет в том, что в руках КГБ, который сегодня правит Россией, пусковые коды для приведения в действие шести тысяч ядерных ракет. Еще меньше людей знают, что КГБ поручено развивать, производить, накапливать и охранять российское оружие массового уничтожения. В бытность мою главой разведслужбы в Румынии, мне было известно, что один только ядерный потенциал КГБ насчитывал 87 «закрытых городов», причем некоторые из них занимали целые острова – как, например, секретные военные лаборатории на островах Возрождение и Комсомольск в Аральском море. Всё это были тайные города, построенные КГБ и нигде не упоминавшиеся, не обозначенные даже на самых секретных военных картах. Например, уральский город Челябинск на карте Советского Союза был, а вот города Челябинск-40 с 40 тысячами жителей, тоже на Урале, города, где хранились 27 тонн готового для создания ядерных бомб плутония, – на карте не было. И вот теперь тот же самый КГБ, только с другой табличкой на двери, играет в России намного более важную роль, чем когда-либо прежде.

Глазов: **Господин Вулси, какую опасность представляет собой возрождение КГБ в описанном господином Пачепой контексте и какой должна быть в этом свете политика Соединенных Штатов в отношении России?**

Вулси: У меня и на сей раз нет серьезных разногласий с этими двумя выдающимися джентльменами. Мне кажется, что Россия развивается в явно негативном направлении и перед нами на Западе возникает излюбленный ленинский вопрос: «Что делать?»

Наша зависимость от нефти сегодня еще более заметна, чем прежде, когда мы импортировали ее намного меньше, – во времена двух нефтяных кризисов 70-х годов. Но все же эта зависимость не столь велика, как зависимость российской экономики от цен на нефть. В 1985 году саудовцы обвалили нефтяной рынок, и Советы от этого так и не оправились. У нас никогда не будет такого контроля над объемами производства нефти, как у Саудовской Аравии, но мы можем значительно уменьшить нашу зависимость, захватить больше рычагов на нефтяном рынке, помешать саудовцам и всем прочим повышать цены, нанося нам политический и экономический ущерб, и заставить российский режим понять, что ему стоит подумать об изменении курса.

Я привык верить, что все, что укрепляет российскую экономику и повышает благосостояние российских граждан – включая сильный нефтяной рынок, – способствует росту среднего класса, который мало-помалу оказывает давление на власть, понуждая ее к экономической и политической либерализации. События последних примерно полутора лет убедили меня, что я был неправ. Путин использовал экономическое процветание, случившееся в результате благоприятной ситуации на нефтяном рынке, для консолидации своей власти и повел Россию к своего рода фашизму. Высокие цены на нефть внушили ему мысль, что он может сделать все, что захочет. Избыток нефти способствует централизации власти в любом обществе, кроме таких зрелых демократий, как Норвегия.

Сегодня мне представляется, что наши интересы как в отношениях с Россией, так и со странами Ближнего Востока требуют от нас сделать всё возможное, чтобы уменьшить нашу зависимость от нефти. Для этого необходимо развивать альтернативные виды топлива, особенно те, что производятся из отходов, всё, что может быть использовано в существующих технических инфраструктурах, а также, не дожидаясь производства водородного топлива, разрабатывать высокоэкономичные двигатели, вроде тех гибридов, что уже существуют сегодня.

Несмотря на очень масштабный объем нефтедобычи, Россия не может так быстро наращивать или сокращать ее производство, как Саудовская Аравия, – ей мешает климат, расстояния и прочее. Поэтому, если Кремль увидит, что мы твердо и решительно движемся к уменьшению нашей зависимости от нефти и что в результате этого он может утратить возможность наживаться на высоких ценах на нефть, он станет благоразумнее. Сегодня

российские власти ухватили, с позволения сказать, жирный кусок и думают, что с каждым раундом повышения нефтяных цен крючок, на котором они, по их мнению, держат нас, все глубже впивается нам в глотку. Мы должны им показать, что, если они не пойдут на радикальные изменения своей политики, их процветание недолговечно и что диверсификация их экономики полезна как самой власти, так и обществу. По очень многим причинам мы заинтересованы в том, чтобы российское правительство, наконец, всерьез озаботилось перспективой падения цен на нефть.

Глазов: **Господин Буковский, вы тоже считаете зависимость США от нефти решающим фактором в наших отношениях с Россией? И, в порядке заключительного слова, скажите, пожалуйста, какой совет вы дали бы сегодня тем, кто разрабатывает американскую политику в отношении России?**

Буковский: На самом деле я давно зарекся давать советы политикам, потому что убедился в том, что это занятие никчемное и сопряженное с горькими разочарованиями. Все американские правительства печально знамениты своей полной неспособностью действовать на основе какой бы то ни было долговременной политики или стратегии. Политические решения чаще всего являются реакцией на события, а это означает, что они оказываются реакцией на вчерашние события.

Поскольку всякая стратегия направлена на предвосхищение завтрашней проблемы, она не интересует политиков. Осознание необходимости в принятии решения приходит к ним, как правило, слишком поздно, когда проблема уже созрела. Но даже если они случайно примут ваш совет, то всегда воплотят его не так, не через тех людей, не в то время и так далее. У меня всегда возникает ощущение, что они хотят решать математические уравнения с помощью переговоров. На самом деле правительства вовсе не хотят решать проблемы, они хотят как-нибудь их обойти, а я не специалист по обходным маневрам.

Разумеется, я согласен с господином Вулси, что уменьшение (а тем более ликвидация) американской зависимости от импорта нефти – это правильная стратегия, по очень многим причинам. И этим следовало заниматься все последние 30 лет, после арабского нефтяного бойкота 70-х годов. Увы, этим занимались лишь от случая к случаю, в последнюю минуту, когда вдруг осознавали, что самая могущественная в мире страна в этом вопросе бессильна и уязвима. И, увы, всякий раз, в поисках очередного маневра, нацеленного на то, чтобы обойти эту проблему, начисто забывали о стратегии.

Разумеется, я согласен с резолюцией американского конгресса, что «большая восьмерка» должна снова стать «большой семеркой», потому что она изначально не должна была становиться «восьмеркой». Но я могу заранее назвать вам все доводы «против», который обрушат на нас госдепартамент, Форин Офис и другие «профессионалы». А ведь это они «разрабатывают политику».

Разумеется, я согласен с резолюцией Европейского парламента, которая осуждает Россию за геноцид в Чечне. Но мы даже не знаем, сколько чеченцев вообще еще осталось в живых. В конце 1999 года, когда Путин был назначен преемником Ельцина, только два человека (насколько я знаю) открыто выразили свои опасения, основанные на его кагебистском прошлом, – Ричард Пайпс и я. Тогда еще можно было избежать многих жутких событий. Но все прочие «профессионалы» почти во всех западных странах тут же появились на телеэкранах, заявив: «Ну и что, что кагебист? В конце концов, что ни говори, а КГБ был элитой советского режима». Разумеется, кагебисты были «элитой». Эсэсовцы тоже были элитой нацистского режима.

В больном обществе элита – это главный носитель вируса. И хотя я убежден, что попытка ресоветизации обречена на провал, я точно так же убежден, что «элита» предпримет такую попытку, по ходу дела жертвуя для этого жизнями множества людей и отравляя международные отношения. Вот и сейчас, как раз когда происходит наш симпозиум, доктор Игорь Сутягин в Москве осужден на 15 лет лагерей как американский шпион. В России всем известно, что доктор Сутягин, далекий от политики ученый, не имевший доступа к государственным секретам и проводивший свои исследования на основании открытых источников информации, в контакте с различными западными научными институтами, – просто избран на роль козла отпущения. Его приговор – это красноречивое предупреждение российским интеллектуалам: держитесь подальше от западных людей, воздерживайтесь от контактов с иностранцами. Этот приговор призван охладить энтузиазм слишком пылких русских «западников», а заодно припугнуть «слишком ретивых» европейцев.

Хорошо, допустим, Путин завтра даже помилует Сутягина (под давлением западного общественного мнения). Что это изменит? «Отсвистит обратно» уже прозвучавший предупредительный свисток (как сказали бы англичане)? Разумеется, нет. Такие свистки так легко не забываются. И учтите – это даже самого Сутягина не спасет, потому что его жизнь уже разрушена: он провел четыре с половиной года в предварительном заключении. Такова она, эта советская «элита», в действии, какой я ее знаю. «Иностранцы» по-прежнему враги. Американцы по-прежнему «враг номер один». Президент Буш и президент Путин могут быть большими личными друзьями и называть друг друга по именам. И сердечно улыбаться друг другу при всякой встрече. Они партнеры по антитеррористической коалиции. Их тайные службы рука об руку ведут общую борьбу. Да здравствуют «герои невидимого фронта»! Но жизнь доктора Сутягина уже разрушена. Он американский шпион. Впрочем, кого интересуют шпионы, верно? Они заменимы – ведь это всё такая «грязная публика»!

В то время пока мы здесь разговариваем, российские власти ведут свои политические игры с маленькой кавказской республикой Грузия, которой чудом удалось избавиться от бывшей советской «элиты». Это старинные игры, восходящие еще к временам древней Римской империи. Разделяй и

властвуй. Две крохотные этнические области, Абхазия и Аджария, используются в качестве троянских коней, чтобы разрушить недавно обретенную Грузией демократию. А что знают об этом «профессионалы» в Вашингтоне, округ Колумбия? Ровным счетом ничего. Возможно, будь это соседний округ, они бы что-то знали. А так – какая-то там точка на карте.

Сегодня мы уже можем говорить о российском кризисе, который спустя 90 лет приближается к окончательному вызреванию. Как только цены на нефть круто пойдут вниз, Россия как таковая обречена на распад. На семь, восемь, десять частей – этого я пока не знаю. Но последствия будут ужасны. Мы не знаем, как будут управляться эти части бывшей России – парламентом, диктаторами, феодальными баронами? Будут они жить в мире друг с другом или начнут сражаться? А если сражаться, то какое из имеющегося у них оружия они применят?

Но как бы то ни было, эти фрагменты бывшей России вряд ли сумеют сохранить свою национальную инфрастуктуру. А там находится еще, по меньшей мере, 30 Чернобылей, не говоря ужс об изрядном числе лабораторий и заводов по производству химического и прочего неконвенционального оружия. И теперь скажите, имеют ли наши «профессионалы» хоть малейшее представление о том, что следует делать в этой ситуации? Есть у них хотя бы какой-нибудь план действий на случай непредвиденного развития событий? Весьма сомнительно. Я начал говорить об этом более 10 лет назад, и до сих пор никто не удосужился спросить меня: что же делать? Но когда они неизбежно бросятся ко мне с такими вопросами, я буду рад ответить: « Вы хотите моего совета? Черта с два!» Мне слишком часто кажется, что Запад только тем и занят, что намыливает веревку, на которой его же и повесят.

Глазов: **Господин Пачепа, разделяете ли вы пессимизм господина Буковского? С какими мыслями вы покидаете нашу дискуссию?**

Пачепа: Я 27 лет работал с КГБ и 26 лет назад бежал от него. И вот сегодня на большинстве руководящих постов в России сидят бывшие офицеры КГБ. Это, как если бы «демократизацию» Германии решили проводить, поручив это бывшим офицерам гестапо. Это не сулит ничего хорошего нашим будущим отношениям с Россией.

Полицейские государства по определению тоталитарны, а тоталитаризм требует зримого врага. Гестапо выбрало на эту роль евреев. Главным врагом КГБ всегда были Соединенные Штаты. И этот антиамериканизм только усиливается по мере того, как всё больше бывших кагебистов занимают ключевые позиции. Через неделю после того как Путин стал президентом, в России был арестован американский бизнесмен Эдмунд Поуп. Он был обвинен в шпионаже в пользу Америки и приговорен к 20 годам тюрьмы. Это был фарс, а не суд. Вскоре после этого Путин сделал «человеколюбивый» жест – помиловал Поупа. Но сам процесс, как это регулярно практиковалось в советские времена, был умело использован для демонизации Америки в глазах российских

граждан и для того, чтобы заново внушить им мысль, что Америка по-прежнему является их «врагом номер один». И в то же время тот факт, что такого рода судебные процессы проходят, в основном, незамеченными на Западе, означает, что Россия сохраняет свой облик дружественной Западу державы.

Недавно российское правительство сообщило в собственном пресс-релизе, что в одном только марте 2001 года состоялось более 300 закрытых процессов по делам о шпионаже. Западная пресса писала, что эти процессы «отличались таким очевидным отсутствием доказательств и такими безоглядно смелыми, надуманными допущениями судей, что, по меньшей мере, в трех случаях их приговоры были отвергнуты в российских же апелляционных судах». Но в большинстве случаев даже немногие оправдательные приговоры на этих процессах затем подвергались пересмотру, снова и снова, с полным игнорированием элементарных юридических норм, принятых в демократических странах, где права человека воспринимаются всерьез и где запрещается дважды судить за одно и то же преступление. Опросы общественного мнения, проведенные в 2002 году, показали, что благодаря этим процессам антиамериканские настроения в России достигли самого высокого уровня со времен холодной войны. Описанный господином Буковским недавний арест доктора Сутягина, обвиненного в шпионаже в пользу Америки, заставляет меня думать, что Кремль хочет сохранить эту установку на раздувание антиамериканских настроений в своей стране.

Внешняя политика Кремля выглядит сегодня вроде бы как проамериканская – во всяком случае, сравнительно с прежней советской политикой. Но я думаю, что все перечисленные факты внутренней жизни России свидетельствуют о том, что этот показной проамериканизм, возможно, является целенаправленной кампанией введения Запада в заблуждение. То есть, Россия норовит и невинность соблюсти, и капитал приобрести. Путин был первым лидером иностранного государства, выразившим сочувствие президенту Бушу после 11 сентября, и говорят, что Россия даже поделилась с Соединенными Штатами некоторыми своими разведывательными данными. Россия была также допущена в НАТО и подписала с Соединенными Штатами соглашение о сокращении числа своих ядерных боеголовок на 65%. Тем не менее, я убежден, что Путин и бывшие кагебисты, из которых сформировано его правительство, не порвали со своим антиамериканским прошлым, потому что одновременно с вроде бы дружественными по отношению к США шагами Путин продолжает заигрывать с теми тремя странами, которые Америка охарактеризовала как «ось зла». Воистину он ведет себя, как обезумевшая от собственной хитрости лиса.

В марте 2002 года Путин без лишнего шума возобновил поставки российского оружия Ирану – стране, являющейся основной опорой международного терроризма. В августе 2002 года он заключил торговый договор в объеме 40 миллиардов долларов с тиранией Саддама Хусейна. В сентябре 2002 года он с большими почестями принял в Москве диктатора Северной Кореи – тоже известного покровителя терроризма. В феврале 2003 года он

предложил создать антиамериканскую ось Москва–Берлин–Париж и сделал попытку привлечь к ней также Пекин. Под прикрытием разговоров о дружбе Россия, в действительности, ведет антиамериканскую политику. Антиамериканизм – это давняя составная часть кагебистской культуры, а сегодня, при Путине, экс-КГБ заправляет всеми делами. В этом плане наличие у России 6 000 ядерных боеголовок может оказаться даже меньшей опасностью, чем сохранившаяся инфраструктура полицейского государства, которое только и умеет, что оберегать свою власть, используя дезинформацию, шпионаж, грязные трюки и скрытое разжигание в массах ненависти к «врагу». Возможно, НАТО сможет стать своего рода трансатлантическим «цивилизационным клубом», который постепенно «вестернизирует» Россию, но и в этом, лучшем, случае такой процесс будет затяжным и дорогостоящим. Но пока было бы тяжелой, чреватой опасностями ошибкой исходить из предположения, будто в 1991 году Россия возродилась как умеренная демократия, питающая теплые чувства к Америке. Россия – не «табула раса». Такой поворот потребовал бы от России решительного отказа от всей своей прошлой истории, но покуда никто и никогда не сумел этого сделать.

Глазов: **Господин Вулси, ваше заключительное слово.**

Вулси: У меня нет существенных расхождений с той оценкой, которую два моих уважаемых мужественных собеседника дали ситуации в России, и в частности – феномену фактического возвращения КГБ к власти. Российское правительство при Путине одолело поразительно значительную дистанцию по пути к превращению, в сущности, в фашистское правительство. Провокации против доктора Сутягина, господина Поупа и многих других – одно из очевидных свидетельств гегемонии КГБ, а КГБ – это насквозь тоталитарная организация. Тоталитаризм нуждается в постоянном наличии врагов, чтобы оправдать этим свою власть и контроль над гражданами. Заигрывания Путина с Ираном, Ираком и Северной Кореей, описанные господином Пачепой, – еще одно решающее свидетельство такого рода. Два американских президента, один за другим, протягивали господину Путину оливковую ветвь, но он предпочел оттолкнуть этот символ примирения, вступив в сговор с тоталитарными режимами, и более того – старается воспрепятствовать попыткам народа Грузии пойти по пути демократии и свободы.

Если принять, что Путин действительно решил двигаться в сторону создания режима фашистского типа, то он прав, опасаясь духа свободы, который проявился в ходе последних событий в Грузии, – это весьма заразительный дух. Это главная угроза тем попыткам демонизации демократии и Запада, которые необходимы ему и его КГБ для удержания власти с помощью избранной ими тактики запугивания.

К сожалению, русский народ всё это уже видел. По существу, большую часть его истории прошла под знаком такого страха перед Западом. Но у Пу-

тина и КГБ нет иной идеологии для поддержания и усиления этого страха, кроме идеологии русского национализма. А это значит, что нынешнему КГБ будет всё труднее добывать западную технологию посредством шпионажа или другими путями, как это делал СССР в 1930–40-е годы с помощью таких людей из западного истеблишмента, как Хисс или Филби. После Второй мировой войны Советы уже в значительной мере утратили былую идеологическую поддержку на Западе и у них остались там лишь считанные идеологические союзники из числа сколько-нибудь значимых фигур, хотя советская разведка и не скупилась на подкупы, вербуя шпионов и агентов влияния. К концу 1940-х годов Кремль фактически проиграл Западу в идеологической войне. Сегодня он на нее даже и решиться не может. С точки зрения какого-нибудь молодого грузина, будущее его страны решается сегодня в борьбе между свободой, с одной стороны, и страхом, культивируемым КГБ, с другой, – и в долговременной перспективе это не сулит КГБ ничего хорошего.

Но я бы все-таки закончил на несколько более оптимистической ноте, чем господин Буковский. В августе 1945 года в мире было 20 демократических стран. Сегодня их 121. При этом 89 из них действуют, в общем и целом, в рамках правового поля, в 32 имеются серьезные проблемы, такие, как коррупция, но и там выборы, тем не менее, происходят свободно. Мы, то есть Запад, демократический мир, добились этого не с помощью силы – хотя политика сдерживания, создание блоков и готовность сражаться там, где нужно (например, в Корее), были необходимыми условиями этого успеха. Мы добились этого успеха благодаря тому, что сумели убедить многих мужественных людей – таких, как господин Буковский и господин Пачепа, – что мы на их стороне. Лучше всего это выразил поэт Карл Сэндберг в своей замечательной поэме «Да, Народ» – обо всех свободолюбивых людях, от Перикла до наших дней:

> Эта старая наковальня
> Смеется
> Над множеством разбившихся об нее молотов.

Мы или наши дети, или дети наших детей еще будем смеяться и над сломанным молотом КГБ.

Глазов: **Господа Буковский, Пачепа, Вулси – благодарю вас.**

Людмила Дымерская-Цигельман

НАЦИЗМ, СОВЕТИЗМ, ИСЛАМИЗМ И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ ЛЕВОЛИБЕРАЛИЗМ

> [Еврейский вопрос] конечно, не есть единственная проблема нашего времени, но... может считаться пробным камнем зрелости нашей цивилизации и ее желания служить Добру.
>
> *Томас Манн*

1. Мессианство и антисемитизм

В докладе на международном Форуме по борьбе с антисемитизмом (Иерусалим, 29–30 июля 2003) депутат канадского парламента профессор Ирвин Котлер перечислил 13 аспектов современного антисемитизма. Он говорил об идеологических, политических, социальных, психологических и эмоциональных особенностях этого многоликого феномена. Я ограничусь здесь лишь одним его аспектом – идеологическим. Речь пойдет не об антисемитизме вообще, а об антисемитизме идеологическом. Почему именно о нем? Потому что существовали и продолжают существовать идеологии, которые обосновывали и, более того, освящали, то есть объявляли священным делом избавление человечества от евреев, представляя их воплощением ми-

Людмила Дымерская-Цигельман – доктор философии, автор ряда работ о генезисе и особенностях тоталитарных идеологий, главный редактор ежегодника «Евреи бывшего СССР в Израиле и в диаспоре». Живет в Израиле.

рового Зла. Идеологии эти подчас становились руководством к действиям, достигавшим ужасающих масштабов, – прежде всего в тоталитарных государствах, отличительной особенностью которых является всепроникающее господство идеологий и потому называемых идеократиями.

К такого рода идеологиям однозначно относят нацизм и – далеко не всегда и с большими оговорками – советизм. Нынче эти идеологии, пережив свои идеократии, продолжают существовать, причем не только в виде различных модификаций неонацизма и постсоветизма – они также *обновляются*, проходят своего рода реинкарнацию (и это в первую очередь относится к идеологии советского нацифицированного антисионизма) в контекстах исламизма (политизированных модификаций ислама), а также в «антиизраилизме» леволиберальных кругов на Западе. И это позволяет – с полным на то правом – поставить сразу два вопроса: во-первых, что общего между нацизмом, который реализовал Катастрофу, и советизмом, на кровавом счету которого *в точности* такого преступления нет? И, во-вторых, что общего у них обоих с исламизмом, точнее с панисламизмом? Сегодня, как никогда, важно выявить собственные культурно-исторические корни нацизма и советизма, во многом определяющие их убойные потенции. Но не менее существенно уяснить также, что общего в этих идеологиях – хотя бы потому, что именно это общее обеспечивает их преемственную связь с новыми, сегодняшними идеологиями, подвигающими на новые кровавые мистерии, которыми уже ознаменовалось начало XXI века.

Что же объединяет все эти идеологические конструкты? Их объединяет типологическое родство – все они принадлежат к одной и той же разновидности *мессианских* идеологий, отличающихся *агрессивным дуализмом*. Всякая идеология это одновременно телеология, поскольку она формулирует цели – группы ли, общественной или социальной страты, этноса, нации и др. Но когда в идеологии речь идет о *глобальных* целях, о всечеловеческом благе, об *очищении и спасении* всего человечества от *вселенского зла* – это верный признак того, что перед нами мессианская идеология. Такими были и нацизм, и советизм, такой сегодня является идеология исламизма, призывающая ради установления праведной жизни на земле уничтожить (или подчинить и перестроить «на правильный лад») мир всех «неверных».

Во всех мессианских идеологиях можно выделить общие отличительные особенности:

1. В каждой из них цели формулируются как миссия по глобальному и тотальному переустройству мира.

2. В каждой из них присутствует самозванный (персонифицированный или коллективный) мессия, берущий на себя роль пророка, разъясняющего, в чем состоит миссия его самого и его адептов. Люди, узурпирующие эту мессианскую роль, стремятся к созданию тоталитарных иерархических систем (в случае захвата власти превращающихся в государственные системы) с четким разделением на «своих» и «чужих». Этой иерархии «своих» соответствует сочиняемая по ее подобию антиподная иерархия «чужих»,

пирамиду которых венчает обязательная в любой мессианской идеологии фигура «врага».

3. Все мессианские идеологии освящают массовый террор как оправданное высокой целью средство ее достижения. Возникающие на их основе тоталитарные системы управления соединяют воедино идеологию с террором.

4. Все три рассматриваемые идеологии – идеологии дуалистические, манихейские, резко противопоставляющие и абсолютизирующие доброе и злое начала. «Враг» в них – это антипод мессии, *равносильный* ему антагонист, воплощающий, по контрасту с благоносным мессией, всё мировое зло. Со времен христианства, где Добро было воплощено в Христе, Зло всегда было представлено Евреем и его мессией («Машиахом»), который выступал в роли Антихриста. Антагонист, таким образом, становился зеркально перевернутым отражением мессии. Это правило распространяется и на этноэтатические мессианские идеологии, добавившие к антииудаизму христианства биологическую, расистскую, националистическую и политическую антисемитские аргументации. Различные ипостаси (роли и проявления) того или иного мессии и особенности его благостной миссии определяют те или иные особенности негативизации Еврея, приписываемых ему злоумышлений, а также способы его «обезвреживания», сводимые к разным формам дискриминации и насилия – от погромов до Катастрофы. Иными словами, конкретное содержание той или иной антисемитской доктрины и потенции ее убойной силы определяются специфическим содержанием той мессианской идеологии, в контексте которой эта доктрина формируется.

Так, в нацизме, объявившем своей «гигиенической» миссией очищение арийской расы, а под ее господством – наведение порядка во всем остальном человечестве, Еврей вообще выводится за пределы человеческого рода, ставится ниже его (untermensch). В то же время мессия во всех своих ипостасях (фюрер, его партия, немецкий народ, арийская раса) оказывается, наоборот, «сверхчеловеком» (ubermensch). Священная миссия «сверхчеловека» состоит в постижении необходимости и в реализации тотального истребления поставленных ниже рода человеческого «болезнетворных» евреев – истребления столь же правомерного, как уничтожение туберкулезных палочек, чумных бактерий, паразитических животных, в образе которых были представлены евреи во множестве нацистских текстов, как вербальных, так и визуальных. Эта аргументация считается расистской, но она превосходит ее, ибо в расистских доктринах деление на расы производится *внутри* рода человеческого. Евреи же выводятся за его пределы, и именно это определяет ту убойную силу, которая отличает нацистский *биолого-гигиенический* антисемитизм.

Советская идеология на стадии стагнации СССР (70-е годы, «застой») заимствует из нацизма ряд его антисемитских идей, но адаптирует их к своей мессианской доктрине, в которой и сам мессия и его миссия радикально отличаются от нацистских прежде всего своим «гуманистическим» камуфляжем (маскировочной формой). Советский доктринальный антисемитизм

формировался в 30-е годы как интегральная часть идеологии русско-коммунистического мессианства, провозглашавшей миссией русско-коммунистического мессии создание нового мира, в котором будет «все для человека и во имя человека». На протяжении советской истории эта идеология претерпела ряд модификаций – менялись ипостаси мессии и содержание его миссии и в соответствии с этим менялись образ и концепция антипода. С конца 40-х годов эта роль уже явным образом предназначалась Еврею, который по мере изменения миссии мессии последовательно и параллельно обретал облики «антипатриота», «безродного космополита», «убийцы в белом халате», «агента англо-американского империализма и сионизма», и, наконец, сиониста – «фашиста под голубой звездой», на службе которого состоял империализм и все остальные силы вселенского зла. Именно антисионизм образца 70-х годов, включивший в свою аргументацию ряд нацистских идей, явил собой новый – «гибридный» – вид доктринального антисемитизма, обновляемого сейчас в мессианской идеологии панисламизма. Еще одна реинкарнация камуфляжно-гуманистического советского антисионизма осуществляется сегодня в антиизраилизме леволиберального Запада. Но об этом позже. Сейчас же еще раз подчеркну, что доктринальный антисемитизм (Ирвин Котлер говорит об экзистенциальном или геноциидальном антисемитизме) существует не сам по себе, а формируется и изменяется как интегральная часть мессианских агрессивно-дуалистических идеологий.

5. Дуалистичность, манихейство определяет еще одну особенность мессианских идеологий – их эсхатологический милитаризм. Провозглашается «священная» война, которая, как всякая религиозная война, не может завершиться компромиссом. Поэтому адепты мессии призываются на последний, решающий бой с «врагом рода человеческого». Создается культ жертвенной смерти во имя исполнения этой высокой миссии.

6. Мессианские идеологии (даже при их апелляции к науке) представляют собой основанные на вере псевдорелигиозные образования. Мессия и все, что относится к его миссии, освящаются с помощью специально создаваемых культов, обрядов и ритуалов. В соответствии с той или иной «святостью» осуществляется демонизация антипода мессии.

7. Для мессианских этноэтатических идеологий характерно создание мифологизированных, своего рода «священных» историй. Например, нацистская и нацифицированные (вроде русского «неоарийства») идеологии включают в свои «священные» истории мифы о древней языческой предыстории мессианского народа. В соответствии с этой «священной» историей корректируется и история злодеяний антипода.

8. Еще одна важнейшая особенность мессианских идеологий – их неуничтожимость. Они так же неуничтожимы, как неуничтожимы освящаемые ими тоталитарные формы правления, в генезисе и функционировании которых им принадлежит решающая роль. Ханна Арендт предупреждала: «...как возможность и как постоянная опасность они (тоталитаризмы) останутся с нами навсегда...». Об этой же опасности предупреждает своими

фильмами один из самых концептуальных мастеров современного кино Александр Сокуров. Свои историко-философские ленты о Гитлере и Ленине («Молох» и «Телец») он резюмирует словами: «Сталинизм, большевизм с нами навсегда, как навсегда нацизм: эти болезни, раз родившись, не умирают. Их можно только локализовать».

Практика показывает, что вот это как раз мало вероятно. Эти идеологии в движении, они иррадиируют, взаимопроникают, взаимодействуют, претерпевают реинкарнации. При этом можно согласиться с тем, что каждая из них последовательно, каждая в свое время, становилась очередным эпицентром доктринального антисемитизма – нацизм в первой половине, а советизм во второй половине прошлого века. В последние десятилетия на наших глазах формируется уже третий, нынешний концептуальный эпицентр современного доктринального антисемитизма – панисламизм, обновляющий применительно к своим целям – насильственного преобразования мира – весь арсенал европейского донацистского и русского досоветского («Протоколы сионских мудрецов», кровавые наветы и т. п.) антисемитизма, а также арсеналы антисемитизма нацистского и советского. Особо востребованным (хотя это обстоятельство остается в тени) оказался советский нацифицированный антисемитизм, под прикрытием и в обличии антисионизма проникший в религиозную и светскую идеологию разных народов и стран, прежде всего арабо-мусульманских, а затем и при их посредстве – западных. Будучи сам «гибридной» доктриной, этот советский нацифицированный антисемитизм, в свою очередь, становится интегральной частью новых «гибридных» антисемитских образований. Это заставляет пристальнее присмотреться к нему.

2. Нацификация советских и постсоветских идеологий

Государственная идеология: предыстория и история нацификации

Как возник советский нацифицированный антисемитизм? Что представлял собой процесс нацификации советских идеологий, когда он начался и чем был вызван?

Нацификация – это процесс освоения основополагающих нацистских идей в системе аргументации каких-либо других, «коренных» идеологий – как официальных, так и продуцируемых в обществе. В отличие от собственно нацистских доктрин, те идеологии, которые при освоении нацистских идей сохраняют свою специфику, можно назвать паранацистскими. Именно такой паранацистской «гибридной» идеологией стал в 1970–80-е годы советский антисионизм, разработанный партийно-пропагандистским аппаратом.

В свое время открытие сходства между гитлеризмом и сталинизмом, между нацизмом и коммунизмом легло в основу понимания тоталитаризма и стало чуть ли не определяющим в процессе самопознания советского об-

щества 60-х годов. Но увлечение этим открытием, абсолютизация того общего, что объединяло нацизм и коммунизм, нередко вело к забвению того специфического, что их отличало. Между тем русский коммунизм ни по провозглашенным целям и принципам, ни по своей аксиоматике, т. е. системе декларируемых (хотя и камуфляжно) ценностей, неявно модифицирующих христианские, ни по своим упованиям на научно-технический прогресс никак не тождествен нацизму с его антимодернистскими установками, с его призывом к возврату к природе, к дохристианскому языческому миру. Мессианский советизм как некая целостная цивилизация формировался на русской почве, в русле определенных доминантных направлений русской культуры, точно так же как мессианский нацизм возрос на немецкой почве как порождение и одновременно перерождение культуры немецкой. И именно эти собственные корни, дающие все новые и новые побеги, представляют особый интерес, ибо культурно-историческая укорененность мессианских идеологий определяет не только вероятность их рецидивов, но и (при соответствующих условиях) возможность их взаимоадаптаций. Не будь своих корней, не будь собственной унавоженной почвы, саженцы и черенки нацизма в России были бы так же безопасны, как они, в конечном счете, безопасны в стране с укорененной в культуре демократией.

Несомненно, приживаемость нацистских идей в России, так же как русских в Германии, свидетельствует о близости культурных парадигм, послуживших основанием коммунистической и нацистской идеологий. Речь прежде всего идет о манихейском противопоставлении обеих культур – духовной русской и духовной немецкой – «бездуховной», меркантильной цивилизации Запада, экспансия которой на восток находила мифологическое объяснение во всемирном заговоре евреев, нацеленных на мировое господство. Характерно, что нацистский вариант этого мифа был создан выходцем из России Альфредом Розенбергом, включившим в контекст своего «Мифа XX века» основные идеи созданных русской охранкой «Протоколов сионских мудрецов». Эта близость культурных истоков, порой напоминающих сообщающиеся сосуды, способствовала и способствует тому, что черенки одного дерева легко прививались к другому. Но если нацификацию идеологий свести к чистому заимствованию, к простому переносу нацистских идей и к их потреблению в первозданном виде (что, несомненно, тоже имеет место, особенно сейчас, в постсоветской, демократизированной до беспредела России), если не видеть их *освоения*, их *натурализации* в структуре коренных идеологий, то можно прийти к ложным представлениям о чистой конъюнктурности этого феномена и соответственно к иллюзиям о возможности его преодоления столь же конъюнктурными, чисто политическими средствами. Между тем процесс нацификации, насчитывающий более чем тридцатилетнюю историю, начавшийся в СССР и продолжающийся после его распада, вряд ли может быть сведен к конъюнктуре. Он имеет свои глубинные историко-идеологические и политические предпосылки, уяснение которых – условие необходимое (хотя и недостаточное) для эффективного ему противодействия.

Нацификация советских идеологий – партийно-государственной, с одной стороны, и общественных (то есть инициированных вне партийного заказа), с другой – впервые открыто проявилась лишь после Шестидневной войны. Но уже в 30-е годы под руководством и при непосредственном участии Сталина была сформирована доктрина русско-имперского коммунистического мессианства, в модифицированный контекст которой в конце 60-х годов и были включены определенные нацистские идеи, и прежде всего – стержневая и основополагающая в нацизме доктрина тотального антисемитизма.

Нередко нацистский антисемитизм уравнивают со сталинским, а сталинские кампании: дело Еврейского антифашистского комитета, кампанию против «космополитов» и «дело врачей» – называют (по аналогии с Катастрофой европейского еврейства) Второй Катастрофой, геноцидом, точнее, несостоявшимся геноцидом. Разумеется, в доктринальном – сталинском и нацистском – антисемитизме есть много общего, тем не менее важно не упустить и их сущностные различия. Как мы уже говорили, общее в них состоит в том, что и сталинский, и нацистский антисемитизм – составные части мессианских доктрин, нацеленных на переустройство мира. В обеих мессианских утопиях евреям отводится роль антипода мессии. Но как сами мессии, так и их миссии в нацистской и русско-коммунистической утопиях существенно разнятся. Немцам, высшему представителю высшей – арийской – расы, возглавляемым Гитлером и его партией, предстояло выполнить *биолого-гигиеническую* миссию, очистить мир от *недочеловеков*, и эта миссия оставалась приоритетной на всех стадиях существования нацизма, вплоть до его последних дней. Напрашивается вывод, что для нацизма характерен безусловный примат идеологии над политикой. Особенностью же русского коммунизма, советизма (и тоже на всех стадиях его существования – ленинизма, сталинизма и постсталинизма) является обратное соотношение – примат политики над идеологией. Если в нацизме образы мессии и его антипода остаются неизменными на всем протяжении его истории, то в коммунистическом мессианстве эти образы меняются в соответствии с запросами политики, как внутренней, так и внешней.

Доктрина антисемитизма, ставшая составной частью позднего сталинизма, была впервые легализована в советских пропагандистских кампаниях 1949–1953 годов. Именно тогда советский антисемитизм, как ранее немецко-нацистский, был возведен в ранг государственной идеологии и стал открыто проявляться в репрессивной и дискриминационной политике властей, начало которой было положено еще в предвоенные годы. Подчеркнем, однако, что, в отличие от откровенного нацистского, советский антисемитизм всегда был иносказательным, более того, советские идеологи разоблачали антисемитизм как оружие классового врага, главным образом как оружие в руках сионистов. Приписать антагонисту чисто по-оруэлловски свою собственную политику и идеологию – высший пилотаж советского камуфляжа, досконально отработанный самим Сталиным и успешно используемый его наследниками. Джордж Оруэлл, расшифровавший сущ-

ность и назначение идеологий типа сталинской, определил главное их правило – называть все с точностью до наоборот: министерство мира в его романе «1984» ведало войнами, министерство любви – застенками. Этому правилу следовали советские идеологи на всем протяжении советской истории, меняя гуманистический камуфляж исповедуемых доктрин в однозначном соответствии с теми преступлениями режима, которые нужно было замаскировать: народоубийственные акции коллективизации маскировались патриотической русско-мессианской идеологией, Большой террор – принятием всеблагой конституции, развязывание Третьей мировой войны – широко разрекламированной борьбой за мир. В этом же ряду находится инициированная СССР и принятая в 1975 году резолюция ООН о «сионизме-расизме», среди прочего призванная замаскировать использование в политике, как внутренней, так и внешней, ацифицируемого в те годы советского антисемитизма, закамуфлированного под «антисионизм».

Начало той идеологической кампании знаменуется выходом в свет в 1969 году книги «Осторожно, сионизм!» Юрия Иванова, курировавшего в ЦК КПСС компартию Израиля (суммарный тираж этой книги на разных языках составил 550 тыс. экземпляров, из них 42 тыс. – на арабском). Именно с этой книги начинается интенсивная нацификация государственной идеологии. В облачении «антисионизма» и под лозунгом «борьбы с современным фашизмом» в нее вводится заимствованная из арсеналов Геббельса тотально антисемитская концепция расистского толка. В модифицированном виде она становится интегральной частью неосталинистского варианта русско-коммунистического мессианства, создаваемого в соответствии с запросами нового времени. Какими же были тогда эти запросы?

После подавления освободительных движений в странах-сателлитах и диссидентского движения в СССР, после поражения в Шестидневной войне оснащенных советским оружием арабских стран наступает период стагнации советского режима, названный потом «застоем». В этот период начинаются активные поиски путей реанимации и сохранения русско-советской империи. Они ведутся в широком диапазоне политических ориентаций – от просоветских до антисоветских – и захватывают различные общественные группы, прежде всего интеллигенцию, внушительная часть которой в поисках таких путей обращает взоры к нацизму: его мистике, его геополитике, к арийской идее и язычеству – и все это в органической связи с нацистским антисемитизмом. В этой ситуации доминирующая в те годы часть партийного аппарата тоже хватается за нацифицированную доктрину антисионизма, приспособливая с ее помощью государственную идеологию к общественной и превращая таким путем идейно близких интеллигентов в социально приближенных. Все провалы и неудачи СССР начинают объясняться отныне происками всесильного и вездесущего «международного сионизма», этого, как пишет Иванов, «врага всех народов... всех свободолюбивых людей земного шара».

Схему разоблачений этого врага Иванов строил на широко использован-

ной в нацистской пропаганде статье Маркса «К еврейскому вопросу», которая до него в советских публикациях о евреях (включая сталинские кампании) никогда не упоминалась. Заимствуя у Маркса немецкий термин «юдентум», Иванов отождествлял с ним сионизм, отрицая при этом само существование евреев как народа. На этой основе он строил извращенные версии еврейской истории, культуры и религии, дабы убедить читателя, что евреи с древнейших времен, руководствуясь расистскими доктринами иудаизма о своей избранности, стремятся к мировому господству, что нет преступлений, перед которыми остановились бы сионисты, установившие режим апартеида в Палестине, активно участвующие в подрывной деятельности в странах третьего мира, в странах социалистического лагеря и организующие террор во всем мире. Это была цельная концепция расистского антисемитизма, культивировавшая то же представление о еврействе как о подлежащем искоренению мировом зле, что и нацистская. Иванов фактически воспроизводил ту версию нацистской пропаганды, которая использовала вывод Маркса о грядущей «эмансипации общества от еврейства» как исходящий от самих евреев аргумент в пользу «окончательного решения еврейского вопроса». Отличие – и существенное – заключалось в том, что нацистское биолого-гигиеническое «обоснование» тотального антисемитизма замещалось у Иванова «обоснованием» культурно-историческим: «почва» вытесняла «кровь», «история» – «гигиену». Оно и понятно: кровь не могла фигурировать как решающий аргумент в многонациональной империи, а апологетика освенцимской «гигиены» никак не совмещалась с декоративной дружбой народов.

Обильное цитирование Маркса помогло Иванову не только выстроить культурно-историческую версию расистского антисемитизма, но и включить ее в официальную «марксистско-ленинскую» идеологию, камуфлируя «учением о классовой борьбе» ее паранацистскую сущность.

Камуфляж у советских антисионистов приобретал характерные для всего советизма оруэлловские очертания. Конструируя свою расистскую схему, они «с точностью до наоборот» обвинили в расизме самих сионистов, отождествляемых с насчитывающим трехтысячелетнюю злодейскую историю «юдентумом». Одним из главных изобретений паранацистских идеологов стало уравнивание сионизма с расизмом, на основе чего была принята позорящая ООН резолюция 1975 года. Не менее значимым было другое нововведение, сыгравшее, как и первое, огромную роль в идейном оснащении арабского терроризма и исламизма, а именно – отождествление сионизма с фашизмом, выразившееся в формулах типа «фашизм под голубой звездой» и «сионизм – это современный фашизм». В нацифицированном неосталинизме эти антисемитские изобретения играли важнейшую роль, позволяя реанимировать «гуманистический» образ СССР как лидера новой антифашистской коалиции. Стоит отметить, что сам нацизм никогда не объяснялся в советской литературе особенностями немцев как народа. (Гитлеры приходят и уходят, говорил Сталин, а народ немецкий остается.)

Зато корни «сионизма-фашизма» тщательно изыскивались в самой природе «юдентума», в его «полной преступлений» истории, в его «порочной» религии. Иными словами, советский «антифашизм» образца 70-х годов строился как цельная расистская доктрина культурно-исторического толка.

Она подкреплялась еще одним изобретением. Речь идет о «сотрудничестве сионистов с нацистами», более того – об их, сионистов, «пособничестве» в уничтожении шести миллионов своих соплеменников. Развивая эту идею, советские антисионисты приходят к еще одному «открытию» – оказывается, не было этих шести миллионов. Число истребленных нацистами евреев, утверждал Лев Корнеев, завышено «в 2–3 раза по крайней мере» (*Корнеев Л.* Классовая сущность сионизма. Киев, 1982). Он же сообщал, что «превращение в пыль сотен тысяч евреев-несионистов было заранее запланировано сионистским руководством». То, что относится к ревизии Катастрофы, было почерпнуто советскими антисионистами из соответствующих западных, преимущественно неонацистских источников, появившихся большей частью после процесса Эйхмана (1962 г.). Освоение неонацистских источников – один из признаков не просто нацификации, а уже неонацификации советской идеологии. Но изуверские измышления об участии сионистов в планировании и осуществлении Катастрофы – это уже была оригинальная и типично советская продукция, сходная с обвинениями «врагов народа» в 1937 году и сразу получившая широкий сбыт в арабской антиизраильской пропаганде.

С конца 70-х и до середины 80-х включительно паранацистская доктрина была доминирующей частью советской государственной идеологии. Однако она не исчерпывала ее целиком, потому что тогда же определилась группа относительно умеренных партийных антисионистов (например, Носенко, Дадиани), тексты которых отличались ритуальной цитацией Ленина без какого бы то ни было упоминания статьи Маркса «К еврейскому вопросу». Умеренных можно поэтому условно назвать «ленинцами», тогда как истинных паранацистов – «марксистами».

В годы перестройки «ленинцы» поддержали Горбачева, «марксисты» же перешли в оппозицию. Еврейская тема – «сионизм» – и тогда оставалась важной картой в политико-идеологической борьбе за власть, в которой на стороне «марксистов» выступали сформировавшиеся в недрах агонизирующей империи общественные группы (писатели, ученые, публицисты и др.), продуцирующие нацистского толка антисемитские доктрины, а на стороне «ленинцев» – противодействующие им группы либералов, в основном шестидесятников, начавшие набирать силу в годы перестройки. Но противодействие антисемитизму в СССР–СНГ – тема отдельная. Вернемся к авторам паранацистских доктрин и к самим этим доктринам, на этот раз к тем, что спонтанно формировались в советском обществе образца 70–80-х годов. Инициировались они, видимо, вне прямого заказа партийно-пропагандистских служб, но запускались в общественный круговорот при явной поддержке и соучастии их «марксистской» составляющей.

В 60-е годы стали размножаться самодеятельные русско-имперские мессианские идеологии, как про-, так и антисоветские. В первых евреи обвинялись в «извращении нашей революции», во вторых – в ее свершении. Эти идеологии уже с конца 60-х годов дополняются новой конструкцией, до того не имевшей прецедента в истории русской мысли. Речь идет о расово-цивилизаторской версии русского мессианства. Согласно этой версии, русский народ стал предметом экзистенциальной ненависти евреев, поскольку отдаленные предки русских – «первые индоарии» – много тысячелетий тому назад заложили основы богатой языческой культуры, которая изначально противостояла ущербной иудейско-христианской цивилизации. Разработчиков русско-арийского мессианского мифа вдохновляла перспектива возрождения этой культуры в России, миссия которой на этот раз заключалась в оздоровлении всего человечества, изнемогающего под игом воцарившегося на Западе иудео-христианства.

Христианство, которое именовалось «дочерним предприятием иудаизма», «предбанником иудейского рабства», было представлено не просто чуждой и навязанной русскому духу религией – оно, оказывается, сознательно губило и погубило самобытную русскую культуру, насчитывающую якобы несколько тысячелетий и по праву стоявшую вровень с самыми великими цивилизациями человечества. Строились все эти откровения на появившейся в русской эмиграции так называемой «Влесовой книге». Эта историческая фальшивка неоднократно разоблачалась русскими филологами, и, тем не менее, начиная с 1976 года во всех изданиях, контролируемых издательством «Молодая гвардия», а также в ряде других изданий (среди них многотиражные «Огонек», «Неделя» и «Техника молодежи») шла активная пропаганда этого «великого культурного памятника» русского народа. «Памятник» этот якобы доказывал праисторическую связь русских с арийскими племенами, ибо прародителем славянских племен был некто Ой, в другом произношении Орий, или Арий. Постепенно этот русско-арийский миф, с его пафосом ненависти к иудео-христианской цивилизации, обретал зримые черты новой мифологии нацистского типа. Патриотический смысл этих построений сводился к переносу индоарийских корней с немецкой почвы на русскую, к замещению мифа XX века мифом XXI века. Это определение, равно как и открытие (в 1986 году) самого феномена русско-арийского паранацизма, принадлежит Майе Каганской. Она же обратила внимание исследователей на группу авторов-фантастов, использующих жанр для пропаганды «самых экстремальных фабул мистического расизма и антисемитизма». Хотя ариософские фабулы вместе с «Влесовой книгой» вроде бы не укладывались в анализ «классовой сущности сионизма», тем не менее Корнеев внес в список сионистских преступлений «очернение» русского культурного наследия, включая «Влесову книгу». Заинтересованность партийно-государственных антисионистов в паранацистской ариосо-

фии, в ее творцах и потребителях выразилась и в курируемой ими издательской политике. Только один пример. Роман-эссе Чивилихина «Память», посвященный «доказательствам» арийских корней русского народа как ведущего народа индоевропейской расы, с 1978 по 1985 год был издан общим тиражом 6 млн 130 тыс. экземпляров.

В постсоветское время этот русско-арийский языческий миф получил довольно большое распространение в качестве идеологии (вместе и наряду с чисто нацистской, насаждаемой путем распространения переведенных на русский язык «Mein Kampf» и т. п.) неонацистских групп российских штурмовиков – таких, как РНЕ, венеды, скинхеды и т. п. По большому счету как эти группы, так и вдохновляющий их «миф XXI века» вряд ли обретут самостоятельное место в политико-идеологическом спектре путинской России, хотя они не уходят со сцены, выполняя, очевидно, кому-то и почему-то нужные роли.

Как известно, идеология становится материальной силой, если ею руководствуются влиятельные группы, способные прийти к власти или на власть влияющие, или у власти находящиеся. С этой точки зрения, может стать общественно опасной идеология неоевразийства, ибо она: а) заимствуя из нацизма его мистику и антизападническую геополитику, трансформирует их в союзный исламизму антиамериканизм; б) преемственно связана с русско-имперским мессианством, то есть достаточно прочно укоренена в культурно-исторической традиции; в) пользуется авторитетом и спросом среди высшего офицерства и у влиятельных чиновников, при поддержке которых была организационно оформлена («Общероссийское политическое общественное движение Евразия» было учреждено в 2001 году, партия «Евразия» зарегистрирована в 2002 году); г) благодаря огромной популярности евразийских идей и широкому их спектру (включающему, надо отметить, и конструктивные историко-культурные и политические идеи) обладает общественно значимым резонансным эффектом.

Формирование неоевразийства, как и других советских паранацистских идеологий, тоже началось в агонизирующей советской империи, но значимость его, в отличие от них, на протяжении постсоветской истории постоянно возрастала. История паранацистской версии неоевразийства во многом совпадает с биографией одного из ее главных разработчиков Александра Дугина (1962 г. р.). В 1980 году он входит в подпольный «Черный орден СС», учрежденный поэтом Евгением Головиным. В 1989 году Дугин на базе «Черного ордена СС» создает Историко-философский центр ЭОН и чуть позже – Историко-религиозную ассоциацию «Арктогея» и одноименное издательство, выпускающее сочинения европейских «новых правых», книги Рене Генона, Юлиуса Эволы, книги самого Дугина. В 1990–92 гг. он работает в секретных архивах КГБ, допуск к которым ему устроил отец, сотрудник ГРУ Генштаба. Там Дугин познакомился с трофейным нацистским архивом «Ahnenerbe» – института «Наследие предков», принадлежавшего СС. (Институт этот занимался разработками расо-

вой доктрины и «антропологическими исследованиями», включавшими опыты в концлагерях.) В сентябре 1993 года по инициативе Дугина российское телевидение показало цикл передач о нацистской эзотерике, материалы нацистского архива нашли отражение в статьях и книгах Дугина.

С начала 1990-х годов Дугин начинает выпуск эзотерических альманахов «Милый ангел» и «Гиперборея» и журнала «Элементы. Евразийское обозрение», в которых разворачивает последовательную пропаганду паранацистских идей «консервативной революции» (то есть насильственного переворота как единственно возможного пути возвращения к «традиции»). У старых евразийцев 20-х годов Запад прочно ассоциировался с романо-германским миром. У неоевразийца Дугина этот мир является частью Евразии.

Главная унаследованная от исторических предшественников задача – это подготовка к последней битве – «планетарной Endkampf», которая победно завершит тайную войну континентов – Евразийского и Атлантического. Грядущий Endkampf – это реванш «наших». «Наши» – это «эсхатологический фронт Континента... западной провинцией которого является сама Европа, "наша" Европа, противостоящая Западу Европа Традиции, Почвы, Духа. Наши – это и католики, и православные, и мусульмане, и индуисты, и даосы, и ламаисты, и язычники, и агностики, и мистики... Но лишь те из них, которые преданы Континенту Востока, его таинственной и неизведанной Судьбе». В основе такого рода декламаций лежат фантазии Рене Генона (1866–1951, завершившего свои духовные поиски обращением в ислам) о некой «примордиальной» культуре, существовавшей в древней северной прародине ариев – Гиперборее. К этой дохристианской и, по существу, языческой основе Генон, а следом за ним и Дугин, возводит все те «сакральные традиции», которые полностью утратила профанная западная цивилизация. Эти откровения вполне согласуются с нацистской апологетикой «примордиального» язычества и антизападничества.

В этой связи напомним, что «Запад» в манихейском мире Дугина перемещается за океан – мировое Зло олицетворяют «атлантисты», т. е. «страны моря» – США и Великобритания. После распада СССР воплощением атлантизма объявляется «Новый мировой порядок», устанавливаемый США. Таким образом лейтмотивом евразийства становится антиамериканизм. Отсюда и миссия России – возглавив весь евразийский мир, освободить Европу от «американской оккупации».

Дугин неоднократно повторяет, что враждебный Евразийству атлантизм – это протестантский иудео-христианский Запад. В своей программной работе «Цели и задачи нашей революции» Дугин говорит, что его «консервативная революция носит "антииудейский и антииудео-христианский характер". Таким образом, Дугин с опорой на «примордианскую» арийскую Гиперборею, в сущности, продолжает антихристианский бунт нацизма, который Томас Манн определил как «еще одно восстание непобежденных языческих инстинктов против установленных десятью заповедями ограничений».

Вернемся, однако, к послужному списку «интегрального традициональ-

ста». С 1991 года Дугин – член редколлегии и активный автор одиозно антисемитской газеты «День», после путча переименованной в «Завтра». С 1999 года он – советник спикера Думы Геннадия Селезнева, рекомендовавшего включить «геополитическую доктрину в программу российских школ». С 1997 года Дугин сотрудничает с журналом Министерства обороны РФ «Ориентиры», чуть позже становится председателем Центра геополитических экспертиз при Совете по национальной безопасности. В течение трех лет он преподавал в Академии Генштаба Российской армии, где до сих пор учатся по его учебнику «Основы геополитики. Геополитическое будущее России».

Уже при Путине в мае 2001 года состоялся учредительный съезд движения «Евразия». В связи ли с профессиональной родословной президента или по существу самого события – создания такого движения – российские комментаторы писали о поддержке «Евразии», «которая идет через региональные организации спецслужб... Причем это не только финансы, но и нужные связи, оказание содействия, доступ к соответствующей информации со всеми вытекающими последствиями» (Версия. 2001. № 19. 29 мая–4 июля). Дугин подтверждает: «Да, у нас есть значительное число ветеранов спецслужб. Это пассионарные, умные и деловые люди – элита нашего государства» (Независимая газета. 2001. № 22). Альянс организационный предполагает единомыслие. Лозунг съезда – «Освободить Европу от американской политической, экономической и культурной оккупации!» – встретил понимание в опорных для движения кругах. «Идеи евразийства, – писала та же "Версия", – в грубой антиамериканской форме в среде высокопоставленных чекистов сегодня действительно присутствуют».

Кто же призван противостоять экспансии «американского мирового порядка»? Следуя своему кредо интегрального традиционалиста, Дугин провозгласил Союз традиционалистов всех конфессий. Особое место в этом союзе предназначается мусульманам.

При всем этом на учредительном съезде Евразии не обошлось без евреев – приветствия от евреев России прислал Берл Лазар, а из Израиля – Авраам Шмулевич. Этим декларативным выступлениям предшествовали любопытные публикации в прессе – российской и израильской. 30 января 2001 года в «Независимой газете» публикуется статья израильского экстремиста, осужденного за противоправные действия, Авигдора Эскина, призывающего российских и израильских идеологов объединить усилия в разработке неоевразийского проекта, «отторгающего приверженность тупиковым либеральным мондиалистским привязанностям прошлого». В январе же в израильской газете «Вести» печатается большое интервью Шмулевича с Дугиным, следующее интервью, тоже взятое Шмулевичем, публикуется в «Новостях недели» 1 марта. Во всех этих материалах основная тема – отношение евразийства и самого Дугина к Израилю и к евреям. Как крайний противник западной либерал-капиталистической цивилизации, «в основе которой принято различать еврейские черты», Дугин негативно отно-

сится к прозападно ориентированным евреям, признавая, что они составляют большинство евреев галута. Но с последователями «иудейского традиционализма и фундаментализма» он выражает полную солидарность. Также положительно он относится к «религиозному сионизму, к еврейским социалистическим тенденциям». И вообще с израильтянами, которые «мыслят себя не гражданами мира, а гражданами своей собственной страны... у русских патриотов очень много общих точек соприкосновения. И самое главное – общий враг: новый мировой порядок, утилитарный планетарный плавильный котел... Наше общее обращение к евразийской логике может дать колоссальные результаты». Какое же место в этом по-евразийски обустроенном двуполярном мире отводится террористическому исламизму? У Дугина готова для него антиамериканская индульгенция: события 11 сентября объясняются, заявил он в телеинтервью, естественной, хотя, быть может, чрезмерной реакцией против однополярного мира, устроенного по американской модели.

«Кому выгоден теракт?» называлась статья Дугина по поводу теракта в театре на Дубровке. «Евразийская логика», обращение к которой сулит израильтянам «колоссальные результаты», работает в полную силу. «Это была, – утверждает Дугин, – настоящая попытка переворота, учиненная той частью американского истеблишмента и кадровых сотрудников ЦРУ, которые опасаются, что при Путине Россия воспрянет...» Так с помощью своей «конспирологии» Дугин пытается противодействовать наметившемуся было сближению России с Америкой.

Российский историк Евгений Мороз в своей работе «Соблазняющие власть: евразийский фантом» приходит к выводу, что неоевразийство «по разным причинам очень привлекательно для значительной части российской политической и религиозной элиты и что геополитические теории Дугина сохраняют многочисленных поклонников». Что же до самого Путина, то евразийство, считает Мороз, «всего лишь одна из запасных карт в политической колоде президента, и после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне надобность в этом ресурсе явно исчерпалась». Цитируемая статья была опубликована до войны в Ираке, реакция на которую российского истеблишмента и общества показала, что надобность в этом ресурсе далеко не исчерпана. Антиамериканизм – козырная карта неоевразийства, уходящего корнями в советское и нацистское антизападничество, – представляет собой ресурс, обретающий взрывоопасную силу в нашем дуальном мире, где антиамериканизм однозначно сопряжен с происламизмом.

Опасность дугинского евразийства – в том влиянии, которое оно оказывает на усиление антиамериканских установок в опорных для власти кругах военного и политического истеблишмента, в его влиянии на рост антиамериканских умонастроений электората, что, в конечном счете, может сказаться на выборе того или иного направления в политике Путина. Сейчас она напоминает знаменитого Тянитолкая о двух головах, и от того, в какую сторону они будут повернуты, во многом будет зависеть не только то,

что происходит в самой России, но и ее роль в мировой политике, расстановка и соотношение сил на мировой арене. С учетом того судьбоносного обстоятельства, что основную тяжесть вооруженной борьбы с исламизмом и культивируемым им террором взяли на себя США.

Подытоживая, несколько слов о том, какую роль играют в современном мире советские и постсоветские нацифицированные идеологии. Из «общественной самодеятельности»: первая – русское языческое арийство – хотя находит новых выразителей и потребителей, вряд ли утратит свой маргинальный характер; вторая – неоевразийство – играет неизмеримо большую роль. Но и ее сфера деятельности ограничена, по существу, внутрироссийским пространством, если не считать возможного влияния культивируемого ею антиамериканизма на формирование государственной политики. Зато государственная идеология нацифицированного антисионизма, в значительной мере утратив свои позиции внутри страны, переживает реинкарнации и в мессианском исламизме, и в примыкающем к нему западном леволиберализме. Посмотрим, как это происходит.

3. Нацификация и советизация исламизма

Напомню, что под нацификацией и соответственно советизацией понимается процесс освоения основополагающих нацистских и советских идеологем в системе аргументации «коренной» идеологии, в данном случае исламизма.

В сегодняшней литературе можно часто встретить термин «исламофашизм» (хотя об «исламо-советизме», насколько мне известно, не пишет никто), но этот термин сбивает с толку, поскольку фиксирует как бы уже сложившийся предмет, составленный из двух половинок. Между тем на самом деле мы имеем сегодня дело с все еще продолжающимся процессом гибридизации, сращивания сразу нескольких различных идеологий, и в этом процессе создается не механическая смесь, а напротив – органическое образование, в котором осваиваемые идеи обретают новую эффективность благодаря их трансформации применительно к основным целям новых идеологий.

Как уже говорилось, преемственная связь и взаимодействие исламизма с нацизмом фиксируется многими исследователями. Термин «исламофашизм» широко использует, например, Фрэнсис Фукуяма, говоря о современном радикальном исламизме. В статье «Началась ли история опять?» американский историк пишет, что после 11 сентября возникла новая ситуация, породившая сомнения в правильности его вывода о «конце истории». «Наблюдаем ли мы, – спрашивает он, – начало длительного столкновения цивилизаций, в котором Запад противостоит исламу... или же нынешний конфликт сойдет на нет, и мы вернемся на путь все более интегрированной глобальной экономики, как только избавимся от Усамы Бин-Ладена и террористических сетей? Будут ли те же самые технологии, которые, казалось,

содействовали распространению демократии, повернуты против нас – так, что мы не сможем полностью это предотвратить?»

К сожалению, констатирует Фукуяма, в историческом процессе не существует ничего неизбежного. «Борьба между западной либеральной демократией и исламо-фашизмом не является борьбой между двумя одинаково созидательными культурными системами». Чтобы западная система могла реализовать свои преимущества, ее руководители должны усвоить уроки истории и, прежде всего, то, что «германский фашизм не рухнул из-за своих внутренних моральных противоречий – он был уничтожен, потому что Германия была разбомблена до основания и оккупирована союзными войсками». Из этого следует вывод, что судьба Запада напрямую зависит от успешности военных операций против «Талибана», «Аль-Каеды», всего исламо-фашизма.

Направленность и решительность практической политики во многом определяется пониманием самой природы конфликта. Фукуяма утверждает: борьба идет не просто с бандами террористов, но «охватывает всю общность радикальных исламистов и мусульман, для которых религиозная идентичность затмевает все другие политические ценности... а мир предстает как война верных против неверных». После 11 сентября усиливается влияние исламо-фашизма: выступивший против США Бин-Ладен пользуется симпатиями во всем мусульманском мире. Его сторонниками, пишет американский историк, может считаться вся радикализированная часть мусульманского населения, которая, по оценкам специалистов, составляет до 15 процентов мусульманского мира. Эти люди, пишет Фукуяма, праздновали 11 сентября «как унижение общества, которое, по их представлениям, порочно по самой своей сути». Вызов, перед которым оказались США и другие западные страны, резюмирует он, это «идеологический вызов, который в некоторых аспектах является более фундаментальным, чем вызов коммунизма».

Фрэнсис Фукуяма не проводит четкой грани между понятиями «исламизм» и «ислам», но, с добавлением к последнему уточняющих определений «фундаменталистский» и «радикальный», он употребляет эти понятия как синонимы. И именно обозначаемый этими синонимичными понятиями феномен Фукуяма определяет как исламо-фашизм. Между тем для уяснения сущности исламизма в этом качестве, то есть как некой версии фашистской идеологии, выявление различий между исламом и исламизмом представляет особый интерес. Обоснованию этих различий посвящена работа американского историка и востоковеда Даниэля Пайпса «Ислам и исламизм. Вера и идеология».

Традиционный ислам, утверждает Пайпс, это религия, «он учит жить по законам Бога». А исламизм – это современная идеология, которая мобилизует своих адептов на создание нового порядка – «основанного на вере тоталитаризма». Исламизм формируется как реакция на травмы ислама, как ответ на упадок основанной на нем культуры, упадок, который приобрел особенно болезненные формы на фоне достижений послевоенного Запада.

Против него и направлено острие исламизма. Однако вопреки установившимся подходам, утверждает Пайпс, исламизм, несмотря на то, что он ратует за жизнь по законам шариата, неверно было бы трактовать как просто фундаментализм, как только путь назад. В качестве современной идеологии исламизм нацеливает своих последователей на модернизацию, но модернизацию избирательную, подчиненную главной цели – созданию основанного на вере исламизированного тоталитаризма.

Отношение исламистов к традиционному исламу отмечено той же избирательностью и тем же потребительством, что и их отношение к модернизации. Тексты Корана, пишет Пайпс, модифицируются в соответствии с идеологическими нуждами исламистов, так что в результате формируется нечто, напоминающее протестантскую версию Корана.

«На деле же, – утверждает Пайпс, – исламизм представляет исламскую версию радикальных утопических идеологий нашего времени, следующих в фарватере марксизма-ленинизма и фашизма». Подобно этим идеологиям, исламизм видит в государстве главное орудие осуществления своих далеко идущих планов по противодействию и, в конечном счете, покорению Запада с помощью и на основе западных же достижений – технических, экономических и политических (демократии). Своих целей исламисты добиваются, считает Пайпс, благодаря высокой организованности «ядра», расширяющейся сети террора и сильнейшей мотивации, основа которой – постоянно нагнетаемая ненависть к Западу, в первую очередь к Америке, к Израилю и к евреям вообще.

Анализируя преемственную связь между исламизмом и его идейными предшественниками, Пайпс, как и Фукуяма, в контексте рассмотренных работ не касается связей исламистского антисемитизма с нацистским. (Советский антисемитизм в этом контексте, понятно, не упоминается вообще.) Между тем именно антисемитская нацеленность во многом определяет типологическое родство исламизма с «радикальными утопическими идеологиями нашего времени», и именно заимствование и трансформация нацистско-антисемитских и советско-антисемитских идей составляет сущность процесса нацификации и советизации исламизма и панарабизма.

Однако в последние годы появилось и много публикаций, специально посвященных исламистскому антисемитизму и его связям с нацистской идеологией и с так называемым «классическим» антисемитизмом (хотя при игнорировании советского). Работа израильского историка Роберта Вистрича «Исламский антисемитизм. Насущная угроза современности» дает некую обобщающую картину ведущихся в этом направлении исследований и одновременно разносторонне представляет исследуемый феномен. Опираясь на анализ многочисленных работ «теоретиков» исламизма, а также масс-медиа практически всех арабских стран, Вистрич доказывает, что «фундаменталистский ислам обнаруживает ту же тоталитарную псевдомессианскую устремленность к мировой гегемонии, что и германский нацизм и советский коммунизм». Исламизм использует порой замаскированную, но

чаще ясно выраженную геноциидальную риторику в своих обвинениях «еврейско-крестоносной» цивилизации, риторику, в которой явно слышится эхо прошлого. «Еврейско-крестоносная» – это прозрачный эвфемизм общепринятого понятия иудео-христианской цивилизации Запада, беспощадную войну которой объявил в свое время нацизм. Подобно нацистам, пишет проф. Вистрич, мусульманские радикалы тоже культивируют непримиримую ненависть к Западу и к евреям. Выступая против анонимных сил глобализации, они трансформируют нацистские мифы о плутократическом Западе и мировой экспансии евреев в свои измышления об устремленных к мировому господству «еврейском Нью-Йорке» и Израиле. Америка и Израиль представлены как реинкарнации дьявола – «большого» и «малого». Антисемитские версии «еврейского заговора», подчеркивает Вистрич, становятся стержнем мировоззрения мусульманских фундаменталистов и арабских националистов. Заимствованные из нацизма сюжеты и персонажи – международное еврейство, плутократический Запад, франкмасонство, коммунизм (но не в нацистском контексте, а в связи с войной в Афганистане) – вкупе с Израилем представлены как силы Зла, нацеленные на разрушение ислама и культурной идентичности всех верующих в него. Отсюда следуют и призывы к «радикальным решениям», которые, пишет Вистрич, вызывают «болезненные ассоциации с решениями 30–40-х годов». Заимствования из нацизма обретают особую действенность благодаря контекстуальному их соединению с соответствующими максимами из Корана. Полученная в «процессе исламизации» (термин Вистрича) антисемитско-антизападная доктрина успешно используется для мобилизации шахидов, для освящения суициидального и всех других видов исламистского терррора.

Обнажая историко-культурные, собственно мусульманские и нацистские истоки исламистского антисемитизма, Вистрич опровергает широко распространенное мнение, согласно которому арабо-мусульманский «антисионизм» есть нечто принципиально отличное от антисемитизма, что он всего лишь реакция на «захватническую» политику Израиля. Опровергая это «заблуждение» (оно настолько не согласуется с лежащими на поверхности фактами, что трудно не назвать его добровольным), проф. Вистрич досконально анализирует множество контекстов и текстов (мировоззренческих, политических, литературных, пропагандистских, выраженных вербально и визуально), опубликованных на арабском и практически на всех европейских языках (при активном участии западных авторов), из которых явствует, что идейные истоки мусульманского антисемитизма гораздо глубже политически ориентированного злободневного «антисионизма», а общие притязания исламизма и панарабизма принципиально не сводимы к какой бы то ни было прагматической программе решения арабо-израильского конфликта. Само использование нацистских, нацеленных на истребление еврейства идеологем, подкрепленных извлечениями из Корана, достаточно убедительно доказывает экзистенциальную направленность мусульманского «антисионизма». Об этом же красноречиво говорит повсеместная пропаганда пе-

реведенных на арабский язык и недавно экранизированных в многосерийном египетском телесериале «Протоколов сионских мудрецов».

Истинная антисемитская сущность феномена, закамуфлированного под «антисионизм» и «антиизраилизм», обнаружилась на Всемирной конференции под названием «Против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости», начавшейся в Дурбане (ЮАР) 31 августа 2001 года и закончившейся 7 сентября, то есть за четыре дня до мегатеракта в США. То, что происходило в Дурбане, не просто предшествовало 11 сентября – это была подготовительная канонада к нему. На этом знаменательном форуме единым фронтом выступили делегаты из мусульманских стран (в большинстве из них до сих пор сохраняются диктаторские режимы), потребовавшие не только осуждения «расистского сионистского образования», но его делегитимизации и уничтожения. Тон задал Ясер Арафат, поддержанный не только делегатами от мусульманских стран, но и мастодонтом коммунистического мира Фиделем Кастро. Делегат из Ирана назвал сионизм «величайшим проявлением расизма» и потребовал вычеркнуть антисемитизм из официального перечня проявлений современного расизма. Египет поставил ультиматум – он не проголосует за резолюцию, если в ней Израиль не будет объявлен расистским государством. В ряде выступлений сионизм сравнивался с нацизмом. В знак протеста против антиизраильской декларации и антиамериканских выступлений, сопровождавшихся обвинениями стран Запада вообще, США и Израиль покинули дурбанский шабаш. Ни одна из делегаций европейских стран не последовала их почину, и это поведение оказалось весьма симптоматичным.

Весь ход Дурбанской конференции показал, что она не просто вернулась к отдельно взятой антисионистской резолюции советских времен. Материалы конференции, ставшие своеобразной сублимацией исламизма, позволяют утверждать, что не одиночные, а все основные используемые исламистами идеологемы непосредственно заимствованы из советского нацифицированного антисионизма, активная разработка и интенсивное распространение которого началось и продолжалось после Шестидневной войны, то есть совпало с периодом самых тесных и разносторонних взаимодействий СССР с арабским миром, с периодом интенсивной их «дружбы против США и Израиля».

К этим, заимствованным исламизмом советским идеологемам, которых нет и не могло быть ни в нацистских, ни в мусульманских источниках, относятся:

1) отождествление сионизма с еврейством – народом и его религией – и создание на этой основе «антисионистской» версии расизма;

2) приравнивание сионизма к расизму;

3) объявление сионизма современным фашизмом – «фашизмом под голубой звездой», отождествление его с нацизмом;

4) представление Израиля как государства апартеида и обвинение сионистов в повсеместном и злостном нарушении прав человека;

5) ревизия Катастрофы, отличающаяся от западных ревизионистских версий обвинением сионистов в сотрудничестве с нацистами и, более того, в «планировании» Катастрофы с ее шестью миллионами жертв;

6) отрицание существования евреев как народа и соответственно их права на национальное государство;

7) объявление отождествляемого с еврейством сионизма «врагом всего прогрессивного человечества», первостепенной задачей какового должна стать борьба против плетущего всемирный заговор и устремленного к мировому господству «сионизма»;

8) представление сионизма в неразрывном альянсе с международным, в первую очередь американским империализмом.

Простое сравнение текстов – антисионистских и исламистских – не оставляет сомнения, что именно из советского первоисточника были заимствованы все перечисленные выше идеологемы, модифицируемые ныне применительно к экспансионистским целям исламизма. Но этим заимствование не исчерпывается. Вместе с основными идеями нацифицированного антисионизма берется на вооружение и досконально разработанная в советской идеологии техника гуманистического камуфляжа, обеспечивающая исламизму, как в свое время советизму, активную поддержку леволиберальных сил Запада, выступающих под знаменем политкорректного «антиизраилизма».

4. Кто они – западные «антиизраилисты»?

Зададимся вопросом: получает ли исламизм, именуемый, как мы видели, исламо-фашизмом, поддержку и со стороны откровенно антисемитских праворадикальных и неонацистских группировок Запада, и вообще – кто является главным действующим лицом в мистерии западного антисемитизма и «антиизраилизма» последних лет?

В поисках ответа я намеренно ограничиваюсь европейскими документами – отчетами Центров, отслеживающих проявления ксенофобии и антисемитизма, и данными опросов населения ЕС.

31 марта 2004 года, то есть 20 дней спустя после мегатеракта в Испании, на заседании Европарламента в Страсбурге был заслушан очередной отчет действующего в Вене Европейского центра по отслеживанию проявлений расизма и ксенофобии. Согласно выводам отчета, большинство антисемитских акций в Европе совершают представители праворадикальных группировок. Так ли это? Выводы мартовского отчета подвергались сомнению, так как они явно противоречили аналогичному документу, представленному Еврокомиссии в конце 2003 года. Речь идет об отчете Центра по исследованию антисемитизма при Берлинском технологическом университете, снискавшем себе репутацию высокопрофессионального исследовательского учреждения. Согласно данным этого исследования, основными

носителями современной антисемитской идеологии являются радикальные исламисты, исламские мигранты и связанные с ними пропалестински настроенные левые группировки, включающие антиглобалистов. К проявлениям антисемитизма был также отнесен определенный тип «политической критики» в адрес государства Израиль. Правые экстремисты тоже фигурируют в этом отчете, но остается открытым вопрос: мотивы их акций носят тот же антиизраильский и пропалестинский характер, что и у остальных трех групп? Это вызывает серьезные сомнения. Трудно себе представить, что неонацисты, как и другие праворадикалы, могли бы намалевать на разгромленных памятниках и синагогах свастику рядом с израильским флагом или что евреев они могут изображать в форме почитаемых ими СС. Подобные граффити – прерогатива леволиберальных масс-медиа и вдохновляемых ими антиизраильских демонстраций и митингов.

Берлинский отчет называют «изъятым», поскольку сам заказчик, то есть Еврокомиссия, отказался от его публикации. Одним из мотивов отказа была «антиисламская направленность» отчета. Главы Всемирного и Европейского советов еврейских общин Эдгар Бронфман и Коби Бентофф оценили это действие, назвав его «бездействием», как потакание антисемитизму. Так же оценивалось ими и «действие» Еврокомиссии – публикация данных «подстрекательского», как они считают, опроса общественного мнения (проведенного Институтом Гэллапа в октябре 2003 г.), согласно которому 59% граждан ЕС считают Израиль главной угрозой мира на планете.

Лидеры еврейских общин правы: публикация этих цифр, так же как замалчивание истинной роли исламистов и левых группировок в эскалации «антиизраилизма», который они без обиняков называют антисемитизмом, имеет политическую подоплеку легко определяемой ориентации. Но вопрос в другом: кто же входит в эти 59% граждан ЕС, придерживающихся позиций «антиизраилизма»? Оказывается, из респондентов, назвавших Израиль главной угрозой миру, 66% составляют люди с высшим образованием. Сколько же среди них может быть правых экстремистов, подвергающихся не просто осуждению, но остракизму в политкорректных академических кругах, категорически отвергающих *откровенно* националистические и любые иные явно выраженные профашистские тенденции? В лучшем случае единицы. Правда, правые могут находиться среди 41% «неакадемических» антиизраилистов, но это, как правило, потребители, а не производители политико-идеологических доктрин.

Исходя из приведенных данных, я думаю, правомерно заключить, что среди 59% респондентов, считающих, что Израиль представляет главную угрозу миру, подавляющее большинство составили леволиберальные интеллектуалы. Те самые, что задают тон в школах и университетах (кое-где объявляющих бойкот израильским ученым), в кино, театрах и литературных клубах и, что самое важное, – в масс-медиа, ибо именно они определяют доминирующие в западном обществе политкорректные антиизраильские умонастроения значимой части электората. Нацизм и в его первород-

ном виде, и в демонстративных неонацистских проявлениях отвергается либералами активно и, можно сказать, безоговорочно. Но нацифицированный советизм, упакованный в облатки «антифашизма», заглатывается либералами без проблем, проступая затем обильной парасоветской сыпью «антиизраилизма». Того самого, который всемерно способствует укреплению исламистов, нацеленных, как теперь уже очевидно, и на саму Европу.

5. Леволиберальные реинкарнации советизма

«Антиизраилизм» часто называют новым антисемитизмом. Но это «новое» – не что иное, как хорошо забытое старое. Неуничтожимое «старое» – это все тот же советский нацифицированный антисионизм, ставший ныне органической составной частью мессианского исламизма. Тот же антисионизм проходит в последние годы очередную реинкарнацию в леволиберальном антиизраилизме. Каждая из этих двух взаимосвязанных между собой современных реинкарнаций советизма – исламистская и леволиберальная – имеют свою предысторию, следующую в фарватере послевоенной истории самого советизма.

Широкое общественное признание обеих этих реинкарнаций зиждется на их заемном «неоантифашизме», на мастерски афишированной всеми современными масс-медиа борьбе «за права человека» против преступно попирающего эти самые права «расистского», «фашистского» государства Израиль.

Откуда все это? Все оттуда же – из изобретенного советскими партидеологами «сионизма-фашизма». Напомним – главной целью этого изобретения была в свое время реанимация СССР как лидера антифашистской коалиции. После разоблачений сталинизма из всего коммуно-гуманистического камуфляжа незыблемым оставался советский антифашизм, хотя на Западе далеко не всегда понимали, что ореол главного антифашиста эпохи, доставшийся Сталину ценой миллионных жертв победившего в войне народа, всегда служил прикрытием фашизации режима, включая репрессивную политику государственного антисемитизма. Сталинский и послесталинский советский «антифашизм» был и оставался типичной идеологией-оборотнем – оруэлловское правило называть все «с точностью до наоборот» соблюдалось ею неукоснительно и действовало безотказно. Но – с учетом меняющихся обстоятельств. Напомним о них – подавление начавшегося после разоблачений Сталина диссидентского движения внутри страны, военный разгром восстаний в сателлитных «народных демократиях», экспансия в третий мир и холодная война с «англо-американским империализмом» не могли уже проходить под прикрытием антигитлеровского антифашизма. Возникла настоятельная необходимость сменить гитлеровский фашизм новым «фашизмом» – всемогущим и вездесущим, претендующим не более и не менее как на мировое господство, у которого сами США «были бы уже на посылках».

Еще Ханна Арендт определила, что назначение идеологий типа советской не в том, чтобы сокрушать оппозиции (они, как правило, мнимые), а в том, чтобы их изобретать. Снова повторю: самым эффективным изобретением советской идеологии был новый фашизм – на этот раз «под голубой звездой». Благодаря этому изобретению СССР действительно сумел сбить новую и необычайно живучую «антифашистскую» коалицию.

В борьбе с «фашизмом-сионизмом» единым фронтом выступили не только курируемые СССР арабские страны и большинство остальных стран третьего мира. К ним последовательно, на протяжении трех-четырех последних десятилетий присоединялись обитатели западных стран – «новые левые», всех оттенков «зеленые», необычайно многоцветные антиглобалисты.

Может быть, и не отдавая себе отчета в советском происхождении своего нового «гуманизма-антисионизма», представители левых движений сразу же после победы Израиля в Шестидневной войне переместили его в «лагерь мирового империализма и колониализма». Первыми на Западе (если не считать обветшавшие компартии) это провозгласили нигилистически настроенные «новые левые» конца 60–70-х годов. Представленные буйствующими студенческими движениями, они сводили тогда к советизированной антиизраильской догматике свои постмодернистские прожекты мировой революции (декларированные в конце 50-х как альтернатива мировой революции «старых левых», дискредитированных разоблачениями сталинизма). «Новая» революция, идейно вдохновляемая бегущими «задрав штаны, за комсомолом» интеллектуалами (Сартр и др.), была нацелена на достижение неограниченных «прав человека» и таких же неограниченных свобод – личных и всех меньшинств: социальных, национальных и сексуальных. Ревнители «гуманизма без берегов» стали представлять Израиль как «преступную» силу, противостоящую их благим устремлениям. Вслед за советскими «неоантифашистами» западные «неогуманисты» провозглашали: «Израиль – расистское и экспансионистское государство, не имеющее права на существование» («Студенты за демократическое общество», США); «Сионизм – это религиозный фашизм» (журнал «Социалистический лидер», Англия). Неудивительно, что при подобных установках новолевые «антифашисты» не только героизировали арабский террор (убийство израильских спортсменов на Мюнхенской Олимпиаде), но и сами участвовали в антиизраильских терактах (Энтеббе). Немало способствовала этому инициированная СССР ооновская резолюция 1975 года – благодаря ей антиизраильский террор получил статус легитимной и морально оправданной борьбы с современным, пришедшим на смену нацистскому и родственным ему «расизмом-сионизмом».

Антиизраильская пропаганда резко усилилась после антитеррористической кампании в Ливане (1982 год), когда вслед за советской арабская и западная пресса – и не только крайне левая, но и часть либеральной – стала сравнивать действия израильской армии с практикой нацистов, а теракты ООП называть «новым сопротивлением».

Распад СССР и прекращение его существования, а вместе с ним и государственного продуцирования советского «неоантифашизма» никак не снизили накал парасоветского западного антисионизма. Сфабрикованная на стадии стагнации империи предсмертная доктрина советизма – паранацистский антисионизм – не только не ушел вместе с СССР, но переживает, как мы видели, новые реинкарнации как в исламизме, так и в западном антиизраилизме.

Порожденные советизмом оруэлловские аберрации леволиберального зрения приняли особо парадоксальный характер в годы «мирного процесса» и в особенности после перехода сопровождавшего его террора в огнестрельную интифаду Аль-Акса, открывшую в сентябре 2000 года тот этап в антизападном наступлении исламизма, апогеем которого стало 11 сентября 2001 года. Многие не признавали, не признают и поныне, что оба сентября – звенья одной цепи, настаивая на том, что сентябрь 2000 года был не более, чем очередным этапом сугубо локального конфликта, который не находит своего решения по вине «фашиствующего» Израиля. Эту леволиберальную аберрацию не могли исправить заявления готового на беспримерные уступки экс-премьера Эхуда Барака, разъяснявшего потом, что не прекращавший террора Арафат, без обсуждения отвергавший все компромиссные предложения Израиля, наглядно продемонстрировал, что его истинной целью, целью ставленника арабо-мусульманского мира, является не создание палестинского государства и сосуществование с Израилем, а поэтапное уничтожение еврейского государства. То, что цели интифады далеко выходили за рамки локального конфликта, получило свое подтверждение как в эскалации превращавшейся в мировую суицидно-террористической войны, так и в организованном в Дурбане всеисламистском идеологическом фронте.

Напомню, что ни одна из европейских делегаций не последовала за делегациями США и Израиля, покинувшими «антирасистский» форум, послуживший прологом к 11 сентября. И это было продолжением того, что происходило в самой Европе. Синхронно с развертыванием глобальной террористической войны исламизма с Западом, которая велась под знаменами парасоветского антисионизма, в самих западных странах наблюдается беспрецедентный рост пропалестинских и соответственно антиизраильских выступлений и публикаций. Солидарность европейских леволибералов с антиизраильским террором в соответствии с теми же парасоветскими рецептами маскировалась протестами против «военных преступлений» Израиля, любая антитеррористическая акция которого все беспардонней отождествлялась с преступлениями нацистской Германии. Это отождествление имело свое психологическое основание – оно служило оправданием отказа европейцев от ответственности за Катастрофу. Показательно, что это небескорыстное отождествление сионизма с нацизмом формировало платформу, объединяющую политкорректных леволибералов не только с исламистами, но и с ревизующими Катастрофу откровенно некорректными неонацистами. Характерно также, что как в свое время отождествление

сионизма с нацизмом оруэлловски маскировало нацификацию советской идеологии, так и теперь оно политкорректно прикрывает исламизацию Европы, чреватую ее неофашизацией. И так же как в свое время оруэлловски замаскированная нацификация советской идеологии была симптомом стагнации империи, так и политкорректный камуфляж исламизации и фашизации Европы знаменует появление дегенеративно самоубийственных тенденций в современном европейском обществе. Об этой смертельно опасной тенденции предупреждает страстная поборница европейской культуры Ариана Фаллачи, обвиняя политкорректную Европу в пособничестве исламизму, целенаправленная экспансия которого, пишет она, уже сегодня превращает Европу в «Евроарабию».

Диагноз политкорректности, включающий и анамнез этого новоевропейского феномена, принадлежит выдающемуся русскому мыслителю Сергею Аверинцеву. У людей, знакомых с советским опытом, писал он, political correctness вызывает особое недоверие. «В наихудшие времена позднесталинского антисемитизма, когда уничтожалась еврейская элита, – приводит он объяснительную аналогию, – на так называемых политинформациях слушателям официально, но тайно сообщались дичайшие версии, вплоть до "кровавого навета" об употреблении евреями крови детей, и готовились действия, сравнимые по масштабам с Шоа, – советская пресса оставалась безукоризненной в части political correctness, не поминая ни евреев, ни тем более "жидов", а ведя речь лишь о "презренных космополитах"».

Сегодняшний либерализм становится, по словам Аверинцева, малолиберальным, слишком нечувствительным ко всему тому, что не укладывается в массово доступные лозунги. Его поразила демонстрация в Вене – «никоим образом не пронацистская, напротив, целиком "левая", посвященная арабо-израильским конфликтам; юноши и девушки маршировали под простенький ритм бесконечно повторяемого выкрика: "Eins, zwei, drei – Palestina frei"». И это, пишет он, при необходимости понять всю сложность и многомерность приносящего неимоверные страдания обеим сторонам конфликта. Русского культуролога ужасает молодежь, выросшая в условиях, далеких от тоталитаризма, которая, казалось бы, так много слышала о несправедливости именно по отношению к евреям, молодежь, которая обнаруживает «готовность с полным доверием без малейшего чувства личной ответственности подхватывать и выкрикивать подсказанные им упрощенные до неузнаваемости истины, такие, какими в свое время широко пользовались тоталитарные системы, создавая и Hitlerjugend, и комсомол». Недаром, считает Аверинцев, Булгаков устами героя повести «Собачье сердце» высказал опасение, что беды нового времени проистекают от чрезмерной склонности «петь хором».

Перестала ли эта склонность быть небезопасной после конца классического тоталитаризма? Нисколько, отвечает Аверинцев, ибо она не зависит от меняющихся вербальных наполнений. Не составляет особого труда найти словесное облачение подготавливаемых для хорового исполнения

лозунгов, внешне радикально отличающихся от уже знакомых нам тоталитаристских призывов. И потому, предупреждает Аверинцев, вряд ли можно заранее соорудить плотину против «округлых, добропорядочных, повторяемых хором формул, построенных на казуистике political correctness и подобного строительного материала».

Из идентичного «стройматериала» сооружался послесталинский «неоантифашизм», заимствованный исламизмом и подхваченный левоэкстремистскими, а затем и леволиберальными кругами Запада.

Стоит, однако, принять во внимание, что при общей антисионистской платформе, построенной на отождествлении сионизма с нацизмом, между этими двумя реинкарнациями советизма существуют принципиальные различия. Исламизм функционирует как цельная дуалистическая мессианская идеология, в которой постулируется священная миссия исламистского переустройства мира (свой «позитив»), и в этом вдохновляющем *контексте* провозглашается священная борьба с антиподом и антагонистом исламизированного мессии (свой «негатив»). Именно в таком качестве фигурирует устремленный к мировому господству «сионист», он же полномочный представитель ненавистного Запада, наиболее полным воплощением которого исламисты считают США.

Во исполнение священной миссии в мире исламизма мобилизуются элиты – политические и интеллектуальные, реорганизуются образовательные (от детских садов до вузов), религиозные, просветительские и пропагандистские системы, направляется и интенсифицируется деятельность масс-медиа. Не только мусульманских. (На совещании министров информации арабских стран в июне 2002 года было решено выделить 22,5 млн долларов на антиизраильскую пропаганду. 70% этой суммы предназначалось для мероприятий по воздействию на общественное мнение в Европе и США.) Во имя реализации великой миссии культивируется террор, в особенности суициидальный, разрабатывается целая «культура смерти», нацеленная на массовую подготовку (идеологическую, психологическую, религиозную) шахидов, создается глобальная сеть террора, формируются подпитывающие ее финансовые сети – нередко под опекой государственных структур. Этим вдохновляющим «во имя» объясняется мобилизационный успех идеологов и организаторов террора и безоглядный фанатизм его исполнителей. Это мессианское «во имя» и есть то, что принципиально отличает идеологию и практику исламизма от самого образа мысли и действия приговоренного им к уничтожению Запада.

Понятно, ничего похожего на мессианское «во имя» в современном западном мире, дорогой ценой изживавшего свои убийственные мессионизмы, сегодня не существует, по крайней мере, в социально значимых масштабах. Заодно нет и иного объединяющего «во имя» – того, что могло бы мобилизовать этот мир на активное противодействие агрессивному исламизму и его террору, подрывающему сами основы демократического общества.

Заключения интеллектуалов, оценивших 11 сентября 2001 года, а теперь

и 11 марта 2004 года как угрозу самому существованию западного мира, не стали повсеместным руководством к политическим и другого рода наступательным действиям, не превратились в лейтмотив западных масс-медиа, не стали достоянием и тем более доминантой массового сознания. Однако лишь общее (от интеллектуалов до масс-медиа, от политиков до их электоратов) осознание реальной опасности, угрожающей самому существованию западной цивилизации, могло бы стать тем мобилизационным «во имя», которое позволило бы Западу противопоставить нечто соразмерное мобилизационной готовности, организованности и идеологическому напору исламизма.

Но при реальной слабосильности своего «во имя» Запад (точнее, его политкорректная леволиберальная составляющая) ослабляет себя пособничеством исламизму двояким образом. Во-первых, следуя принципам политкорректности, он предоставляет полный простор исламистской апологетике, прославлению ценностей исламистского образа жизни, желанности грядущего исламистского будущего всего человечества. Все это способствует усилению изоляции – не только добровольной, но и агрессивной – быстро растущих общин мусульманских иммигрантов, ведет к своеобразной трансформации их в пятые колонны внутри принимающих их стран.

Если в части исламистской апологетики ущерб наносится политкорректным «непротивлением злу насилием», то на втором направлении – «священной войны с Большим и Малым дьяволами» – Запад идет на самоубийственное активное пособничество исламизму. Европейский антиамериканизм (политический, «зеленый», антиглобалистский), разумеется, иного происхождения и иной пробы, чем исламистский, но, резонируя с ним, он укрепляет исламизм, террористическое острие которого в первую очередь (теперь уже очевидно, что только в первую!) направлено на Америку.

Наибольший разрушительно-резонансный эффект достигается перекличкой исламистского антиизраилизма (неоантифашизма) с европейским того же смысла и того же происхождения. Оба эти парасоветские порождения таят в себе те же опасности, что и советская их прародительница, под псевдогуманистическим покровом которой погребены миллионы жертв.

6. Что нового в доктринальном антисемитизме XXI века?

Сохраняя общие черты и преемственные связи с антисемитскими идеологиями XX века, доктринальный антисемитизм наступившего столетия отличается важными новыми особенностями.

1. Он в неразрывной связке с антиамериканизмом и шире – с антизападничеством становится интегральной частью мессианского исламизма, претендующего на насильственный, с помощью террора, передел мира.

2. Его эпицентр перемещается из Европы в арабо-мусульманский мир.

3. «Антиизраилизм», то есть препарированный советский антисионизм, становится «несущей конструкцией» доктринального исламистского анти-

семитизма, одновременно использующего арсеналы «классического» и нацистского антисемитизма.

4. Тот же и того же советского происхождения антиизраилизм отличает современный западный антисемитизм. Если в прошлом веке доктринальный европейский антисемитизм был интегральной частью «собственной» убойно-мессианской идеологии – нацизма, то в новом веке европейский политкорректный антисемитизм носит заемный характер и становится проявлением дегенеративно-самоубийственных тенденций в западном обществе. Исповедуя антиизраилизм, леволибералы, по существу, поддерживают интегральную часть исламистских идеологий, освящающих террористическую войну со всем Западом.

5. Главными носителями западного антиизраилизма являются политкорректные леволиберальные круги и проживающие в западных странах многомиллионные мусульманские общины.

6. Носителями «классического» антисемитизма в западных странах являются преимущественно праворадикальные и неонацистские группировки и те же мусульманские общины.

7. Политика и пропаганда антиизраилизма превращает западных его носителей в союзников нацеленного на насильственный передел западного мира исламизма.

8. Ревизия Катастрофы, реализуемая неонацистами и исламистами, с одной стороны, с другой – отождествление сионизма с нацизмом, используемое европейцами для освобождения от ответственности за Катастрофу, становится общей платформой для антисемитов разных политических ориентаций. Таким образом, антисемитизм в XXI веке, объединяя правые и исламистские силы с левыми происламистскими кругами, обретает несравнимо более широкий социальный спектр, нежели антисемитизм прошлого века.

9. Антисемитизм в XXI веке приобретает глобальный характер, чему в немалой степени способствует глобализация мусульманской диаспоры.

10. Доктринальный антисемитизм прошлого века, превращенный в нацистской и советской идеократиях в государственный, не встречал организованного сопротивления ни внутри тоталитарных государств, ни извне. Существование государства Израиль меняет ситуацию кардинальным образом. Противодействие антисемитизму может, наконец, выйти за пределы морализаторства и «юдофилии» – с возникновением еврейского государства появляется возможность вести с антисемитизмом масштабную информационную, политическую и вооруженную борьбу. Проблемы – не принципиальные, но конкретные в том, как, где и когда претворять эту возможность в действительность.

Борис Столяров

СТЕНЫ

Риторический вопрос: *«Существует ли хотя бы один здравомыслящий человек, считающий, что израильская стена не решает проблему безопасности и что Израиль не прав?»*

Риторический ответ: *«Да, таких, как минимум, 14... Что же касается здравого смысла... Вам судить...»*

Стены бывают хорошие и плохие, большие и маленькие, китайские и израильские, инструментом политической борьбы и элементарным ограждением, на виду и «в тени»... А еще стена Евросоюза... А еще свои и чужие... Например, советско-западно-берлинская... Эта – своя, она лучше... Хорошая была стена, надежная, упала в нужный момент, с нужным пафосом и, говорят, за небольшие деньги... Погибло «всего» тысяча двести человек... Права немцев на... Какие права? Чьи? А разбитые семьи... Какие семьи? Еще про социальное равенство вспомните! А всего-то дел было – разделение старинного красивого Берлина на зоны... На зоны! Как в тюрьме!

Международный суд в Гааге, как и ожидалось, признал строительство заградительной стены на Западном берегу реки Иордан незаконным. Обсуждать процесс законности самого суда не имеет смысла – уже более полувека он существует «по умолчанию». Да и предназначен не для тех,

Борис Столяров – доктор математических наук, автор нескольких монографий. Живет в Израиле.

кого он, не имеющий юридической силы, не устраивает, а для остальных, которым он, хоть и юридически беспомощный, нужен как катализатор процесса. В данном случае – для подогрева антиизраильских настроений, что учитывается в балансе отношений арабских нефтяных стран с надушенной французскими духами Европой. Разумеется, нам, израильтянам, ни суд, ни его решения не нравятся, но такие понятия, как «любовь», равно как и «ненависть», здесь неуместны. Потому и не обсуждаются... Однако попробуем пройти по тонкой «нитке» понятия суда, заданного «по умолчанию».

Первый вопрос звучит наивно: почему бы тому же суду, на том же заседании, раз уж он собрался, не признать теракты на территории Израиля незаконными и варварскими? Почему они не стали предметом рассмотрения суда? Ведь именно против них и строится стена! Или они законны, и потому незаконна стена, ибо она им мешает? Почему бы не вынести такое решение: палестинцам запрещается совершение терактов, и, как следствие, Израилю запрещается возводить стену. Это было бы логично. Но пока основное событие – теракты – имеет место, следствие следует. Не может не следовать, ведь оно – следствие!

И теракт не заставил себя ждать. Не успел, наверное, в чревах судей перевариться сытный ооновский обед после «высокого» заседания, как в очередном теракте – в ближайшее же воскресенье, погибла красивая 19-летняя еврейская девушка Маайян Наим. Погибла, не успев родить ребенка, не успев познать радости жизни, – судьи отказали девушке в этом... Теракт произошел потому, что не произойти не мог, – не закончено еще строительство стены, которая бы ограничивала свободу доступа террористов на территорию Израиля. Судьи в Гааге 14 голосами против одного решили, что возводимая израильской стороной стена «серьезно ущемляет права палестинцев», и это не может быть оправдано желанием Израиля обезопасить Маайяну Наим. Иными словами, судьи дали «добро» палестинскому террористу, убившему Маайян, реализовать свое право на теракт...

Зададим второй наивный вопрос: а были ли в прошлом другие стены? Были и есть – Израиль в данном случае ничего не изобретал, а лишь воспользовался уроками мировой истории и тысячелетним опытом еврейского народа...

Еврейские кварталы существовали еще в эпоху Римской империи в Риме и Александрии. И все же не евреи были родоначальниками идеи окружения своих жилищ стенами. За три века до нашей эры первыми оградили себя от постоянных набегов кочевников мудрые праотцы цивилизации – китайцы. Великая Китайская стена растянулась вдоль всей северной границы страны, протяженность ее более 4000 км. И где же были судьи, когда китайцы лишили варваров и кочевников их неотъемлемого права – по определению – совершать набеги, убивать и грабить местных жителей, уводить их скот, сжигать их дома? Повезло китайцам –

не было еще Гааги, не было еще ненасытных политических игроков, желудки которых сегодня в Аравийских песках, а головы – в чопорных европейских гостиных. Не было еще ни нефти, ни арабов, ни гостиных...

Сегодня китайцы молчат – у них тоже есть проблемы с мусульманами, но они их решают просто, «без шума и пыли»: мгновенно уничтожают уйгуров, стоит тем только подать голос. Не говоря уже о том, что если бы они захотели автономии, то... Сами придумайте, что сделали бы с ними нетерпимые даже к своим собственным бунтарям красные китайцы...

Известно, что история играет гранями событий... Сегодня уже соседи китайцев – северокорейцы – строят стену, чтобы оградить себя от родоначальника стен, пытаясь пресечь желание своих граждан сбежать из «последнего оплота социализма». Где Гаага? Далеко... Отметим лишь, что северные корейцы до сих пор никак не выразили «обязательного» возмущения строительством стены в Израиле – видимо, понимают...

До чего же иронична история! Решение Международного суда огласил его председатель – китайский судья Ши Цзююн! И сделал при этом любопытное заявление о том, что суд не уверен, что возведение стены – единственное средство для достижения Израилем поставленной цели, то бишь обеспечения защиты от нападений террористов. Может быть, суду в таком случае следовало бы тщательнее изучить проблему, чтобы обрести уверенность, что других средств нет.

Руководство Евросоюза весьма осторожно, я бы сказал, тихо, с оглядкой осуждает Израиль. И это понятно: одну стену, защищающую испанский анклав Сеуту на территории Марокко, они уже построили, на вторую – для защиты другого своего анклава Мелилья – лишь недавно выделили средства, затратив в общей сложности более 140 миллионов евро. Как вы думаете, от кого же они защищаются на чужой территории? От местных рабочих, марокканских и алжирских, которые, полагая, наверное, что у них тоже есть право на труд и свободу передвижения на своей территории, пытаются пробраться в эти города, чтобы оттуда переправиться в континентальную Испанию или Францию.

И какая же это стена: условная, пограничная, охраняемая мобильными группами вежливых европейских солдат? Не только и не столько... Сеуту окружает восьмиметровая бетонная стена, а вооруженные патрули по всему ее периметру перехватывают нелегальных рабочих, зачастую, надо думать – вежливо, избивают и выбрасывают из Марокко в Марокко.

Помимо незаконных иммигрантов, испанцев донимает арабская контрабанда товаров, людей и наркотиков, а также незаконное мореходство в Гибралтарском проливе. Кроме стен, аналогичных возводимой в Израиле, Испания оградила свое южное побережье электронной «Гибралтарской стеной», протянувшейся от Испании до Марокко. Радары и телевизионные камеры ночного видения расставлены по всему побережью Андалусии, которую, кстати сказать, хозяева мирового халифата уже давно включили в свои владения, и на всех их картах она окрашена в зеленый цвет.

...Петер Лизак из украинской деревни Малый Зельменц всю жизнь свободно ходил в гости к своему брату, живущему на другом конце этой маленькой деревни, населенной этническими венграми. Ходьбы-то всего пять минут. Ходил даже при недоверчивой советской власти... Однако сегодня деревню – ровно посередине – разрезает словацко-украинская граница, и Петера от его брата отделяют два проволочных забора трехметровой высоты, 700 километров до консульства, в котором можно получить визу за 36 долларов (при пенсии в десять)... И кто же этот злодей, который разрушает семейные узы? Евросоюз... Тот самый, который сегодня осуждает Израиль за «ограничение свободы палестинцев в передвижении», полагая, по-видимому, что украинцы – люди более низкого сорта...

Самая большая стена в мире, как несложно догадаться, принадлежит именно Евросоюзу, который, тем или иным образом, создал проблему для людей, проживающих на его периферии. О новую европейскую стену уже расшибли лбы жители Калининграда – российского анклава в Прибалтике. И что? Вы думаете, ООН об этом ничего не знает? Или кто-то из членов Евросоюза жалеет бедных братьев Лизак и калининградцев? Разумеется, нет. Но для них важнее каких-то там прав, каких-то там лизаков наличие Великой Европейской стены, охраняющей их от «набегов» товаров и жителей других стран. Но почему израильтянам эти же самые европейцы отказывают в охране от набегов «живых бомб»? Боятся, что, не сумев проникнуть в Израиль, эти бомбы будут взрываться в городских автобусах, курсирующих между площадью Согласия и Елисейскими полями?

И можно было бы пошутить: «Чему бывать, того не миновать», если бы на эту тему уместно было шутить. Не миновать – ибо ублажение палестинцев в Израиле не изменит ментальности арабов, для которых, кстати сказать, Палестина – всего лишь пыль на их начищенных нефтью блестящих черных ботинках. Ничего не изменится ни в рождаемости, ни в динамике миграции арабов в страны богатого Евросоюза, ни в их отношении к «неверному» местному населению...

Вдоль новых границ Евросоюза уже давно нарастает напряженность. Евросоюз требует от своих членов ужесточения пограничного контроля и визового режима, чтобы не допустить – обратите внимание! – проникновения террористов, нелегальной иммиграции и контрабанды. И Евросоюз вкладывает большие средства в высокотехнологичное охранное оборудование и подготовку персонала на пограничных пропускных пунктах. Значит, Евросоюзу можно, а Израилю – нельзя? Особую комичность ситуации придает то, что и оборудование, и технологии европейцы приобретают в... Израиле.

Стены в моде также и в европейских столицах – как исторические, древние, так и современные. Совсем недавно британская спецслужба MI-5 предложила соорудить вокруг здания парламента в Лондоне стену, чтобы защитить парламент от атак террористов. Комиссия палаты пред-

ставителей тут же утвердила проект, и здание парламента было без проволочек обнесено бетонным забором.

Европейцы в явном виде вряд ли поддержат решение Ассамблеи ООН, осудившей Израиль за строительство стены, ибо сами уже давно мечтают о создании «крепости под названием Европа». И не только мечтают, но, как мы убедились, многое делают для этого.

Любопытно, а как к решению гаагского судилища отнеслось руководство католической церкви? Ведь среди судей львиная доля – католики. Выразило полное удовлетворение... Папский нунций в святых местах считает, что «строительство стены отнимает у палестинцев надежду». На что? Не уточнил. Сделаем это за него мы – надежду на беспрепятственное уничтожение израильтян. Однако мне представляется, что Ватикану действительно невыгодно оставаться один на один с палестинцами по другую сторону возводимой стены – известно, как относятся арабы-мусульмане к христианам. Достаточно сказать, что христианские арабы, проживающие по эту сторону стены, поддерживают ее строительство.

А кто же нас обвиняет, осуждает, обличает? На самом процессе – Индонезия, Куба, Малайзия, Судан, Лига арабских государств и «кроткая» организация «Исламская конференция», мечтающая об уничтожении Израиля. Прекрасный хор! В печати – весь мир... Ширак и его духовный папа, который вряд ли уже понимает, кого и какая Фемида осудила. И – можно презрительно улыбнуться – Саудовская Аравия. Чему улыбнуться? Тому, что она сама строит защитную стену на границе с Йеменом! От братьев-террористов, которых она же и спонсирует? Без комментариев – сложная идет игра...

А есть ли исключения? Есть... Нормальные люди, умеющие сопоставить свободу перемещения и смерть, родственники погибших в терактах. И не только в Израиле, но и во всем мире – география, к сожалению, расширяется... Просто – люди со здравым смыслом...

Вызывает удивление, что критиков израильской стены в большей степени волнуют права палестинцев, которые они соотносят с жизнями израильтян, чем сам факт размещения преграды на спорной территории... Чем это объяснить?

По мировой классификации существуют непризнанные страны, территории с неопределенным статусом и спорные территории, то есть такие земли, которые оспариваются, как минимум, двумя различными странами. Как правило, это земли, имеющие неустановленные, несогласованные или не уточненные границы.

Мне кажется, что если бы мировое сообщество занялось – вместо продуцирования бесчисленных туманных резолюций – разработкой конкретных, сбалансированных во всех отношениях норм пограничного размежевания, то накал ближневосточного конфликта мог бы изрядно снизиться.

Израиль – удобная сцена генеральных репетиций для всех конфлик-

тующих сторон и натурная модель неизбежного, набирающего силу конфликта между воинствующим исламом и остальным миром.

Как и в случае со стеной, Израиль далеко не первый в длинной череде территориальных спорщиков. Более того, он «двоечник», занимающий последнее место среди более или менее развитых стран, ибо, по международной классификации, имеет всего... один конфликт – с Сирией, из-за Голанских высот.

В Европе в состоянии территориальных конфликтов пребывают почти все страны – Германия, Великобритания, Испания, Португалия, флегматичные Норвегия и Финляндия. Даже европейские скромницы Швейцария и Швеция, всегда стоящие в стороне... Список этот далеко не полон! И здесь есть свой лидер – Россия, что с учетом ее исторического развития и многонационального состава населения совсем не удивительно. А лучший европейский «друг» Израиля – Франция – не признает, то есть не дает «воли» сразу тринадцати самостоятельным субъектам, не желающим сидеть в парламенте Французской республики. Среди них Бретань, Гваделупа, Корсика, Мартиника, Новая Каледония, Полинезия, Французская Гвиана... На этом фоне жалким «ходоком из провинции» выглядит Израиль, начавший строительство стены в целях безопасности на территории с неопределенным статусом, который был бы иным, если бы не вереница событий, начало которым было положено в 1948 году отнюдь не Израилем... Думаю, что европейские морализаторы ухмыляются, когда Высший суд справедливости Израиля обсуждает местоположение чуть ли не каждого метра стены...

«Строительство стены является реализацией неотъемлемого права Израиля на защиту гражданского населения от проникновения террористов, а потому действия Международного суда в Гааге являются нарушением резолюции Совета Безопасности ООН о праве еврейского государства предпринимать соответствующие меры для самозащиты» – так считает Комиссия авторитетных американских юристов-международников. В заседании Комиссии участвовали 18 отставных судей и специалистов по международному праву. По мнению самых авторитетных юристов Америки, «право решать, легитимно ли строительство стены в этих условиях, принадлежит не международным инстанциям, но исключительно Верховному суду Израиля».

Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую вердикт «международного суда» в Гааге. Конгресс призвал все демократические страны поддержать Израиль в его борьбе против арабского террора.

На пользу стены намекают... Испанский судья Бальтазар Гарзон откровенно говорит, что беда Евросоюза в том, что для террористов не представляет большого труда проникнуть в Европу и что нет, к сожалению, такой стены, которая бы их остановила.

Израиль – единственное место, где арабы действуют прямолинейно,

без обиняков заявляя, особенно в арабской печати, о намерении уничтожить еврейский народ и еврейское государство. Увы – судьи Гаагского суда по-арабски не читают... В других конфликтных ситуациях мусульмане используют, если можно так сказать, «рельеф местности». Примером тактических маневров исламского лобби в ООН стал Кипр и референдум по объединению северной – турецкой части и южной, населенной греками. ООН буквально навязала референдум этому острову, однако греки-киприоты похерили «мирный план Кофи Аннана», отвесив ему своеобразную пощечину, – против объединения проголосовало более трех четвертей греков-киприотов.

Любопытно, что и здесь модель конфликта напоминает многие иные: остров с 1974 года разделен так называемой «зеленой линией», патрулируемой миротворцами ООН, на два равноправных субъекта, в одном из которых проживает 643 тысячи греков, в другом – почти в четыре раза меньше турок. Пока меньше... Позже их, по определению, станет больше, и остров, как следствие, будет «зеленеть». Но нас более интересует «Берлинская стена» на Кипре, которая, с учетом вышесказанного, выглядит уже в настоящее время вполне логично. Кстати, по чьей территории она проходит?

Понятно, что все происходящее – следствие сложного процесса внутри и вокруг Израиля. Но если то, что «вокруг» не поддается или слабо поддается корреляции, то внутренние причины, откровенно говоря, раздражают. Правительство Израиля, которое было осуждено в Гааге, в очередной раз трансформируется, сближаясь со своими хулителями.

На фоне израильской стены почти незамеченным остался скандал, разразившийся в европейском доме. Судно немецкой благотворительной организации «Кап Анамур» доставило в Сицилию суданских беженцев, подобранных в Средиземном море. Капитан судна и глава организации были немедленно арестованы итальянскими властями по обвинению в пособничестве нелегальной иммиграции. Кто же они, эти нелегальные беженцы? Чернокожие христиане, бежавшие от кривых мусульманских ножей террористов, поддерживаемых правительством Судана. По оценкам самой же ООН, за время конфликта между христианами и мусульманами в Дарфуре погибли около 30 тысяч человек. Функционеры Евросоюза, как и в случае с израильской стеной, исходят из соображений стоимости арабской нефти, и их нисколько не волнует судьба ни израильтян, даже левых, ни суданцев, ни кого бы то ни было еще...

Скажу откровенно, я ждал оригинального, отличного от всеобщего антиизраильского хора выступления какого-либо авторитетного политика или обозревателя. И дождался... На этот раз посчитала необходимым профессионально отличиться корреспондент Би-Би-Си на Ближнем Востоке Барбара Плетт. Не отказавшись от своего обычного стиля нападок на Израиль из палестинских окопов, она все же признала, что «похоже, стена действительно осложняет проникновение в Израиль палестинских

боевиков» и что «с завершением строительства секции разделительного барьера в северной части Западного берега реки Иордан жертв среди мирного населения стало намного меньше». Это признание дорогого стоит – ее статью цитируют многие солидные английские и даже германские издания. И очень похоже, что, узнав мнение г-жи Плетт, европейцы смущены – может быть, стена, действительно, приведет к спокойствию на Ближнем Востоке?

Осложняет, еще как осложняет! Сейчас построена лишь одна четверть ограждения – и это уже стало преградой для террористов-смертников. За последние четыре месяца в результате их атак погибли двое граждан Израиля, для сравнения: за такой же отрезок времени в самый расцвет террора погибли 164 израильтянина. «Однако что значат для Гаагского суда 164 убитых еврея? – восклицает обозреватель авторитетной в западном мире газеты "The Washington Post". – Израиль наконец-то нашел способ остановить терроризм, однако 14 заседающих в Гааге судей постановили, что это – незаконно. С безопасного расстояния в 2000 миль суд решил, что он "не убежден" в том, что возводимый Израилем барьер необходим для обеспечения безопасности», – заключает газета.

Ну, а мы живем здесь – и видим, что именно нужно для нашей безопасности. И если Гааге нужна нефть, то нам нужна жизнь.

Владимир Прибыловский, Юрий Фельштинский

ОПЕРАЦИЯ «НАСЛЕДНИК»

Штрихи к политическому портрету В. В. Путина

Глава 5*
ОЛИГАРХИЯ ПРИ ПУТИНЕ

Олигархи – это не те, кого «равноудаляют от власти, а те, кто равноудаляет».

Придворно-олигархические кланы

Одним из первых, кто определил постсоветский государственный строй как *олигархию*, был Александр Солженицын. В конце 1996 года в статье, опубликованной в московской «Общей газете», он писал: «Из ловких представителей все тех же бывших верхнего и среднего эшелонов коммунистической власти и из молниеносно обогатившихся мошенническими путями

* Главы из книги, которая готовится к печати. 1-ю и 3-ю главы см. в № 1–2 «NB».

Владимир Прибыловский – историк-медиевист, автор ряда статей по истории Византии и десяти книг. Президент информационно-исследовательского центра «Панорама». Живет в России.

Юрий Фельштинский – историк, доктор философии, редактор-составитель и комментатор десятков томов архивных документов, автор четырех книг и соавтор книги «ФСБ взрывает Россию». Живет в США.

скоробогатов создалась устойчивая и замкнутая олигархия из 150–200 человек, управляющая судьбами страны. Таково точное название нынешнего российского государственного строя. <...> Членов этой олигархии объединяет жажда власти и корыстные расчеты – никаких высоких целей служения Отечеству и народу они не проявляют»[1].

Определяя Россию Ельцина как олигархию, писатель исходил из классического, словарного значения этого слова: «Образ правления, где вся высшая власть в руках небольшого числа вельмож, знати, олигархов» (*В. Даль.* Толковый словарь живого великорусского языка). В переводе с греческого «олигархия» буквально означает «власть немногих», а олигархи – «немногие правящие», «правящее меньшинство».

Как тип правления олигархию впервые описал Платон в VIII книге своего трактата-диалога «Государство». Возможно, что сам Платон термин и придумал, хотя не исключено и то, что слово существовало раньше. Согласно Платону, олигархия – это государственное правление, основанное на имущественном цензе: государственные должности имеют право занимать только имущие. Поскольку богатых всегда намного меньше, чем бедных, их (богатых) правление и есть правление «немногих». Платону же принадлежит характеристика олигархии как порочной формы государственного устройства, в котором целью правящих является не всеобщее благо, а личная корысть[2].

Аристотель в «Политике», «Афинской политии», а также в «Риторике» развил и детализировал Платона. Три основные черты олигархии по Аристотелю: правители рекрутируются из числа богатых или же по выбору богатых из числа их друзей; правители не зависят от граждан (и этим олигархия отличается от демократии – власти граждан); правители преследуют интересы своего личного, а не всеобщего блага (и этим олигархия отличается от аристотелевой аристократии)[3]. Исходя из реалий современной ему Эллады, Аристотель подразделил олигархию (корыстную недемократическую власть немногих богатых) на четыре вида, различающиеся способами формирования правительства (цензовая выборность, кооптация, наследование должностей, самозахват), степенью имущественной поляризации (от умеренной до максимальной) и разной степенью сочетания законности и беззакония (от несправедливого, выгодного лишь меньшинству законодательства, до полного произвола)[4].

Описание Аристотеля (за исключением некоторых частностей – типа назначения должностных лиц по жребию) оказалось универсальным: после Древней Греции олигархический тип правления находили и находят в доимператорском и позднеимперском Риме, в средневековой Венеции, в Латинской Америке XIX–XX веков, в современной Юго-Восточной Азии, постколониальной Африке и постсоветских государствах.

В России при Ельцине олигархический режим еще не сформировался окончательно, вполне сочетаясь и с отдельными чертами классической тирании (беззаконной единоличной власти), и анархии, и с хилыми ростками

демократии. «Тирания» «царя Бориса» была, надо сказать, довольно добродушной и проявлялась скорее в самодурстве и волюнтаризме, чем в систематическом подавлении прав и свобод граждан. Гораздо более при Ельцине бросались в глаза проявления анархии, в том числе полуфеодальной анархии региональных правителей (особенно в периоды, когда президент «работал с документами» и являл Сергею Ястржембскому «крепкое рукопожатие»). При Путине самодурства и анархии поубавилось, зато и от добродушия не осталось следа. Как сказал Виктор Шендерович, «прежний хозяин был большой, пьющий и блаженный, а этот – маленький, трезвый и злобный»[5].

Если путинскую систему власти рассматривать через призму классических представлений об олигархии, то она соответствует второму типу олигархии по Аристотелю: к власти допускаются только богатые; имущественная поляризация велика, но еще не максимальная; власть формирует себя сама – фактически способом кооптации; законы есть, но они написаны начальниками для пользы начальства. Можно еще добавить, что это второй тип олигархии, но с разнонаправленными отклонениями: и в сторону первого, умеренного типа (власть не полностью самоформируется, все-таки остается элемент выборности), и в сторону третьего и четвертого – «династических» типов олигархии (имущественная дифференциация приближается к максимальной, появляются элементы наследования власти).

К той же примерно разновидности олигархии относится большинство стран третьего мира, в частности африканских. Это не удивительно: по большинству значимых параметров развития Россия оказалась сейчас где-то между Латинской Америкой и Африкой. Мексика (а не Португалия, которую рекомендует догнать советник президента Путина Андрей Илларионов) вполне может считаться для России недосягаемым образцом порядка, экономического роста, демократии и благосостояния граждан. Мы не просто не догоняем Португалию, а отстаем от Колумбии, дрейфуя по направлению к Нигерии.

Формально в России (как и в других современных странах третьего мира) нет имущественного ценза для занятия высших государственных должностей. Но фактически имущественный ценз, конечно же, существует. О нашей олигархии можно еще сказать, что она в первую очередь номенклатурно-бюрократическая, чиновничья, а не, скажем, финансовая (как в Сингапуре). Олигархи – это номенклатурная верхушка во главе с президентом, администрация президента, министры, полномочные представители в федеральных округах, губернаторы, руководители ФСБ, МВД, прокуратуры и армии. Некоторые представители крупного бизнеса тоже входят в правящую олигархию – те из них, кто занимает значимые должности в государстве. Роман Абрамович и Александр Хлопонин – олигархи, поскольку прикупили себе за собственные деньги государственные магистратуры. Потанин и Березовский – бывшие олигархи, потому что занимали такие

магистратуры в прошлом. А вот Фридман, Дерипаска, Гусинский – не олигархи, потому что никогда не имели государственных должностей.

Если отвлечься от России и вспомнить об итальянском премьере Сильвио Берлускони, которого в русских СМИ тоже любят называть олигархом, то Берлускони – НЕ ОЛИГАРХ, но по другой причине: он был избран демократически. Вот если бы итальянский медиа-магнат пришел к власти не по итогам абсолютно демократических выборов, а в результате операции «Наследник», то его можно было бы признать олигархом.

Но вернемся в Россию. Ходорковский, хотя он богат и до недавнего времени был влиятелен, – не олигарх, а всего лишь магнат бизнеса. В английском языке для обозначения фридманов и ходорковских существует специальное слово японского происхождения – *тайкун* (tycoon). В американском прокате известный российский фильм «Олигарх» шел под названием «Tycoon» (во французском – как «Le russee nouvelle» – «Новый русский»). А вот посадившие Ходорковского Владимир Путин, Виктор Иванов, Борис Грызлов и Владимир Устинов – классические олигархи: они и занимают посты в государстве, и не бедны, и правят государством не в интересах общего блага. Когда против этого приводят аргумент, что Ходорковский и Березовский много богаче своих гонителей, этот аргумент не работает, особенно сегодня, когда Ходорковский сидит в тюрьме, а Березовский чудом тюрьмы избежал.

Не все из «Тридцати тиранов» описанного Аристотелем в «Афинской политии» классического образца олигархического правительства (404 года до н. э.) были самыми богатыми людьми в Афинах. Некоторые просто были друзьями или слугами самых богатых. Нигде не сказано, что Критий (первый из Тридцати) был самый богатый. И, между прочим, Критий производил конфискации у самых богатых – как и некоторые олигархи более поздних времен. Не наличие богатства делает *тайкуна* олигархом, а только сочетание богатства с добытой благодаря богатству публичной политической властью и корыстным её использованием. Главной причиной жестких репрессий жандармско-полицейской олигархии против Березовского, с одной стороны, и Ходорковского – с другой, являлось то, что они открыто заявили о своих претензиях на власть. Березовский – с 1996 года, Ходорковский – когда в одном из своих интервью сказал, что намерен к 2008 году уйти из активного бизнеса и пойти во власть, то есть *стать* олигархом.

Олигархи, по Немцову, Путину и Примакову

В 1998 г. тогдашний первый вице-премьер Борис Немцов тоже заговорил об олигархии, предложив, однако, свое толкование термина. В марте 1998 года Немцов предпринял пропагандистское наступление на своих соперников во власти – в первую очередь на Бориса Березовского. Кульмина-

цией этого наступления стал проведенный Немцовым в марте 1998 года «круглый стол». Наиболее подробно Немцов изложил свою точку зрения в «Независимой газете». Основной вопрос Немцов формулировал так: «По какому пути пойдет Россия? Демократического (народного) рыночного капитализма или олигархического капитализма?»[6]. Странное сочетание «рыночный капитализм» – нечто вроде «капиталистического капитализма» – на самом деле не случайно. Это был намек на то, что «олигархический» капитализм – не совсем рыночный или даже антирыночный.

По убеждению Немцова, в России «никто не ставил перед собой задачу построить именно олигархический капитализм. Движение России в этом направлении было предопределено тем, что из всех разновидностей капитализма олигархический наиболее близок к социализму "по-советски". Их роднят монополизм, централизация экономики, контроль бюрократии над народным хозяйством, незначительная роль или отсутствие малого и среднего бизнеса и частной инициативы» (там же). Это была открытая полемика с главными чубайсофобами в «Независимой газете» – Татьяной Кошкаревой и Рустамом Нарзикуловым, по мнению которых, Чубайс сознательно построил в России криминально-бюрократический капитализм. «На Западе через систему прогрессивных налогов, налогов на собственность и социальных пособий государство перераспределяет доходы от богатых к бедным. У нас же все наоборот. Государство – насос, перекачивающий деньги от бедных к богатым. <...> Ограбление граждан (МММ и другие финансовые пирамиды), ограбление государства – таможенные и налоговые льготы "своим" предпринимателям (Национальный фонд спорта, псевдоафганцы и т. д.), прокручивание (расхищение) бюджетных средств через систему уполномоченных банков, бесконтрольный вывоз сырья <...>. Приватизация долгое время проводилась кулуарно, по символическим ценам и часто для своих».

«Необходимым условием для появления олигархии» Немцов объявил существование крупных корпораций и «концентрацию в их руках политической власти». Немцов выделил, однако, две разновидности олигархической конструкции власти, одна из которых преобладает, по его мнению, в России на региональном уровне, а другая – на федеральном: «В регионах в тандеме "чиновники и бизнесмены" доминируют, как правило, чиновники. Так, например, обстоит дело в Москве. Систему власти, сложившуюся в этом городе, характеризуют тотальный контроль бюрократии над собственностью, монополизация строительного комплекса и системы жилищно-коммунального хозяйства, сложная процедура получения лицензий и разрешений, затрагивающая практически все сферы бизнеса. <...> На федеральном уровне первенство в финансово-бюрократической связке явно принадлежит финансовым и сырьевым магнатам» (там же).

Предложенная Немцовым трактовка «олигархии» восходит к брошюре В. И. Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализма» (1916). Ленин, однако, в свои гимназические годы читавший Аристотеля (или, по

крайней мере, фрагменты из него) в подлиннике, называл теневую власть денег финансовой *олигархией*, а плутократов-кукловодов – *финансовыми олигархами*[7]. Термин *финансовая олигархия* был, видимо, впервые введен в оборот французским публицистом, выпустившим под псевдонимом Лизис (Lysis) в первые годы XX века несколько изданий своей брошюры «Против финансовой олигархии во Франции». Этот термин был затем усвоен австрийским экономистом Рудольфом Гильфердингом (в работе «Финансовый капитал»), а через него и Лениным. Немцов же, смутно помнивший «Империализм, как высшую стадию капитализма» по обязательным даже для физика советским урокам обществоведения, укоротил «финансовую олигархию» Лизиса–Ленина до просто «олигархии».

После статьи Немцова если не в русском языке, то, по крайней мере, в «россиянском» журналистском жаргоне слово «олигарх» стали употреблять преимущественно по отношению к влиятельным капиталистам – как в сочетании с уточняющими прилагательными (нефтяной или нефтегазовый олигарх, алюминиевый олигарх, колбасный олигарх и т. д.), так и без прилагательных. Напротив, по отношению к собственно олигархам – монопольно правящей номенклатурной верхушке – слово «олигарх» используется сравнительно редко и обычно с уточняющими прилагательными («олигархи в погонах», «олигархи в штатском», «административная олигархия», «номенклатурная олигархия», «военно-полицейская олигархия»). Это как если бы морскую корову начать называть просто коровой или летучую мышь – просто мышью, а потом, ради вящей точности, собственно корову переименовать в «корову сухопутную» или обыкновенную мышь – в «мышь бсскрылую».

Логичнее, конечно, наоборот: административных олигархов в погонах и в штатском именовать просто олигархами, а экономических «олигархов» – с упоминанием отрасли экономики, в которой они работают: Гусинский – «медиа-олигарх» (бывший); Ходорковский – «нефтяной олигарх» (видимо, уже тоже бывший); Дерипаска – «алюминиевый олигарх»; Потанин – «медно-никелевый олигарх»; Брынцалов – «водочный», Георгий Боос – «электроламповый»; Вячеслав Володин – «майонезный» (хотя как вице-спикеры Боос и Володин формально доросли до полноценных олигархов) и т. д.

Назвав магнатов бизнеса олигархами, Немцов в первую очередь имел в виду, что некоторые представители крупного бизнеса стали (или становятся) реальной властью в стране, занимая, как Березовский, государственные должности, или же участвуют в управлении страной, формально не занимая никаких должностей. Такое представление Немцова о состоянии российской политики вполне совпадало с апокалиптическим взглядом Ленина на «последнюю стадию капитализма». А вот политической и экономической действительности представленная Немцовым модель мало соответствовала. Несмотря на рост влияния крупного капитала, на его роль в избрании Ельцина в 1996 году (на что любил ссылаться Березовский), на возросшие возможности подкупа чиновников, в олигархическом тандеме «чинов-

ники – бизнесмены» по-прежнему доминировали именно чиновники – и в регионах, включая столичный (что признавал Немцов), и на федеральном уровне (вопреки мнению Немцова).

Административная олигархия сама создала магнатов бизнеса, сама контролирует или пытается контролировать их, и любого из них всегда готова стереть с лица земли в случае возникновения конфликта, непослушания, непонимания и просто недоразумения (как было с Березовским, Гусинским и Ходорковским). Поэтому-то магнаты бизнеса рвутся в исполнительную власть и баллотируются один за другим в губернаторы. Они хотят стать *реальными олигархами*.

Немцов в своем описании олигархического капитализма подчеркивал «объективный» характер слияния власти и бизнеса; не ставил бизнесменам-«олигархам» в личную вину то, что они извлекают из этого слияния выгоду; и поначалу избегал использовать слово «олигарх» в ругательном смысле.

Однако журналисты сразу же приняли слово «олигарх» именно как ругательное. «В современном российском понимании это слово означает – крупный предприниматель, который разбогател не потому, что хорошо работает, а потому, что имеет неофициальные контакты с властью либо в форме ее злоупотреблений, либо еще в более криминальной», – констатировала в августе 2000 года «Литературная газета»[8].

Произведенное Немцовым переклеивание обидной этикетки с чиновной верхушки на ее младших партнеров – магнатов бизнеса – оказалось для бюрократии исключительно полезным в пропагандистском смысле, почему и было ею немедленно подхвачено. В частности, согласно Путину, «олигарх – это человек с наворованными деньгами, который и дальше продолжает разворовывать национальные богатства, используя свой особый доступ к органам власти и управления». Или, согласно экс-премьеру Евгению Примакову: «Олигарх – это не просто крупный предприниматель, это тот бизнесмен, который набивает карман за счет махинаций, в том числе с налогами, который может подставить ножку сотоварищу, который грубо стремится лезть в политику, развращает чиновников и депутатов»[9].

Еще в свою бытность и. о. президента, 28 февраля 2000 года, на встрече в Москве со своими доверенными лицами, Путин обещал: «Крайне важно создать равные условия для всех участников политической и экономической жизни России. Надо исключить то, чтобы кто-то присосался к власти и мог использовать это для своих целей. Ни один клан, ни один олигарх не должны быть приближены к региональной и к федеральной власти. Они должны быть равно удалены от власти и пользоваться равными возможностями».

Выражение «удаление (равноудаление) олигархов от власти», несмотря на его абсурдность, так как означало удаление от власти правящего меньшинства, стало популярным лозунгом и одной из словесных характеристик

нового режима – наряду с «мочением террористов в сортире». Впрочем, как и «мочение», лозунг этот оказался весьма далеким от реальности.

Олигархические кланы при Ельцине

Олигархия обычно имеет клановую структуру, разделена на соперничающие между собой группировки и клики. Так было в правительстве «Тридцати тиранов», в римском Сенате, в венецианском «Совете десяти», в латиноамериканских хунтах XIX–XX веков, в постколониальной Африке. Не является исключением и Россия.

В постсоветской России олигархический строй более или менее сложился примерно к 1996 году. Благодаря имеющей глубокие корни централизованной бюрократической системе и производному от нее суперпрезидентскому, квазимонархическому характеру российской конституции, олигархия выстраивается вокруг главы государства и имеет отчасти «придворный» характер. Ведущим придворно-олигархическим кланом при Ельцине был нефтегазовый клан Черномырдина–Вяхирева. С ним соперничала группировка Коржакова–Сосковца (тогдашние «силовики»). При Ельцине сложился и сплоченный столичный клан во главе с Юрием Лужковым. При Ельцине же идеологическая группа «питерских либералов» во главе с Анатолием Чубайсом стала превращаться в самостоятельный олигархический клан «питерских экономистов».

К концу правления Ельцина сложился и потеснил остальные группировки клан «семья» – тогда еще во главе с Березовским. В провинции утвердились мощные региональные кланы: Муртазы Рахимова в Башкирии, Минтимера Шаймиева в Татарстане, Кирсана Илюмжинова в Калмыкии, Эдуарда Росселя на Урале, Владимира Яковлева в Санкт-Петербурге.

Олигархические административно-экономические группировки и кланы стали основными субъектами политического процесса, а политические партии, движения, блоки, парламентские фракции – инструментами кланов. Официальные политические структуры не самостоятельны, они являются производными от кланов и клик, их блоков и коалиций. «Наш дом – Россия» (НДР), официальная «партия власти» позднеельцинского периода, была политическим инструментом коалиции нескольких кланов (черномырдинского, коржаковского, лужковского, региональных, ранней «семьи»). Эта коалиция в 1998–99 гг. распалась, и к выборам 1999 года из НДР выделились «Отечество» (инструмент лужковской мэрии), «Вся Россия» и «Голос России» (две группы регионалов), «Единство» (инструмент «семьи»). После победы Путина на президентских выборах НДР практически воссоединилась под новым названием «Единая Россия». Это было следствием того, что основные кланы и группировки сплотились вокруг фигуры Путина, но отнюдь не означало того, что все интересы согласованы и окружение нового президента представляет собой монолит.

Олигархические кланы в первое президентство Путина

Владимир Путин не является единоличным правителем, принимающим все решения самостоятельно и без оглядки на мнения своего окружения. Более того, он не слишком любит свое основное занятие – рутинное управление государством. Достаточно обратить внимание на то, как возникают и исчезают автомобильные пробки, парализующие треть Москвы, когда президент едет на работу и когда возвращается с нее. Утренняя пробка обычно образуется не раньше 11 часов: президент едет в Кремль. Зачастую уже в 5–6 часов возникает новая пробка: президент возвращается домой. Путин – не фанатик власти. Гораздо больше, чем власть, он любит здоровый образ жизни и спорт. От власти он в основном хочет удовольствий, недоступных простому спортсмену: полетать на самолете-штурмовике, прокатиться на подводной лодке, пострелять ракетой «Тополь-М», поносить часы «Patek Philippe Calatrava».

Именно поэтому Путина окружали сподвижники-трудоголики – такие, как Александр Волошин, Владислав Сурков, Дмитрий Медведев или Дмитрий Козак. Передоверяя повседневные труды и обязанности сподвижникам, Путин вынужден мириться с тем, что таким образом он уступает значительную часть своей власти. Впрочем, это обычная ситуация в олигархиях, даже когда первоолигарх сам трудоголик.

Олигархия времен первой четырехлетки президента Путина подразделялась на четыре административно-экономических клана: «старокремлевская», или «семейная» группировка (унаследованная от Ельцина и его «семьи»); «старопитерская» группировка (они же «РАО ЕЭС», «питерские экономисты», или «клан Чубайса»); «новопитерская» группа, «жандармско-полицейский» клан (они же «питерские чекисты», «силовики». «Новая газета» не так давно для последних предложила термин «хунта», а Глеб Павловский назвал их еще «силовым олигархатом»); «мэрия» (столичный лужковский клан). В самое последнее время в связи с началом переформатирования ближайшего президентского окружения стало возможным говорить о возникновении еще одного влиятельного клана – клана «питерских юристов». У каждого из кланов есть свой подконтрольный бизнес, свои политические инструменты в виде партий, фракций, депутатских объединений. Есть отличия в практической политике, в излюбленной тактике, отчасти – в идеологии.

«Семья»

В «старокремлевском» клане бесспорным лидером до недавнего времени являлся Александр Волошин, занимавший пост руководителя администрации президента. К этой группе принадлежат также бывший премьер-министр Михаил Касьянов, бывший секретарь Совета безопасности Владимир Рушайло, бывший председатель Государственного таможенного комитета Михаил Ванин, бывший министр печати Михаил Лесин, бывший

министр путей сообщения Николай Аксененко, глава РАО «Российские железные дороги» (и тоже бывший министр путей сообщения) Геннадий Фадеев. По итогам недавней предвыборной «реформы квартета» почти весь первый эшелон «семейного» клана потерял свои посты. И лишь заместитель руководителя администрации президента Владислав Сурков не только уцелел, но и фактически повысил свой статус – поскольку замов у руководителя администрации теперь не семь-восемь, а всего два.

Этот клан связан с магнатами бизнеса, отраслевыми «олигархами» ельцинского периода (О. Дерипаска – «Русский алюминий» и «Базовый элемент», Р. Абрамович – «Сибнефть», А. Мамут – «Тройка–Диалог», А. Мельниченко – Группа МДМ, М. Фридман – «Альфа-групп»).

Вопреки распространенному заблуждению, даже в «экономическом» клане не экономическое его крыло (магнаты бизнеса, отраслевые «олигархи») командуют административным крылом, а наоборот – администраторы и бюрократы командуют магнатами.

В связи с вынужденной отставкой Волошина выявилось, между прочим, что Абрамович, скорее всего, – не единственный главный бенефициар «Сибнефти». Не исключено, что вторым главным (или первым главным?) является Волошин. Новые подобные открытия относительно истинного характера отношений в сфере крупной собственности между администраторами и бизнесменами ожидаются в будущем – например, не исключено, что М. Касьянов является реальным совладельцем «Русского алюминия», вместе с О. Дерипаской.

Главная пропрезидентская партия – «Единая Россия». Партию «едороссов», однако, нельзя считать единоличной собственностью «семьи», поскольку в «Единой России» представлены интересы и других придворно-олигархических кланов.

«Яблоко» Григория Явлинского – одна из немногих (точнее, двух – наряду с КПРФ) относительно крупных партий, не полностью встроенных в олигархическую иерархию. Тем не менее В. Сурковым были предприняты определенные усилия с целью сделать «Яблоко "вассалом" семьи» – и некоторых успехов Суркову на этом поприще удалось достичь.

Волошин и Лесин сыграли немаловажную роль в разгроме старого НТВ. Самолюбивый, закомплексованный и мстительный Волошин, поклявшийся отомстить Гусинскому за поддержку Лужкова и Примакова во время предвыборной кампании 1999–2000 года, стал отнимать у Гусинского НТВ на следующий день после прихода Путина к власти. Лесин старался действовать скорее «экономическими» и «юридическими» рычагами, а не силовыми, более «пряником», чем кнутом. От участия в разгроме ТВ-6 и ТВС Лесин почти устранился, а затем приложил некоторые усилия для того, чтоб не разогнать, а «приручить» команду Евгения Киселева. Кончилось все равно ликвидацией, но «семья», как кажется, была готова предоставить Киселеву несколько более почетные условия сдачи в плен. Впрочем, силовики и президент лично предпочли не полузадушенный ТВС, а разгромленный.

На государственном телевидении позиции «семьи» традиционно сильны на Первом канале, в настоящий момент под руководством Константина Эрнста*.

Своекорыстный лоббизм – основная характеристика позиций «семьи» в вопросах экономики. Кроме того, имеет место и прагматическая гибкость, граничащая с беспринципностью. В то же время базовые экономические взгляды Волошина и Суркова скорее либеральные. В благость для экономики государственного патернализма они не верят.

Питерские экономисты

«Старопитерский» клан в окружении президента Путина представляют глава РАО «ЕЭС России» Чубайс, министр финансов А. Кудрин, глава Центробанка С. Игнатьев, министр экономического развития Г. Греф, бывший министр по антимонопольной политике И. Южанов, первый замминистра экономического развития М. Дмитриев, а также замминистра финансов А. Улюкаев и бывший министр труда и социальных отношений А. Починок.

На базе региональных подразделений РАО ЕЭС Чубайсу во многих регионах удалось создать вассальные экономические структуры как в энергетике, так и в смежных отраслях.

Политическим вассалом клана Чубайса является партия «Союз правых сил» (СПС). Несмотря на фрондерство Бориса Немцова, до февраля 2004 года являвшегося номинальным главой партии, Чубайсу всегда удается в существенных вопросах провести или навязать партии свою линию. Классическим примером была ситуация в феврале 2000 года, когда СПС вознамерился было «не поддерживать» на президентских выборах ни одного из кандидатов, но уже через несколько дней принял противоположное решение: поддержать Путина. В апреле 2001 года СПС принял было участие в кампании в защиту НТВ – но прекратил это участие после окрика Чубайса. И совсем недавний случай: Ирина Хакамада выдвинула свою кандидатуру на пост президента с критической по отношению к действующему президенту программой, но СПС не поддержал своего сопредседателя, поскольку это могло поставить под удар положение при дворе другого сопредседателя – Чубайса.

---

* В телевизионном мире трудно встретить человека, сказавшего об Эрнсте хоть одно доброе слово. Талантливым, кажется, считал его один Березовский. Отдадим должное Эрнсту. Более частого гостя не было, пожалуй, у Березовского в Доме приемов «ЛогоВАЗа» на Новокузнецкой, 40. И момент разрыва Березовского с новым президентом Путиным Эрнст тоже уловил одним из первых. Корреспондент ОРТ в Вашингтоне Владимир Сухой как-то перегонял в новостную студию интервью с находившимся в Вашингтоне Березовским. Во время перегона Эрнст зашел в студию и сказал: «Передайте Сухому, что это говно нам снова не скоро понадобится». Когда об этом рассказали Березовскому, тот с грустью произнес: «Бедный Костя, как ему, наверное, сейчас тяжело. Как на него сильно, должно быть, надавили».

Чубайс – не противник свободы слова, но, прежде всего, государственник. «Священное право частной собственности» для него существует постольку, поскольку не противоречит интересам государства, как он их понимает. Отсюда моральная поддержка Чубайсом Коха в деле разгрома старого НТВ и операция по выводу СПС из кампании в защиту «команды Киселева».

Теоретически «команда Чубайса» придерживается либеральной экономической идеологии Мильтона Фридмана. На практике, однако, прагматизм часто побеждает либеральную теорию. Реформа РАО ЕЭС «по Чубайсу» (как некогда ваучеризация, а потом «залоговые аукционы») – это не либерализм, а очередной способ передачи госсобственности в дружественные руки.

Как у лоббистов разных отраслей, интересы Чубайса и Волошина с Касьяновым нередко сталкивались, но, будучи прагматиками, они обычно успешно договаривались. А аппаратное наступление «новопитерских» вообще сделало разногласия между «старопитерскими» и «старокремлевскими» малосущественными.

Питерские чекисты

«Жандармско-полицейский» клан (или клан «питерских чекистов») олицетворяют заместитель руководителя администрации президента Виктор Иванов, помощник президента Игорь Сечин, директор ФСБ Николай Патрушев, бывший министр внутренних дел, спикер новоизбранной Госдумы Борис Грызлов, министр иностранных дел Сергей Иванов, бывший замдиректора ФСБ Юрий Заостровцев, директор Федеральной службы охраны Евгений Муров. Ядро этой группировки сложилось еще в питерский период деятельности ее основных лиц. В то время они представляли скорее региональную бизнес-группу отчасти чекистского, отчасти милицейского происхождения. Многие члены этого клана (в частности, В. Иванов, Б. Грызлов, Н. Патрушев) были тесно связаны между собой перекрестным соучредительством в ряде коммерческих структур, находившихся под покровительством Комитета по внешним экономическим связям Санкт-Петербурга – то есть Путина.

Соратники Путина в бытность его вице-Собчаком, такие, как управделами президента Владимир Кожин и глава «Газпрома» Алексей Миллер, не являющиеся формально выходцами из КГБ, тоже входят в «новопитерскую» группу. Летом–осенью 2000 года на сторону клана «чекистов» переметнулся бывший «семейный» ставленник генпрокурор Владимир Устинов. Теперь он связан с чекистами и династической унией (дети Устинова и Сечина осенью 2003 года поженились).

Под административным контролем чекистского клана находится государственная система производства и торговли оружием. В частности, В. Иванов возглавляет совет директоров ОАО «Алмаз–Антей», образованный в результате слияния концерна «Антей» и ЦКБ «Алмаз» (производство систем противовоздушной обороны).

Теневым идеологом чекистского клана не без оснований считается архимандрит Сретенского монастыря Тихон (Шевкунов)[10]. О Тихоне Шевкунове ходят упорные слухи, что он духовно окормляет самого президента Путина и, особенно, его супругу.

В качестве основного политического инструмента чекистский клан выбрал себе было Народную партию Российской Федерации (НПРФ) Геннадия Райкова и Геннадия Гудкова. Однако НПРФ не преодолела 5-процентный барьер. Прикармливая НПРФ, «силовики» не оставляли своим вниманием и «Единую Россию».

Чекисты обратили внимание и на блок – теперь думскую фракцию – «Родина» С. Глазьева–Д. Рогозина. Вообще-то «Родина» была создана не без участия вездесущего Суркова – чтобы уменьшить процент голосов, поданных за КПРФ. Но затем Сурков помощь «Родине» приостановил, увидев, что она выходит за пределы обозначенной для нее задачи. А вот силовики, наоборот, предоставили свое покровительство «Родине» – по крайней мере, ее лояльному, рогозинскому крылу, – поскольку идеологически Рогозин им довольно близок, да и давно подает соответствующие сигналы. Это не значит, что чекисты непременно поддержат Рогозина на президентских выборах 2008 года. Пока что у новопитерской группировки предпочтительными являются скорее два других варианта: третий срок Путина (если он их не разочарует) или преемник из собственных рядов (С. Иванов, Б. Грызлов, В. Черкесов, Г. Полтавченко, В. Якунин).

В регионах чекисты предпочитают идти напролом, не стесняясь в средствах; меняют губернаторов – лишь бы было на кого. Это они по приказу мстительного Путина, не простившего Руцкому резкой критики гибели однофамилицы-лодки, свергли Руцкого в Курске, навязали ингушам своего Зязикова, интриговали в Якутии против Михаила Николаева, пытались сковырнуть Кирсана Илюмжинова в Калмыкии и Муртазу Рахимова в Башкирии.

Чекистам приписывают, и не без оснований, инициативу «нового курса» президента Путина – на передел «крыш» над экономическими структурами под предлогом восстановления некогда нарушенной законности. Сначала чекисты разгромили медиа-бизнес Гусинского, рассорили Путина с Березовским (Путин и сам, конечно, «рассориться» был рад), вытеснили Березовского из России. Затем они «наехали» на «Интеррос» Владимира Потанина, бизнес которого вырос под покровительством Чубайса, и, видимо, переподчинили его себе. Полугосударственный «Газпром» был очищен от частных коммерческих «прилипал», связанных с Черномырдиным–Вяхиревым, и облеплен другими коммерческими «прилипалами» (Eural TG).

Одна из подгрупп чекистского клана (Ю. Заостровцев и его союзники в прокуратуре) приняла чрезмерно явное и активное участие в борьбе за «крышевание» мебельного импорта, столкнувшись в этом с интересами «семейного» Таможенного комитета (М. Ваниным). Скандальное дело фирм «Три кита» и «Гранд» стало примером открытой борьбы государственных силовых структур за право «крышевать» бизнес. Если в других де-

лах чекисты как бы защищали государственные интересы и пытались посадить нарушителей, то в данном деле им не удалось надеть маску защитников госинтересов, поскольку Таможенный комитет пытался посадить бизнесменов-нарушителей, а ФСБ и прокуратура их защищали и пытались, в свою очередь, посадить следователей, пытавшихся посадить бизнесменов.

События, которые на слуху, – попытка загрызть и проглотить ЮКОС. Операция фактически удалась, хотя добычей чекистам, видимо, приходится делиться с «семейными». Очевидно, предполагаются и другие жертвы, хотя каждый магнат бизнеса, конечно, надеется, что лично до него очередь не дойдет или, по крайней мере, дойдет не скоро.

Чекисты вряд ли ставят под вопрос частную собственность как таковую (они и сами ею владеют, еще с петербургских времен). Но, похоже, у них довольно дикие представления об экономике частного бизнеса и имеется искренняя уверенность в том, что административное регулирование экономики – это благо, особенно когда речь идет о так называемых «стратегических» отраслях. Наконец, у чекистов напрочь отсутствует опыт управления бизнесом вообще и крупными активами в частности. Вместе всё это сулит экономике большие потрясения – если чекистская группировка и в самом деле прочно и надолго завладела ухом президента, тоже чекиста.

Позиции «чекистов» на главных телеканалах пока не сильны, хотя по заказу министра обороны С. Иванова и директора ФСБ Н. Патрушева производятся «патриотические» сериалы, которые демонстрируются по Первому каналу и каналу «Россия». Под финансовым контролем «православного банкира» С. Пугачева и идейным окормлением архимандрита Тихона Шевкунова находится возглавляемый В. Желонкиным Третий канал (бывшая «Московия») – второстепенный и малопопулярный телеканал, делящий одну и ту же частоту с лужковским ТВЦ. На этом же канале наиболее сильны позиции блока «Родина», в особенности «православных чекистов» – генерала Николая Леонова и журналиста Александра Крутова (оба избраны от «Родины» в новую Государственную думу). Намечено создание специализированного военно-патриотического телеканала «Звезда», лицензию на который уже получил министр обороны Сергей Иванов.

Основным кандидатом на пост премьер-министра от чекистов всегда считался С. Иванов – министр обороны «в штатском», у которого падают самолеты и вертолеты, тонут подводные лодки, ракеты не взлетают, солдаты дезертируют ротами и батальонами, а призывники умирают по дороге в часть от холода. Впервые слухи о назначении С. Иванова председателем правительства вместо Касьянова прошли еще в октябре 2000 года. В ответ на эти слухи противники такого назначения провели тогда спецоперацию в прессе. Газета «Стрингер» опубликовала «строго секретный» текст: «Тактико-техническое обоснование передачи власти от Президента РФ его преемнику с одновременным усилением роли государства в обществе». Текст этот попал в редакцию из неведомого источника. В публикации описывались действия, необходимые для того, чтобы Путин сначала назначил

некоего «Андропова-2» премьер-министром, а затем добровольно назначил его своим преемником. Под псевдонимами «Андропов-2» и «преемник» легко угадывался С. Иванов[11].

Неизвестно, поверил ли Путин в существование плана «Андропов-2» и в премьерские амбиции Иванова, но премьером Иванов тогда не стал. Помимо С. Иванова, обсуждаемым кандидатом от чекистской группы на пост премьера был Б. Грызлов, недавно ставший спикером Госдумы (а его пост министра внутренних дел перешел к другому ставленнику В. Иванова – Рашиду Нургалиеву).

Однако довольно неожиданно для всех правительство возглавил Михаил Фрадков – представитель России в Европейском союзе, «почетный контрразведчик России» и бывший министр налоговой полиции. Несмотря на свою ведомственную связь с КГБ–ФСБ, Фрадков к ядру группировки «питерских чекистов» ранее не принадлежал. Он в достаточной степени «свой» для чекистов и лично для Путина, чтобы ему можно было доверить пост «технического премьера», отнятый у «семьи», но и в то же время он не настолько «свой», чтоб его было не жалко в случае необходимости «спалить». Такая необходимость легко может возникнуть, например, в случае падения цен на нефть или неизбежного недовольства населения жилищно-коммунальной реформой.

Мэрия

В некотором отдалении от президентского «двора» находится четвертая по значимости федеральная олигархическая группировка, возглавляемая мэром Москвы. Административное крыло этого клана представляет руководство столичной мэрии – Юрий Лужков, Владимир Ресин, Валерий Шанцев, Иосиф Орджоникидзе, Олег Толкачев, экономическое – Владимир Евтушенков и Евгений Новицкий (АФК «Система»), Елена Лужкова-Батурина («Интеко»).

Под «крышей» мэрии в свое время выросли Владимир Гусинский и Михаил Ходорковский. Но Гусинский лишился покровительства мэрии еще в 1995 году, когда Лужков испугался обострения конфликта с Коржаковым – после антигусинской операции Коржакова «Мордой – в снег» в декабре 1994. Ходорковский, купив ЮКОС, ушел из-под мэрии накануне августовского дефолта 1998 года. Политическим инструментом мэрии является группировка Бооса–Володина в партии «Единая Россия» и ее думской фракции.

Один из самых влиятельных и умелых думских лоббистов мэрии, «едоросс» Александр Жуков занял после смены правительства пост первого – и единственного – вице-премьера. Несмотря на свои в целом либеральные взгляды, в тех случаях, когда возникал конфликт между либеральной теорией и практическими «интересами Москвы» (то есть мэрии), думский Жуков обычно выбирал мэрию. Это, правда, не гарантирует, что и на новом

посту Жуков сохранит лояльность Лужкову. Новоназначенный вице-премьер имеет неплохие отношения с некоторыми друзьями Чубайса, а с чекистами у него даже «родственная» связь: его отец, литератор Дмитрий Жуков, известный в прошлом борец с сионо-масонским заговором, по своей первой профессии был разведчиком.

Основной пропагандистский рупор лужковского клана – это телеканал ТВЦ, который наращивает сеть своего вещания по стране. Под контролем связанных с мэрией коммерческих структур находятся СМИ холдинга ЗАО «Системы масс-медиа» (газеты «Россія», «Литературная газета», информагентство «Росбалт», радиостанции «Говорит Москва» и «Общественное российское радио»). Ю. Лужкова поддерживают популярная газета «Московский комсомолец», издания холдинга «Совершенно секретно» (газеты «Версия» и «Совершенно секретно»).

Политические взгляды Лужкова и его окружения во многом близки к воззрениям силовиков: экономический антилиберализм, антизападничество, требования вести более «активную» внешнюю политику в «ближнем зарубежье» и на Балканах, стремление в полном объеме восстановить институт прописки (по крайней мере, в столице). По отношению к ближайшим соседям Лужков высказывается даже более внятно – вплоть до открытых претензий на Севастополь. Экономические взгляды у лужковского и чекистского кланов тоже в чем-то сходны. Жандармско-полицейское крыло олигархии предполагает построить в масштабах всей страны такой же зарегулированный капитализм, который уже существует в столице. Но при этом «голодные» питерские силовики завидуют «обожравшимся» московским чиновникам и не прочь «потрясти» их, как они уже «трясут» империю Ходорковского.

Ничто человеческое не чуждо и олигарху Путину (почести, увлечения, черты характера, семья)

13 января 2000 года Путин стал почетным доктором юридического факультета Санкт-Петербургского университета. С 29 января еще и почетным доктором Российской военно-медицинской академии. В мае 2000 года стал почетным доктором права Туркменского государственного университета. В 2000 году стал также: доктором юридических наук Университета имени Джавахарлала Неру; доктором Бакинского славянского университета, профессором университета имени Льва Гумилева.

В совершенстве владеет немецким языком – литературным и диалектом хохдойч (верхненемецкий), активно изучает английский.

Увлекается спортом, в частности, разными видами борьбы (дзюдо, самбо, каратэ), горными лыжами, 45 минут каждое утро уделяет бегу и гимнастике, еще час – плавает в бассейне. Методично начал заниматься спортом с шестого класса (1965) – в секции самбо ленинградского отделения

Добровольного спортивного общества (ДСО) «Труд». Мастер спорта по самбо (1973), как самбист выступал в весе 62 кг. Мастер спорта по дзюдо (1975), как дзюдоист выступал в весе 63 кг. Заслуженный тренер РСФСР, почетный президент федерации дзюдо Санкт-Петербурга, президент дзюдоистского клуба «Явара–Нева».

Очень осторожен, не любит принимать быстрых решений. В то же время, по словам самого Путина, в его чекистской служебной характеристике есть запись: «имеет ослабленное чувство опасности»[12].

Неравнодушен к комфорту. От Ельцина Путин унаследовал 12 президентских резиденций и пансионатов: «Ново-Огарево» (Моск. обл.), «Ватутинки» (Моск. обл.), «Русь» (Завидово, Тверская обл.), «Горки-9» (Моск. обл.), «Валдай» (Новгородская обл.), «Бочаров ручей» (Сочи, Краснодарский край), «АБЦ» (Москва), «Шуйская Чупа» (Карелия), «Волжский утес» (Самарская обл.), «Сосны» (Красноярский край), «Ангарские хутора» (Иркутская обл.), «Тантал» (Саратовская обл.). В марте 2001 года (одновременно с утоплением из-за финансовых проблем станции «Мир») управление делами президента обратилось в экономические министерства за согласованием программы реконструкции президентского пансионата «Ватутинки». Программа предусматривала, в том числе, закупку нескольких джакузи, стоимостью 2,7 млн долларов.

В дополнение к ельцинским резиденциям в 2001 году было принято решение перевести в разряд резиденций президента исторический Константиновский дворец в Стрельне под Петербургом, который ради этого предстояло перестроить. Стоимость проекта оценивалась в сумму от 50 до 150 млн долларов. В начале 2003 года Путин распорядился о переводе здания НИИ растениеводства имени Николая Вавилова, расположенного на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге, в ведение управления делами президента с целью использования его в качестве резиденции, поскольку Стрельня находится слишком далеко от центра города.

29 апреля 2003 года на Московском судоремонтном заводе была спущена на воду моторная яхта «Паллада» стоимостью около 4 млн долларов, предназначенная для морских выездов президента. Ранее Путин использовал находящийся на балансе Московского речного пароходства теплоход «Россия», а также теплоход «Кавказ», формально находящийся в ведении Федеральной погранслужбы[13].

Любит быструю езду. В юности сам водил выигранный в лотерею «Запорожец» и, по собственному признанию, «лихачом был». Однажды сбил человека (не насмерть), но «не виноват был, это выяснили»[14]. 12 декабря 1997 года служебный джип Путина № 256–00/77 насмерть сбил пятилетнего Дениса Лапшина. За рулем был личный шофер Путина Б. Б. Зыков. Дело № 1239 против шофера было закрыто по амнистии[15].

Из-за перекрытых улиц во время проездов президентского кортежа на улицах Москвы регулярно образуются пробки, случаются дорожные происшествия с тяжкими последствиями. В частности, такие аварии были

11 сентября 2000 года, 31 мая и 9 октября 2002 года. Обычно кортеж Путина занимает всю ширину дороги, сколько бы ни было полос движения, включая встречные. 4 июля 2001 года Государственная дума даже приняла обращение к Путину с просьбой прекратить практику перекрывания на многие часы дорог на пути следования президентского кортежа.

Дистанцируется от людей, не любит быть на виду. При разговоре избегает смотреть собеседнику в глаза. Знает наизусть раннего Маяковского, читал Генриха Белля в подлиннике[16]. Собирал записи в исполнении Вилли Токарева и Михаила Шуфутинского. Поклонник «девушки Никиты» – киллерши-суперагента из одноименного телесериала.

Играет в нарды. Любит заграничные поездки: в петербургский период его называли рекордсменом по загранкомандировкам среди всех чиновников. Любит праздники. Носит часы на правой руке. Не курит, практически не пьет. Страдает облысением лобной доли и височных частей головы. В октябре 2002 года прибег к помощи специалистов столичной клиники «Real Trans Hair», которые сделали ему пересадку корней волос с затылка на лобные доли[17].

Регулярно и умышленно опаздывает на 15–20 минут (иногда и более) практически на все заранее назначенные встречи и мероприятия, включая важнейшие межгосударственные, вплоть до встреч с президентом США, папой римским, английской королевой.

Автор статьи (на основе диссертации) «Минерально-сырьевые ресурсы в стратегии развития российской экономики», опубликованной в «Записках Горного института» за 1999 год. Соавтор (вместе с Василием Шестаковым и Алексеем Левицким) книги «Дзюдо: история, теория, практика» (СПб., 2000).

Награжден советским орденом «Знак Почета» и восточно-германской медалью «За заслуги перед Национальной народной армией ГДР» (февраль 1988 года). Лауреат премии «Человек года» за 1999 год. Лауреат премии «За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов» за 2001 год (премия учреждена Международным общественным фондом единства православных народов; знак и диплом лауреата вручены Путину 22 января 2002 года Алексием II).

Во время работы в Ленинградском КГБ носил среди сослуживцев прозвища «Моль»[18], «Крысенок»[19], «Капутин» и «Хапутин»[20], «Беспредельщик»[21]. Во время работы у Собчака Путина за глаза называли «Штази» и «Наш Штирлиц»[22]. В более поздние времена получал также прозвища: «туалетный Путенок» (листовка анархистов «Зачищающе-мочащее средство туалетный Путенок»), «Гадкий Путенок» (название сказки Натальи Бабасян), «Ути-Пути» и «Дутый Пу» (названия сайтов), «Лилипутин» (песня Романа Неумоева «Гулливер»). Детские клички: «Путька»[23] и «Путя»[24]. Президент США Джордж Буш, любящий всем давать клички, российского президента называет «Puty-Put».

Женат. Жена Людмила Путина (в девичестве Шкребнева), родом из Калининграда, дочь Александра Аврамовича Шкребнева – работника Кали-

нинградского ремонтно-механического завода (ныне покойного) и Екатерины Тихоновны Шкребневой – кассира автоколонны (на пенсии). Работала стюардессой, потом окончила филологический факультет ЛГУ. Поженились 28 июля 1983. (Года за четыре до женитьбы Владимир Путин уже подавал заявление в загс вместе с другой девушкой, тоже Людмилой, сестрой своего однокурсника Виктора Хмарина, однако в последний момент что-то произошло, и, как говорят злые языки, Путин, подобно гоголевскому герою, бежал из-под венца.)

После свадьбы молодожены жили с родителями мужа в коммунальной квартире в Басковом переулке в Ленинграде, там же были прописаны, в том числе и во время командировки в ГДР. В 1987 году Путин вместе с родителями, женой и детьми получил новую трехкомнатную квартиру (99 кв. м) в доме № 42 по Среднеохтинскому проспекту в Ленинграде. В конце 1992 года приобрел квартиру в капитально отремонтированном доме дореволюционной постройки на 2-й линии Васильевского острова.

В 1992 году на средства, заработанные им в Санкт-петербургской мэрии, Путин купил дачный участок (два соседних земельных надела – в 3302 и 3494 кв. м) в поселке Соловьевка Приозерского района Ленинградской области. К лету 1996 года на участке была воздвигнута двухэтажная дача, «похожая на дворец»[25], площадью 152,9 кв. м. «Дом был кирпичный, но изнутри обшит деревом»[26], с сауной на первом этаже. В августе 1996 года Путин с приятелями, в том числе мужем его секретарши Марины Ентальцевой, справлял в сауне «поминки по прежней должности»[27] – должности, утраченной благодаря проигранным Собчаком выборам. Попарившись, они искупались в озере и вернулись в комнату отдыха при сауне, не заметив, что парная за время их отсутствия загорелась. Младшая дочь Катя была на первом этаже на кухне и выбежала сразу, а старшая Маша и М. Ентальцева укладывались спать на втором этаже.

Обмотавшись простыней, Путин вбежал на второй этаж. Там он вывел дочь и секретаршу на балкон, привязал к балконной решетке несколько простыней и спустил по этим простыням Машу и Марину Ентальцеву вниз с балкона – муж Ентальцевой принимал спасаемых снизу.

Все наличные деньги Путиных сгорели вместе с дачей – поскольку Путины, как все истинно русские люди, хранили деньги (естественно, доллары) не в банке. Но и не в стеклянной банке, которая могла бы и не сгореть, а в портфеле-«дипломате». Эвакуировав со второго этажа дочь и секретаршу, Путин попытался отыскать «дипломат» со сбережениями, но не смог сделать этого в темноте, потому что электричество вырубилось почти сразу после начала пожара:

«И тут я вспомнил, что в комнате остался "дипломат" с деньгами, все наши сбережения. Я думаю: как же без денег? Вернулся, поискал, руку запустил туда, сюда... Чувствую, что еще пару секунд пошарю – и все, можно уже не спешить... Бросил, конечно, искать свой клад. Выскочил на балкон, пламя вырывается. Перелезаю через перила, хватаюсь за простыни,

начинаю спускаться. И тут нюанс: я же был в чем мама родила, успел только обмотаться простыней. И вот, представляете, картина: пылает дом, голый человек, обмотанный простыней, ползет вниз, ветер раздувает паруса, и вокруг на пригорке выстроился народ и молча, с большим интересом наблюдает. <...> Дом как свечка сгорел. Пожарные приехали. Но у них сразу вода кончилась. А озеро буквально рядом. Я говорю: "Как кончилась вода? Целое озеро же есть!" Они согласились: "Озеро есть. Но нет шланга". В общем, пожарные приезжали и уезжали три раза, пока все не сгорело дотла. <...> Пожарные, когда сделали экспертизу, пришли к выводу, что во всем виноваты строители: они неправильно сложили печку. А раз они виноваты, то обязаны возместить ущерб.

Первый способ – заплатить деньги. Но непонятно было, какие. <...> В общем, непонятно, как индексировать. Поэтому второй способ мне понравился больше. Заставить их восстановить все в прежнем объеме. Что и было сделано. Они поставили точно такую же коробку, сами наняли польскую фирму, и она все доделала. Строители сделали все это за полтора года. Все стало, как до пожара, и даже немножко лучше. Только сауну мы попросили вообще убрать»[28].

Видному чиновнику администрации Президента (каковым Путин стал вскоре после пожара) строительная фирма не смогла отказать в его пожелании «восстановить все в прежнем объеме».

10 ноября 1996 года восемь владельцев дачных поместий на берегу Комсомольского озера (Ленинградская обл., петербургский аналог Жуковки и Рублевки) – семь олигархов-начальников и их зубной врач – учредили дачный потребительский кооператив (ДПК) «Озеро»[29]. Соучредителями ДПК «Озеро», кроме Путина, стали директор АО «Знаменская» и президент Петербургской топливной компании (ПТК), совладелец ЗАО «Корпорация СТРИМ» Владимир Смирнов (председатель кооператива) – ныне переведен в Москву и возглавляет государственную атомную компанию ОАО «Техснабэкспорт»; еще один совладелец ЗАО «Корпорация СТРИМ» акционер банка «Россия» и бывший офицер КГБ под дипломатическим прикрытием Владимир Якунин (ныне первый вице-президент РАО «Российские железные дороги», созданного на основе министерства путей сообщения); совладелец банка «Россия» и руководитель «Корпорации СТРИМ» Юрий Ковальчук (Иван Рыбкин недавно назвал его «кошельком семьи Путина»), а также Андрей Фурсенко (совладелец «Корпорации СТРИМ», а ныне министр науки и образования). На территории кооператива – площадка для вертолетов, радиомаяк, метеорологическая станция; территория охраняется сотрудниками охранного предприятия «Риф-секьюрити».

У Путина две дочери – Екатерина (родилась в Ленинграде в 1985 году) и Мария (родилась в Дрездене в 1986 году). До 1999 года дети посещали в Москве «Немецкую школу им. Гааза» при посольстве Германии; после сентября 1999 года продолжили обучение там же по специальной заочной программе. Екатерина занимается ушу и изучает китайский язык.

Примечания

1. *Солженицын А.И.* К нынешнему состоянию России // Общая газ. 1996. № 47 (175). 28 нояб. – 4 дек.

2. *Платон.* Государство. Кн.VIII / Пер. А. Н. Егунова // Платон. Диалоги. М.: АСТ–ФОЛИО, 2001. С. 296–298.

3. *Аристотель.* Политика. Кн. третья и четвертая / Пер. Жебелева С. А., Гаспарова М. Л. // Аристотель. Политика. М.: АСТ, 2002. С. 84–85, 103, 132–171.

4. Там же. С. 144–146, 162.

5. Известия. 2000. 2 авг.

6. *Немцов Б.* Будущее России: олигархия или демократия // Независимая газ. 1988. 17 марта.

7. *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 27. С. 350.

8. Лит. газ. 2000. 9–15 авг.

9. Русский курьер. 2003. 24 дек.

10. *Вардуль Н., Смирнов К.* Колода российской федерации. Силовики (пики) // Коммерсант–Власть. 2003. 1–7 дек.

11. Антипутин. Необходимость отстранения президента от власти очевидна // Stringer. 2000. № 6.

12. Коммерсант. 2000. 10 марта.

13. Ведомости. 2003. 30 апр.

14. *Геворкян Н., Колесников А., Тимакова Н.* От Первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным. М.: Вагриус, 2000. С. 34.

15. См.: *Чернов А.* И. о. наследника // Кремлевские женихи и сводники: Сб. М., 2000. С. 19.

16. См.: Общая газ. 2000. № 2.

17. АПН. 2002. 22 окт.

18. Совершенно секретно. 2000. № 3.

19. Версия. 2000. № 13 (87). 4–10 апр.

20. *Мухин А. А.* Кто есть мистер Путин и кто с ним пришел. М., 2001. С. 7.

21. *Чернов А. И.* Указ. соч. С. 10.

22. Там же. С. 11.

23. Новый Петербург. 2000. 13 апр. № 15 (422).

24. *Мухин А. А.* Указ. соч. С. 7.

25. Общая газ. 2000. № 2.

26. От Первого лица. С.114.

27. *Питч И.* Пикантная дружба. Моя подруга Людмила Путина, ее семья и другие товарищи. М.: Захаров, 2002. С.144.

28. *Геворкян Н., Колесников А., Тимакова Н.* Указ. соч. С.116–117.

29. http://www.flb.ru/kremlin.html/.

Валентин Герман

ТЕРРОРИЗМ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИЗМА

Размышления аналитика

С началом нового века неожиданно появилось из небытия и «весомо, грубо, зримо» выступило на первый план всемирной, глобальной политики понятие *международный терроризм*. Разумеется, сам по себе терроризм проявлял себя в разных районах мира достаточно давно – и в течение XX века, и в веке XIX. Но он был всегда, так сказать, явлением местным, спорадическим, а тут вдруг он предстал перед мировой общественностью как явление общемировое, глобальное, т. е. уже организованное во всемирном масштабе. И это обстоятельство создало для мирового сообщества некую совершенно новую, непривычную ситуацию с проблемой безопасности и защиты от этого глобального терроризма именно в глобальном плане. Особенно ярко и знаково это новое явление (эта новая общемировая угроза) проявилось в известной воздушной атаке на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года.

Понятно, что политики (т. е. правительства ведущих мировых держав, ООН и т. д.) решают сегодня конкретную практическую проблему: как защититься от этого объединённого, централизованно управляемого и технически достаточно оснащенного терроризма? Но нам, простым гражданам,

Валентин Герман – режиссер, театровед, поэт, автор книг «Портрет Шекспира, или Личное дело Фрэнсиса Бэкона» и «Избранные переводы европейской лирики». Живет в России.

неожиданно столкнувшимся с такой непредвиденной и реальной угрозой для своей безопасности, необходимо, прежде всего, понять, что же происходит и почему? Откуда это на нас свалилось? В чём причина этого? Нам это нужно понимать и для того, в том числе, чтобы быть в состоянии правильно воздействовать на наших политиков.

Прежде всего, мы должны, очевидно, констатировать, что этот «новый», всемирный терроризм, в общем-то, не есть нечто абсолютно иное, чем тот терроризм, который ранее существовал в разобщённом, разъединённом виде в разных уголках мира, в разных странах. Иными словами – перед нами отнюдь не возникло из небытия некое совершенно новое явление, не известное прежде. Нет. Всё, что мы имеем нового, это мировое объединение местных очагов застарелого, закоснелого, давно навязшего у нас в зубах старого терроризма. Значит, нам, видимо, надо начать с анализа старого, традиционного, давно нам известного локального терроризма. Поняв его, мы поймём затем и причину его внезапного (или неизбежно закономерного) всемирного объединения.

Какой такой локальный терроризм существовал в минувшем XX веке?

Ну, это, прежде всего, терроризм палестинцев против Израиля. Причины его понятны: палестинцы считают Израиль захватчиком их земли и требуют её возврата, т. е., попросту говоря, ликвидации государства Израиль. Далее. Терроризм ирландцев (католиков), жителей Ольстера, бывшего когда-то колонией Англии, а потом, как известно, попросту аннексированного ею. И здесь тоже выдвигается требование отделения, освобождения, предоставления независимости или объединения с остальной Ирландией. Далее. Терроризм басков в Испании. Баски, живущие в провинции, которая так и называется Страна басков, тоже считают себя некогда насильственно покоренными Испанией и тоже требуют независимости.

Вспомним в этой связи и терроризм алжирцев против Франции, который существовал до того, как де Голль предоставил Алжиру независимость. Тогда многие французы считали Алжир составной частью Франции. И, тем не менее, де Голль освободил его, и алжирский терроризм против французов, естественно, прекратился. Правда, здесь существовала не только религиозная, но и этническая, и языковая пропасть – всё-таки алжирцы это арабы и мусульмане (они дальше от французов, чем ирландцы от англичан). Далее. Терроризм итальянских так называемых «красных бригад» – тоже в 60-е и 70-е годы XX века. Там же, кстати, по соседству (хотя это и Франция), менее масштабный, но более традиционный корсиканский сепаратизм. Террор «красных бригад» был частично похож на кратковременный террор так называемых «оасовцев» во Франции, т. е. на террор французских сторонников удержания Алжира силой в колониальной зависимости, которые боролись против де Голля и даже, помнится, приговаривали его к смерти за развал, дескать, «единой» страны. Террор на территории Европы может быть подытожен, наверное, югославским террором при развале единой Югославии на части, когда отдельные югославские народнос-

ти считали себя обделёнными именно в ходе этого развала (им не предоставлялась независимость, как, скажем, албанцам в Косове). То есть, опять же, формальной (или, иначе говоря, идейной) причиной этого террора была борьба за отделение, за независимость меньшинств.

Далее. Уйдём за пределы Европы.

Терроризм в Азии: в Индонезии, на Филиппинах, на Цейлоне, т. е. там, где фактически многие годы идёт партизанская война, в которой этнические меньшинства борются за свою самостоятельность против пытающегося подчинить их большинства населения этих стран. Схожие конфликты есть и в африканских странах (например, в Нигерии), и в некоторых странах Центральной Америки. Терроризм в оккупированном американцами и их союзниками Ираке – это, безусловно, очевидное партизанское сопротивление чужеземной оккупации.

То же самое представляет собой и терроризм в Чечне и за ее пределами. Тут речь идёт о самой настоящей колониальной войне России, не пожелавшей предоставить свободу и независимость своей бывшей колонии (силой захваченной в XIX веке и с тех пор насильственно удерживаемой под властью Москвы). Совершенно очевидно, что нынешняя Россия, получившая от канувшего в Лету СССР в виде наследства целый ряд присоединённых силой колоний, которые при коммунистах были перекрашены под свободные республики в составе так называемой «федерации», не хочет вспоминать об их изначальном колониальном статусе. Она объявляет их «неотъемлемыми частями» себя самой. Но это всего лишь корыстное политическое лицемерие, совершенно очевидное для народов, которые живут на этих территориях. Не случайно и то, что распад СССР, который многие русские (и особенно те, что остались жить в отделившихся от метрополии республиках, а фактически – бывших колониях) считают несчастьем, был так положительно воспринят коренным населением бывших так называемых «союзных республик», дождавшихся, наконец, независимости. Но – увы! – другие покорённые когда-то Россией народы, имевшие к моменту распада СССР статус не «союзных», а лишь «автономных» республик, независимости не получили (а они бы тоже хотели получить её) – это, прежде всего, Татарстан, да и некоторые другие «автономии». Всё это в полной мере относится и к Чечне, которая одна из всех «автономий» попыталась после развала СССР в 1991 году заявить о своей воле к независимости. В ответ Россия навязала чеченскому народу колониальную войну, а уже потом появился так называемый «чеченский терроризм». То есть, речь должна идти именно о крупномасштабной колониальной войне России с этой маленькой и многострадальной кавказской республикой.

Итак, мы видим, что практически во всех случаях местного терроризма в разных районах мира и в XX веке (т. е. ещё до возникновения так называемого «международного терроризма») в его основе (ещё точнее – в основе той идеи, которая рекрутирует из соответствующей части населения участников террористических групп) лежала и лежит борьба националь-

ных меньшинств за свои права с навязывающим им свою волю инонациональным большинством.

Это – главное, т. е. это основная причина явления, которое мы, представители большинства, или так называемой «современной цивилизации», предпочитаем не замечать до тех пор, пока оно остаётся очень локальной и очень скрытой от глаз широкой общественности Запада партизанской борьбой и пока оно не прибегает к методу откровенного терроризма (т. е. тотального устрашения гражданского населения посредством террористических актов или, попросту говоря, посредством убийства невинных людей). А то обстоятельство, что за этой борьбой, которая обусловлена вот этой главной причиной, могут скрываться и другие интересы каких-то финансовых, политических или криминальных групп, что эти группы могут финансировать эту борьбу, организовывать её, навязывать её участникам дополнительные идеологические мотивировки, предлагать им особые методы террора, использовать эту «священную» для кого-то борьбу в своих клановых и других интересах и т. п. – всё это есть лишь некая внешняя «надстройка», этакая «раковая опухоль» на теле изначально народной (т. е. «священной») борьбы. Нынешние мировые лидеры, которые открыто объявили поход против «международного терроризма», делают вид, что вот эта-то «опухоль», эта «надстройка» над народной борьбой и есть главный мотор «международного терроризма». Но это неверно. Это ложь, и – если говорить совсем откровенно – принципиальное нежелание видеть истинные причины латентной, скрытой борьбы этнических меньшинств за свои права, которую отдельные финансовые и властные группы просто стали использовать в своих целях, направлять и объединять в мировом масштабе. А наша «современная цивилизация», прекрасно устроившаяся на подавленных интересах меньшинств и опирающаяся на волю большинства (вспомним, кстати, и новейшие грузинские заявления о том, что «демократия – это диктатура большинства, и с этим надо примириться»), не желает вести с этими нацменьшинствами какой-либо диалог, требуя от них сначала отказаться от «террористических методов борьбы». Откажитесь от террора, и тогда мы с вами – может быть! – станем разговаривать. Так телега ставится впереди лошади, методы обсуждаются раньше причин борьбы.

Такова ситуация.

Между тем, сама западная цивилизация, западная либеральная демократия уже довольно давно формально отказалась от точки зрения, что демократия как таковая есть в принципе диктатура большинства, безусловно попирающая меньшинство и безусловно навязывающая ему свою волю (свои вкусы, мнения и свои порядки и формы бытования). В Европе и Америке теперь признаются права меньшинств, и то же самое большинство сознательно выступает при всеобщем голосовании в их защиту (в защиту прав этих самых меньшинств – и не только национальных, но и социальных и даже сексуальных). Но этот новый подход – увы! – предполагает в качестве обязательного условия определённое нравственное и интеллектуальное

созревание самого большинства, которое при этом номинально всё равно ведь остаётся единственным реальным фактором демократии. Если это большинство оказывается (как в той же Грузии) не готовым к защите прав меньшинств, оно их попирает. Но, как мы видим, и западное большинство сплошь и рядом не готово к тому, чтобы принцип защиты большинством прав меньшинств проводить последовательно и до конца: коль скоро некоторые меньшинства всё-таки де-факто вынуждаются этим же самым демократическим большинством к борьбе против него – вплоть до партизанских действий.

Но поставим вопрос: а что же это за силы, которые стали «раковой опухолью» на теле борьбы меньшинств-изгоев, которые вложили в неё свои деньги, дали в руки террористов современное оружие, которые объединили (или пытаются объединить) в мировое единство эти изначально разрозненные и сугубо местные очаги народного сопротивления? Те силы, которые сращивают низовую идею «священной борьбы» за свои попранные права с идеей фанатизма и самопожертвования, пестуя ужасных террористов-самоубийц, готовых жертвовать собственными жизнями во имя, в общем-то, бессмысленного убийства невинных и мирных жителей, стариков, женщин, детей…Что это за силы такие?

А это, как выясняется, силы сугубо маргинальные в современном мире, это силы прошлого, силы, как бы сказать, реликтовые, сохранившиеся в тех странах, где ещё до наших дней господствует, в сущности, феодальное средневековье. Это силы не только финансовые, феодальные, клановые, но и – в первую очередь – клерикальные. А феодальный, средневековый клерикализм – это клерикализм особого рода, это, по сути, в контексте нынешнего мира – тоталитаризм или, как ещё говорят, имея в виду именно религиозную его сторону, «фундаментализм». И «фундаментализм» только исламский. Не случайно в центре нынешней международной борьбы с «международным терроризмом» находятся как раз Усама Бин-Ладен и «Аль-Каеда».

То есть, я хочу подчеркнуть, что в некий всемирный союз объединились отнюдь не все местные терроризмы, существовавшие ранее, но только терроризмы исламского толка.

Почему же это произошло? А потому, что только ислам смог предложить этому всемирному объединению очагов местного террора, сопряжённому с качественным и масштабным усилением именно глобальной борьбы «международного терроризма» с современной цивилизацией, вполне подходящую для этого идеологическую базу. Эта идеологическая база всецело исходит из той средневековой и феодальной по своей сути ментальности, которая ещё сохранилась в главных странах ислама и являет собой его маргинальную интерпретацию.

В чём суть этой интерпретации?

Ответив на этот вопрос, мы поймём, почему эти исламские террористы прибегают к такому бесчеловечному способу борьбы за свои изначально справедливые (и попранные нами) права.

А дело именно в том, что руководящие современным терроризмом силы опираются на ментальность Средневековья – для Европы давно уже ушедшего в прошлое этапа развития мировых обществ, – связанного с феодальной системой власти и с клерикальным тоталитаризмом. Что характерно для такой ментальности? Прежде всего, её абсолютная неготовность принять современные общечеловеческие ценности, гуманизм или, как ещё можно сказать, характеризуя мировоззрение современной Европы, *человекоцентризм* современного мировоззрения. Что находится в центре этого маргинального ислама (ислама, сопряжённого не с современной либеральной ментальностью, а с ментальностью традиционно средневековой)? Прежде всего, это *богоцентризм* (в противоположность современному европейско-американскому *человекоцентризму*). Это значит, что для средневекового мировоззрения человек не есть самоценность, он – всего лишь атрибут Бога, Его слуга, Его раб, функция, всецело подчинённая Ему величина. Он не просто (как, скажем, для современного христианства или иудаизма) должен верить в бессмертие души и в её загробную жизнь и, стало быть, – в необходимость для себя заслужить посмертное, грядущее благополучие праведностью своей земной жизни, но он вообще не может мыслить себя и свою жизнь вне полного и абсолютного соподчинения и согласования с волей Бога и Его представителей на земле (т. е. священнослужителей, церкви и т. д.). Он (человек) не должен иметь своей воли. Он должен быть воином Бога, слушать Его приказы и беспрекословно их выполнять. Иначе говоря, по этим средневековым меркам всё общество должно быть, так сказать, «единым стадом Божьим», пасомым своими духовными «пастырями». Человек – сам по себе, вне этого общего стада – не может иметь никаких неотъемлемых прав и не может настаивать на собственной воле и на свободе от приказов своих духовных «пастырей». Вспомним, как в европейском Средневековье так называемых «еретиков» сжигали на кострах, не считаясь с их правами и с их собственной волей. Это вполне нормально в координатах тоталитарно-клерикального мировоззрения. И именно таково до сих пор мировоззрение исламских маргиналов. Поэтому они и могут со спокойной душой взрывать вагоны метро и сжигать в них заживо людей, которых они считают, со своей средневековой точки зрения, отнюдь не невинными, а нечестивцами и безбожниками – только на том основании, что у этих людей есть своя воля и свои неотъемлемые, как им представляется, права, независимые от приказов церковников. Они уже этим грешны и подлежат каре Божьей, а значит – их можно и нужно убивать. И с этой точки зрения терроризм исламских маргиналов – это не преступление, а богоугодный подвиг. То есть, мы тут имеем дело с очевидным конфликтом мировоззрений, с конфликтом разных цивилизаций. Бессмысленно взывать к человеколюбию террористов, бессмысленно и судить их по нашим, неприемлемым для них, законам за жестокость по отношению к мирным людям. Они этого всё равно не поймут и не примут. Они уничтожают неверных во имя Божие. И ожидают за это от Бога награды, а не наказания.

Таким образом, мы имеем сугубо идейное противостояние в современном мире двух сил: с одной стороны – современное мировое сообщество, выработавшее для себя некие общепринятые нормы международного права и категории прав человека, и, с другой – пытающийся противостоять ему этакий *интернационал маргиналов* (специфически исламский), ориентированный на ментальность клерикального Средневековья.

И вот спрашивается: что же нам делать с этой непримиримостью мировоззрений, как искать баланс между ними? Неужели – только вечная война? То есть – неужели нам остаётся только принять те условия соперничества, которые предлагает (или навязывает) нам противоположная сторона? И – либо оставаться вечно под дикими ударами террора (т. е. попросту подставляться под них), либо осуществить планомерный и сознательный геноцид этих маргинальных народов… Ясно, что ни то ни другое неприемлемо, потому что терпеть постоянные удары террористов – это кошмар, но и осуществить тотальный геноцид народов, из которых перманентно рекрутируются террористы, это значит, по существу, взорвать собственную ментальность, собственную стабильность, единство собственного мира. Где же (и можно ли вообще) отыскать какое-то спасительное третье?

Снятие проблемы, конечно, было бы возможно на пути определённой конвергенции, на пути какой-то компромиссной договорённости. Но это требует, как всякий компромисс, некоторых уступок с обеих сторон. Это очевидно. Возможно ли это?

Нам ясно как будто бы, что наш евро-американский уровень общественного развития более прогрессивен, чем уровень развития этих маргинальных обществ, что они отстали от нас на целую эпоху прогресса. Им ещё предстоит (предстояло бы – не дави мы на них нашей забежавшей так далеко вперёд реальностью) пройти весь тот путь, которым прошла Европа со времени своих собственных средних веков. Но им уже не удастся этот путь пройти самостоятельно: они уже увидели (в нас) своё, столь пугающее их будущее и вступили с ним в яростную борьбу! А мы? Можем ли мы силой навязать им его (это их будущее), преодолевая вот эту их борьбу, их сопротивление? Конечно, мы именно это и делаем (пытаемся делать, ибо у нас нет под руками никакого иного разумного варианта поведения). Но эта политика только оттесняет наиболее непримиримое ядро маргиналов в глубь их самоизоляции, откуда они продолжают (и будут продолжать, пока живы) свои кровавые вылазки. То есть, террор продолжается. И его активность и фанатизм только поддерживаются и продлеваются нашей же собственной непримиримой политикой.

Но давайте подумаем: в чём, в сущности, корень этой непримиримости?

Мне кажется, что он кроется в нашем обоюдном непонимании той реальности (той правды, того факта), что история развивается поступательно и закономерно, и что – в равной мере – как их отставший от нашего развития этап, так и наш, забежавший вперёд по времени этап – в одинаковой мере временны и преходящи. Они – в одинаковой мере – не есть венец и аб-

солют развития, а есть лишь некая временная стадия движущегося дальше, вперёд процесса, который мы должны бы осознавать и не пугаться его, не пытаться его затормозить, а, наоборот, – радостно поддаваться ему и отдаваться его уносящему нас вперёд властному потоку. Но мы (как и они) этого как бы не понимаем, не ощущаем. Нам (и им) кажется, что то состояние, в котором мы пребываем сейчас, вот на данном этапе бытия, это и есть абсолют, и никакого дальнейшего развития, никакого иного будущего нам уже не надо! Мы его не хотим и даже готовы стрелять, убивать, взрывать – только бы не допустить его. Вот ведь в чём всё дело, в чём загадка этой непримиримости.

Я подчёркиваю: эта психология отрицания дальнейшего развития присуща не только им – отсталым маргиналам, застрявшим в трясине прошлого, – но и нам с вами! Мы ведь тоже держимся мёртвой хваткой за наше состояние, за нашу культуру, за нашу ментальность. Забывая при этом, что это всё тоже преходяще и тоже устремлено куда-то в иное (ожидающее нас в будущем). Поэтому мы тоже не готовы ни к какому компромиссу с иной точкой зрения, потому что не ждём от неё никакой правды (более масштабной, чем наша сегодняшняя правда). И в этом наша ошибка.

К сожалению, человеку, как существу общественному, массовому, группирующемуся вокруг системы организующих его жизнь стереотипов, в большей мере свойствен традиционализм и консерватизм, чем творческий взгляд на себя самого и на общество со стороны, с некоторой дистанции, в перспективе нашего последовательного развития и становления в контексте исторического процесса. Мы, обыватели и потребители, борцы за наши блага и права, так широко на самих себя не смотрим и, в результате, не видим себя самих, не видим и не понимаем своего собственного развития.

Если бы это было не так, если бы мы ощущали себя в своей собственной эпохе как идущих куда-то, как перешагивающих с нижней ступеньки на верхнюю, мы бы, наверное, были более гибкими, более терпимыми, более готовыми к компромиссу. Но мы, даже будучи в принципе сторонниками прогресса и развития, больше глядим назад, на отстающих, на маргиналов, мы больше заняты борьбой с ними и с их отсталостью – от нас. А уж наше-то собственное передовое положение для нас как бы очевидно (это на фоне чужой очевидной отсталости), и мы не думаем о том, что и нас бы нужно подогнать, и нам бы стоило подтянуться, примериться к тому, что ожидает нас впереди.

А что ожидает нас впереди?

И – в частности – не новый ли неизбежный *богоцентризм*?

Впрочем, пока остановимся и не будем сразу совершать такой сложный интеллектуальный прыжок. Пока это всё ещё лишь достаточно праздные разговоры, которые ни к чему конкретному нас не ведут. А нам бы надо выйти на что-то более предметное.

Давайте спросим себя: а совершенен ли (до конца ли правилен и бесспорен) вот этот наш «человекоцентризм»?

Будем рассуждать свободно и непредвзято. Когда человек сам по себе уже есть высшая ценность, его, например, глупость не имеет какого-то особого значения: он уже всё равно самая высшая ценность (умён он или глуп, неважно). Но если он ценен не сам по себе, а лишь постольку, поскольку он приблизился к Богу, к Его мерилам и критериям, то вот тут-то и становится важен его ум, который и начинает цениться – в отличие от глупости. Не правда ли? В этом смысле человекоцентризм как идеология фактически понижает уровень человека, его культуры, понижает ту планку, которую Бог поставит перед ним, если именно Он будет определять его ценность – по делам и по уму его.

Но тогда как же мы должны понимать и трактовать Бога? Не как какое-то такое Вселенское Начало, которое всего лишь создало нас и тут же сказало, предоставляя нам полную свободу выбора: ну, вот, теперь плодитесь себе и размножайтесь в своё удовольствие!.. (т. е. – будьте независимы от Меня!) А как такое Начало, которое продолжает нас оценивать и сортировать в зависимости от нашей свободной жизни и от нашего ума. Разве такая точка зрения не вполне логична? Разве она ущемляет нас и нашу свободу? Да, конечно, ущемляет, если мы в принципе ничего не хотим знать о Боге и Его высших целях, если мы заняты лишь самими собой, нашей мелкой вознёй, как возня муравьёв в куче их муравейника! Но если мы отличаемся от муравьёв и – именно умом, – то не наше ли это благо и не в том ли оно, чтобы приобщиться через ум свой к Божьему Делу, творимому Им в этом мире? Но тогда ясно, что принципиальное содержание идеи «человекоцентризма» (т. е. «априори неотъемлемых прав человека», «общества потребления», «гуманизма» и проч., и проч.) очевидно несовершенно и отстало – отстало от того предназначения человека, которое проглядывает в самой парадигме разумных отношений Бога и каждого человека в отдельности (да и всех их вместе)?

В одном из современных западных фильмов подросток говорит отцу, призвавшему его прилежнее заниматься науками: «Наука – это прекрасно, но под неё нельзя танцевать!» И отец не возражает ему. Ему просто нечего противопоставить такому ценностному приоритету: радость жизни как таковая, согласно этому приоритету, стоит выше всего, что только лишь работает на эту радость (как всё общественное производство и вся служащая ему наука). Но на самом деле наука – это не служанка производства и потребления, а та часть человеческого сознания, которая как бы достраивает человека-творца до Бога-Творца, подключает его как частного творца к Основному Творцу, вводит его в систему Глобального Сознания и Глобального Творчества. А парень из фильма этого-то и не понимает, он думает, что пришёл в этот мир затем, чтобы танцевать! Но ведь, в сущности, точно так же думает и отец этого парня, и другие отцы, и вся современная западная цивилизация. И в этом заключается её кризис и её тупик. Это кризис и тупик *человекоцентризма* (а точнее было бы даже сказать – *танцецентризма*, т. е. тотального потребительского уклона всей нынешней цивилизации).

Иначе говоря, мы не можем не заметить, что закономерно и логично возникает некоторое сходство между этими рассуждениями и богоцентрической ментальностной платформой наших зловредных маргиналов. Вот ведь как!

Но тогда, соответственно, получается, что и воззрение этих наших смертельных врагов – исламских маргиналов-экстремистов – не такое уж безумное и отсталое, как это нам представлялось вначале! Не правда ли?

Хотя… А как же террор?

А что такое террор? Террор – это же, прежде всего, бескорыстная жертвенность и ещё призыв к принятию такой жертвенности как смысла человеческой жизни. О, как же это романтично (со средневековой-то точки зрения!)! И – в этом плане – терроризм это есть отрицание человекоцентризма и связанного с ним общества потребления (и бессмысленного гуманизма такого общества). Да, при этом возникает отсталая, средневековая трактовка человекоцентризма и гуманизма, крайне непонятная и неприятная нам. Возникает жестокость, чуждая нашему человеколюбию. Но ведь за всем этим стоит некий разумный смысл, который мы, как выясняется, понимаем и отчасти даже разделяем…

То есть, иначе говоря, эти замшелые маргиналы-террористы своими взрывами, как набатом, будят в нас самих, в нашем продвинутом гуманистическом сознании, некое прозрение и некую потребность понять весьма относительную и, по сути, преходящую ценность нашего человекоцентризма. Или, точнее говоря, я бы хотел призвать нас всех воспринять этот набат и сопутствующий ему призыв именно так: не как зов вспять, во мрак далёкого Средневековья, а как зов вперёд, к новому осмыслению бытия и к новому, если хотите, *гуманистическому богоцентризму*.

Стало быть, дело в том, что изжить ужас этого тотального маргинального террора можно только приняв отношение к смыслу жизни как жертвенному служению (но, разумеется, не в лоне древнего библейского мифа о Боге как Богочеловеке, а в лоне внеконфессионального, т. е. как бы теоретического, научного представления о Вселенском Разумном Начале, сотворившем нас и ждущем от нас некоторого разумного сотрудничества с этой Высшей Силой; иными словами, от нас не требуется возвращаться в жуткую средневековую ночь, отнюдь нет, но мы должны разглядеть наяву, на свету то, что лишь пугало нас в ночи своими плохо различимыми очертаниями).

Что мы, в сущности, имеем здесь?

Мы имеем здесь гегелевскую диалектику, т. е. такое представление о развитии Вселенной, которое отражает в себе неуклонную спиралевидность пути из прошлого в будущее. На этом пути движение вперёд происходит не прямолинейно, а кругообразно, с повтором предшествующих форм бытия на каждом последующем уровне продвижения вперёд. Если мы (человечество), развиваясь, перешли от «богоцентризма» к «человекоцентризму», это ещё не значит, что мы перешли от одного к другому раз и навсегда. И очень вероятно, что – двигаясь дальше по пути так называемого «прогресса», – мы будем вынуждены на новом, более сложном и сущно-

стно иначе организованном этапе снова как бы вернуться от «человекоцентризма» к «богоцентризму», но не к тому, средневековому, а к какому-то другому, новому «богоцентризму» (иначе понимаемому и иначе реализуемому в практическом действии людей). Подобная закономерность развития (во всём том сущем, что органически развивается и воспринимается нами таковым) многократно подтверждена всеобщим наблюдением. Так, может быть, и тут, в развитии человеческих обществ, эта закономерность объективна и неизбежна? И наш грядущий «богоцентризм», построенный уже не на средневековой жестокости, а на гуманизме, тоже неизбежен, закономерен в силу нормального развития всего сущего? Понимаете, читатель? Не есть ли перспектива духовного развития человечества – какой-то новый «богоцентризм», трактуемый как служение на базе науки (а не архаичной «веры») Высшему Смыслу мира? Вот как ставится вопрос…

Но если это так (в том случае, если это всё же именно так), не есть ли эта перспектива нашего развития, нашего движения в сторону нового «богоцентризма», в определённом смысле, реальная платформа для того принципиального компромисса с нашими маргиналами, угрожающими нам сегодня глобальным террором? Не сможем ли мы на этой основе действительно договориться с ними о бессмысленности кровавой войны на взаимоистребление, к которой, кстати, мы же сами их по нашему собственному неразумию и подтолкнули (не видя, не желая видеть нашего с ними перспективного совпадения в «богоцентризме»)? А тут – глядишь, – уловив вот эту новую богоцентрическую тенденцию в нашей цивилизации, поняв, что мы – не зацикленные на себе самих и на нашем потребительском разгуле человекоцентристы, наши маргиналы, убоявшиеся было своего собственного будущего, воспрянут духом и внутренне согласятся с такой перспективой развития мира? И тогда они перестанут взрывать себя, ибо перестанут отчаиваться, а значит – перестанут взрывать и нас с вами.

Вот о чём я предлагаю задуматься сегодня – в самом ещё начале нового, XXI, века бесконечной Всемирной Истории…

Михаил Хейфец

НЕИЗВЕСТНЫЙ СТАЛИН

Михаилу Абиру – с благодарностью

Сталин сложнее и глубже Гитлера.
Роберт Конквест

Опять о Сталине?

Прошло более полувека с того великого дня, как мы избавлены, наконец, от генералиссимуса И. В. Сталина. Минуло 13 лет с конца той эпохи, что была связана с существованием самого великого творения «вождя народов мира» – Союза Советских Социалистических Республик.

Но в России выходят все новые исследования жизни и личности этого «корифея» и «гения человечества». Читать не успеваешь. Почему в XXI веке вновь проявился в обществе живой интерес к личности самого страшного злодея в истории страны, самого великого государственного убийцы в мире?

Потому, что Сталин жив… Как сказал бы поэт, «Сталин и теперь живее всех живых». Не только в душах старушек, дефилирующих по улицам с портретами вождя, не только в сердцах бритоголовых молодцов с русифицированной свастикой на рукавах. Бывший вождь жив в каждом русскоязычном! Даже в душах тех, кто считал себя его врагами, кто давно уехал из созданной им страны... Все мы (я в том числе) несем печать харизмати-

Михаил Хейфец – бывший политзаключенный, историк, журналист, автор более десятка книг и множества статей, опубликованных в Израиле и России. Живет в Израиле.

ческой личности, наложенную на нас цельной системой, воспитавшей наших учителей, наших писателей, композиторов, художников, наших общественных лидеров. Наших родителей, наконец... Как говорил мне в юности друг, Владилен Травинский: «Все мы, Мишка, марксисты. Даже и возражаем Марксу в рамках его логики и его координат». Поправка: не Марксу мы возражали, а великому Сталину.

В чем, собственно, суть тоталитарной системы, принципиальное ее отличие от привычных миру, даже самых жестких диктатур?

В авторитарных режимах существенной ценностью считалась однаединственная: обладание политической властью. Наполеонов, Муссолини, Франко не интересовало, какими опытами будут заняты физики (химики, биологи), какие лирические стихи напишут поэты, в каком стиле намалюют полотна живописцы. Тоталитарная же, т. е. «всеохватывающая» система XX века, созданная Сталиным (Гитлером, конечно, тоже), отличалась властью *над душами подданных*. Важными считались не столько горизонтальные связи в обществе, сколько вертикальные – от вождя к подданным. Поэтому личность вождя: его взгляды, вкусы, предпочтения, культурные ассоциации – все оставляло след в душах граждан, даже тех, кто сам себе казался личностью, сопротивлявшейся системе...

Сталина долго превозносили его подданные и не-подданные («Споемте, товарищи, песню о самом большом человеке, о самом родном и любимом...»). Потом по-российски ретиво поливали его грязью. Но в любом из вариантов он оставался знаковой фигурой. Вспомним – для сравнения – посмертную судьбу второго тоталитарного вождя – Адольфа Гитлера. Для немцев он тоже был гением, новым мессией («Он пришел! Пришел!» – вопили женщины, когда он сходил с трапа самолета), но одновременно – и малограмотным придурком и «бесноватым фюрером». Распевали частушки типа: «Секира, мотыга, клей столярный, Гитлер был дурак изрядный»... Но вот настало иное время – и зазвучали иные речи. В документальном фильме (о моделях автомобилей 30-х гг.) я услыхал такую фразу: «Гитлер – самое ужасное чудовище, жившее на свете, но он был проницательным и очень умным политиком».

Думается, россияне дожили до того периода своей истории, когда многие, не забывая, что Сталин – потерявший душу живую монстр, начали ощущать, что им необходимо осмыслить эту фигуру во всей сложности ее немалых природных дарований и удивительных особенностей судьбы. Ибо, если некая личность смогла наложить печать на души миллионов сограждан, то социальную травму не излечить, если не понять специфику этого опаснейшего для народа историко-социального заболевания.

Сегодняшний поток книг о Сталине связан, конечно, с массивом секретной информации, которая в XXI веке стала медленно-медленно выползать из закромов упрятанных, прежде недоступных архивов.

Скудость сведений обычно связывают со специфическими особенностями тоталитаризма. Советский его вариант считается более лицемерным, чем, скажем, германский. Фюрер мог декларировать человеконенавистнические цели, искренно полагая их благом для своего народа и принципом жизнеустроения для человечества. Сталин – даже среди «своих»! – вынужден был провозглашать верность гуманистическим идеалам XIX века – свободе, равенству, братству народов, уважению к национальным культурам и прочей «буржуазно-либеральной белиберде». Двойственность идеологии (не двуличие!) порождала в головах и душах членов его партии фантастическую путаницу... Когда западные союзники опубликовали захваченные в Германии секретные протоколы к пакту Молотова–Риббентропа, Сталин публично отрекся от собственной подписи. И его преемники, получая из мидовских архивов российские подлинники тех же протоколов, отрекались от них – сорок лет (Впрочем, не всегда. К примеру, Громыко, ознакомившись с «закрытым пакетом» из Особой папки, скупо обронил: «Нас никто уличить не сможет». – *Безыменский Л.* Гитлер и Сталин перед схваткой. М.: Вече, 2002. С. 26; далее – *Безыменский*). Это стало традицией. Когда член Политбюро А. Яковлев в конце 80-х гг. сообщил о протоколах Съезду народных депутатов, он вызвал возмущение депутатов-коммунистов – против «клеветника-докладчика» (Там же. С. 21). Цинизм реальной сталинской политики, как выяснилось, оказался настолько велик, что даже единомышленники вождя не в силах были переварить в своих малых душах задокументированный его же подписью исторический факт.

Другой случай (для меня – личный). Тридцать лет назад я приятельствовал с соседом по дому, журналистом Анцеловичем. До войны он был руководителем ЛенТАССа. Рассказал следующее: «В ТАССе часто получали закрытые пакеты с надписью "Вскрыть тогда-то". Вскрывали и в указанный на конверте день помещали "Сообщение ТАСС" в прессе. Получил я пакет осенью 1939 года с распоряжением – вскрыть через две недели. Настало нужное число, вскрываю, читаю: "Вчера белофинны обстреляли пограничный участок территории нашей страны. Убито столько-то, ранено столько-то...". СССР объявил финнам войну. *Я поехал на место, проверил факты...* Но объясните, Миша, как наши могли за две недели до событий узнать, где и когда финны нас обстреляют?» Любопытно, хранится ли где-то это закрытое письмо ТАСС?

Многие секреты связаны с личными особенностями вождя народов. Сталин от природы был выдающимся актером и режиссером-постановщиком. Он испытывал наслаждение от дара перевоплощения, от продумывания эффектов вокруг запланированных в его воображении мизансцен, от неожиданных для публики финалов своих замыслов. Через полвека после его смерти историки все еще продираются через искуснейшие декорации, стараясь разгадать скрытый смысл игр, задуманных некогда Сталиным.

В принципе, жизнь хозяина Кремля – это цепь загадок. Например, когда Сосо родился? Кто был его отцом? Если сельский сапожник Джугашви-

ли, то как и когда он умер? (Однажды я читал психоаналитический докторат (!): мол, Коба убил отца – как положено по фрейдистским теориям.) За что Иосифа Джугашвили, почти выпускника семинарии, исключили из нее? Почему он назвал себя Кобой? Действительно ли участвовал в разбойных нападениях на инкассаторов? Как мог так часто и успешно бежать из ссылок? Не был ли он агентом охранки? Вообще – кто и почему покровительствовал в партии малоизвестному провинциалу? Как выдвинулся на первое место в ней инородец?

Далее: почему последовательно истреблял самых преданных ему людей? Включая любимую жену (независимо от того, как Надежда Аллилуева ушла из жизни, в любом варианте он, безусловно, виноват в ее гибели!). Как вообще складывались его отношения с женщинами?

Чем и когда вождь болел? Что любил почитать на досуге? Отношение бывшего семинариста, а потом революциониста к религии? Зачем Сталин вмешался в частную для политика проблему – в спор о генетике? Зачем ни с того ни с сего влез в вопросы языкознания?

Вопросы множатся. Был ли он русским националистом? Антисемитом? Хотел ли мировой войны? Или это тоже – очередной блеф?

Вопросам несть числа.

Личные секреты вождя

Старый еврейский анекдот: «Ребе, как записать год рождения сына? Если на год раньше, он на год раньше в армию уйдет. Если на год позже – годом позже вернется из армии...

– Так запиши, как есть.

– Ой, спасибо, ой, спасибо, ребе. Какая вы голова! Мне это и в мысли не входило!»

Некогда мы знали, что товарищ Сталин родился в Гори 21 декабря 1879 года. Теперь выясняется из документов, что родился он 8 июля 1878 года. Зачем и кому понадобилось указывать неверную дату рождения?

Возможно, все дело в маме-прачке, возмечтавшей, чтобы ненаглядный, единственный из троих выживший сыночек вышел в люди – получил образование, стал священником. Но в духовное училище отпрыск бедняцкой семьи поступил – из-за нужды – лишь в десятилетнем возрасте, переростком. Якобы, мол, для поступления в училище его и «омолодили», написав более позднюю дату рождения.

Если эта версия верна, то любопытно, что подделанную дату вождь сохранил на всю жизнь. Предполагал, что где-нибудь и когда-нибудь пригодится?

Другой странный факт. Все, вроде, знают: товарищ Сталин был небольшого роста. Как Наполеон, как Ленин! Оказалось – ничего подобного. Из медицинской карточки стало известно: рост – 170 сантиметров. По тогдашним меркам – средний. Откуда легенда о «карапете»? Кто и зачем ее сочинил?

Все слышали и другую легенду: якобы Сталин был сыном не сапожника Джугашвили, а... Перечисляются кандидаты. Самый популярный – путешественник Пржевальский (кажется, даже Светлана Аллилуева упомянула его в мемуарах). Но Пржевальский *никогда* не был в Грузии (в искомый период находился в Тибете). Портретное сходство между путешественником и вождем, как отметил в «Неизвестном Сталине» Жорес Медведев, «не является случайным» (*Медведевы Ж.* и *Р.* Неизвестный Сталин. М.: АСТ, 2000; далее – *Медведевы.* С. 331): Сталин не любил позировать художникам, не встречался с актерами – они использовали вместо модели фотографии вождя. Но снимков часто не хватало для приличного исполнения заказа – и у портретистов, оказывается, было модным использовать удобный по сходству объект – изображение Пржевальского...

Другой факт. Даже дочь Сталина написала: у отца было крепкое здоровье. Это общераспространенное мнение. Но сейчас выясняется (из медицинских карточек), что еще с сибирской поры он страдал туберкулезом и ревматоидным артритом (Микоян уговорил поехать лечиться «на воды», лечение помогло, отсюда проистекало особое внимание советских властей к курортам на Кавказе). Долгие годы страдал от болей в ногах, от острой диареи (проще – от изнурительных поносов). Даже Микоян, один из самых близких ему людей, про эту болезнь вождя не знал! Соратник издевательски рассказал, как во время единственной за четыре года войны поездки на фронт т. Сталин вдруг остановил машину, не доехав нескольких километров до передовой, и сходил по большому – прямо на шоссе, на глазах у своей свиты, а потом... вернулся в Кремль. Микоян, естественно, ехидничал – мол, пронесло товарища от приближения к огневой линии. Но Верховный, оказывается, болел диареей – сильно и очень давно. И неврастенией тоже. И болезнью Эрла. Измотанный недугами немолодой человек...

Как постоянные поносы, вечные боли в суставах, бессонницы, как все это отражалось на его политике, на принимаемых им решениях?

Давняя тайна – его отношения с женщинами. Публика воспринимала великого Сталина (после смерти жены) как отшельника-аскета (к слову, немцы тоже думали, что у фюрера нет личной жизни, он служит только Германии! Ева Браун официально числилась – для сотрудников – чиновницей, управлявшей загородной виллой). Теперь, когда архивы приоткрываются, выяснилось, что Коба, оказывается, считался «ба-альшим ходоком» по сексуальной части! Причем нравился он женщинам всю жизнь, с ранней, нищей молодости! Каково все-таки воздействие на «слабый пол» незаурядной личности, необычного человека... Недавно в личном архиве Сталина нашли письмо от некой женщины – она сообщала генсеку, мол, моя невестка, обратившаяся к Вам, т. Сталин, в Кремль, неведомо куда пропала... Суть в том, что невестка – «Ваша родственница», если захотите ее признать, «которой когда-то помогала Ваша мама. Она хотела показать Вам свои детские фотографии. Вы их когда-то видели». История могла бы показаться плодом фантазии (что теоретически вполне вероятно), но вряд ли

письмо фантазерки попало бы на стол Сталину, а, главное, не сохранил бы он сочинение какой-то там психопатки в личном архиве...

Историк, профессор Б. Илизаров, автор книги «Тайная жизнь Иосифа Сталина» (М.: Вече, 2002; далее – *Илизаров*), обнаруживший этот документ, вычислил, что, судя по тексту, «пропавшая молодая женщина» родилась в том самом году, когда Сталина выбросили из семинарии. Илизаров предположил, что изгнали его не за революционную деятельность (такова позднейшая легенда – исключительно со слов Сталина), а по хорошо знакомой советским людям причине – «за аморалку». (Я ни в коем случае не в укор фиксирую этот факт, упаси Господь! Просто напоминаю, какие неожиданности ждут нас на каждом шагу, когда мы касаемся его биографии.)

Судя по ряду свидетельств, у Кобы было, видимо, не менее четырех внебрачных детей (одного мальчика он даже пристроил в Москве на видный пост, т. е. позаботился о нем). В Курейке, где Коба отбывал ссылку, его, например, преследовал («придирался») стражник: поднадзорный соблазнил свою квартирную хозяйку, 14-летнюю девочку. Она родила Кобе двоих детей. Пришлось пообещать, что, когда девочка вырастет, он женится на ней. К слову, это чистые сплетни, что якобы годы спустя он силой (в каком-то поезде?) овладел секретаршей, юной гимназисткой Надей Аллилуевой. Девушка сама страстно влюбилась в него, ушла из дому и, едва ей исполнилось семнадцать лет, сделалась законной супругой члена Политбюро. Через многие годы Молотов в беседе с поэтом Ф. Чуевым заявлял (а Хрущев повторил в мемуарах), что Надежда покончила с собой из-за ревности: приревновала мужа не то к парикмахерше, не то к жене маршала Егорова (по версии Хрущева, – к вдове военкома Гусева, Е. Драбкиной). По мнению Молотова, ревновала она безосновательно... Но Б. Илизаров предполагает иное. Он разыскал дневниковую запись близкой родственницы вождя, Марины Сванидзе, сделанную ею после ареста стариннейшего личного друга Самого, Авеля Енукидзе. Тот был в Кремле полновластным распорядителем хозяйства.

«Будучи сам развратен и сластолюбив – он смрадил все вокруг себя, – Авель наслаждался *сводничеством* (курсив мой. – *М. Х.*), разладом семьи, обольщением девочек. Имея в своих руках все блага жизни, недостижимые для всех, особенно в первые годы революции, он использовал их для личных грязных целей, покупая женщин и девушек. Тошно говорить и писать об этом: будучи эротически ненормальным и очевидно не стопроцентным мужчиной, он с каждым годом переходил на все более юных и, наконец, докатился до девочек 9–11 лет, развращая их воображение, растлевая их... Женщины, имевшие подходящих дочерей, владели всем. Девочки за ненадобностью подсовывались им другим мужчинам... В учреждении (в Кремле. – *М. Х.*) набирался штат только по половым признакам, нравившимся Авелю... Стоило ему поставить интересную девочку или женщину, и все можно было около его носа разделывать» (*Илизаров*. С. 343). Профессор заметил – уже от себя: «Авель и Коба сошлись на любви к юным, скорее даже – к чересчур юным особам. Теперь, когда мы проследили некую тен-

денцию в интимной жизни Сталина, нетрудно поверить в то, что Авель поставлял девочек не только безымянным "нужным людям", но и другу молодости» (Там же. С. 344. Троцкий назвал статью про арест Енукидзе – «Каин, где брат твой Авель?»). Историк предполагает, что Аллилуева что-то чувствовала женским инстинктом: мужа она сильно и страстно любила!

К слову: их дочь, Светлана, полагает, что после гибели жены душа правителя России омертвела. Это личное событие, видимо, сказалось на ситуации во всем мире!

Товарищ Сталин и национальный вопрос

Основы личности человека заложены в детстве – это верно по отношению к любому из нас, и к Сталину, конечно, тоже. «Маменькин сынок» Сосо рос, как выясняется, страстным романтиком («Почему-то никто не замечает, что Сталин был необыкновенно романтической натурой... Любая революция делается романтиками» – *Илизаров*. С. 196–197). В Горийском духовном училище и в Тифлисской семинарии (где он проучился до зрелого возраста, до 20 лет) Иосиф отличался повышенной православной религиозностью. Е. Громов, автор книги «Сталин. Власть и искусство» (М.: Республика, 1998; далее – *Громов*), вспомнил статью в газете «Безбожник» («Как формировались атеистические взгляды товарища Сталина»), где цитируются воспоминания соученика вождя по духовному училищу: «В первые годы учения Сосо был очень верующим, посещал все богослужения, пел в церковном хоре... Хорошо помню, что он не только сам выполнял все религиозные обряды, но всегда нам напоминал об их соблюдении» (*Громов*. С. 38). Учитывая направленность газеты, Громов сделал вывод: «Сталин в детстве был не просто верующим, но едва ли не фанатично верующим человеком»! Историк обратил внимание на пометки Сталина на книге Анатоля Франса «Последние страницы. Диалоги под розой». Сталин подчеркнул слова: «Существование Бога есть истина, подсказанная чувством... Каждый раз, когда разум человека приходит в столкновение с чувством, разум оказывается побежденным». И далее: «Бог есть перекресток всех человеческих противоречий». И тут же записал на полях: «Разум – чувство. Неужели это тоже плюс-минус?! Это ужасно!»

Перелом в отношении к вере совершился у юного фанатика, видимо, в старших классах Тифлисской семинарии. Б. Илизаров обратил внимание на такой важный аспект личности Сталина: «Джугашвили – революционер с ущемленным национальным достоинством» (*Илизаров*. С. 198). В детстве, стихийно, мальчик овладел языками уличных приятелей – хорошо знал, например, армянский, азербайджанский, осетинский языки... Но в принципе способностей к языкам у одаренного и самолюбивого парнишки, видимо, не имелось: впоследствии он не смог овладеть языком тогдашней мировой культуры, «европейских Афин», – немецким. А очень хотел и очень

старался! И вдруг, в переломном возрасте, свершилась важная перемена в его развитии – в Тифлисскую семинарию пришла новая директива. Юных семинаристов стали жестко принуждать учить русский язык, и не как один из предметов (что делалось давно), но как *главный* язык веры и культуры...

Сталин столкнулся с противоречивым социальным фактором грузинской жизни. С одной стороны, присоединение к империи сыграло громадную положительную роль в судьбе Грузии и ее культуры. Через русский язык грузины приобщались к мировой цивилизации, сами становились ее неотъемлемой и оригинальной частью. Российская государственность давала грузинским дельцам выход на имперские рынки; русские штыки защищали грузин от наступления мусульманского моря, грозившего смыть с лица земли малый христианский островок на Востоке. Началось ускоренное развитие родины Иосифа Джугашвили. Все сие несомненно... Но плюсы сопрягались с важнейшим минусом – всегдашним ощущением неравенства. Социальные преимущества доставались лишь двуязычным гражданам, чужеязычная, пусть великая, культура раздражала своими кодами, вызывала у аборигенов аллергию, ощущение постоянного неудобства, неловкости, отторжения. Минусы «глобализации XIX века» умножались и личными особенностями российских колонизаторов, тех, кого Ленин позже в письме к Сталину характеризовал так: «Истинно русский человек, в сущности, подлец и насильник, каким является типичный русский бюрократ» (в другом месте написано: «Шовинистическая русская шваль». Особенно негодовал Ленин на грузинских помощников россиян: «Обрусевшие инородцы всегда пересаливают по части истинно русского настроения»). Известно, что кое с кем из деятелей такого типа самолюбивый и талантливый грузинский юноша столкнулся в семинарии, они тыкали ему в нос «необразованностью» (легко представляю, когда вспоминаю его тяжелый акцент и ошибки в сложной и для самих русских пунктуации их языка)...

Юный семинарист, между тем, писал стихи на грузинском языке. Публиковал их выдающийся мастер национальной литературы Илья Чавчавадзе. По оценке Илизарова, это были «очень хорошие стихи» (*Илизаров*. С. 198. Не владея грузинским языком, судить не могу). Обычно люди, тонко чувствующие оттенки родного языка, болезненно воспринимают силовую попытку начальства навязать им язык чужой. Троцкий в 30-х гг. явно угадал, съязвив по адресу своего будущего убийцы: «Сталин выучил русский язык из-под палки»...

Сосело (поэтический псевдоним юноши) впервые познакомился с языком империи не раньше одиннадцати лет, только в училище. И лишь в семинарии, т. е. где-то лет в 15–16, научился владеть им достаточно свободно (человек он был трудолюбивый, настойчивый, учиться любил). Но одновременно формировалось и резко отрицательное отношение к Российской империи. Эти чувства выразил в одобренной вождем биографии Анри Барбюс: «Управлять другими национальностями, например, грузинами, для царя означало – угнетать их. Можно сказать, что в те времена кав-

казские народности пользовались только одним правом – правом быть судимыми. Они имели лишь одну свободу – свободу стонать, да и то только по-русски. При таком порядке вещей в колонии, попросту прицепленной к территории господствующей русской национальности, естественно возникало националистическое движение с конечной целью освобождения Грузии». На X съезде партии Сталин сказал: «Старое государство, помещики и капиталисты оставили в наследство такие загнанные народности, как киргизы, чеченцы, осетины, земли которых служили для колонизации со стороны казачьих и кулацких элементов России. Эти народности были обречены на неимоверные страдания и вымирание». Цитаты эти интересны для историка, если помнить, что Кобу как спеца по национальному вопросу (и по национальным заботам империи) Ленин избрал в первые наркомы по делам национальностей. Можно догадываться, с каким удовольствием грузин разваливал в те годы Державу...

Но именно он и восстановит ее – причем в масштабах и пределах, каких она не знала в своей трехсотлетней истории! Еще один парадокс в общей цепи сталинских противоречий...

Каким был еще не Сталин, но уже – Коба?

В первые годы подполья Коба писал революционные тексты только по-грузински, причем это все – переводы русских партийных материалов. Лев Безыменский в книге «Гитлер и Сталин: перед схваткой» с гордостью заявил: «Одним из первых печатных произведений Сталина стала листовка, распространенная Бакинским комитетом РСДРП(б) в количестве 4 тысяч экземпляров. Вот текст, доселе не публиковавшийся» (*Безыменский*. С. 39). Далее следует сочинение об Августе Бебеле (Там же). Не удивляюсь, что текст не публиковался при жизни Сталина: стиль вовсе не его! Скорее, это переложение какого-то социал-демократического автора (мне кажется, что Каменева, главного русскоязычного партийного публициста на Кавказе). Впрочем, русскоязычные авторы-марксисты занимались таким же популяризаторским ремеслом, излагая для своей публики германоязычные труды.

(Лишь в 28–29 лет Коба напечатал первые строки на русском. Профессор Илизаров предположил, что крупные теоретические работы, вышедшие за подписью Кобы: «Анархизм или социализм?» или «Маркс и Энгельс о восстании» – были написаны им по рукописям, отданным в редакцию, т. е. Кобе, его рано умершим другом меньшевиком Г. Телия.)

Когда и как Сосело сделался Кобой? Где-то я читал, что «псевдо» явилось данью памяти любимому крестному отцу, священнику Якову. Однако каноническая версия, переписываемая из сочинения в сочинение, гласит: это имя литературного персонажа из повести В. Пшавелы «Отцеубийца» *(по свидетельству одноклассников, больше всех в национальной литературе Сосело любил Руставели и Пшавелу)*.

Илизаров размышляет над текстом этой повести: что же так сильно увлекло пятнадцатилетнего романтика Сосело Джугашвили в Кобе? Почему имя персонажа юнец избрал своей партийной кличкой? («Прошел как бы акт инициации».)

Коба – абрек. Решительный, жестокий, отчаянный, смелый. С кем воевал? Вот эпизоды, процитированные профессором:

«...Они ясно различили приближающихся солдат (русских. – *М. Х.*).

– Караульные! – Коба достал из чехла ружье.

– Дайте и мне ружье, уложу хотя бы одного! – сказал Йато. Он едва стоял на ногах, но зов свободы, ненависти и несправедливости... удесятерил его силы».

Грузинки ведут беседу:

«– ...Являются казаки, хватают баранов, хотят резать...

– Нет безбожнее никого на свете.

– А мой милый не стерпел, избил казака...

– Дай Бог ему здоровья».

Финал: вольнолюбивый Коба после гибели друзей в боях с русскими (и их прислужниками из местных) уходит спасаться в... Чечню! Пикантно – особенно в свете последующей политической биографии читателя...

Дарования молодого Кобы

Нынешние биографы открывают в этой личности многие неожиданные черты характера. Например, кто бы мог догадаться, что изнеженный грузинским югом ссыльный превратился в Сибири в удачливого и азартного охотника, умелого рыболова, кормившего в ссылке не только себя, но поддерживавшего добычей семью юной хозяюшки. Или другое: что этот большевик-ленинец избавится от ссылки, выразив пожелание идти... добровольцем на русско-германский фронт! Или что первые его шаги во всероссийской политической карьере состояли в том, что, вернувшись в столицу из Сибири, он сместил руководителя питерской большевистской организации по кличке... Молотов!

Коба, как подобает на Востоке, был беспредельно предан своему хозяину – Ленину. Он всегда безоглядно следовал за Лениным, но при этом в далеком 1917-м году грузин считался в Питере умеренным соглашателем, по-дружески общавшимся с земляками-меньшевиками (Чхеидзе и Церетели). В дни Октябрьского восстания Коба близок к оппозиции (Зиновьеву и Каменеву), а в решающий момент он пропал. Не из трусости, нет. Даже Троцкий признавал, что «лично Сталин – не трус», а уж в вопросах личной смелости Лев Давидович разбирался. Илизаров предполагает, что член ЦК провел решающие октябрьские дни на квартире очаровательной юницы Наденьки Аллилуевой. В моих, например, глазах, это хорошо характеризует темпераментного и страстного южного человека...

Вверх по карьерной партийной лестнице Сталина подталкивал именно Ленин. Коба импонировал вождю революции практичностью, трезвостью подхода к людям, особым и редким даром, который Илизаров называет «талантом редактора». Сталин не был от природы наделен творческим гением, не являлся созидателем новых идей, новых проектов (возможно, отсюда проистекало его благоговение перед Лениным, способным придумывать многое – новый тип партии, новый тип государства, например. Это были ленинские идеи, которые Сталин только обогатил и усовершенствовал). Но, наряду с могучей страстью к беспредельной свободе (формально она выражалась в стремлении к абсолютной власти), в партийном деятеле второго ряда с поразительной силой постепенно выявилось «инженерное начало», способность к конструированию. Можно спросить: к конструированию чего? Да всего на свете, в чем нуждался Ленин, а потом он сам – партаппарата, истории, литературы, сельского хозяйства, оборонной промышленности... По-моему, Илизаров точно заметил, что великим природным даром Сталина являлась «редактура» – она и помогла его выдвижению в вожди. Коллеги по Политбюро мечтали взвалить на «тягачка» то, что он умел и любил делать, – бумажную, бюрократическую, организационную работу в партии. Всевозможную канцелярскую волокиту. А себе они хотели оставить творческую работу... Оказалось, что прирожденный редактор умел организовывать не только циркуляры, переписку, резолюции, т. е. расстановку слов на бумаге, но и – расстановку людей во всеобъемлющем партийном аппарате! Это качество обеспечило ему победу над творчески более одаренными людьми (типа Троцкого), потому что в ходе истории выяснилось: именно редкий талант редактора, а не ораторский, не публицистический, даже не дар государственного строительства был востребован для получения абсолютной власти в государстве нового типа.

Некая пробежка – от основной темы

Любопытно мельком пробежать по страницам книги Жореса и Роя Медведевых «Неизвестный Сталин».

Их работа выполнена в «перестроечном ключе»: стиль легкий и увлекательный, используется масса новой, волнующей исторической информации. Однако... Сообщаемые сведения бывают поверхностными, факты часто неубедительны, выводы поспешны. К примеру, целый раздел уделен доказательству гипотезы, о том, что якобы Сталин в последние месяцы жизни продвигал в преемники... Суслова. Однако сам Ж. Медведев цитирует мнение Сталина, почему ему казался непригодным на роль наследника ближайший его сотрудник – Маленков: «Это писарь. Резолюцию он напишет быстро, не всегда сам, но сорганизует людей. Это он сделает быстрее и лучше других, а на какие-нибудь самостоятельные мысли и самостоятельную инициативу не способен» (*Медведевы*. С. 36). Что ж, подруч-

ных вождь, наверно, знал, но разве Медведев доказал нам, что Суслов – какой-то иной персонаж? Всю последующую жизнь «серый кардинал партии» лишь исполнял роль писаря-запретителя – не более того. С какой же стати Сталин мог захотеть старательного исполнителя повелений любого из первых лиц тащить себе в наследники?

Или – сообщается, что Куйбышев умер от... белой горячки (Там же. С. 95). Не спорю, пил мужик крепко, но причину смерти все же не грех документировать, скажем, ссылкой на какое-то медицинское заключение. Или сообщается, что певица Лидия Русланова вывезла в качестве трофеев из Германии сотни полотен русских художников (Там же. С. 101). Спору нет, советские мародеры грабили Германию жутким образом, но полотна русских художников Русланова приобрела в СССР (что известно из ее уголовного дела) на деньги, заработанные «левыми концертами».

Как положено благонамеренным демократам, Медведевы пользуются «демократическими» банальностями: «Ландау к этому времени уже быстро "признался" в своих несуществующих преступлениях» (Там же. С. 106). Но Ландау признавался не в несуществующем, а в реальном деянии: совместно с другом и сотрудником Корецем он составил первомайскую листовку, где Сталин приравнивался к партайгеноссе Гитлеру, а НКВД к гестапо... Или написано: «Неизвестно, был ли Сталин знаком с письмом Лидии Тимашук» (Там же. С. 29), хотя на оригинале письма любой в наше время может прочесть собственноручную резолюцию вождя: «В архив».

Все это я фиксирую с сожалением, ибо, повторюсь, текст повествует о многих увлекательных, мне, например, неизвестных эпизодах советской истории. Например, о негласном соревновании советских и американских физиков в создании водородной бомбы (первый советский атомный котел был, оказывается, создан на ста тоннах оксида урана, что подготовил Гитлер для своего атомного проекта); или, что, посылая в 1941 году «сибирские дивизии» спасать Москву, командующий Дальневосточным округом генерал Апанасенко мобилизовал в армию недомерков-юнцов и стариков в возрасте за пятьдесят лет, набрал командиров, освободив своей военной властью зэков из лагерей, сформировал из горе-новобранцев соединения под *теми же номерами*, что части, отправленные под Москву, и снабдил японцев дезинформацией: якобы прежние сосдинсния все еще стоят «у высоких берегов Амура»! Причем кормили «новые красноармейцы» сами себя в так называемых «военных совхозах» (ибо на части, числившиеся под одинаковыми номерами, довольствие из резервов Наркомата обороны не поступало), вооружались, переделывая всевозможные виды учебного оружия в боевое! Этот малоизвестный эпизод доказывает важный факт: Сталин отпустил в войну жесткие тоталитарные вожжи, дозволяя инициативным людям осуществлять рискованные проекты – и спас этим страну и свой режим.

(Если уж заговорили об Апанасенко, внесшем неоцененный вклад в общую победу, то его фамилия запомнилась мне вот в какой ситуации: на по-

следнем перед трибуналом допросе Тухачевского его следователь НКВД вышиб из маршала обвинительные показания на... Апанасенко. Карьере генерала это не повредило (что, к слову, показывает, насколько Сталин «доверял» показаниям), но убийственный компромат на своего верного солдата он, видимо, в НКВД заказал и «держал на запасном пути».)

Книга Медведевых кажется интересной как индикатор сегодняшних либеральных российских настроений.

Скажем, оценивая полемику Ленина и Сталина в 1922 году относительно создания СССР, Жорес Медведев высказался в пользу... Сталина.

«Сейчас, анализируя события предвоенного периода 1923–41 гг., можно ясно представить, что если бы "Союз республик" был создан по ленинскому проекту... то быстрая индустриализация страны, требовавшая жесткой централизации управления экономикой, была бы невозможна. Ленин возражал даже против централизованного управления из Москвы транспортной системой. С другой стороны, если бы вместо СССР с формальным правом республик на отделение и с различием между автономными и союзными республиками была создана лишь расширенная Российская Федерация, как это предусматривалось проектом Сталина, то это, безусловно, повело бы к более быстрой экономической, политической и этнической интеграции страны. Вместе с ускоренной русификацией происходило бы и реальное формирование "советского народа" по типу американского, не имеющего этнической основы... Появление "советского народа" на основе русского языка и объединения культур разных наций и смешанных браков было все же реальностью... Если бы СССР просуществовал дополнительно 40–50 лет, то советский народ остался бы в мире такой же реальностью, как американский» (*Медведевы*. С. 340).

Поразительно, насколько в мозгах либералов разлива 60-х гг. укоренилось это пренебрежительное игнорирование бытия национальностей, реального соперничества разных народов и культур. Интересно, как представляют себе Медведевы этот сплав нового народа из эстонцев и таджиков, русских и узбеков, украинцев и бурят?! Начинаешь понимать русский народ, который звереет, когда ему ставят в пример американцев. Авторы элементарно не видят, что американский народ (кроме индейцев) складывался из людей, *добровольно* отказавшихся от принадлежности к своим былым общинам. Они сознательно сделали заокеанский выбор, намереваясь стать интегральной частью нового народа. Предлагать же сегодняшнему русскому народу как положительный факт возможное его растворение в обширной массе других национальностей, пусть на основе русского языка, – значит провоцировать естественную ярость национального большинства против планируемого для него – « благими намерениями» – самоубийства!

Небольшое замечание. Между проектами Ленина и Сталина существо-

вало важное принципиальное несходство. Ленин предлагал строить вместо бывшей Российской империи что-то вроде будущего Варшавского пакта, где в принципе допускались разные варианты общественного развития – с опорой на местные реалии и традиции (скажем, «венгерский», «польский», «чешский» – на одном фланге и – напротив – «гедеэровский», «албанский» – на другом). Сталин же мыслил строить единую империю, управляемую из центра одним человеком (у сталинской империи имелись, естественно, свои плюсы – например, предпочтительные возможности для победы в схватке с другой тоталитарной империей). Весь этот фрагмент понадобился мне, чтобы вживе показать, как логика мышления и поступков Сталина все еще довлеет над душами тех, кто вроде бы считается его противниками.

Товарищ Сталин в роли читателя книг

Пожалуй, самое неожиданное для меня открытие в «новом» Сталине – необыкновенно обширный уровень образованности этого самоучки-семинариста!

Всю жизнь Сосело–Коба–Сталин учился по книгам. Он был страстным книгочеем, восполнявшим недостатки незаконченного среднего образования беспрерывным чтением.

Вождь народов СССР вел замкнутый образ жизни. Никогда не летал на самолете. За 30 лет был за границей всего два раза, и то под чужим давлением (в Тегеране и в Потсдаме). Редко выступал перед публикой, практически не давал устных интервью. Кабинет, квартира, дача – замкнутые ареалы его быта. Знание жизни, необходимое для руководства крупнейшей империей мира, повелитель черпал из прежнего опыта либо из докладов помощников, из документов. Но и из книг тоже. Из самых разных книг!

Видимо, еще в молодости стал библиофилом, но до революции быт не позволял дать волю страстному увлечению. Хотя в Курейке одна из наиболее порочивших его в среде товарищей история была связана с тем, что Коба не удержался, присвоил книги, оставшиеся после умершего в Сибири «великого строителя партии» – Иннокентия Дубровинского. Книги умерших в ссылке почитались коллективной собственностью «сидельцев», но в этом казусе Сталин, человек в быту скромный, не стяжатель, не выдержал – присвоил чужие книги.

Исследователям стали доступны воспоминания о юном Джугашвили, изданные некогда в эмиграции. Главное, пожалуй, что врезалось в память его соученикам, – как много и всякого разного Сосело читал. Например, из кондуита известно, что в семинарии Джугашвили сажали в карцер за разговоры о «неположенных книгах» – соклассник вспомнил, что это был «93-й год» Виктора Гюго. Другой товарищ говорит, что важную роль в переломе религиозного настроения Сосело сыграл произведший на того сильнейшее впечатление роман Тургенева «Отцы и дети». Е. Громов по кос-

венным признакам установил, что читал он «Заговор Фиеско» Шиллера, Ибсена, «Тартарена из Тараскона»... Изучив переписку с М. Цхакая, Е. Громов указал, что «практик подпольной работы» Сталин читал труды по философии – не только Плеханова, но и Дицгена, Маха, Авенариуса. Кстати, Маха и Авенариуса оценивал гораздо терпимее, чем его кумир – Ленин. Исследователь пишет: «В их интерпретации научного знания грузинский марксист усматривал и "хорошие стороны"... За догматическое непонимание этих "хороших сторон" им высмеивался Плеханов» (*Громов*. С. 34).

На меня немалое впечатление произвел такой опубликованный Громовым факт. В вологодской ссылке Сталин «дружил» с молодой девушкой из Тотьмы, Полей Онуфриевой. Много лет спустя Поля, жена местного завстоловой, рассказала отыскавшим ее сотрудникам Института Маркса–Энгельса–Ленина (ИМЭЛ): «Он постоянно заходил к нам на квартиру... Мы подолгу разговаривали о литературе, искусстве, книжных новинках. Больше всего эти собеседования шли в Александровском или Детском садах... Если мы бывали дома у нас, то вели себя свободно – читали, каждый про себя, что-нибудь» (Там же. С. 31). «Чудак Иосиф» (как он себя назвал) подарил на память Поле книгу, которую тогда штудировал, – «Очерки по истории западноевропейских литератур» искусствоведа П. Когана. С большой неохотой через десятилетия Поля пожертвовала ее библиотеке ИМЭЛа. Громов обнаружил там пометки Сталина. Коган, например, пишет: «Мы остановились далеко не на всех важных произведениях Шекспира», Сталин – на полях: «Совершенно не касается пьесы "Буря" – тема важной характеристики самого Шекспира» (Там же. С. 32). Так что, Шекспира он знал, оказывается, и довольно хорошо.

Став главой огромной державы, Сталин получил, наконец, возможность удовлетворять свою безмерную страсть к собиранию книг. В конце жизни в его личной библиотеке насчитывалось свыше 20 тысяч томов! Там можно найти уникальные экземпляры – например, прижизненные издания Пушкина или, что много уникальнее, исследование жизни Чернышевского, сделанное Львом Каменевым в последний его год перед арестом. (Выброшенный из политики, вице-премьер осуществил давнюю мечту – засел за научный труд о Чернышевском. Успел написать, сдал в печать, но вряд ли видел готовый тираж: его уничтожили после ареста автора. Но по приказу Сталина в его личную библиотеку доставили единственный уцелевший от уничтожения «авторский» томик – со штампом «Книгохранилище УСО ГУБГ».)

...К сожалению, сталинскую библиотеку «расформировали» после смерти хозяина (дети-наследники не имели пропуска в квартиру и на дачу отца и не могли взять хоть что-то на память из его личных вещей). Сотрудники ИМЭЛа сохранили примерно 300 книг, где обнаружены рукописные пометки хозяина (а в скольких – не сумели обнаружить?! Их до сих пор находят). В огромном количестве книг остались закладки (множество разноцветных полосок бумаги) или загнутые уголки страниц. Многое, однако, пропало.

Пометки на книгах – по-моему, самый ценный источник информации о

внутреннем мире Сталина. Великий интриган был очень скрытным человеком: думал одно, говорил другое, делал третье (отсюда проистекала его невероятная подозрительность ко всем, даже самым преданным ему сотрудникам). Вдобавок, едва ли не инстинктивно, он истреблял каждого, кто «слишком много знал» (как выразился Сам, объясняя дочери арест ее тетки: «Знала слишком много – и болтала слишком много»). И вообще – приближал к себе только тех, кто не вел личных записей (Поскребышева, Власика, Мехлиса – они потому и уцелели!). Но был у него, оказывается, один собеседник, которому он доверял, с которым позволял себе пооткровенничать. Книга, которую он в тот момент читал.

Книги не могли разболтать, выдать, предать. К ним никто не имел доступа, кроме него, – библиотека была личной (иногда, правда, разрешалось кое-что читать детям). Немало книг Сталин брал из общественных библиотек, но ничего не возвращал (только после его кончины директор Ленинской библиотеки набрался дерзости и попросил вернуть в фонды 72 книги, взятые скончавшимся пользователем. Тут-то и выяснилось, что на 62 библиотечных раритетах имеются рукописные пометки! Пришлось передавать не в Ленинку, а в ИМЭЛ).

Объем книжных интересов Сталина поражает. По его собственному признанию в беседе с «и примкнувшим к ним Шепиловым», ежедневно он прочитывал до пятисот страниц! Конечно, значительную часть составляли государственные и партийные документы, но и книги – немалую долю... Память у вождя с детства была великолепной, и другой знаменитый книгочей, Горький, удивлялся, как это, прочитав текст один раз, Сталин умел запомнить его наизусть!

Среди книг из Ленинки, взятых для домашнего чтения, значатся, например – из исторических сочинений – Геродот, Ксенофонт, П. Виноградов, Р. Виппер, И. Бельяминов, Д. Иловайский («ха-ха-ха! Дурак Иловайский» – помета), К. Иванов, Н. Кареев, 12 томов «Истории» Карамзина, шеститомная «История России с древнейших времен» С. Соловьева. Значились в списке «История русской армии и флота» (том пятый), «Мемуары князя Бисмарка», дореволюционное издание книги А. Богданова «Краткий очерк экономической науки» (это сочинение Сталин особо любил, в его каталоге содержится примерно десять разных его изданий – возможно, потому, что марксов «Капитал» давался ему с трудом – пометки есть только во вступлении к «Капиталу» и в конце, в выводах). Следует помнить, что множество книг после его смерти разошлись таинственным образом по частным собраниям. Так что нас, возможно, еще ждет немало открытий... Молотов, например, показывал Ф. Чуеву книгу с пометами вождя; известный историк М. Гефтер являлся обладателем первого тома собрания сочинений Бисмарка (1940 г. издания), где вступительная статья испещрена пометами Сталина. А классики марксизма! Ленин являлся постоянным источником размышлений и решений «наследника», его книги прорабатывались по многу раз – всегда с карандашом в руке. Например, «Материализм и эмпириокрити-

цизм» проконспектирован трижды (тремя карандашами)! Сталин, к слову, разыскал и собрал в свою библиотеку все прижизненные издания Ленина, включая редчайшие. В его библиотеке хранились книги политических оппонентов – Каутского, например, Зиновьева, да и многое иное, за что рядовой читатель без разговоров получил бы срок... Молотов говорил Чуеву: «Сталин, в общем, умел использовать и троцкистов, и правых, но когда потребовалось, тут уж, конечно, полетели щепки... Но не использовать таких лиц – тоже неправильно. А вот до каких пор можно использовать, тут можно и ошибиться: либо слишком рано с ними разделаться, либо слишком поздно». Троцкого, скажем, его главный враг читал внимательно и, как правило, судя по пометкам, – одобрительно! Впрочем, Илизаров предполагает, что вообще его ненависть к Льву Давидовичу сродни неприязни, даже ненависти актера к талантливому коллеге: она не мешает перенимать трюки и приемы конкурента.

Особенно интересовался Сталин историей Французской революции – еще в ссылке Свердлов давал ему читать Олара... Илизаров называет Сталина «самым свободным читателем в стране» – только ему позволялось читать то, что было запрещено всем прочим. В этом таился один из мощных источников его интеллектуального превосходства над своим окружением: он знал то, чего никто из ближних не мог узнать! Ценил, например, труды выдающегося историка Лукина (казненного родственника Бухарина – брата его первой жены). Пометы можно найти на книгах Сафарова, Квиринга, Ксенофонтова, Бубнова, Стукова, Сорина... Из неполитиков я бы выделил труды историка Р. Виппера. В личной библиотеке Сталина Илизаров не обнаружил капитальное сочинение Виппера об Иване Грозном, хотя оно оказало большое влияние на историческое мировоззрение Сталина («возможно, первое издание этой книги, 1922 года, с критическими замечаниями Сталина все еще хранится в архиве историка» – *Илизаров*. С. 93). Зато три книги Виппера: «Древняя Европа и Восток», «История Греции в классическую эпоху. IX–IV до Р. Х.» (обе – Москва, 1916) и особенно «Очерки истории Римской империи» (М., 1908) – испещрены пометами вождя. Последняя особенно нравилась «Хозяину империи»: в ней изложены основы римского империализма. Ради объективности добавлю, что книгу другого крупнейшего историка, С. Платонова, об Иване Грозном вождь тоже тщательно проработал.

Много книг в сталинской библиотеке по истории военного дела, в частности, артиллерии. Есть сочинения самого крупного военного теоретика России XX века – генерала Свечина, предупреждавшего об опасности модного «уклона в блицкриг» (Свечин был расстрелян в 1937 г.). Забавную байку, связанную с одной из сталинских книг, я нашел у Роя Медведева. До войны молодой профессор кафедры военного искусства полковник Разин представил в Воениздат рукопись двух томов из задуманной четырехтомной «Истории военного искусства с древнейших времен до Первой империалистической войны». Разин опирался на труды великого немецкого военного теоретика Клаузевица. Казалось бы, в чем тут грех? Энгельс на-

ходил у Клаузевица «пример хорошей диалектики», Маркс снисходительно заметил, что «у этого парня есть здравый смысл, граничащий с остроумием», а Ленин назвал германского теоретика «одним из великих и глубоких писателей по военным вопросам, чьи основные мысли сделались безусловным приобретением всякого мыслящего человека». Но после войны Сталин решил Клаузевица развенчать! Разин написал письмо в защиту германского мыслителя и получил от генсека прямой ответ: «Нужно покончить с незаслуженным уважением к военным авторитетам Германии. Что касается, в частности, Клаузевица, то он, конечно, устарел». (Мне думается, уже тогда у вождя рождался замысел будущей «борьбы с иностранщиной». Пока против немцев.) Письмо Сталина опубликовали, Разина уволили из армии и арестовали. Сталин, кстати, не знал ничего: это для ареста генералов требовалась его санкция, но Разин был полковником – хватило санкции Булганина (или кого-то из замов?).

Полковник попал в лапы Андрея Свердлова, сына Якова Михайловича, одного из самых свирепых следователей МГБ. Тот выбил Разину шесть зубов и... сломал его волю. Правда, Разин получил относительно скромный приговор – десять лет зоны (как шутили, «за "ни за что" дают десять лет»). Книги его, естественно, изъяли из библиотек. Но они остались в библиотеке Сталина. И, готовясь в 1950 году к встрече с Мао Цзэдуном, Сталин снял с полки и полистал томик Разина. Книга понравилась. Вождь вызвал секретаря и велел узнать: а что делает, где служит нынче товарищ Разин?

Что началось! Разина самолетом доставили из лагеря в Москву и обрядили в... генеральский мундир. Произвели заочно в чин! Берия лично извинился за «недоразумение». Генерал-майора вернули на кафедру. Но... поезд, увы, ушел: талантливый человек оказался навсегда сломлен и в переизданиях «Истории» клеймил Клаузевица... Кто бросит в него камень?

Сталин, Лев Толстой и Достоевский

Интересно размышлять о восприятии Сталиным художественной литературы и искусств вообще.

Что бы плохого ни говорилось о большевистских политиках (и многое справедливо), как правило, они были эрудитами, полиглотами, обладали недурным вкусом. Например, своим любимым поэтом Троцкий называл Есенина, любимым прозаиком – Бабеля. Бухарин дружил с Мандельштамом, высоко ставил Пастернака. И так далее... Кажется, только Ленин в этой компании видится человеком, глухим к художествам, всецело поглощенным политическими страстями.

Сталин – не исключение среди старых большевиков. По вкусам, правда, он, как многие его коллеги по партии, был... как бы точнее определить?.. либерал-народником. Искусство, считал он, должно быть понятно народу, воспитывать народ. Оно ценилось, прежде всего, как общественная сила,

помогающая читателям (зрителям) обогащать личный опыт общественными наблюдениями «больших мастеров» – писателей, музыкантов, художников. Но, повторяю, в те годы это было обычным восприятием искусства для многих вполне интеллигентных россиян. Ничем Сталин от массовой образованной публики не отличался.

Нужно держать в памяти грандиозный разрыв, который образовался в XX веке между искусством, пронизанным невероятным взлетом индивидуализма, освобождением личности от связей с обществом, коллективом (достаточно напомнить о кризисе фигуративной живописи, о появлении абстракционизма) и – современными этому же искусству общественными движениями, стремившимися создавать новые коллективы, вручавшие судьбы народов харизматическим личностям. Новые движения передоверяли судьбу и совесть целых поколений решительным нахалам, готовым с ходу и решительно отвечать на любые вопросы, мучившие сознание человечества, сбитого с толку мировой войной и Великой депрессией.

Но вернемся к «нашему барану» – к Сосело–Кобе–Сталину. Он всю жизнь был фанатом Шота Руставели (собирал все издания, все переводы «Витязя в тигровой шкуре» – что не помешало ему отправить лучшего из переводчиков поэмы, Заболоцкого, в зону). Пристрастился и к русской классике. Часто и обычно к месту цитировал Гоголя и Салтыкова-Щедрина. «Есть разная манера писать, – приводит Громов его рассуждение перед писателями. – Например, манера Гоголя или Шекспира. У них есть выдающиеся герои – отрицательные или положительные. Когда читаешь Гоголя или Грибоедова, то... все отрицательные черты концентрируются в одном лице. Я бы предпочел другую манеру письма – манеру Чехова, у которого нет выдающихся героев, а есть "серые" люди, но отражающие основной поток жизни». «По-видимому, Сталин-читатель более всего любил в литературе Чехова», – сделал общий вывод из изученного им материала Е. Громов (С. 258). Илизаров согласен с этим мнением. Стражник из Курейки через десятки лет припомнил, как его поднадзорный рассказывал «забавный анекдот» про какого-то человека «с лошадиной фамилией»...

Из более поздних классиков хорошо знал Горького. На встрече с вождем после войны секретарь югославского ЦК Джилас заговорил с вождем о литературе, в частности, похвалив «Жизнь Клима Самгина». Сталин возразил: «Лучшие вещи – другие: "Городок Окуров", рассказы, "Фома Гордеев"... С литературной точки зрения, ранние его произведения лучше». Видимо, по-своему он читал роман «Мать»: единственный персонаж, который, судя по пометкам на полях, увлек его, это не героический Павел, не Ниловна, а более сложный и неоднозначный образ – Рыбин. Знал, причем в подробностях, поэзию Горького: проверяя рукопись подготовленного к печати после войны сборника поэзии, напомнил составителям про упущенные стихи из рассказов Горького «Варенька Олесова» и «Мальва».

В тот раз Джилас заговорил со Сталиным и о Достоевском, страстным поклонником которого являлся. Серб выразил недоумение, почему к гению

столь осторожно, мягко говоря, относятся в Советском Союзе. Сталин сформулировал четко: «Великий писатель и великий реакционер. Мы его не печатаем, потому что он плохо влияет на молодежь. Но писатель великий».

И это не были фразы, сложившиеся под влиянием общепринятых предрассудков: сегодня, когда стали доступны книги из библиотеки Сталина, видно, что за его оценками кроются собственные размышлений над текстами.

Илизаров посвятил две главы сталинским пометкам на романах Толстого и Достоевского. Как минимум дважды, судя по цвету карандашей, генсек читал «Воскресение» (ACADEMIA,1935 г.). Особо интересны оценки изображенной Толстым революционной среды. Сталин жирно подчеркнул фразу: «Сначала, благодаря своей способности усваивать чужие мысли и точно передавать их, он в период учения... имел первенство и был этим удовлетворен... (Далее персонаж стал «революционистом», и Сталин опять чиркает карандашом. – *М. Х.*) ...Раз выбрав направление, он уже никогда не сомневался и не колебался и потому был уверен, что никогда не ошибался. Все ему казалось необыкновенно просто, ясно, несомненно... Самоуверенность его была так велика, что она могла только отталкивать от себя людей или подчинять их... Деятельность его состояла в подготовке к восстанию, в котором он должен был захватить власть и созвать собор... Товарищи уважали его за смелость и решительность, но не любили. Он же никого не любил и ко всем выдающимся людям относился, как к соперникам, и охотно поступил с ними, как старые самцы-обезьяны поступают с молодыми, если бы мог. Он вырвал бы весь ум, все способности у других людей, только бы они не мешали проявлению его способностей». Сталин подчеркнул: «Он относился хорошо только к людям, преклонявшимся перед ним»!

«Признаться, я не знаю, как все это непротиворечиво объяснить», – пишет в комментарии Илизаров (С. 393). Толстым явно изображен некий двойник Сталина, каким мы его знаем, однако – «невозможно не только Сталину с его гипертрофированным комплексом нарциссизма, но признаться в этом вообще невозможно любому человеку». Нужно, однако, помнить, что Толстой набрасывал не сталинский, а типовой портрет подпольного руководителя. В их среде Сталин жил всю свою зрелую жизнь, наблюдал изнутри, ему, конечно, любопытно было читать, как все это виделось глазами постороннего человека... Должно быть, видение было похожим на его собственное, вот и подчеркнул. А себя – не узнал в зеркале. Нормальное психологическое заблуждение...

Всего сталинских помет на «Воскресении» профессор насчитал тридцать, но еще больше – сорок! – обнаружил на романе Достоевского «Братья Карамазовы».

Шепилов донес до нас послевоенное мнение Сталина о великом писателе, переданное ему в качестве установки секретарем ЦК Ждановым:

«Ведь он написал не только "Записки из Мертвого дома" или "Бедные люди". А его "Двойник"? А знаменитые "Бесы"?.. Раскольников-убийца является порождением философии Достоевского... Философия "Преступления и наказания", по существу, не лучше философии "Бесов"... Товарищ Сталин сказал, – продолжал Жданов, – что мы, конечно, не собираемся отказываться от Достоевского. Мы широко издавали и будем издавать его сочинения. Но наши литераторы, наша критика должны помочь читателям правильнее представлять себе, что такое Достоевский».

Установку поняли: Достоевского более не печатали до смерти установщика. А ведь он говорил дочери, причем тогда же: «"Это был великий психолог". К сожалению, я не спросила его, что он имел в виду...», – заметила Светлана.

Что великого в «психологе Достоевского» узрел для себя Сталин?

Исследователям доступны четыре тома из того собрания сочинений Достоевского, что находилось в библиотеке Сталина: два тома «Дневников писателя» и два – «Братьев Карамазовых». Все сорок помет сосредоточены в одном томе – в «Братьях Карамазовых».

Поражает, что интересовал вождя не Великий Инквизитор, не Карамазовы. Его внимание сосредоточилось на одном образе. На старце Зосиме. Отчеркнуты, например, слова старца, обращенные к зловещему Федору Павловичу Карамазову: «Главное, не стыдитесь самого себя...». И чуть дальше – опять обращение к Карамазову-отцу: «Главное самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, стало быть, входит в неуважение и к себе, и к другим. Не уважая же никого, перестает любить, а чтобы, не имея любви, занять себя... доходит совсем до скотства в пороках своих, а все от беспрерывной лжи и людям, и себе самому. И ведь знает человек, что никто не обидел его и что он сам себе навыдумывал и налгал для красы, сам преувеличил, чтоб картину создать, и из горошинки сделал гору – знает сам это, а все-таки сам первый обижается... и тем самым доходит и до вражды истинной...»

Может, этот абзац и заставил его говорить со Светланой о «великом психологе»? Или другая фраза? Старец Зосима учит: «Любовь деятельная сравнительно с мечтательной есть дело жестокое и устрашающее» – Сталин это место жирно подчеркнул. И еще подчеркнул: «Любовь деятельная – это работа и выдержка». Он был деятельным человеком, вдобавок обладал огромной выдержкой и явно считал себя орудием Провидения – потому, видимо, и ощущал себя счастливым! Подчеркнул: «Все праведники, все святые... были все счастливые». Что ж, он действительно верил в личную праведность – высшую праведность избранника Высших сил.

А, может, есть иное толкование его высокого, хотя и опасливого уважения к Достоевскому? Например, Сталина явно волновали мысли другого религиозного персонажа, отца Паисия, о соотношении власти государства и церкви. «По русскому же пониманию и упованию надо, чтоб не церковь перерож-

далась в государство как из низшего в высший тип, а напротив, государство должно кончить тем, чтобы сподобиться стать единственной лишь церковью и ничем иным более. Сие и буди, буди». Мысль подчеркнута. Как и слова отца Паисия: «Не церковь обращается к государству, поймите Вы это. То Рим и мечта и его... А напротив, государство обращается в церковь, исходит от церкви и становится церковью на всей земле... От Востока звезда сия воссияет». От Востока? («Прямо и без обиняков» отец Паисий спрашивает в романе оппонента: «То есть вы... видите в нас социалистов?») В этой проповеди нового «папоцезаризма» Сталину явно слышалось что-то близкое своему идеалу организации власти в тридцатые годы, когда, числясь «главой церкви», т. е. партии, он лишь из-за кулис управлял государством!

Конечно, я пересказал лишь малую часть замечаний Сталина, зафиксированных исследователями. Моя задача – привлечь внимание читателей к незнакомому, неожиданно возникающему образу потаенного читателя русской классики.

Свободный человек и пределы свободы

Думается, неожиданности в сталинском образе порождаются контрастом между его немалыми интеллектуальными возможностями и пошлым, часто по-животному грубым поведением в быту.

В личной жизни он был, что называется, плебеем (мог, например, сказать недостаточно расторопному главе тайной полиции: «Смотри, морду набьем!» Мог похвалить наркома обороны: «Мировой вождь, едри его мать. Читал твой доклад – попало всем, мать их туды» (*Илизаров*. С. 105).Сыграли, конечно, свою роль воспитание в семье сапожника и манеры, которые формировала мужская компания хамоватых семинаристов (читайте Помяловского – «Очерки бурсы»). Его характер дозревал среди «простых людей», замышлявших, однако, переустроить мир, а потому считавших любые нарушения морали себе дозволенными. Барбюс так описал увиденную бытовую сценку: «Сталин смеется, как ребенок... В салонах, расположенных за бывшей императорской ложей, собрались руководящие деятели. Какой адский шум они там подняли! Какой хохот! Там были Сталин, Орджоникидзе, Рыков, Бубнов, Молотов, Ворошилов, Каганович, Пятницкий. Они припоминали забавные эпизоды гражданской войны... Гомерический хохот, юношеская жизнерадостность, мощное веселье – короткая свежая разрядка великих бурлаков реконструкции». Любопытно, всерьез ли эти «бурлаки» верили в дружественное веселье «своих»? Скоро трое из семерых будут расстреляны. Четвертый застрелится сам...

«Веселье» прямо-таки пенилось в этой компании в молодые 20–30-е годы: щеголеватому и аккуратному кавказцу Микояну подкладывали на стул помидор, выпившему Калинину подсыпали в рюмку соль и перец... По-детски веселились товарищи! Следы их шуток сохранились в письменной

форме. В архиве Маленкова нашли рисунок, сделанный Сталиным на заседании Политбюро в 1930 году (в разгар коллективизации). Вождь, оказывается, совсем неплохо рисовал... Тема рисунка: «За все нынешние и будущие грехи подвесить Брюханова (министра финансов. – *М. Х.*) за яйца; если яйца выдержат, считать его оправданным, если нет – утопить. И. Ст.». Ловко схваченный карандашом, Брюханов именно так подвешен вождем... Правда, его не повесят и не утопят. Его расстреляют.

А раньше, в 1923 году, Сталин несколькими штрихами изобразил близкого (в то время) друга, «нашего дорогого Бухарчика», как он его публично называл. Какая неприязнь (если не ненависть) уже тогда водила рукой шаржиста! Позднее Вышинский назовет Бухарина «помесью лисы со свиньей» – именно такая «помесь» и набросана, причем мастерски, в шарже на «друга, любимца партии»...

Грубоватое плебейство заслоняло от современников подлинного Сталина – его пороки, но и многие достоинства (вспомним в параллель, что шутовские манеры и позы Гитлера тоже скрывали от современников политические таланты фюрера и подлинность его злодейски страстного стремления уничтожить человечество). Думается, для Сталина абсолютная власть составляла главное наслаждение в его жизни – достижение высшей степени свободы. Только к ней, к полной свободе, он стремился, только ею жил. Он один безбоязненно читал то, что не смел и не мог читать никто другой, один говорил вслух то, чего не смел высказать никто другой (чего стоит признание, высказанное на весь мир в знаменитой послевоенной речи – о русском народе: «Любой другой народ прогнал бы такое правительство, как наше»). Примеров безграничной свободы вождя множество. Скажем, у него был хороший голос (любил с детства петь), и вот, с двумя бывшими певчими на клиросе, Молотовым и Ворошиловым, он затягивал, бывало, у себя на даче распевы типа «Спаси, Господи, люди твоя» и прочее в таком же стиле...

Многих и разнообразных дарований оказался человек!

Именно он рекомендовал МХАТу ставить «Любовь Яровую», зарубленную Главреперткомом. Вдумайтесь в сюжет: муж-белогвардеец спасает от гибели жену-большевичку, она в ответ передает любимого мужа в лапы чекистов... Поневоле поймешь цензоров! А т. Сталин приказал: это наша, большевистская, пьеса – ее и приняли. И до сих пор так именно и принимают зрители.

Справедливости ради отметим: даже единственно свободному человеку в стране всеобщего, хотя обычно добровольно наложенного на себя рабства тоже был положен некий предел. Даже ему! Чем? Собственными политическими заботами... Е. Громов выяснил, например, что руководители РАППа являлись не «леваками»-литераторами, какими раньше нам казались, а штатными сотрудниками аппарата ЦК, получавшими зарплату из кассы, контролируемой т. Сталиным. Не были они скрытыми троцкистами, как пытались нас уверить, а всегда были сталинскими кадрами. Их использовали, пока они казались полезными, однако... Однако и Сталину иногда

приходилось считаться с их предрассудками, предпочтениями, страстями. Вот, например, они безошибочно угадали в Булгакове самого крупного литератора России, но учуяли и то, как ненавидит он самый дух большевизма, потому и поливали «врага» с яростью правоверных партчиновников! А Сталин скрытно защищал «Дни Турбиных», ему пьеса понравилась – за талант. Мы же знаем, что у него был вкус к настоящей, высокой литературе... Т. е. скрытно защищал Мастера от своих же цепных псов... Но, с другой стороны, «Бег» не решился защитить – хотя ему и эта пьеса нравилась! Но – пришлось им уступить... За что они позже поплатились головами – уступать он никогда и никому ни в чем не любил.

Особенно сильно сталинская «несвобода» от собственной политической линии ощущается в истории с предсмертной пьесой Булгакова – «Батум». Пьеса официально была заказана МХАТом к 60-летию Сталина. «Непосредственно Сталин не выступал в роли заказчика. Это он счел бы унизительным для себя» (*Громов*. С. 126), но, конечно, вождь был в курсе и текст одобрил... Худсовет принял, Комитет по делам искусств утвердил, практически пьесу поставили. И в последний миг – запретили. Запретить хорошую пьесу о Сталине мог один человек – это понимали все. Удар оказался настолько мощным, что Булгаков не выдержал: заболел и умер. Вот запись в дневнике Е. С. Булгаковой (18.10.1939): «Сегодня было два звонка. Один от Фадеева... Генеральный секретарь, разговаривая с Немировичем, сказал, что пьесу "Батум" он считает очень хорошей, но что ее нельзя ставить» (Там же). Почему нельзя? Почему снят спектакль, который мог прославить Сталина в дни юбилея, как ничто иное из произведений искусства? Никто не смел спросить...

Мне видится проницательной версия, высказанная Е. Громовым: «Если бы пьеса пошла, это означало бы официальное признание "внутреннего эмигранта", "певца белогвардейщины", "антисоветчика" – первейшим советским драматургом. Всемогущий диктатор, но заложник собственной идеологической системы, Сталин на такой шаг не решился... Лучшую пьесу о себе генсек закрыл. Вынужден был закрыть» (*Громов*. С. 129). Такие случаи в его жизни бывали. Вождь, например, долго колебался, отдавая палачам лучшего своего публициста – Михаила Кольцова. Но... Вынужден был пожертвовать. «Дело требовало». Так же колебался, когда принимал решение о казни лучшего плановика страны, Николая Вознесенского. Благодаря расчетам и планам этого экономиста, выстояла и выдержала в войну советская оборонная промышленность, эвакуированная на восток. Сталин раздумывал: может, не убивать, а перевести в Госбанк, вдруг потом пригодится... Но – политический расчет взял вверх.

А вот маршалу Жукову – почему-то сохранил жизнь.

Да, иногда он щадил людей – из уважения к их талантам. Так произошло, например, с Шостаковичем. Сталин по-настоящему любил классическую оперу, особенно Мусоргского... Новый музыкальный язык Шостаковича, вообще современной музыкальной школы, казался ему непривычным,

чуждым, неприятным. Потому-то годами шедшая на сценах страны и во многих театрах мира «Леди Макбет Мценского уезда» вдруг подверглась гнусному поношению. Шостакович ждал ареста, но – не дождался. Почему? Может, секрет в том, что Сталин оценил его песни? Они-то были доступны ему по языку, и вождь лично дал за них Сталинскую премию первой степени. Может, расчетливый хозяин понимал, что уничтожить подобный талант легко, а вырастить его трудно?

То же относится к Пастернаку: видимо, Сталин доверял вкусу Бухарина или оценке Щербакова («этот блаженный»). А по Мейерхольду – ударил. И по Эйзенштейну (у Илизарова есть любопытное предположение, что за необъяснимой опалой на «Бежин луг» скрывалось противоречие между личными вкусами Сталина и политическими интересами, только в этой ситуации он выбрал личные предубеждения: не смог кавказский человек стерпеть прославления мальчика, предавшего отца. Сорвался и ударил-таки по излишне старавшемуся режиссеру!).

«Человек может все!»

Интересно поразмышлять, почему вождь народов СССР практически стал негласным соавтором установочного доклада академика Лысенко. В этом сюжете я различаю два пласта: зримый, ясный – биологический, и подспудный, но главный – философски-мировоззренческий.

Все, наверно, слышали байки о том, что якобы академик Трофим Лысенко был кем-то вроде Гришки Распутина, мистически убеждавшим неглупых вождей, Сталина и Хрущева, в правоте бредовых проектов, нелепость которых была каждому видна за версту... Поясню. Главная идея Лысенко сводилась к тому, что наследственных факторов (генов) не существует, наследственность зависит исключительно от внешних воздействий природы на живые организмы. Эта идея вызывала, попросту говоря, ухмылки в ученой среде. Однажды академик Капица спросил у биолога Лысенко: «Почему же, несмотря на тысячелетние воздействия внешней среды, женщины всегда рождаются девушками, а евреи – необрезанными?»

На практике, в полях, «открытия» Лысенко кончались обычно провалом. Тем не менее, десятки лет он был диктатором в биологии. Но после войны положение в сельском хозяйстве страны делалось все отчаянней. А в тогдашнем партийном аппарате, к несчастью для Трофим-Денисыча, работало много молодых, талантливых, неплохо образованных и, как правило (к слову сказать), русских по происхождению чиновников, которых Сталин перед войной выдвинул и обласкал. В их среде возникла идея убрать фанатика-авантюриста и выдвинуть в руководство биологией (а через нее – сельским хозяйством) ученых-генетиков. Первым это решил озвучить (исключительно как «личное мнение») один из любимцев Сталина, будущий его зять и сын второго секретаря ЦК Юрий Жданов. Но за спиной

Жданова-сына просматривался его шеф, заместитель Суслова Шепилов, а иногда приходит в голову догадка: что, если сам секретарь ЦК Суслов тоже был замешан в антилысенковскую историю?

Но интрига лопнула со страшным треском. Лысенко победил аппарат ЦК, что казалось невероятным. Смерть спасла от опалы (если не от гибели) и второго человека в государстве и главного идеолога партии – Андрея Жданова.

Как такое Лысенке удалось? И загуляли по Союзу слухи об оккультной силе непобедимого агронома. Более трезвые головы считали, что пружина его влияния – в личном увлечении Сталина ламаркистско-селекционными проектами. На дачах вождя строились теплицы, куда хозяин мог заходить через крытые проходы зимой и летом, любил возиться с растениями (как Ниро Вульф с орхидеями). В разговоре с Чуевым Молотов вспоминал: «Лимонник завел на даче... Все ох! Да ох! А я по совести, меньше других охал и ахал, по мне – на кой черт ему этот лимонник? Какая польза, какой интерес от лимонника в Москве, я не понимал. Как будто опыты какие-то проводил. Тогда надо знать это дело».

Знаменитый писатель тех лет Петр Павленко изобразил такой диалог Сталина с садовником:

«Глядя на Воропаева, он доказывал садовнику что-то, что их обоих, было видно, интересовало всерьез.

– Вы попробуйте этот метод, не бойтесь, – говорил Сталин, – я его сам проверил, не подведет.

А садовник... разводил руками:

– Против науки боязно как-то, Иосиф Виссарионович. При царе у нас какие специалисты тут были, а воздерживались.

– Мало ли от чего они воздерживались, – возразил Сталин. – При царе и люди плохо росли... Виноград и лимоны нам не только в наших краях нужны.

– Климат, Иосиф Виссарионович, ставит знак препинания...

– Приучайте к суровым условиям, не бойтесь. Мы с вами южане, а на севере тоже себя неплохо чувствуем... – Сталин сделал несколько шагов навстречу Воропаеву. – Вот садовник – сорок пять лет работает, а все науки боится. Это, говорит, не пойдет, другое не пойдет. Во времена Пушкина баклажаны в Одессу из Греции привозили как редкость, а лет 15 назад мы в Мурманске помидоры стали выращивать. Захотели – пошло... Все дело в том, чтобы хотеть и добиться».

Великие слова: «Все дело в том, чтобы захотеть и добиться»!

За роман «Счастье» Павленко получил Сталинскую премию первой степени, а премию такого ранга вождь присуждал лично.

...Что все-таки побудило генсека пренебречь мнением не только научного истеблишмента (чихал на спецов, «всех этих жебраков»!), но и мнением своего партаппарата?

...Мне видится, в конфликте биологических интересов оказались затронуты самые основы его мировоззрения, взглядов на жизнь и судьбу.

По Ханне Арендт, прожженных циников, создававших тоталитарный мир, «связывала глубокая и искренняя вера во Всемогущество Человека. Все возможно! Они, как и низшие касты, обмануты – но не заговором Уолл-стрита или евреев, но наглой и тщеславной идеей, что можно делать все, что все существующее можно преодолеть силой организации». Восстание Сталина против генетики видится мне этаким своего рода бунтом против Вышних сил, даровавшим человеку жизнь на Земле, но на условиях, которые не дано изменить, с которыми приходится считаться всякому – даже вождю. Но он не хотел, не мог с этим мириться. Воспринимал генетику как навязываемую ему природой силу, с которой Он, сам Он, вынужден считаться. Не будет этого – ибо, как сказано у Павленко, «надо только захотеть – и добиться». «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача!»

Здесь мы коснулись, наконец, темы, которую можно назвать так: Сталин и религиозное восприятие мира.

В отличие от Ленина, бывшего, видимо, стихийным атеистом, Сталина воспитали в истово религиозном духе. Да, порвал с традиционной конфессией, да, последовательно голосовал за жуткие репрессии против служителей культа, развязанные Лениным (Сталин видится в этой истории более верным сторонником вождя, чем «мягкотелый» Каменев, даже чем Троцкий, предпочитавший чисто политические меры разложения церкви). Правда, сам вождь скрывал личное участие в безбожных акциях, прикрываясь «воинствующим безбожником» Емельяном Ярославским, но на деле, как ясно из сохранившихся архивных бумаг, Емельян был лишь преданным рабом Сталина. Впрочем, вождь однажды сам обмолвился: жалеет, что большевикам не удалось физически уничтожить церковь!

Тем не менее...

Гитлер сказал: «Тот, кто считает национал-социализм чисто политическим движением, не понимает в нем ничего. Национал-социализм – это больше, чем религия». Для Ленина, возможно, идеология была лишь социальным орудием (впрочем, и Ленин отмечал у себя особый дар, который по-научному – а как же иначе? – он называл «антиципацией», в переводе – предвосхищением). Но для Сталина большевизм означал много большее, чем просто политическое учение.

Лениным он восхищался, угадав в нем природный дар провидения. «В дни революционных поворотов, – вспоминал он после смерти Учителя, – Ленин буквально расцветал, становился ясновидцем, предугадывал... вероятные зигзаги революции, видя их, как на ладони». Ну, а кем он видел себя самого – подле и потом, после кончины Ильича?

Сталина не оставляло ощущение, что в его судьбе свершается некий замысел Вышних сил – чувство, свойственное многим людям, достигшим – благодаря исключительному, невероятному везению – исполнения всех грез и желаний (Мухаммед видел, как его устами говорит архангел Гавриил, Наполеон верил, что прозрения на поле боя диктует ему «красный человечек», являвшийся в видениях). Сталин...

У Сталина имелась странная привычка писать и рисовать, заполняя каракулями пустые места на страницах блокнотов, тетрадей, книг. На экземпляре пьесы А. Толстого («Иван Грозный») Э. Радзинский наткнулся на надпись – «Учитель» (такую же надпись он обнаружил на книге Троцкого). Пошли разговоры о том, кем же были его истинные учителя... Но при проверке этого факта Илизаров установил, что наблюдение Радзинского оказалось... ошибкой. Надпись «Учитель» (всегда с большой буквы) была начертана на десятках книг из библиотеки Сталина, в его блокнотах, в его тетрадях. Часто она соединяется росчерком с буквой «Т», или – иногда – с тремя буквами: «Тиф».

Это слово, часто им повторяемое, отражало некую внутреннюю заботу, некое скрытое от всех размышление Сталина, в которое он то и дело погружался – во время чтения книг, на заседаниях, в ходе каких-то производственных совещаний... «Хронологически эти надписи охватывают почти весь период сталинского правления и не имеют никакого отношения к смыслу напечатанного в книге, и, скорее всего, через моторику сталинской руки отражают его глубинную психологическую установку» (*Илизаров*. С. 78). Какую именно?

Илизаров расшифровал надпись так: она гласит – «Учитель из Тифлиса».

«В истории человечества, – пишет он, – "Учителями" называли, главным образом, пророков, в особенности первенствующего среди них – Иисуса из Назарета. Согласно евангельской традиции, Иисуса... стали именовать Учителем простых людей ("рабби" – *по-древнееврейски*)... Затем он прошел обряд посвящения у Иоанна Предтечи, как Сталин у Ленина. Надеюсь, мне простится столь кощунственное сравнение, но оно лежит на поверхности. Как "Учитель из Назарета", будучи по времени вторым после Иоанна Крестителя, стал в силу Божественной благодати первенствующим, так и "Учитель из Тифлиса" возвысил себя над всеми, в том числе над великим предшественником... Нынче всем известен только один "Учитель из Тифлиса"» (*Илизаров*. С. 79).

Все сильнее и сильнее ощущал он себя мессией – по-еврейски, машиахом. Спрашивается, какие же законы генетики смеют препятствовать воле машиаха?!

(«Однажды, читая Анатоля Франса, он отчеркнул: "Если бы нужно было выбирать для себя религию, Наполеон избрал бы обожание солнца, которое все оплодотворяет и является настоящим богом земли" – и сбоку приписал: "Хорошо!"» – Илизаров. С. 40*)*.

Пойдем дальше. Атрибутом машиаха неизбежно является народ-богоносец, Избранный народ. Мог он выбрать на эту роль евреев? Никак. И не потому, что якобы был юдофобом. Да, был хамом и по-уличному мог оскорбить не понравившихся ему евреев, назвав «жидами». Но – выдвигал преданного Мехлиса, работящего, как паровой молот, Кагановича и многих-многих других. *(Кстати, Ленин не потерпел бы в своем близком окружении подлинного антисемита – у В. И. была острая аллергия на данное явление.)*

Антисемитизм, который совершенно справедливо усматривают в политике Сталина последних примерно шестнадцати лет правления, имел источником не неприязнь к евреям, тем более – не разочарование политикой Израиля, как предполагают некие политологи. Антиеврейские тенденции стали обозначаться в его политике, в том числе кадровой, по-видимому, с 1936–37 гг., т. е. задолго до союза с Гитлером и тем паче до появления Израиля.

Мне видится, что личность Сталина претерпела весьма традиционный в XX веке процесс эволюции. Когда является машиах, ему нужен народ-богоносец. Наилучшей, в сущности, единственной кандидатурой для Сталина в богоносцы мог быть только один народ – русский. Молотов (опять же в беседах с Чуевым) вспоминал: «Не зря Сталин занялся вопросами языкознания. Он считал, что, когда победит мировая коммунистическая система, а он все дела к этому вел (! – sic. – *М. Х.*), главным языком межнационального общения станет язык Пушкина и Ленина...» Но когда народ-богоносец уже явлен миру, его претензия на Избранность наталкивается на древнюю и потому более обоснованную еврейскую заявку. Хотели того евреи или нет, они виделись конкурентами любым богоносцам. Это им была обещана грядущая победа – что чудилось нестерпимой обидой для всякого нового богоносца. По-моему, не был Сталин ни антисемитом, ни русским националистом – он был лжемашиахом, который перед Богом сделал ставку на русских – и потому естественным соперником ему виделись евреи.

Такой мне видится сия мистическая история.

Последнее слово: печать!

На чистых листах книги Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» Илизаров нашел запись Сталина:

«1) слабость

2) лень

3) глупость

единственное (им подчеркнуто. – *М. Х.*), что может быть названо пороком (слово подчеркнуто. – *М. Х.*).

Все остальное – при отсутствии вышесказанного – составляет, несомненно, добродетель (им подчеркнуто. – *М. Х.*).

NB! Если человек

1) силен (духовно)

2) деятелен

3) умен (или способен)

– то он хороший (им подчеркнуто. – *М. Х.*), независимый от любых пороков» (*Илизаров.* С. 81).

Здесь как бы изложена суть его видения мира, его, если хотите, главная установка. Человек должен быть силен, деятелен и умен – ничего другого не требуется для добродетели. Этакий культ силы и деятельности – без

оглядок на мораль и без долгих размышлений («чего думать – делать надо!»). Эти принципы он и вложил в свой народ, в своих подданных. В нас с вами.

Соблазн велик, ибо кажется, что эта упрощающая формула ведет к успеху – в жизни и истории. Как у него самого, у великого вождя!

Но грандиозные достижения вождя продержались ничтожно малый для истории срок – менее сорока лет. Все созданное им развалилось. В 1943 году он сказал Молотову: «Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет ее». Что ж, мусора, правда, понанесли. Но останется он в истории символом все-таки если и не личного банкротства, то – угрозы бытию человечества.

Мессир Воланд, покидая Москву, увидел приближавшегося к нему ее повелителя и сказал: «Мне нравится то, что он делает». «Прогрессивные публикаторы» выкинули сей абзац из известного нам текста: не гоже, мол, великому Булгакову положительно судить о наместнике Воланда на земле. Они, видимо, забыли, кто есть Воланд для человечества и, соответственно, – кто есть его любимец, пусть и одаренный всяческими талантами.

Если перевести термин «лжемашиах» на русский язык, то ближе всего окажется значение – антихрист. Со всеми плюсами и минусами данного образа в религиозном российском видении. В той стране всегда находились люди, очарованные талантами любимца Сатаны…

Бенедикт Сарнов

ОГОНЬ С НЕБА

> То и веселит меня, то и утверживает, что не я всё задумываю и провожу, что я – только меч, хорошо отточенный на нечистую силу, заговорённый рубить ее и разгонять. О, дай мне, Господи, не переломиться при ударах! Не выпасть из руки Твоей!
>
> *А. Солженицын. Бодался теленок с дубом*

1

Никогда не забуду чувства, с которым впервые читал захватанную, обтрепанную по краям, перепечатанную через один интервал (и на обороте тоже) рукопись повести, которая позже увидала свет под названием «Один день Ивана Денисовича». (В том, машинописном варианте она называлась «Щ 854», и было не совсем даже понятно – заглавие это произведения, которое мне предстояло прочесть, или шифр, обозначающий имя автора, пожелавшего остаться неизвестным.)

Когда рукопись эта появилась в редакции «Нового мира», Твардовский, прежде чем начать трудную и, как тогда казалось, почти наверняка обреченную на неуспех борьбу за нее, дал ее прочесть некоторым ближайшим своим друзьям: помимо всего прочего, хотел заручиться их поддержкой.

Бенедикт Сарнов – критик и литературовед, автор множества книг и статей о российской прозе и поэзии. В числе недавно изданных книг – «Пришествие капитана Лебядкина», «Наш советский новояз», «Каждому по вере его». Живет в России.

В числе первых ее читателей (если не считать сотрудников редакции) был Самуил Яковлевич Маршак.

Рассказывая мне о ней, он, между прочим, сказал:

– Я всегда говорил Александру Трифоновичу: надо терпеливо, умело, старательно раскладывать костер. А огонь упадет с неба...

Солженицын, что теперь ни говори, был тогда для нас именно вот этим самым огнем, упавшим с неба.

Конечно, этот огонь упал не в пустыню. Не будь тогда у нас «Нового мира» Твардовского, повесть Солженицына, быть может, еще не один год пролежала бы в столе у автора. Не случайно именно в «Новый мир» Солженицын рискнул отдать свою «Щ 854». Твардовский хорошо умел раскладывать свой костер.

Версия появления повести в редакции (лучше сказать – легенда) была такая: рукопись будущим ее редактором Асей Берзер была извлечена из самотека и передана – в обход редколлегии – прямо в руки Твардовскому.

Но я – уже тогда – знал, что принес ее в «Новый мир» Лев Зиновьевич (для меня – Лёва) Копелев.

Рассказавший мне об этом Володя Лакшин про Лёву и его роль в этом деле говорил с какой-то снисходительно-неодобрительной гримасой: принес, не сказал ни единого доброго слова, просто кинул Асе на стол: вот, мол, прочти при случае сочинение одного моего приятеля. То ли побаивался хвалить, то ли ему и в самом деле повесть не шибко нравилась и отдать ее в журнал он согласился просто по дружбе с Александром Исаевичем, с которым вместе отбывал срок на «шарашке».

На самом деле это было совсем не так.

А как – я знал уже тогда: и от самого Лёвы, принесшего рукопись в журнал, и от Аси.

Рукопись Асе передала жена Лёвы, Рая. Они между собой решили, что так будет лучше. К Лёве в «Новом мире» и вообще-то относились неважно, а тут еще – накануне – он повздорил с Твардовским: тот отказался заступаться за «Тарусские страницы», тираж которых собирались пустить под нож, ругал Паустовского, и Лёва чего-то там ему наговорил по этому поводу, что отнюдь не улучшило их и без того плохих отношений.

Ася передала рукопись не самому Твардовскому, как я думал раньше, а, согласно существовавшей в журнале строгой субординации (об этом я узнал совсем недавно от моего друга Лёвы Левицкого, работавшего тогда в «Новом мире»), заместителю главного редактора Алёше Кондратовичу. Тот распорядился придать повести нормальный машинописный вид и вручил ее Александру Трифоновичу. Вместе, кстати, с другой повестью на ту же запретную тему – («Софья Петровна») Лидии Корнеевны Чуковской. В дальнейшем Александр Трифонович не раз противопоставлял эти две вещи, решительно отдавая предпочтение повести А. Рязанского. (Так сперва в рукописи именовался автор «Одного дня...».)

Далее кратко передаю рассказ Аси, как он мне запомнился.

Рукопись «А. Рязанского» Александр Трифонович прочел в тот же вечер. Читать начал поздно, уже лёжа в постели. Но, прочитав первые страницы, понял (лучше сказать, почувствовал), что читать такую вещь лёжа нельзя. Встал, оделся, сел к столу. Дочитав до конца, вернулся к началу. Стал читать снова: не мог оторваться. Тогда же твердо решил, что сделает всё – возможное и невозможное, – чтобы повесть была напечатана.

Друзья и соратники Александра Трифоновича по журналу его в этом намерении дружно поддержали. Но ближайший из них, правая его рука – Александр Григорьевич Дементьев – человек, бесконечно Твардовскому и журналу преданный, но битый, а потому осторожный – все-таки не преминул с глазу на глаз сказать ему:

– Учти, Саша! Даже если нам удастся эту вещь пробить и она будет напечатана, они нам этого никогда не простят. Журнал на этом мы потеряем.

Твардовский не спорил. Понимал, что тёзка говорит дело.

– А ты ведь понимаешь, Саша, – продолжал Александр Григорьевич, – что такое наш журнал. Не только для нас с тобой. Для всей России...

– Понимаю, – сказал Твардовский. – Но на что мне журнал, если я не смогу напечатать **это**?

Умный человек был Дементьев: как в воду глядел. «Ивана Денисовича» Твардовскому не простили.

Выступая на обсуждении «Ракового корпуса» и говоря о том, чем было для нас явление Солженицына, я сравнил «Один день Ивана Денисовича» с горьковской пьесой «На дне». Солженицын, мол, как Горький со своими босяками, поднял целый пласт жизненного материала, к которому художественная литература до него не прикасалась.

Мысль моя, в общем-то, была верна. И появление солженицынской повести на страницах «Нового мира» прежде всего было, конечно, огромным общественным событием, по значению своему сравнимым, может быть, только с закрытым докладом Хрущева на XX съезде.

Но меня – меня лично – «Иван Денисович» покорил не только этим.

В то время я прочел уже довольно много ходивших в самиздате лагерных рукописей. Читал и замечательную книгу Юлия Марголина «Путешествие в страну Зэ-Ка»: вышедшая аж в 1952 году в Нью-Йорке, она каким-то чудом до меня дошла.

Поэтому ли, по другой ли какой причине, но тем, что он поднял новый, никем до него не тронутый пласт жизни, Солженицын меня не поразил. А поразил меня его «Иван Денисович» как событие литературное, художественное.

Хорошо помню тогдашний свой разговор о Солженицыне с одним моим приятелем – тоже литератором.

– Ты действительно думаешь, – спросил он меня, – что он великий писатель?

– Может быть, и не великий, – ответил я. – Но он весь оттуда, из той, великой русской литературы.

Именно в этом было тут для меня все дело.

Да, конечно, и среди современников моих были писатели, принадлежавшие к той, великой русской литературе, продолжавшие ее: Зощенко, Платонов, Бабель, Булгаков...

Но это были писатели другой генерации. Все они приняли эстафету – из рук в руки, и не метафорически, а буквально – от Горького, который обменивался рукопожатиями с Толстым и Чеховым. Преемственная связь между ними и их великими предшественниками не была оборвана.

А тут – неведомо откуда – вдруг явился (упал с неба) никому не известный, зрелый, вполне сложившийся и безусловно русский (в том смысле, что не советский) писатель.

Повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича» – в этом у меня сразу не возникло никаких сомнений – была явлением той, настоящей русской литературы. И это была не стилизация, не подражание, не попытка воскресить, реанимировать ее (как, скажем, у Юрия Казакова или Беллы Ахмадулиной). Это было прямое – через голову советской – ее продолжение.

Повесть была написана живым народным языком – тем самым, какой постоянно слышен вокруг, но которого и духу не было в книгах, которые я читал:

Один, помоложе, бывший Герой Советского Союза, взлез на столб и протирал термометр.

Снизу советовали:

– Ты только в сторону дыши, а то поднимется.

– Фуимется! – поднимется!.. не влияет.

– Хорошо положили, а? За полдня. Без подъемника, без фуемника...

– Шесть их, девушек, в купе закрытом ехало, ленинградские студентки с практики. На столике у них маслице да фуяслице...

И ни малейшего следа еще не было в ней того вымученного, искусственного, мертворожденного «языкового расширения», каким Александр Исаевич стал потчевать нас позже.

Четверть века спустя после явления «Ивана Денисовича», в новые, уже «перестроечные» времена я впервые пересек границу «большой зоны». Первой настоящей моей «заграницей» (страны соцлагеря – не в счет) стала Западная Германия.

По-немецки я знал только несколько слов: «Гитлер капут», «хенде хох», «цурюк» и застрявшее в моем мозгу из школьного учебника – «Анна унд Марта баден».

Этот богатый словарный запас, как вы понимаете, в моем путешествии никак не мог мне пригодиться. Поэтому на перроне каждого нового города меня встречал какой-нибудь русскоязычный немец, державший в руке, чтобы я легко мог его опознать, журнал «Москва».

Весь этот план моего путешествия – от начала и до конца – разработал всю дорогу издали опекавший меня незабвенный Вольфганг Казак.

В городе Майнце я ночевал у профессора-слависта, который лет тридцать тому назад «выбрал свободу» – сел в Восточном Берлине в метро и уехал в Западный.

Вечером мы с ним хорошо посидели: пили пиво, разговаривали. А за полночь, провожая меня в отведенную мне спальню, профессор спросил, не хочу ли я взять почитать что-нибудь на ночь.

Я сказал, что да, конечно, с удовольствием, дома я привык засыпать с книгой, иначе, пожалуй, и не усну. Но воспользоваться его любезным предложением смогу только в том случае, если у него найдется для меня какая-нибудь русская книга. Он сказал:

– Да вот, пожалуйста, только что мне прислали новый том Солженицына – «Март семнадцатого». Хотите?

Я, конечно, хотел.

Надо сказать, что к солженицынским «узлам» я в то время относился уже без всякого интереса. Читать его историческую тягомотину и без того было скучно, а тут еще это его «языковое расширение»... Но раскрыть самую свежую солженицынскую новинку, которая до Москвы когда еще дойдет... Да еще «Март семнадцатого»... О семнадцатом годе я готов был читать всё!

В общем, лег я в мягкую и свежую немецкую постель с томом Солженицына в руках, предвкушая какое-никакое, а все-таки удовольствие.

Раскрыл. Начал читать. И сразу погрузился в сложные отношения государя императора с государыней императрицей. Государь тяжело переживал случившуюся накануне размолвку с женой. А размолвка вышла из-за того, что он, по мнению государыни, недостаточно сурово наказал убийц нежно любимого и глубоко ею почитаемого «старца» (Распутина).

Гнев государыни поначалу был неукротим. Но в последние дни этот ее гнев уже слегка поутих, и – **государь облегчился**.

Так прямо было и написано: «Государь облегчился». В том смысле, что у него стало легче на душе.

Я, конечно, не сомневался, что Александр Исаевич прекрасно знал, в каком значении нынче употребляется этот глагол. Но ему было на это наплевать. Верный владевшей им фанатической идее «языкового расширения», он решил вернуть ему его первоначальный, исконный, прямой смысл.

Понимая всё это, я, тем не менее, не мог удержаться от улыбки, закрыл книгу и отложил ее в сторону. Решил, что авось удастся как-нибудь заснуть и без нее. И – заснул, чему немало способствовала мягкая немецкая постель, накопившаяся за день усталость, а может быть, даже и выпитое перед сном пиво.

Всё это, напоминаю, было спустя четверть века после появления «Ивана Денисовича». И к тому времени причин разочароваться в Солженицыне – и в писательских, и в человеческих его качествах – у меня скопилось уже довольно много.

Но первое разочарование случилось совсем скоро. Года через два.

В октябре 1965 года на страницах «Литературной газеты» появилась статья – тогда еще не опального – Александра Исаевича.

Называлась она так: «Не обычай дегтем щи белить, на то сметана».

Уже само это название показалось безвкусным: искусственным, натужным, по правде говоря, даже дурацким.

Но еще больше обескуражило меня тогда содержание этой статьи.

Речь в ней шла о языке. О русском языке, развитие которого, как уверял автор, с петровских времен пошло куда-то не туда. То есть устная русская речь, быть может, еще и сохраняла все свои живые краски, но письменная – то под перьями образованного сословия, думавшего по-французски, то от резвости переводчика, то от торопливости пишущих, знающих цену мысли и времени, но не слову, – пострадала: и в своем словарном запасе, и в грамматическом строе, и, самое главное, в складе.

Рассуждение это совершенно меня изумило. Ведь как-никак, а именно на этом самом ущербном языке, развитие которого после Петра пошло куда-то не туда, была написана ВСЯ ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. И Пушкин, и Лермонтов, и Гоголь, и Толстой, и Тургенев, и Достоевский, и Чехов.

– Ну, что скажете? – помню, спросил я про эту солженицынскую статью у заглянувшего в тот день к нам на огонек Бориса Заходера.

– А что тут скажешь? – развел он руками...

И вдруг, оборвав себя, смеясь, процитировал из письма Белинского Гоголю: «Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов! Что Вы делаете!»

К таким обобщениям я был тогда еще не готов. Да и Борис сказал это, как говорится, в тоне юмора. То есть – в шутку.

Но чем дальше, тем чаще я вспоминал эту заходеровскую шутку, находя в ней всё большую и большую долю правды.

2

Неподалеку от нас, близ метро «Сокол», в Чапаевском переулке жила очаровательная молодая женщина Вероника Туркина с мужем Юрой Штейном и двумя маленькими тогда дочками. Вероника была родственницей (вернее – свойственницей) Солженицына – двоюродной сестрой его первой жены Натальи Решетовской.

Но дело бы не в родстве.

Вероника была предана Александру Исаевичу всей душой, и он тоже искренне любил ее. А влюбленность ее мужа Юры в «Саню», как они породственному его называли, его преданность этому своему свойственнику принимала порой такие гипертрофированные и даже пародийные формы, что впоследствии этот самый Юра Штейн стал одним из прототипов Лео Зильберовича – комического персонажа романа Войновича «Москва 2042».

Но во времена, о которых я рассказываю, до этого было еще далеко.

И тогда слепая преданность Юры Солженицыну вовсе не казалась нам заслуживающей осмеяния.

Их дом в то время был для Александра Исаевича его главным, а может быть, даже и единственным московским пристанищем.

Приезжая из Рязани в Москву, «Саня», как с легкой руки Вероникиного семейства мы тоже стали (между собой, конечно) называть Александра Исаевича, неизменно останавливался у Штейнов и – более того – через них осуществлял многие свои тогдашние начинания. О том, какие это были начинания, станет ясно в дальнейшем, пока же скажу только, что А. И. в то время, о котором я рассказываю, уже вышел на тропу войны с советской властью, и даже самые невинные из этих его мероприятий были совсем не безопасны для тех, кто брался ему помогать. Но ни Веронику, ни Юру это нимало не заботило. Юру мы меж собой называли «связным» (он постоянно мотался между Чапаевским и нашим «Аэропортом», выполняя разнообразные поручения «Сани»), и эту добровольно им на себя взятую роль «связного» он исполнял так бурно и шумно, что ни о каком соблюдении хоть самых минимальных правил конспирации не могло быть даже и речи.

Довольно беспечен по части конспирации был в то время и сам, ступивший на тропу войны, Исаич.

Был, например, такой случай.

В какой-то момент он добился встречи с Петром Нилычем Демичевым, который был тогда секретарем ЦК и кандидатом в члены Политбюро. Встреча прошла в теплой дружественной обстановке. А. И. – так ему, во всяком случае, показалось – сумел охмурить высокого партийного функционера. По-зековски уйдя в глухую несознанку, он вроде убедил его в полной своей лояльности. Вернувшись домой (то есть к Веронике и Юре), он с упоением рассказывал, как ловко удалось ему запудрить мозги и навесить лапшу на уши высокопоставленному партийному болвану. А в квартире Штейнов тогда уже была установлена прослушка, и вся эта его хвастливая речь была записана. Полагаю, что прослушавшее плёнку кагебешное начальство не отказало себе в удовольствии дать ее послушать и самому герою (то есть Демичеву), что, конечно, не вызвало у того прилива симпатий к нагло обманувшему его, затаившемуся антисоветчику.

Назвать хотя бы приблизительную дату этого «Саниного» прокола сейчас я, конечно, не могу. Помню только, что это было, когда «связной» Юра уже наладил с нами прочную и постоянную связь. Стало быть, к тому времени мое – сперва заочное, а потом и очное – знакомство с Александром Исаевичем уже состоялось. А начало этого знакомства, наверно, можно датировать январем, самое позднее – февралем 1967 года. Во всяком случае, на подаренном мне Александром Исаевичем отдельном – «совписовском» – издании «Одного дня Ивана Денисовича» значится:

Бену Сарнову
С искренним расположением. 20.3.67.

Стало быть, в это время я уже был для него не «Бенедиктом Михайловичем», а – «Беном».

Это, впрочем, ничего не значит: книжка ведь не была вручена мне автором лично, а передана через Веронику или Юру. От них он и перенял это домашнее, приятельское, почти дружеское сокращение моего имени. Так что, приводя здесь эту его дарственную надпись, на короткость, а тем более близость наших отношений я отнюдь не намекаю.

Никакой короткости и не было. Но отношения – были.

В то время скопилась у меня довольно толстая пачка адресованных мне коротеньких записочек Александра Исаевича. Пытаясь сейчас разыскать из них хоть некоторые, я обнаружил, что сохранились только две. Остальные куда-то канули.

Надо было бы, наверно, к этим его записочкам отнестись с большим почтением. И так бы, наверно, я к ним и отнесся, если бы их у меня было всего несколько. Но поскольку было их много, и были они довольно однообразны, даже, я бы сказал, однотипны, а главное – потому что были они для меня тогда не каким-то там чрезвычайным событием, а частью повседневного тогдашнего моего быта – мне и в голову не пришло, что не мешало бы сложить их все в отдельную папку с надписью «Хранить вечно». Я ведь тогда не знал – даже и думать не думал! – что буду писать мемуары.

Впрочем, для мемуаров мне хватит и тех, что сохранились.

Может быть, хватит даже и одной, самой короткой.

Это – узкая бумажная полоска, на которой – под копирку (мне достался явно не первый, в лучшем случае второй экземпляр) – напечатано:

В редакцию «Литературной газеты»
Копия – журнал «Новый мир»

Я знаю, что Ваша газета не напечатает единой моей строки, не придав ей исказительного или порочного смысла. Но у меня нет другого выхода ответить многочисленным поздравителям иначе, как посредством Вас:

«Читателей и писателей, приславших поздравления и пожелания к моему 50-летию, я с волнением благодарю. Я обещаю им никогда не изменить истине. Моя единственная мечта – оказаться достойным надежд читающей России.

Солженицын.

Рязань, 12 декабря 1968 г.

А слева, в самом углу этой машинописной полоски, – от руки – было вписано:

Бенедикту Сарнову
с благодарностью и большим расположением
А. Солженицын.
18.12.68

Такая же, только еще более узкая бумажная полоска «с благодарностью и большим расположением» была передана мне от Александра Исаевича, когда я поздравил его с получением – вернее, с присуждением ему – Нобелевской премии.

Как и первую, и все остальные – сугубо деловые – доставил мне ее «связной» Юра.

Но к тому времени я давно уж и сам стал «связным».

То и дело Юра притаскивал мне целую пачку различных солженицынских писем и записок (иногда с довольно длинными приложениями), адресованных членам Союза писателей, проживающим в нашем микрорайоне. А я уж – соответственно – должен был передать их по назначению.

Что я и делал.

Для наглядности приведу одно и такое письмо (второе из тех двух, что у меня сохранились). Не полностью, конечно, а только самое его начало и конец.

Начиналось оно так:

Члену Союза писателей СССР
Сарнову Б. М.

Скоро год, как я послал свое безотзывное письмо съезду писателей. С тех пор еще дважды я писал Секретариату СП, трижды был там сам. Ничего не изменилось...

А вот – как заканчивалось:

Происшедшее вынуждает меня ознакомить нашу литературную общественность с содержанием прилагающихся писем и высказываний – чтобы стала ясна позиция и ответственность Секретариата СП СССР.

Прилагаемое изложение заседания Секретариата 22.9.67, записанное лично мною, разумеется, не полно, но совершенно достоверно и может служить достаточной информацией до опубликования полной стенограммы.

16.4.68. Солженицын.

Приложения:

1. Мое письмо всем (сорока двум) секретарям СП от 12.9.67.
2. Изложения заседания в Секретариате 22.9.67.
3. Письмо К. Воронкова 25.11.67.
4. Мое письмо в Секретариат 1.12.67.

Я не привожу это письмо полностью, потому что оно, как и все прочие письма Александра Исаевича, отражающие его «бодание с дубом», разумеется, опубликовано. Все они в совокупности составляют целый (шестой) том изданного «Посевом» собрания его сочинений. Я уже и тогда понимал, что не такой он человек, чтобы не сохранить всю эту свою переписку – для истории. Потому, наверно, сам и не счел нужным хранить все его автографы.

Как и предыдущее, это письмо было напечатано на машинке – под копирку. И мне опять достался второй – если не третий – экземпляр. Рукой Александра Исаевича было вписано только: «Сарнову Б. М.», его подпись и дата.

Примерно таковы же были и все другие его – подобные – письма.

Но иной раз попадались среди них и личные. Ну, не совсем личные, конечно, – но не такие стандартные.

Особенно запомнилась мне пачка бумажных полосочек, адресованных тем, кто поздравил его с присуждением Нобелевской премии.

Читать записки, адресованные не мне, а тем, кому я должен был их передать, я, понятное дело, не стал. Но мне сразу бросилось в глаза, что полоски эти – разного размера. Кому – совсем узенькие, в две-три строки. А кому (например, Солоухину) чуть ли не на полстраницы.

Помню, жена спросила меня:

– Что он тебе написал?

– Я получил «Знак Почета», – ответил я, имея в виду, что кое-кому (тому же Солоухину, например) по той солженицынской субординации достался орден Ленина, а может быть, даже и высокое звание «Героя Социалистического Труда».

То же и Слуцкий. До Солоухина он, конечно, не дотянул, но, судя по размеру предназначавшейся ему бумажной полоски, он удостоился ордена «Красного Знамени».

А вот мне, стало быть, – «Знак Почета». («С благодарностью и большим расположением».) Что ж, хорошо еще, что не медаль «За боевые заслуги». («За боевые услуги», как называли ее фронтовики.)

Запомнился мне еще один эпизод, определивший мое – уже тогда – слегка ироническое отношение к Александру Исаевичу.

Позвонил мне незнакомый человек. Представился. Он – художник. Написал портрет Солженицына. Хотел бы подарить его Александру Исаевичу, но не знает, как это сделать. Не могу ли я каким-то образом ему в этом поспособствовать.

Я сказал, что могу.

Художник принес портрет и показал его мне.

На большом листе ватмана – то ли углем, то ли тушью – крупным планом было запечатлено лицо Александра Исаевича. Лоб его – как шрам – пересекала колючая проволока.

Портрет, хотя и лежал на нем некоторый отпечаток эстетики соцреализма, мне, в общем, скорее понравился, и я – через Юру или Веронику – переправил его «Сане».

Ответ пришел скоро.

Адресован он был, разумеется, не мне, а прямо и непосредственно художнику. Но текст этого ответа я помню дословно, поскольку художник, прочитав его, поделился со мной своим недоумением, которое я не мог не разделить.

Александр Исаевич писал, что за портрет благодарит, но с концепцией его решительно не согласен. «По-моему, – объяснял он свое несогласие, – не она – меня, а я – её».

Имелась в виду, разумеется, колючая проволока.

Между тем мужественное, волевое, гораздо более мужественное и волевое, чем в жизни, лицо Солженицына, изображенное художником, не оставляло ни малейших сомнений в том, что именно «он – её, а не она – его».

Такая очевидная слепота нашего кумира, явно порожденная его упоением собой и своей мессианской ролью, довольно сильно обескуражила тогда не только бедного художника, хотевшего «как лучше», но и меня тоже.

Выражение «нашего кумира» я тут употребил, конечно, не без иронии. Но это – самоирония. Ирония, направленная на себя.

Кумиром в полном смысле этого слова он и тогда для меня, конечно, не был. Но несомненным лидером, вождем, безусловно, был. И я, и мои друзья каждое его обращение к нам принимали как руководство к действию. Не потому, конечно, что слепо подчинялись его воле, а потому, что всё, что он дслал и побуждал делать нас, представлялось нам не просто правильным, а – необходимым. Мы удивлялись, что сами не додумались до этих простых решений, и были счастливы, что нашелся наконец человек, который всё решает за нас.

Из всех этих его обращений с особым энтузиазмом было встречено нами его «Письмо IV съезду писателей СССР». Оно было адресовано:

В Президиум съезда и делегатам
Членам ССП
Редакциям литературных газет и журналов.

Как обстояло дело с членами Президиума съезда, делегациями и редакциями литературных газет и журналов, я не знаю. Но до нас это его «Письмо» дошло тем же путем, что все предыдущие и последующие. «Связной» Юра принес мне около десятка машинописных копий, на каждой из которых рукой Исаича было написано: «Члену Союза писателей СССР Такому-то». Может быть, были у него еще и другие «связные», кроме Юры, – не знаю. Но тот десяток копий, который попал ко мне и моим друзьям, сразу превратил нас в «инициативную группу», мгновенно сообразившую, как нам всем надлежит действовать, и тотчас же принявшуюся за осуществление этой программы.

Вдвоем с моим другом Борей Балтером мы сочинили свой текст обращения к съезду. Показали его ближайшим друзьям – Фазилю, Володе Войновичу, Володе Корнилову, Лёве Левицкому, Васе Аксенову, Эмке Манделю (Коржавину), Булату. (Все они, кроме Эмки и Булата, жили в том же доме, что и мы с Борей.)

Собрались мы в просторной балтеровской квартире и вслух зачитали друзьям наш текст, в котором выплеснули всё, что у нас к тому времени на-

кипело и по поводу цензуры, и по поводу общего положения дел в литературе, и по поводу так называемого партийного руководства литературой и искусством.

Накипело не только у нас с Борей, и весьма запальчивая эта наша прокламация почти всеми нашими друзьями была бурно одобрена.

Но, слегка отрезвев, мы подумали, что текст ее так резок, что кроме нас – семерых или восьмерых – никто ее не подпишет.

После долгих и довольно бурных дебатов мы с Борей перебазировались на квартиру Лёвы Левицкого, обстановка которой больше располагала к спокойному обсуждению: Лёва жил один, и его квартира не была таким «проходным двором», как квартира Балтера.

Спор, однако, продолжился и там. Боря упрямо настаивал на самом резком варианте, который внятно сказал бы начальству, что от цензуры задыхается большинство писательской братии, а не два-три строптивца. Я готов был поступиться кое-какими резкими формулировками. А Лёва – так же горячо, как Боря отстаивал свой вариант, – доказывал нам, что письмо должно быть предельно взвешенным, умеренным по тону и – совсем коротким.

В результате у нас – теперь уже троих – родился такой текст:

Письмо А. И. Солженицына ставит перед съездом писателей и перед каждым из нас вопросы чрезвычайной важности. Мы считаем, что невозможно делать вид, будто этого письма нет, и просто отмолчаться. Позиция умолчания неизбежно нанесла бы серьезный ущерб авторитету нашей литературы и достоинству нашего общества.

Только открытое обсуждение письма, обеспеченное широкой гласностью, может явиться гарантией здорового будущего нашей литературы, призванной быть совестью народа.

Сообщить свою точку зрения съезду мы считаем своим гражданским долгом.

Этот новый наш текст не был ни лживым, ни даже фальшивым. Но толика лукавства и даже некоторой демагогии в нем все-таки была.

Ни о каком «достоинстве нашего общества» мы, конечно, не думали. (Какое уж тут достоинство!) И ни в какое «здоровое будущее нашей» (то есть – советской) литературы давно уже не верили. Ясно понимали, что литература, «призванная быть совестью народа», ни с каким партийным руководством и ни с какими решениями никаких съездов и никаких Секретариатов несовместима. И в первом – забракованном нами – тексте ничего подобного не было. То был – просто вопль: «Перестаньте нас душить!»

Но нам – повторяю – надо было собрать под нашим обращением как можно больше подписей: ведь именно для этого обратился к нам Александр Исаевич. И тут уж надо было тщательно соблюдать все, давно уже обрыдшие нам «правила игры». Чтобы не отпугнуть всех мысливших более ортодоксально, чем мы, – или тех, кто думает так же, как мы, но не захочет закидывать свой «чепчик» слишком далеко «за мельницу».

Сочинив этот – более лояльный – текст, мы решили прежде всего до-

быть подписи от двух-трех корифеев, принадлежащих к уже почти вымершей плеяде «основоположников» советской литературы. Рассчитывать в этом случае мы могли только на двоих: Паустовского и Каверина.

К Паустовскому поехал Боря Балтер, и Константин Георгиевич без звука поставил под нашей декларацией свою подпись.

К Каверину мы поехали втроем: сейчас уже не помню, кто еще был в составе той «делегации». Помню только, что Вениамин Александрович, сразу подписав наш текст, выразил сожаление, что среди делегатов съезда наверняка не найдется ни одного, кто посмел бы хоть слово сказать о солженицынском письме со съездовской трибуны.

– Ну, а вы, например? – робко заикнулся я. – Ведь не посмеют же они не дать вам слова, если вы попросите?

Он только засмеялся в ответ и махнул рукой: мол, еще как посмеют!

Забегая слегка вперед, не могу не рассказать о том, какую службу сослужили нам имена Паустовского и Каверина не только при сборе остальных подписей, но и потом, когда письмо уже было отослано по адресу и прозвучало по всем «вражеским» радиоголосам и началось очередное разбирательство с «подписантами».

В этот раз, правда, особых разбирательств вроде не было. Настоящие кары на подписантов обрушились позже и совсем по другим поводам. Но у людей служилых неприятности вполне могли быть.

О себе, например, уже, так сказать, постфактум, я узнал такое.

В то время я был членом редколлегии одной из студий «Мосфильма». И вот однажды директор нашей студии («объединения», как это тогда называлось) Юра Солдатенко вдруг мне говорит:

– У меня на днях был о тебе разговор с Баскаковым.

Баскаков тогда был первым замом министра кинематографии (точнее – Председателя Госкино СССР), и наш директор Юра все новости и сплетни государственного значения приносил нам обычно, ссылаясь на очередную, последнюю свою встречу именно с ним.

Однажды, например, на заседании нашей редколлегии он вдруг сказал:

– Внимание, товарищи! Я вчера был у Баскакова, и Владимир Евтихианович просил меня передать вам следующее. Скажите, говорит, вашим членам редколлегии, чтобы свои антисоветские взгляды они держали при себе. Их взгляды – это их личное дело. А зарплату мы им платим за то, чтобы они защищали интересы советской власти. Так прямо им и передайте!

Ну и ну, подумал я. Сильно, однако, как любил, бывало, говорить мой отец, «жидивьска вера полегчила». Вот уже, оказывается, даже антисоветские взгляды нам дозволено иметь. При условии, правда, что мы не станем руководствоваться ими, оценивая проходящие через нас фильмы и сценарии.

И вот, значит, у этого самого Баскакова был с нашим Юрой разговор обо мне.

– Что за разговор? – спросил я.

– «Вот! – начал он орать. – Ваша редколлегия! Что у вас за редколле-

гия!» А я ему говорю: «А что? – говорю, – редколлегия у нас очень хорошая! Авторитетные, высококвалифицированные люди». – «Да, – говорит, – квалифицированные... А Сарнов?» Я говорю: «А что Сарнов?» – «Да ведь он же подписал это наглое письмо в защиту Солженицына!» – «А-а», – говорю. Ты же знаешь, я тоже хитрый еврей. (Никаким евреем наш Юра Солдатенко, конечно, не был, но он любил именно так аттестовать свои деловые качества.) «А-а, – говорю. – Вы про это. Ну, на эту тему я с Сарновым разговаривал. Он мне всё объяснил... Понимаете, говорит, это письмо подписали мои учителя – Паустовский и Каверин. И после них мне уже было неудобно его не подписать».

Как сказано у Гоголя, «подивился Тарас бойкой жидовской натуре!» Вот так и я – подивился изворотливому «еврейскому» уму нашего Юры Солдатенко (ничего подобного, как вы понимаете, я ему не говорил, да и вообще никакого разговора о моем «подписантстве» у меня с ним не было).

– Ну и что? – спросил я у него. – Что на это ответил тебе Баскаков?

– «А-а, – сказал. – Ну, это я как раз понять могу».

А вот – другая история на сходную тему: мне рассказал ее Юра Карякин.

Примерно тогда же, в конце 60-х, его исключили из партии. В основном за то, что в каком-то своем публичном выступлении он сказал о Сталине: «Черного кобеля не отмоешь добела». Ссылаясь на постановление XX съезда о культе личности и его последствиях, Юра стал «качать права» и добился рассмотрения своего дела в самой высокой партийной инстанции – Комитете партийного контроля при ЦК КПСС. В конце концов в партии его оставили, он отделался строгим выговором. («Получил строгача – ну и ладушки», как пел в знаменитой своей песне Галич.) Но разбирательство было суровое. Обвиняемому шили и другие его политические грехи, в частности – «связь с Солженицыным». На это обвинение Юра ответил коротко, сказав, что Солженицын его друг. Но упыри не унимались, требовали, чтобы он подробно объяснил, как могло случиться, что он, коммунист, не разглядел в Солженицыне врага нашего строя. И тут вдруг – для Юры совершенно неожиданно – в дело вмешался сам глава этой «кабалы святош» – Арвид Янович Пельше.

– Но ведь он же сказал: Солженицын его друг, – осадил он соратников, и этой короткой репликой окончательно закрыл тему: упыри отстали.

Вот какие понимающие, душевно тонкие люди попадались тогда даже среди самых высоких партийных функционеров. Впрочем, этого их понимания и душевной тонкости хватало лишь до того момента, пока с еще более высокого верха им не спускали распоряжения разобраться с обнаглевшими интеллигентами покруче, со всей большевистской непримиримостью.

Вернемся, однако, к нашему сюжету.

Заручившись подписями двух «основоположников», мы стали думать, к кому бы еще обратиться. Вперед надо было пустить тех, кого наше высокое начальство хоть отчасти может считать «своими». С кем, во всяком случае, не так-то просто будет им не посчитаться. Так в нашем списке появи-

лись еще два «паровозика»: Володя Тендряков и Гриша Бакланов. Дальше уж мы решили, что теперь можем наконец расписаться и сами. «Мы» – это Войнович, Корнилов, Балтер, Фазиль, Вася Аксенов, Юра Трифонов, Эмка, Лазарь Лазарев, Юра Давыдов, Ася Берзер, Инна Борисова.

Но и после этого мы не отважились пустить дело на самотек: стали думать о том, чтобы в списке нашем были и писатели другого, старшего поколения. Среди них тоже были у нас «свои»: Александр Гладков, Арсений Тарковский, Шера Шаров, Сергей Ермолинский, Николай Оттен, Л. Пинский... В этих мы не сомневались. Но были и другие, в ком мы не были так уверены: Аникст, Смирнов-Черкезов. Их подписями мы особенно гордились.

В общем, была у нас своя тактика и даже стратегия.

Стратегия, помимо всего прочего, состояла еще и в том, чтобы список наш был по возможности широк. Чтобы он не состоял из имен писателей, так сказать, одного направления. То есть, чтобы, пусть даже при явном преобладании «наших», были там еще и «не наши».

Эта задача тоже была выполнена – за счет подписей Солоухина, Бориса Можаева и даже таких бесконечно чужих и далеких нам фигур, как Бог знает в кого превратившийся мой старый институтский однокашник Володя Бушин и совсем уже непонятно как попавший в компанию «подписантов» Ю. Стрехнин. (Позже я узнал о его роли в «процессе исключения» из СП Саши Галича. Четверо из семи участников тайного голосования были против его исключения. Но Стрехнин, который был там у них за главного, заставил переголосовать и в неумеренном своем стремлении выслужиться перед начальством добился, что во второй раз решение было принято уже единогласно.)

Соображениями «широты» нашего списка особенно был озабочен примкнувший к нам Володя Амлинский. Он был из молодых. Но – мальчик, что называется, карьерный. Кажется, уже тогда входил в какие-то управленческие структуры. Одним из многочисленных секретарей Московского отделения СП он стал, наверно, позже. Но членом Правления наверняка был уже тогда.

Вот этот Володя Амлинский мне и говорит:

– Давай зайдем к Штейну!

– К какому Штейну? – удивился я. Подумал: к Юрке, что ли? Но заходить к Юрке (нашему «связному») нам никакой необходимости не было, поскольку он то и дело возникал в нашей компании, возбужденно выкрикивая какие-то бессмысленные лозунги: «Собирай народ!» или еще что-нибудь в этом же роде.

– К Александру Петровичу, – объяснил Амлинский.

Александр Петрович Штейн был преуспевающий, давно и хорошо вписанный в систему сервильный драматург, автор довольно знаменитой в сталинские времена поганенькой пьесы «Суд чести». Стратегическую ценность этого предложения Амлинского я, конечно, оценил: заручиться подписью такого человека было бы совсем недурно. Но дело это было, на мой взгляд, совершенно дохлое.

– Да ни за что он не подпишет, – сказал я.

– А вот подпишет! – настаивал Амлинский.

И мы пошли.

Александр Петрович предстал перед нами в каком-то неописуемом пурпурном халате, провел в свой кабинет, усадил в ампирные кресла, а сам уселся за письменный стол, за которым не стыдно было бы сидеть Людовику Четырнадцатому.

Прочитав имена писателей, которые уже поставили под нашим воззванием свои подписи, он сказал:

– Нет, этого письма я подписать не могу. У вас ведь тут нет ни одного коммуниста!

– Как! – возмутился я. – А Балтер!

Наверняка были уже тогда в нашем списке и другие – единичные в поле зрения – имена членов правящей партии. Вот хоть тот же Боря Слуцкий. Или – в ту пору еще не исключенный из железных рядов – Гриша Свирский. Но мне почему-то в тот момент вспомнился только Балтер.

– Балтер? – недоверчиво хмыкнул знаменитый драматург. И, ни слова больше не сказав, подвинул к нам по лакированной поверхности своего антикварного стола наш бедный список.

В общем, ушли мы с Амлинским от Александра Петровича Штейна несолоно хлебавши.

Кстати, о коммунистах.

Шли мы в те дни втроем: я, Эмка Мандель и Володя Корнилов – по нашей Аэропортовской и наткнулись на Сашу Межирова. Импульсивный Корнилов тут же, с ходу, предложил ему поставить на нашей бумаге и свою подпись.

Опыт к тому моменту у нас был уже большой. Некоторые сразу – без разговоров – оставляли на нашем воззвании своей автограф. Другие делали это, явно труся, но не умея отказать. Были и осторожно увиливающие, говорящие, что в «коллективке» принимать участие не хотят, но напишут от себя, личное, персональное послание на эту тему. Лучше всех поступил Александр Яшин. Он сказал, приложив руку к сердцу:

– Ребята! Отпустите душу на покаяние!

Но реакция Саши Межирова была не похожа на всё, с чем нам приходилось сталкиваться.

– Я, – сказал он, по обыкновению слегка заикаясь, – в п-п-пионерской организации не состою.

– Знаем, знаем, – не полез за ответом в карман Эмка. – Ты состоишь в другой.

А Корнилов не отказал себе в удовольствии крикнуть вслед удаляющемуся от нас Межирову:

– Коммунисты, вперед!

Так что Александр Петрович Штейн как в воду глядел: с коммунистами (то есть с членами партии) у нас и в самом деле был некоторый напряг.

И, тем не менее, дело двигалось. Список наш рос не по дням, а по часам, и число подписавших его уже перевалило на седьмой десяток.

Мы были одержимы стремлением довести его до сотни: нам почему-то казалось, что тут и магия чисел имеет значение. Но некоторым из нас было уже невтерпеж.

Трое из нашей компании: Войнович, Корнилов и Феликс Светов – отправили в Президиум съезда телеграмму:

Москва
Воровского 52
Четвертому съезду советских писателей

Поддерживаем письмо Александра Солженицына. Настаиваем на обсуждении письма съездом.

Члены ордена Ленина Союза Писателей СССР
Владимир Войнович, Владимир Корнилов, Феликс Светов

Ироническое, я бы даже сказал, издевательское – «члены ордена Ленина» (как раз в это самое время Союз писателей был удостоен этой высокой правительственной награды) наверняка придумал Войнович.

Как бы то ни было, телеграмма была отправлена. А вскоре, доведя число «подписантов» до восьмидесяти, отправили наше послание съезду и мы тоже.

3

Всё рассказанное выше относится ко времени моего заочного знакомства с Александром Исаевичем.

Очное состоялось чуть позже и вызвано было обстоятельствами, можно сказать, экстраординарными.

Впрочем, формально мы с ним и до этого были уже знакомы: познакомились на обсуждении «Ракового корпуса», где я поблагодарил за подаренную мне книгу, а он в ответ произнес несколько вежливых фраз, из которых мне запомнилась только одна, смысл которой состоял в том, что в натуре я оказался гораздо более молодым, чем это представлялось ему издали.

Было еще несколько мимолетных встреч, о которых упоминать не стоит.

А вот о той, с упоминания о которой я начал эту главку, пожалуй, стоит рассказать подробно.

Мы сидели с Войновичем на ветхом, продавленном его диване и играли в шахматы. Раздался телефонный звонок. Звонила, как я и думал, моя жена. Но, вопреки моим ожиданиям, она не стала требовать, чтобы мы немедлен-

но пресекли наше шахматное безумие, потому что дома полно дел, с которыми она не может справиться без меня, – а каким-то, совсем не свойственным ей в подобных случаях, я бы даже сказал кокетливым, тоном произнесла:

– А у нас Юра!

Положение на доске было для меня крайне неблагоприятное, и, целиком погруженный в свою шахматную мысль, я даже не сразу понял, о каком Юре она говорит. Да и потом, когда трубку взял Юра, я тоже не сразу сообразил, что это – наш «связной», и у него ко мне, судя по всему, какое-то важное дело. Положение мое (я имею в виду шахматное) стало тем временем уже совсем угрожающим, и потому я слушал его вполуха.

Юра сказал, что у него ничего срочного, спешности никакой. Но вообще он хотел бы меня повидать.

– Когда освободишься, зайди к Лёве, – закончил он. – Договорились? Ну и отлично. Мы тебя ждем.

Увлеченный шахматами, я даже не обратил внимания на это «мы», хотя потом, задним числом, вспомнил, что произнесено оно было как-то особенно многозначительно. С некоторым, я бы сказал, нажимом.

А на квартире у Лёвы Копелева, куда я должен был заглянуть, когда освобожусь, тем временем происходило следующее. (Об этом мне потом рассказал главный виновник всего этого переполоха – Эмка.)

Александр Исаевич ходил по комнате, время от времени взглядывая на часы, и это несколько нервное его ожидание невольно заражало всех при том присутствующих. А присутствовали там, если не считать хозяина квартиры, – «связной» Юра и Эмка.

Эмка сказал:

– Александр Исаич! Да вы не волнуйтесь, сядьте. Я этих людей знаю: пока они партию не кончат, он не придет.

Александр Исаевич пробурчал что-то неодобрительное по нашему адресу и продолжал мерить шагами паркет Лёвиного кабинета.

Но тут надо наконец рассказать о том, по какой причине я вдруг так срочно ему понадобился.

В книге А. Солженицына «Бодался теленок с дубом» об этом сказано так:

> ...необъяснимым путем вырвался в «Ди Цайт» 5 декабря отрывок из «Прусских ночей» и обещалась вскоре вся поэма! Это удалось остановить... Но тут слух пришел, что и в Москве поэму *уже читают*. Я кинулся со следствием по Москве, разъяснилось: некие добродеи из членов СП, считавшие опасным меня защищать, *для меня* после исключения считали уже не опасным ничто – и решили... распространять «Прусские ночи».

«Некие добродеи из членов СП» – это, наверно, отчасти и про меня. Но даже если не про меня, всё равно я должен решительно заявить, что никаких таких «добродеев», которые что-то такое «считали» и, посчитав, что-то такое «решили», на самом деле не было.

А вот утечка действительно произошла.

Случилось это так.

Пришла однажды ко мне наша давняя приятельница и соседка Мима Гребнева и говорит:

– Хочешь поэму Солженицына почитать?

Еще бы! Конечно, я хотел.

Читать при ней, наспех, мне не хотелось, и я уговорил ее оставить мне рукопись на один день.

Мима от солженицынской поэмы была в восторге. Именно этот восторг и побудил ее, нарушив все правила конспирации, показать поэму мне и даже оставить ее у меня на целые сутки. Я же, прочитав её, по правде сказать, особого восторга не испытал: стихи, как мне показалось, – не его, Солженицына, стихия. Хотя были там и яркие, талантливые строчки. Некоторые даже навсегда впечатались в мою память. Например, вот эти:

Жданов с платным аппаратом,
Шагинян, Сурков, Горбатов,
Главный фокусник – Илья...
Мог таким бы стать и я.

Прочел я эту поэму и совсем было уже собрался отнести ее в соседний подъезд Миме, но помешал Мандель. Он появился, как всегда, без предупреждения, без телефонного звонка. То есть телефонный звонок был: он позвонил снизу, из подъезда, и сказал, что едет ко мне из своего Беляева. Не прошло и минуты, как раздался звонок в дверь нашей квартиры, и Эмка, очень довольный тем, как он меня (снова, уже не в первый раз) разыграл, радостно возгласил с порога:

– Мимо тещиного дома я без шуток не хожу...

Эта шутка у него была постоянной. Как постоянной была и фраза, которой он объяснял обычно свою манеру приходить к кому-нибудь из друзей, живущих в нашем доме, с самого утра и сидеть чуть ли не до вечера. Если друг, которого он осчастливил своим визитом, пытался дать ему понять, что хотел бы хоть час-другой посидеть за письменным столом – нельзя же целый день провести в праздной болтовне, надо ведь и работать, – Эмка отвечал:

– Понимаешь, солнышко! Тот день, когда я еду в поликлинику, он у меня уже все равно пропал...

Вот и в этот раз, поняв, что день уже все равно пропал, я решил отложить свой визит к Миме до вечера. А потом, подумав, что не дать Эмке поэму Исаича, которого он боготворил, было бы просто подло, сказал:

– Хочешь поэму Солженицына прочесть?

Конечно, он хотел.

Ну, а дальше события развивались стремительно. Прочитав поэму, Эмка, вопреки всем моим ожиданиям, задерживаться у меня не стал, а сразу куда-то заторопился. И, как это всегда бывает с людьми, отмеченными пер-

стом Божиим, выйдя от меня и пройдя буквально несколько шагов, наткнулся на Солженицына.

– Александр Исаич! – радостно заорал он. – А я только что вашу поэму читал!

– Что?.. Как?.. Где?

– У Сарнова...

Вот так и вышло, что Александр Исаевич пожелал немедля со мной встретиться.

Надо сказать, что эта – на сей раз не такая мимолетная, как все предыдущие, – встреча с ним произвела на меня совершенно оглушительное впечатление. И отнюдь не только потому, что на меня действовал гипноз его имени. Этот человек мог произвести (и, наверняка, производил) такое впечатление задолго до того, как имя его стало живой легендой.

Он тогда только начал отпускать бороду. Борода была еще не толстовская, даже не «достоевская», а – короткая, шкиперская. И во всем его облике виделось что-то офицерское, спортивное – чёткое, ловкое, быстрое. Он был обворожительно любезен, как мне показалось, даже чуть-чуть играл, наслаждаясь своей подчеркнутой куртуазностью. Но за этой безукоризненной любезностью чувствовался холодок хорошо ощутимого расстояния между ним и мною. Дистанция эта сохранялась на протяжении всей нашей встречи и ни на миг не была нарушена.

Начал он с извинения, что вот, мол, вынужден был побеспокоить, оторвать меня от моих занятий.

В этом его извинении не ощущалось и тени иронии, но я сразу же подумал, что кто-то (тот же Эмка) наверняка уже доложил ему, от каких таких важных занятий он вынужден был меня оторвать.

Поняв, в чем дело, я сразу же выразил готовность свести его с «добродеями», от которых получил поэму. Оставив Юру и Эмку у Лёвы, мы с ним вдвоем отправились ко мне (моя квартира была в двух шагах от Лёвиной). Дома была только жена. Она лежала в моем кабинете под пледом и что-то читала. Увидав со мною рядом – живьем – легендарного человека, она – от растерянности – даже не встала.

Я сказал:

– Александр Исаевич, это моя жена – Слава.

– Слава? Что за странное имя? – удивился он.

– Самое обыкновенное православное имя, – с каким-то, слегка удивившим меня полемическим задором ответила она. И для убедительности добавила:

– Есть в святцах.

– Так-таки уж прямо и в святцах, – несколько иронически отреагировал Александр Исаевич.

Откуда у моей жены явилась эта уверенность, что ее имя – самое обычное, православное и даже есть в святцах, я знал.

На самом деле ни в каких святцах ничего похожего нет и в помине, а

происхождение ее странного имени с православием уж тем более не имеет ничего общего.

В жизни нам с ней иногда (хотя и не так уж часто) встречались женщины, носившие имя Слава. Но в одном случае это была Станислава, в другом – Бронислава. А она была – просто Слава. Слава Петровна. И это в самом деле было странное имя: Александр Исаевич был прав.

Странность же объяснялась просто.

Отец моей жены – Петр Иванович – был человек, мягко говоря, не ординарный. Попросту говоря – шальной. Будущая моя жена только еще должна была – со дня на день – явиться на свет, а он уже растрезвонил всем своим друзьям-приятелям, что у него родился сын, которого назвали Слава. И когда вместо сына родилась дочь, деваться ему было уже некуда: вот так она и стала – и осталась – Славой.

Некоторая необычность этого ее имени не то чтобы сильно ее тяготила, но все-таки досаждала, вынуждая время от времени отвечать на этот, порядком уже ей поднадоевший ей вопрос: «Слава? Что за странное имя?» Был даже такой случай: в разгар космополитизма какая-то соседка поинтересовалась у моей тёщи: «С чего бы это, интересно знать, вы дали своей дочери еврейское имя?»

На подозрения соседей в ее тайном еврействе моей жене было наплевать. Но не объяснять же каждому подробно про оригинала-отца.

А у нас в Литинституте, где я учился, была преподавательница марксизма-ленинизма – Слава Владимировна Щирина. Тоже – не Святослава и не Бронислава, а просто – Слава. И однажды я у нее спросил, откуда у нее такое имя. И она ответила: «Самое обыкновенное православное имя, есть в святцах», – о чем я тут же сообщил своей жене.

На самом деле Слава Владимировна Щирина – как это позже выяснилось – была еврейка, о чем я тогда не подозревал. Я и сейчас-то не всегда могу отличить еврея от нееврея или еврейку от нееврейки (если, конечно, еврей – не Михаил Аркадьевич Светлов, а еврейка – не Алла Гербер), а уж в те, юные мои годы, и вовсе не обладал этим нехитрым умением.

В общем, мы с женой поверили тогда Славе Владимировне, что имя Слава – самое обыкновенное православное имя и что оно есть в святцах. Я, правда, с тех пор давным-давно уже про это забыл, но у жены в голове эта фраза, как видно, застряла крепко. И вот в ответ на вопрос Александра Исаевича она из нее вдруг и выскочила.

Но выскочила она из нее не случайно, потому что весь этот быстрый, короткий диалог, конечно же, имел весьма определенный подтекст.

– Слава? Что за странное имя? – спросил он.

«Еврейка, наверно?» – услышала она в этом его вопросе. И быстро отреагировала:

– Самое обыкновенное православное имя, есть в святцах.

Подтекст же, легко различимый в самом тоне ее ответа, был такой: «А вот и нет! Ошиблись, Александр Исаевич!»

Тогда я, признаться, был сильно зол на жену, поскольку эта ее выходка казалась мне ни в малой степени им не спровоцированной. Тогда – в отличие от жены – я был уверен, что никакого намека на ее национальную принадлежность, а уж тем более с антисемитским привкусом, в вопросе Александра Исаевича не было.

Сейчас, увы, я думаю иначе.

Но – не будем забегать вперед. Всему свое время.

Покинув Славу, которая так и осталась лежать под своим пледом, мы с Александром Исаевичем ушли в другую комнату, и я стал названивать Миме.

Но дозвониться никак не удавалось: у Гребневых никто не брал трубку.

Я успокоил Александра Исаевича, сказав, что ждать нам наверняка придется недолго. Так оно и вышло. Но эти недолгие минуты ожидания для меня оказались довольно томительными. Все, что мог сообщить ему на интересующую его тему, я уже сказал. А вести с ним праздные, ни к чему не обязывающие, пустые разговоры мне, естественно, не хотелось.

О чем-то все-таки говорили... Не прекращая разговора, он несколько раз вынимал блокнот и что-то записывал, не забывая всякий раз извиниться предо мною. Я сказал, что и у Толстого читал, и по себе знаю, что мысль надо схватывать в тот самый миг, когда она к тебе пришла, иначе она потеряет свою силу, будет сформулирована уже гораздо менее точно – вяло, расплывчато. Он объяснил мне, что дело совсем не в том. Вынимал блокнот и делал свои записи он вовсе не потому, что его осенила какая-то мысль и он боялся, что если тотчас же ее не записать, она ослабеет. Обыкновенно у человека, сказал он, уходит восемь часов на сон, восемь часов на работу (кажется, он выразился как-то иначе, назвав эти восемь часов активным временем, что-то в этом роде). Остается, таким образом, еще восемь часов, которые, как правило, уходят неизвестно на что. Так вот, сказал он, я не могу позволить себе такую роскошь, я стараюсь, чтобы у меня все время, остающееся мне от сна, все эти шестнадцать часов, были активными.

Разговаривая, я все время названивал Гребневым. Но слышал только долгие гудки. Александр Исаевич нервничал. И тогда вдруг меня осенило, что наверняка всё можно выяснить у Бахновых. Жили они с Гребневыми рядом – квартира к квартире. И не было на свете более близких друзей. Никаких секретов друг от друга у них, конечно, быть не могло.

Позвонив Бахновым и услыхав голос Нели, жены Владика, я, ничего не объясняя, спросил, можно ли к ним сейчас заглянуть на минутку. «Да, конечно», – сказала Неля.

И мы пошли.

Когда она открыла нам дверь и узнала моего спутника, у нее подкосились ноги. Но, сохраняя – хоть и с трудом – самообладание, она провела нас в крошечный кабинет Владика. Первое, что сразу бросилось нам там в глаза, был большой – как мне тогда показалось, огромный – фотопортрет Солженицына, глядящий на нас из застекленного стеллажа с книгами. Александр Исаевич цепким своим взором эту деталь интерьера, конечно, сразу

углядел. По моим понятиям, она должна была если не умилить, так хоть немного смягчить его. Но, как я теперь понимаю, она только усилила его неприязнь к «добродеям из членов СП», у которых достало смелости только на то, чтобы выставить у себя дома на всеобщее обозрение его портрет, но оказалось слишком ее мало, чтобы опрометью кинуться защищать его.

Кстати, в том же «Теленке», спустя лишь несколько страниц после упоминания об этих презренных «добродеях», Александр Исаевич так объясняет, почему он сам не выступил в защиту Владимира Максимова, а до него – Синявского и Даниэля, а потом – и других преследуемых властями диссидентов:

> А я не защищал и его, как остальных, всё по тому же: разрешив себе заниматься историей революции и на том отпустив себе прочие долги. И по сегодня: не стыжусь таких периодов смолкания: у художника нет другого выхода, если он не хочет искипеться в протекающем и исчезающем сегодня.

Простая мысль, что такое же разрешение имеет право дать себе и какой-нибудь другой художник, ему в голову не приходила. Да он, конечно, и не мог представить себе, что среди этих самых «добродеев из членов СП» отыщется хоть один истинный художник. С какой стати вдруг может он там среди них оказаться?

Вспомнил я это – так, к слову. На самом деле в этом его убеждении я его ничуть не виню. Признаю, что у него были основания так про нас думать.

Так и не опомнившимся от внезапного появления «бога из машины» Неле и Владику он задал несколько коротких, быстрых вопросов, самим темпом своим и лаконичностью исключающих слишком многословные и не слишком вразумительные ответы. После недолгих колебаний они раскололись. Выяснив, откуда взялась принадлежащая им с Мимой машинописная копия поэмы, Александр Исаевич сказал, что изымает ее. Узнав, что есть еще и другая копия – в Уфе, у Нелиной мамы, – он разрешил пока там ей и оставаться. При условии, конечно, чтобы никаких других копий снимать с неё не смели. После еще нескольких таких же коротких, четких распоряжений он встал и откланялся.

Выйдя вместе с ним из подъезда, я спросил, почему он так встревожился, узнав, что произошла утечка. «Прусские ночи», конечно, крамольнее и «Ракового корпуса», и «Круга». Но он и без того так далеко уже зашел в своем противостоянии с властью, что еще одна утечка вряд ли что-нибудь изменит.

Тут я, конечно, был не прав. Распространение «Прусских ночей» в тот момент было крайне для него опасно. Но растолковывать мне это, да и вообще откровенничать со мною он не стал. А почему поднял тревогу, объяснил так:

– У меня железный порядок. Если я решил какую-нибудь вещь пустить, я нажимаю кнопку. А без моей команды никаких неподконтрольных утечек быть не должно. И вы не могли ни одной рукописи моей прочесть, если не я сам ее пустил.

– Как сказать, – возразил я. – Вот, например, я слышал такое словосочетание: «Архипелаг ГУЛАГ».

Он внимательно поглядел на меня:

– А вы встречали хоть одного человека, который говорил бы вам, что он эту книгу читал?

– Нет, – признался я. – Не встречал.

– Вот то-то.

Кажется, я еще о чем-то спросил его. Он – всё так же любезно – удовлетворил моё любопытство и, еще раз извинившись, что вынужден был обеспокоить, попрощался. И тут вдруг в поле моего зрения попали его глаза. Не могу сказать, **что** я увидел в этих глазах. Знаю только, что в этот момент я с непререкаемой ясностью понял, всей кожей почувствовал, что, одарив меня прощальной улыбкой, он в ту же секунду забыл о моем существовании.

4

В Союзе писателей (в Московском отделении) обсуждали первую часть «Ракового корпуса». (Вторая еще не была написана.) Когда автору кто-то дипломатично указал на это обстоятельство, опасливо заметив, что, может быть, стоило бы подождать с обсуждением, пока вещь не будет доведена конца, он – не менее дипломатично, но без ложной скромности ответил, что в русской литературе разные случаи бывали. Бывало, например, и такое, что вторая часть какой-нибудь повести так и осталась недописанной или даже была уничтожена (сожжена) автором.

Как бы то ни было, обсуждение состоялось. Было оно весьма выразительным, но пересказывать всё, что там было, я не стану, тем более что краткий стенографический отчет этого обсуждения опубликован в шестом томе собрания сочинений А. И. Солженицына, изданном «Посевом». Расскажу только о том, что в стенограмму не попало.

Не попал, например, скандальный эпизод, связанный с моим выступлением. А его запечатлеть стоит. Что я и сделаю, заранее испросив прощения у читателя за вынужденную нескромность.

Сознавая всю важность предстоящего мероприятия, я свою речь написал, хотя выступать «по бумажке» никогда не любил. Но тут всё-таки был случай особый, и я решил поступиться принципами. Но из этих моих благих намерений ничего не вышло.

Случилось так, что как раз передо мною выступала Зоя Кедрина, связь которой с нашими славными органами ни для кого не была тайной, поскольку незадолго до того ее выпустили в роли «общественного обвинителя» на процессе Синявского и Даниэля. С той ролью она более или менее справилась, поскольку там на ее стороне были все силовые ведомства могущественной ядерной державы. Здесь же обстановка была другая. Здесь ей можно было и возразить.

Короче говоря, когда председательствующий Георгий Берёзко выкликнул мое имя, я сразу свернул свою заранее заготовленную речь в трубочку и спрятал ее в боковой карман. А сказал примерно следующее:

– Мой учитель Виктор Борисович Шкловский написал однажды, что Булгарин вовсе не травил Пушкина. Он просто давал ему руководящие указания. С той поры прошло много лет. Отменили крепостное право. Разразились две или даже три революции. И вот сегодня, как ни в чем не бывало, Кедрина дает руководящие указания Солженицыну...

Кедрина при этих словах встала и, шурша юбками, с гордо поднятой головой покинула зал.

Берёзко, который и до этого-то уже сидел на своём председательском месте в мокрых штанах, тут совсем потерял голову.

– Как вы смеете! – тонким фальцетом завизжал он. – Как у вас язык повернулся своего товарища, писателя, сравнить с агентом Третьего отделения!

Отнюдь не стремясь найти удачный ответ, скорее от чистой растерянности, я сказал:

– Своего товарища я сравнил с Пушкиным.

Понятное дело, скандальность происшествия я этой репликой не уменьшил.

С грехом пополам выговорив всё – или почти всё, – что было написано в лежавшей у меня в кармане бумажке, я протолкался через битком набитый зал и боковой дверью вышел на лестницу, куда в таких случаях направлялись обычно только заядлые курильщики. Там стоял Виктор Николаевич Ильин – бывший генерал-лейтенант КГБ (если только генералы этого ведомства бывают бывшими), а ныне – оргсекретарь Московского отделения.

Укоризненно покивав мне, он сказал:

– Не ожидал... Не ожидал от вас...

Не помню дословно, что я ответил, но, видимо, что-то очень похожее на традиционный плаксивый ответ нерадивого пятиклассника, вызванного на ковер директором школы: «А что я сделал?..»

– Ну как же, – пояснил Виктор Николаевич. – Вы ведь знаете, как к нам сейчас относятся... На Московское отделение каких только собак не вешают... Думаете, так просто было добиться согласия на это обсуждение?.. И всё так хорошо шло, спокойно, корректно... И вдруг – бац! Вылезаете вы и сравниваете своего товарища, коллегу, с агентом Третьего отделения...

По-настоящему даже не оценив всю пикантность этой реплики (важный чин этого самого Третьего отделения сравнение с агентом его ведомства воспринимает как оскорбление), скорее всё от той же растерянности я возразил:

– Позвольте, Виктор Николаевич! Это ведь не я, это Берёзко сказал про Третье отделение. А я имел в виду совсем другое. Я просто хотел сказать: кто она такая, Кедрина, чтобы поучать Солженицына? Она в сравнении с ним – как Булгарин в сравнении с Пушкиным. Ничтожная литературная вошь имеет наглость как ни в чем не бывало с полным сознанием своего права учить Солженицына, как надо ему писать свои книги.

– Вы в самом деле только это имели в виду? – быстро спросил Ильин.

– Ну да, конечно! – с чистым сердцем подтвердил я.

– Так, может, вы объясните это собранию?

– Ну, нет, – сказал я. – Раз уж вы все поняли меня так, пусть оно так и остается.

Виктор Николаевич был человек неглупый, настаивать он не стал.

Когда мы с ним вернулись в зал, спектакль приближался к финалу. Берёзко уже даже произносил какие-то обтекаемые заключительные слова. Но тут из зала послышались выкрики:

– Резолюция!..

– Надо принять решение!..

– Какое еще решение?

– А вот такое: собрание московских писателей считает, что повесть Солженицына непременно должна быть опубликована...

– Но у нас нет таких полномочий! – задёргался до смерти перепугавшийся Берёзко. – Это не наша прерогатива...

– Значит, мы должны обратиться с таким требованием...

– К кому обратиться?.. Куда мы можем обратиться?.. – беспомощно вопрошал несчастный Берёзко.

И тут на подиум (никакого подиума там, понятное дело, не было, но именно это слово почему-то кажется мне тут наиболее подходящим) вышла Белла Ахмадулина. Ее юное лицо, возбужденное одушевлявшим ее прекрасным порывом и немного алкоголем, было прелестно. Божественным своим голосом она произнесла:

– Если нам не к кому обратиться, давайте обратимся... – по-балетному пластичным, но в то же время каким-то очень естественным движением воздев свои тонкие изящные руки к потолку, она пропела: – к Бо-огу!

Случайно я взглянул в этот момент на Солженицына. Он смотрел на Беллу с каким-то отстраненным любопытством – острым, цепким, изучающим взглядом. Как на какое-нибудь редкое, экзотическое животное.

Впрочем, я думаю, он на всех нас тогда смотрел так же.

Неделю спустя я встретил на улице Слуцкого. Остановились, поговорили.

– Вчера, – сказал он, – я был у Беляева.

Альберт Беляев был тогда зам. завотделом культуры ЦК КПСС.

– И в разговоре, – продолжал Борис, – между прочим, было упомянуто ваше имя.

Я выразил насмешливое изумление по поводу того, что мое скромное имя известно в столь высоких сферах.

Борис в ответ тоже усмехнулся и не без удовольствия процитировал своего высокопоставленного собеседника:

– Обсуждение «Ракового корпуса», – будто бы сказал тот, – прошло хорошо. Если не считать наглого выступления Сарнова.

А спустя еще несколько дней друзья из «Нового мира» рассказали мне, что у них в редакции меня за это мое выступление тоже многие осудили. Ему (то есть – мне), мол, лишь бы себя показать, а об общем нашем деле он и не думал.

И присутствовавший при этом разговоре Александр Исаевич будто бы отозвался на это так:

– Но ведь о Кедриной сказал только он. Никто, кроме него. А сказать об этом было надо.

Узнав об этой его реплике, я был польщен. Что мне Беляев, что мне и мнение «новомирцев», если сам Исаич меня одобрил.

Ну, а что до того, что он на всех нас взирал отстраненно, словно бы издали и даже чуть-чуть свысока, то я искренне считал, что он имеет право так на нас смотреть. Ведь он упал к нам с неба. И поэтому во всех тогдашних обсуждениях и спорах о его характере и поведении я неизменно был «за него».

А разговоров, слухов, сплетен о нем – и тогда, и потом – ходило множество.

Вот, например, такая история.

На похороны Твардовского Солженицына приказано было не пускать. Гроб с телом умершего поэта был установлен на сцене большого зала Центрального Дома литераторов. В зале сидели писатели. Мимо сцены негустым потоком проходили читатели.

О том, чтобы пройти через главный вход вместе читателями, не могло быть и речи: не пустили бы. Друзья и поклонники Александра Исаевича решили провести его подземным переходом, соединявшим старый особняк Союза писателей на улице Воровского с новым зданием ЦДЛ – на Герцена.

Но начальство предусмотрело и этот вариант.

Когда Солженицын, без всяких приключений войдя в особняк «Дома Ростовых», спустился в подземный переход, путь ему преградила немолодая служащая Союза писателей, специально поставленная там на этот случай.

Протянув руку, она загородила довольно узкий коридор, ведущий в соседнее здание, и умоляюще сказала:

– Александр Исаевич! Если я вас пропущу, меня уволят!

Вероятно, тут можно было поступить по-разному.

Например, пуститься в объяснения. Или начать качать права. Или, наконец, пожалеть несчастную женщину и попытаться отыскать какой-нибудь другой способ проникнуть в зал.

Александр Исаевич будто бы выбрал самое простое решение.

Ребром ладони он ударил по вытянутой руке, загородившей ему дорогу, и, не оглядываясь, устремился по коридору в зал, где скоро должна была начаться гражданская панихида. И через несколько минут он уже стоял на сцене и осенял крестным знамением гроб, в котором лежал бывший кандидат в члены ЦК КПСС Александр Трифонович Твардовский.

Когда эту – кем-то рассказанную мне – историю я включил в свою книгу «Перестаньте удивляться», на меня обрушился шквал негодования. Были даже и обвинения в клевете.

Я допускаю, что история и в самом деле выдуманная, что ничего подобного на самом деле не было. Но я – каюсь! – когда мне ее рассказали, сразу в нее поверил.

Поверил, потому что поступок этот был, как мне казалось, в его стиле. Но главным образом потому, что он, этот его поступок – тогда! – не только не отвратил меня от Александра Исаевича: он меня восхитил!

Вот это характер! – с восторгом думал я. – Только так с ними и надо, с этими рабскими душонками!

Таких историй про него – повторю еще раз – я слышал тогда множество. И в большинстве случаев это были не сплетни, не слухи даже, а рассказы людей, которым я верил. Не мог не верить.

Вот, например, Ольга Львовна Слиозберг рассказала, жалуясь мне на Александра Исаевича, что, когда он работал над своим «Архипелагом», ему недоставало материалов о Колыме. И он обратился ко всем старым зэкам с просьбой поделиться с ним воспоминаниями о своем лагерном прошлом. Она (Ольга Львовна) послала ему тексты двух своих солагерниц, взяв с него твердое обещание (каковое он ей дал) ни при каких обстоятельствах не упоминать их фамилий. И вот однажды, включив радио (естественно, не советское) она услыхала в передававшейся главе из солженицынского «Архипелага» имена и фамилии этих своих подруг.

– Счастье, – говорила она мне, – что они никогда не слушают радио и о том, как А. И. сдержал свое обещание, не узнали и, надеюсь, уже не узнают. Если бы это до них дошло, они просто умерли бы от страха. Это не метафора: буквально умерли бы...

Но я и тут защищал Александра Исаевича. Говорил, что он не собирался так быстро публиковать «Архипелаг». Его к этому подтолкнули чрезвычайные обстоятельства. Узнав об аресте, допросах и самоубийстве Ворониской и поняв, что тайна «Архипелага» открыта, он был вынужден «нажать кнопку», то есть дать команду о публикации этого своего труда.

Ольгу Львовну я, конечно, не переубедил. Она всё повторяла:

– Ну как же он мог?.. Как он мог так обмануть наше доверие?

Окончание в № 5 «NB»

Асар Эппель

РОЖДЕСТВО В ПРОПАЩЕМ ПЕРЕУЛКЕ*

Святочный рассказ

Выйдя в последний переулочный поворот, я увидел, наконец, автобусную остановку, к которой в праздничных своих ботинках пробирался по непроходимому снегу. Его тут больше не убирали – конец переулка с осени был нежилой.

Своим завершением он утыкался в пустоватую улицу, сейчас из-за снегопада плохо видневшуюся в отдаленном створе. И там – на ней, и здесь фонари не горели, а из сугробов за остановочным сооруженьицем торчали концы многих досок – повалившаяся огорожа до краев заметенного котлована.

Против остановки, за неширокой мостовой, поднимался покинутый дом – высокая мертвая руина, местами лоснившаяся по фасаду глазурованными кирпичиками дореволюционной купеческой отделки. Выглядел дом темней темного, стекла во всех окнах были расколочены, внутри же со стен наверняка свешивались сорванные обои, на которых вместо фотографий неведомых жильцов остались невыгоревшие и в клопиных следах прямоугольники, в потемках, ясное дело, неразличимые. Впрочем, как и валявшийся по щербатому паркету мусор и разная дрянь – сор, какой оставляет, откочевывая из покидаемого жилья, коммунальная публика: целлулоидные куклы с оторванными го-

---

* «Плейбой». 24.11.2003.

Асар Эппель – писатель (книги рассказов «Шампиньон моей жизни», «Травяная улица», «Дробленый сатана», сборник критических эссе «In telega»), сценарист (автор либретто мюзикла «Закат» и сценария фильма "Биндюжник и Король»), переводчик (польская поэзия и др.). Живет в России.

ловами и вывернутыми куда не бывает руками, сырые от ходивших сквозняков брошюры, пыль, одиночные ботинки, плесень и даже губительно пролитая ртуть разбившегося стариковского устройства для проверки повышенного давления.

Хотя с небес валили мутные снежные количества, на остановочном боку все же угадывались налепленные несоскребаемые бумажки с подрагивающими на некоторых ненужными телефонами. Никаких ожидающих людей не виднелось. Кривая улочка выглядела вовсе пустынной, хотя внутри остановки какой-то разговор слышался. А поскольку мне никого не хотелось видеть, тем более чьему-то общению мешать, я остановился, не доходя, и стал размышлять об ожидавшей меня рождественской ночи.

Все, что виднелось, было кое-как освещаемо окружающим снегом и узкой над темным домом полоской небес. Насчет же небосвода надкотлованного сказать ничего было нельзя – там ходили уж совсем тусклые снежные столбы, не оставлявшие природному свечению возможности повлиять на потемки.

Где-то за пустой окрестностью, за неведомыми глухими дворами хлопнула рождественская шутиха, и в имевшейся полоске неба появилась всполошенная ворона. Ветка, с которой она сорвалась, по всей вероятности, качнулась, с ветки упал снег, и соседняя по ночевке не вспугнутая хлопком воронья товарка боком переместились на освободившееся место. Поближе к стволу дворового тополя.

Которая летела, та виднелась плохо, хотя вдруг завиднелась черней. Это из-за внезапно пущенной ракеты несколько побагровело небо. От нового звука птица метнулась вбок и пропала.

На остановке разговаривали. Сбивчиво, настойчиво, противореча и убеждая. Похоже, мужчина с женщиной. И хотя женщины не слышалось, напор мужских фраз ее присутствие делал несомненным. Она же, конечно, помалкивала, опускала глаза и отводила от себя вездесущие мужские руки.

В воздухе вовсе замелькало – почти всё перестало быть различимо, а при этом, не понять почему, потянуло курятником.

Уходить под остановочный кров мне по-прежнему не хотелось, но и стоять близко было неуместно. Там заговорили громче и не для чужих ушей, так что становиться свидетелем, чему свидетелем быть не следует, не стоило. Придется же садиться в один автобус! Разговаривавшие наверняка едут праздновать Рождество тоже.

«Прятать свой звон в мягкое женское?! Это, знаешь ли, совсем не так! – долетело до меня. – Красиво, чувственно, но скудно и тяготеет к нулю. Тут правильней невнятица о бесконечности прикосновений – бесконечность, приближаясь к нулю, никогда в нем не оборвется. Ей просто его не достичь... Разве трикотажная юбка тяжело не драпируется у теплых твоих ног и не перепутывается с ними? Разве я – раз ты этого хочешь, хотя и не подаешь виду – всю эту вечную перепутанность вечно не распутываю? А уж там, в задрапированных потемках – бесконечность теплых ног, теплых бедер, тайных одежек... Что-то утепляющее... что-то тонкое и шерстяное... Боже мой! Ну не протестуй ты

против моей правоты!.. У нас ведь единственное в мире совпадение тел! И тебе это хорошо известно!..»

Мужчина явно разговаривал с красивой и невыносимо желанной женщиной. Они стоят обнявшись, Она – в шубке, его руки под этой шубкой шарят по ее праздничному – оба же едут куда-то встречать! – телу. Он говорит и говорит, а когда смолкает, происходит поцелуй. При этом она обязательно сперва отводит лицо, потому что, собираясь в гости, долго накладывала бальзамическое содержимое разных баночек на милые свои черты.

Представлялось мне всё именно так.

А представлялось мне так потому, что сорвались многие мои праздничные планы (такое почему-то случалось каждый год), и я, обидевшись на весь мир, но при этом не желая торчать дома, ехал к одной ненужной знакомой, некрасивой и нежеланной. Так происходило тоже каждый год. Никого, ожидавшего нас в этот вечер, ни у нее, ни у меня в целом городе не нашлось, и оставалось повстречаться нашим неприкаянным похотям, хотя обоим было ясно, что всё, чему сегодня произойти, окажется безрадостным и ненужным.

Она всегда вела себя самым невыгодным для женщины – особенно в некоторых летах – образом. Выражалось это в непрестанном уязвлении мужчин. И тех, кто заинтересовывался ею, и вообще собеседников. Посрамляла она даже того, с кем бывала близка, – это я знал по себе.

Репертуар насмешек бывал нехитрый и жалкий. Скажем, постоянное вышучивание новостей в одежде. Уже повязывая галстук, я знал, что услышу: «Ого! Он в галстуке! В президиум вырядился, что ли?» или «Ну и ну! Ботиночки новые! Вот умора! Думаешь, я тебя в старых не опознаю?»

И почему-то надо было по каждому поводу оправдываться.

Реплики эти, даже если ей очень стоило бы помолчать, бывали вовсе бестактными и обескураживающими. «Сейчас, конечно, лапать начнешь!» – могла она сказать, когда, встав из-за стола и делая вид, что собираюсь подойти к окну, я направлялся к ее стулу, – нехитрый мужской маневр для перехода к прикосновениям.

Или: «Как вы все суетливо стаскиваете носки! К брюкам бы их пришивали! Чтоб заодно!»

Словом, она постоянно ставила мужчин на место, хотя в саркастическом ее взгляде порой улавливались тревога и даже отчаяние. Но уж тут она бывала начеку – всегда это в себе подмечала и ощетинивалась, и произносила что-нибудь вовсе неуместное.

Как-то, не в меру распалившись в объятии, но затем, вероятно, пожалев, что дала себя увидеть потерявшей голову, она суховатым тоном заметила, что оргазм ее был иронический и чтобы я ничего себе не воображал.

Была у моей знакомой и некая темная прихоть. Твердым голосом в какой-то момент потребовать то, что совершить бывало невыносимо. Однако и тут, намеренно унимая сбившееся дыхание, она умудрялась ляпнуть такое, отчего возможности мои, и без того мобилизованные только из самолюбия, перечеркивались напрочь.

А еще у рождественской сотрапезницы были коричневатые подглазья, пристальный собачий взгляд и, хотя она непрерывно курила, непрокуренные странного белого цвета зубы…

«…Перестань ускользать! Молчи и не протестуй против моих рук. Их упрямство предуказано не нами! Ты все равно им подчинишься… Не захочешь, а одуреешь и, хотя кругом зима, даже расставишь стройные свои ноги… И уж тут, конечно, возникнут смехотворные препоны всех колготочных и прочих резинок! Но это видимость, что они защита от беззащитности! На самом деле, преодоленные, они еще сильней притиснут мою всемогущую руку к вздрагивающему твоему животу… Мы же с тобой всегдашняя группа риска – в любую минуту можем нагноить в себе нестерпимое желание...»

Мне снова показалось, что потянуло курятником – слабой волной запаха, какая обычно улавливается в заштатных польских городках, где австро-венгерскую канализацию еще во времена Франца-Иосифа проела ржа, а для ремонта уже не найти сведущих людей. Те, кого все-таки найдут, станут медлительно копать мелкие канавы, отсыпая на старый тротуар серую, состоящую из европейских комочков не нашу землю. И хоть ты рой, хоть не рой, пованивать там будет всегда, ибо исправить уже ничего невозможно. Где теперь найдешь допотопные императорские сгоны с глубокой резьбой? Можно, конечно, ее нарезать, но это если на какой-нибудь барахолке сыщутся в довоенной еврейской рухляди годные в дело нужные железины.

То возникавший, то пропадавший запах, а также канава в сыпком грунте чужой земли, захолустно отличавшаяся от переулочного со здоровенными – в полковша – смерзшимися глыбами котлована, напомнили мне старуху в таком вот польском городе, беседовавшую в старинной арке – Гродской Браме – с обношенным высоким стариком. Старая женщина и сама выглядела прискорбно, будучи в темно-синем прорезиненном плаще, известной нам уличной одеже, которую я и на родине не переносил. Вдобавок она держала в руках тонкогорлую литровую бутылку молока, заткнутую бумажкой.

Меня, привыкшего к меньшему бутылочному разливу, вид белой коровьей жидкости в литровой посуде почему-то переполняет омерзением – молоко, оно же субстанция биологическая, исполненная навозных тайн и скорей противная, чем нет.

В том городе, куда мне удалось попасть всего на день, я напрасно искал нестерпимые сердцу и драгоценные следы. У старинных ворот надежды мои кончались, времени совсем не оставалось, и я спросил старуху, прервав изобиловавший польскими учтивостями их разговор с долговязым стариком, не жила ли она тут, в стародавнем этом квартале, в войну или до войны – вдруг она знавала тех, чьи тени я ищу.

– Э, пане, – раздражившись вмешательством в церемонную беседу, ответила старуха, – чтобы я жила тут с этими… – и высокомерно завершила презрительную фразу.

В воздухе опять засмердело, но это можно было отнести уже к моим воспоминаниям.

Думая про свое, я отвлекся от долетавшего с остановки. Тамошний разговор не прекращался и то становился громче, то снижался до шепота.

«Слушай! Так не пойдет! Не изгоняй же мои пальцы! Пусть придутся куда надо. Пусть делают то, чего хотим я и ты. Пускай с тобой случится, что должно случиться и что желанно твоей природе. Где же, где он, твой кошачий вопль?! И что с того, что на остановке, под снегом и в Пропащем переулке?.. Так ведь этот заулок именуется?..»

Ну и ну! А я, наблюдая ночное запустение, пролетающую ворону и немереные снега, напрочь забыл, что переулок зовется Пропащий! Вдобавок еще стою и вслушиваюсь в чужой шепот, тем более что там, кажется, стало происходить вовсе укромное, и, если, когда придет автобус, я обнаружусь стоявшим поблизости, они правильно решат, что я подслушивал…

«…Когда торопливыми рывочками ты стаскиваешь их самыми последними с бедер, я схожу с ума. Брошенные на пол, они обнаруживает укромную свою изнанку с поперечным шовчиком. Они уже сдались и отъединены от неутолимых мест нашей бесконечности! Завтрашний день невесомой этой безделицы хотя и будоражит, однако мало что значит – выстиранная, она повиснет на распялке и станет сохнуть. Но будущее ее не безнадежно – снова оказавшись на твоих бедрах, она опять упоит мои руки потрясающим ощущением разницы между шелком своей фирмы и теплой радостью твоей кожи… Стой! Не приникай же! Не прижимайся! Ты сейчас изойдешь, а мне как быть? Нам ведь еще ждать автобуса, потом целую вечность ехать к Замысловским, а я уже не могу…»

Послышались какие-то сбивчивые банальности, и я решил еще дальше уйти от бессвязного теперь бормотания:

«Побрила? С чего бы? Столько времени просил – что же вдруг теперь? Может, это не для меня? Или ты аборт делала? Хотя какой аборт? Я же тебя ни на миг из рук не выпускаю… А про тот даже вспоминать не хочу…»

Дальше стало долетать совсем неразборчивое, хотя укромные ритмы, понижения голоса, паузы, когда у говорящего перехватывает дыхание, все равно улавливались.

В переулок с поперечной улицы, куда, как сказано, он утыкался, вбежала тощая и, ясное дело, черневшая на снегу собака. Бежала она обычным собачьим ходом, но ближе к остановке пошла крадучись и, на мгновение замерев, сделала что-то вроде стойки. После чего по кривой стала медленно огибать остановочное место, нюхая повернутой туда мордой воздух. Потом, взлаяв, метнулась по обходной дуге, но, завидев меня, дугу увеличила и, поджав хвост, кинулась в сторону котлована.

В остановочном сооружении смолкли.

«Черт знает что, – подумал я, снова вспомнив, куда и зачем еду, – собака эта черная унеслась в котлован, как бес в преисподнюю… А какой она сделала круг, как настороженно пошла, как подала вперед морду! Собаки, они всегда недоумевают, завидя непостижимых для себя, не по-людски шевелящихся существ о четырех ногах, исчезающих куда-то руках и вдобавок издающих не присущие людям звуки. Особенно же псы волнуются и даже набрасываются, когда, пропав

в таком вот четвероногом, хозяйка или хозяин то ли взывают о помощи, то ли взвывают на луну, то ли единоборствуют с большим лесным волком.

Черные творения, бормочущие остановки, дыра котлована, потемки и безлюдье! Вот уж Рождество мне угадалось! Но где же скрипучий снег и пресветлый небесный свет? – совсем удрученно думал я. – Где, наконец, морозец! Где оно всё, черт возьми!»

И снег вдруг остановился падать! И тут оно все произошло! И стали елочными блестками последние реденькие снежинки!

Это пределы Пропащего переулка залил торжествующим светом фар, подфарников, ярко освещенных окон и надлобной маршрутной надписью автобус, победно подминавший тяжкими колесами белую дорогу. Весь, словно рождественская звезда или завороченная в сияющую фольгу коробка дорогого подарка, он, кидая счастливый свой свет даже в котлован с колченогими досками, вкатился в сразу поплошавший потемочный пейзажик. И был сияющий этот автобус совершенно пуст, оттого что сплошь наполнен светом!

«Я еду к вам, пассажиры! Валяйте отряхивайте шапки и польта! Я приму вас всех в свое довозящее куда надо брюхо! А вы уж сами выпрастывайтесь, кому где сходить!»

Когда разъехались его двери, я, ставя ногу на ступеньку и оглянувшись, в изумлении не увидел входивших за мной тех, чей срывающийся разговор только что слышал. Зато в остановочном углу на железной скамье в окружении набитых вываливающимся хламом и тряпками замызганных клетчатых сумок стал виден освещаемый автобусными окнами какой-то бродяга. Был он в неописуемом салопе и ушанке, из которой лезла вата. Еще на нем виднелся долгий грязный шарф, и весь побродяга этот от многих своих огромных одежд грузнел большим отвратительным кулем.

Автобус отъезжать не торопился. Шофер, как и я, разглядывал сидящего и даже гуднул, поторапливая того садиться.

Я же сразу углядел, что нищий человек прижимал к уху некое подобие мобильника – что-то лоснившееся, похожее на коробочку от сардин, и сейчас уставился на автобус пустыми глазами, так что было не понять, видит он нас или просто оцепенел среди своих грязных сумок. Сардинная жестянка блестела масляным боком. Он вероятно сперва добыл из нее пальцем уцелевшие в скругленных углах остатки масла, затем палец обсосал, а потом дозвонился с нее в рождественскую жизнь, где после шампанского сладостны и на все согласны целующие тебя неотвратимые губы любимой.

– Эй, шабол, садишься?! Ну, гляди, не хочешь, не ехай! Все равно с праздником тебя! – неспешно трогаясь, сказал по радио шофер.

Остановочный человек убрал от уха тускловато блеснувшую жестянку и обеими нечистыми руками показал нам с шофером непристойный жест, мол, нате вам, сволота, в грызло!

Евгений Попов

«КОНСУЛЬТАНТ С КОПЫТОМ»*

Много лет назад меня научили в детском саду петь песню:

Курит трубку деда Сталин,
А кисета-то и нет.
Мы сошьем ему на память
Замечательный кисет.

В молодости-то ведь не знаешь, чем все закончится. В марте 1953-го мне было семь лет, Сталину – 73, но он вдруг взял да и помер 5-го числа, о чем скорбный голос диктора Левитана сообщил на следующее утро по радио, которое являло собой в те времена черную бумажную тарелку репродуктора, висевшую на стенке каждой советской квартиры и комнаты, а телевизоров тогда ни у кого не было, кроме самых главных начальников и других особенных людей Москвы и Ленинграда.

Я насупился. Мне было жалко Вождя всех времен и народов, по которому в одночасье зарыдала вся огромная советская страна, включая мою маму и исключая бабушку Марину Степановну, которая еле слышно прошипела-прошептала синими тонкими губами: «Подох дьявол нерусский, туда и дорога». Я подумал, что бабушка сошла с ума. Я ошибался. Марина Степановна просто-

* «Октябрь». 2003. № 10.

Евгений Попов – автор сборников рассказов «Жду любви невероломной» и «Накануне накануне», а также романов «Душа патриотов», «Прекрасность жизни» и «Подлинная история зеленых музыкантов». Живет в России.

напросто была вдовой расстрелянного священника, труп которого красные для надежности содеянного еще и пустили под лед в 1918-м, что ли, году. Я об этом узнал значительно позже, *когда стало можно*.

Жили мы тогда в сибирском городе К. на улице, носившей после Октябрьской революции имя убиенной Колчаком революционерки Ады Лебедевой, в деревянном доме с печным отоплением. А буквально рядом, точно в таком же доме, некогда проживал в 1913 году по дороге в туруханскую ссылку свежепреставленный Вождь. Его ведь царь очень часто сажал в тюрьму и направлял в ссылку, откуда он всегда довольно быстро убегал, чтобы снова заниматься упомянутой революцией и всем остальным, что такой революции сопутствует, например, грабежом банков, терроризмом, агитацией. По такому случаю в этом его временном сибирском жилище уже существовал музей, куда мама по соседству и направила меня, чтобы «возложить цветы».

А надо заметить, что живых цветов тогда в Сибири в это время года не существовало, не то что сейчас, когда их тюками везут из Голландии. Мама срезала несколько пышных зеленых ветвей распространенного комнатного растения аспарагус, я и пошел.

А в музее том под картиной, изображавшей, как ссыльный Вождь плывет по реке Енисей в лодке и спокойно курит трубку, тоже рыдали – молодуха-экскурсовод и старушка-гардеробщица. Не прекращая рыдать, молодуха записала меня в толстую коленкоровую тетрадку, старушка сказала «молодец», и вечером того же дня все по тому же радио я узнал из передачи «Сталинские внучата», что «первым отдал память вождю пионер Женя Попов».

Я был горд, что меня назвали. И назвали пионером – я ведь еще и в школе тогда не учился. Еще начальник советских чекистов Лаврентий Павлович Берия по радио тогда выступал, и я запомнил начало его скорбной, но энергичной речи, обращенной к соотечественникам: «Дорогие мои, не плачьте». Тогда по радио многие выступали, призывая слушателей соцлагеря и просто лагерей еще теснее сплотиться вокруг коммунистической партии. Сплотились. В Москве в тот день была на Трубной площади давка, унесшая десятки жизней, а по всей стране – траур и минута молчания, которая закончилась для меня непонятно. В знак торжественности скорбного момента я с грохотом выстрелил из детского двуствольного ружья, за что был строго наказан родителями, стоящими перед репродуктором навытяжку, но получил от бабушки конфету «Красный мак», вкусная была конфета.

Далее непонятное продолжилось. В декабре того же года Берию шлепнули как «английского шпиона», в 1956 году Никита Хрущев разоблачил на XX съезде культ личности Сталина, а в 1961 году набальзамированный труп вождя переместили из Мавзолея под Кремлевскую стену, и Ленин опять остался лежать в одиночестве.

А потом пришел править Леонид Брежнев, и начальство стало поговаривать, что не такой уж Сталин был страшный, как его малевал волюнтарист и кукурузник Никита, дескать, если он и сукин сын, то – наш, отчего народ окончательно запутался и, так и не дождавшись обещанного светлого будущего,

стал сильно пить, воровать, диссидентствовать или стремиться из нашей счастливой страны развитого социализма в сионистский Израиль, империалистическую Америку, пока не случилась перестройка и другие события новейшей истории конца XX века, свидетелями которых мы являемся нынче все без исключения.

Однако, на мой взгляд, роль такого Вождя в нашей истории все же не стоит преувеличивать, все же не Ленин. Не было бы Сталина, другой бы какой-нибудь нашелся гад из большевиков вроде Троцкого или Бухарина, отчего все могло быть гораздо хуже, чем при Сталине, который, хоть и рассовал по лагерям миллионы своих соотечественников, все же лучше, чем, например, Гитлер, Пол Пот или эфиопский марксист-людоед Бокасса, который кушал свой народ уже не в переносном, а буквальном смысле этого глагола. Очевидно, Господу зачем-то нужен был этот самый Сталин, как почему-то нужно и все то, что происходит сейчас в обновленной невиданными переменами России с ее плюсами, минусами, материалистическими мерзостями и духовными озарениями, той самой России, которую почти на семьдесят лет коммунисты завели с истинного пути в такую чащобу, откуда мы только теперь с трудом выбираемся, обдирая бока. Все же наш народ нынче не такой уже дурак, чтобы рыдать у репродукторов или даже у телевизора, ежели, не дай Бог, случись что даже с самым любимым вождем, а хорошо это или плохо, знает опять же только Бог.

Но, во всяком случае, не я, лицо крайне удаленное от политики, как рыба, живущая в воде, удалена от воздуха. То, что было, прошло, а если и возвращается, то в каких-то уже совсем неведомых формах.

Я убедился в этом, посетив как-то бывший Музей революции, где по случаю полувековой скорбной даты была развернута выставка, посвященная Сталину, его делам, деяниям и делишкам. Я ожидал увидеть там плачущих большевиков и накал классовой борьбы, а обнаружил почти идеалистическую плюралистскую картину на все вкусы и убеждения, где лихая любопытствующая молодежь мирно соседствовала с идейно-убежденными ветеранами, носящими орденские колодки.

Так, по одному из мониторов нон-стоп шла видеозапись непосредственных похорон вождя в присутствии всех заинтересованных лиц этой нашей истории: Хрущева, Берии, Маленкова, Молотова и т. д.

Зато по другому монитору транслировался небезызвестный Генрих Боровик, который, как только КПСС прокукарекала перестройку, немедленно прозрел, стал демократом, остается им до сих пор и с тонкой улыбкой старого пропагандиста развенчивает Сталина, рассказывая о нем симпатичные анекдоты. Например, как тот в одночасье подарил конструктору Микулину дачу на Николиной горе, зато публициста Михаила Кольцова немедленно посадил, после того как тот прочитал блестящий доклад о знаменитом сталинском «Кратком курсе истории ВКП (б)». Здесь подарки товарищу Сталину, включая знаменитую вышивку бисером, которую от любви к Вождю выполнила ногами безрукая от рождения женщина Семенова, соседствуют с лагерными одеждами безвестных сталинских политзаключенных.

Ну и правильно, чего уж там после драки кулаками махать, когда и вся-то наша жизнь есть борьба. Я думал, что Сталин поехал в сторону попсы только в начале семидесятых, когда любой веселый шоферюга считал долгом прикрепить его портрет на ветровом стекле рядом с изображением Аллы Пугачевой. Оказалось, что я и в этом ошибаюсь, как и во многом другом.

Прелестная инсталляция имеется на этой выставке, сочиненная детьми еще в 1949 году. Пупсы и куклы несут портрет Сталина и благодарят его за счастливое детство. Алиева, машинистка из Грозного (!), выпечатала в 1949 году его цветной фэйс. Угнетенные индейцы США назначили Вождя своим почетным вождем, подарили ему шапку из перьев. А трудящиеся завода им. ОГПУ – огромный кинопроектор. Интересно, что открытка «с Лениным» стоит в музейном ларьке рубль, а с изображением Сталина – десятку.

Я стоял и вспоминал строчки из поэмы ученика Маяковского Семена Кирсанова, посвященной Вождю:

Товарищ Сталин, Ваша жизнь примером
Для нас для всех на тысячи годов.
К Вам наша юность входит пионером
И говорит: «Для Вас на все готов».
Я вышел из Музея Революции
И, уходя, подумал – не вернуться ли?

Я тоже хотел было вернуться, однако во дворе Английского клуба встретил своего приятеля, знаменитого современного драматурга Виктора Славкина, который поведал мне внезапно раскрывшуюся тайну. Оказывается, он тоже в качестве юного пионера, лично сменив Буденного, стоял в почетном карауле у сталинского гроба, что теперь документально подтверждено упомянутым монитором. Славкин долгие годы мало кому рассказывал об этом, с одной стороны, опасаясь, что ему никто не поверит, а с другой – что его потянут на Лубянку за безответственную болтовню. Ведь он, у которого двое дядьев сидели в тюрьме, оказался у гроба по чистой случайности и халатности начальства, что свидетельствует о том, что и тогда у нас в стране не было особого порядка, так что чего уж пенять на нынешние времена. Нету на нас Сталина, и хорошо.

P. S. Хотите верьте, хотите – нет, но весь этот текст, над которым я трудился несколько дней, ночью вдруг исчез из моего компьютера, и мне пришлось восстанавливать его заново, по памяти. Так что извините, если что не так со стилем и вообще. Может, он и правда дьяволом был? Недаром же Михаил Булгаков именовал первый вариант своего знаменитого «Мастера» – «Консультант с копытом», а у Сталина были сросшиеся пальцы на ноге, что являлось страшной государственной тайной.

Москва, 2000–2003

Борис Хазанов

ДОЛОЙ ИСТОРИЮ, ИЛИ О ТОМ, О СЕМ*

У меня хранится документ, подписанный вами триста восемьдесят два года назад. Этот документ не отменен... Там стоит подпись: Дракон.

Евг. Шварц

1

Мы начнем несколько издалека. По разным поводам, не имеющим отношения к теме этой статьи, я просматривал материалы о Волго-Вятском регионе, читал рассказы туристов о ландшафтах и достопримечательностях Костромской и бывшей Горьковской, ныне Нижегородской, области, о лесах, куда некогда бежали раскольники, о плаванье на байдарках по Унже, по Луху, по Керженцу. Увлекательная литература! В Воскресенском районе Нижегородской области, неподалеку от села Владимирское, расположено легендарное озеро Светлояр. Кое-где сохранились остатки скитов. Путешественник может посетить старинный монастырь в Макарьеве, увидеть крестный ход и старушек, трогательно блюдущих древние обычаи.

Лет сорок назад старушки были молодками из нищих деревень, числились

* «Октябрь». 2004. № 2.

Борис Хазанов (литературный псевдоним Г. М. Файбусовича) - прозаик, эссеист, переводчик, автор десятков книг. Живет в Германии.

колхозницами и промышляли любовью и водкой, которую носили солдатам-охранникам. Только об этом они не помнят. Никто: ни местные жители, ни туристы – не вспоминает о том, что некогда здесь существовало обширное феодальное княжество со своим сувереном, вассалами, слугами, дружиной и крепостными. Княжество носило кодовое название ИТЛ «АЛ», иначе Унженский исправительно-трудовой лагерь, в просторечии Унжлаг. Оно было основано в тридцатых годах, сперва состояло в подчинении НКВД, а потом – ГУЛЛП, Главного управления лагерей лесной промышленности министерства внутренних дел.

Кого и от чего исправлял Унжлаг, сказать трудно, однако известно, что заключенные выполняли важную народнохозяйственную задачу: поставляли высокоценные сортименты – рудничную стойку, авиасосну, авиафанеру, шпальник и прочие – для угольных шахт, где работали крепостные других княжеств, для военных заводов, где заключенные выполняли задачи оборонной промышленности, для лагерей, строивших в тайге и тундре города и железные дороги. Составы доставляли лагерную продукцию по железным дорогам в северные гавани, там заключенные грузили ее на океанские пароходы – лес шел на экспорт в чужие страны.

Размеры Унжлага были сравнимы с небольшой западноевропейской страной; он и сам был в своем роде государством, верным подобием Большого государства. Чтобы добраться от столицы лагеря Сухобезводное в Горьковской области до крайнего северного лаготделения в Костромской области с его головным лагпунктом Пуеж, надо было ехать по лагерной железной дороге всю ночь. Найти эту железную дорогу нельзя было ни на одной карте – как и весь Унжлаг. Топонимы, восходящие к временам татаро-монгольского ига – Колевец, Керженец, Лапшанга, Белый Лух, – были названиями лагерных пунктов и подкомандировок. Где бродили лоси и медведи, где скрывались раскольники, там заключенные прорубали просеки, выволакивали на себе баланы из хлюпающей трясины, прокладывали усы – деревянные круглолежневые дороги для вывоза древесины, строили сторожевые вышки и проволочные заграждения для оцеплений, после чего армия строителей коммунизма вгрызалась в тайгу. Сколько людей лежит среди болот на полях захоронения, неизвестно, ныне опубликованная официальная статистика не внушает доверия. Великие князья, начальники центрального управления лагеря, сменявшие друг друга на протяжении десятилетий, – некий старший лейтенант внутренней службы Ф. Автономов, какой-то Ф. Озеров, полковник Г. Почтарев, инженер-майор Г. Иванов, майор Г. Щербаков, полковник Н. Алмазов, еще кто-то – покоятся в своих могилах. Дела давно минувших дней, история.

2

Можно вывесить над храмом истории предупреждение: кто старое помянет, тому глаз вон. Кому охота вспоминать о веревке в доме повешенного? История не преодолевается – она отменяется. Можно даже говорить об историческом процессе истребления истории. Нам приходилось видеть разнообразные проявления этого процесса, от выборочного выскабливания имен и событий до систематического переписывания прошлого, от подтасовок до мифо-

логизации. Монструозный всадник перед зданием Исторического музея – не символ ли совсем недавней истории, превращенной в великодержавный миф?

Что такое история?

Услыхав этот детский вопрос, профессионал-историк пожмет плечами. Объяснит, что историческое знание есть именно знание, а не сказка, что оно предполагает задаваемый современностью вопрос, изучение источников и методически безупречный ответ. Но писатель (чья профессия – дилетант) смотрит на дело иначе. Писатель возразит, что древние считали историю не наукой в нашем нынешнем понимании, а искусством: хоровод муз, ведомый Аполлоном, замыкает муза истории Клио.

Мы получили историографию из рук античных историков, между тем каждый знает, что ее лучшие образцы – это, прежде всего, образцовая проза. Речь Перикла над телами павших, как ее передает Фукидид; рассказ Тита Ливия о переправе армии Ганнибала через Рону; сумрачный пафос Тацита (opus aggredior opimum casibus, «я приступаю к рассказу о временах, исполненных несчастий...»). Но не только историография древности. Возьмете ли вы характеристику Цезаря у Теодора Моммзена, или Жанну д'Арк у Мишле, с ее «состраданием к Франции», или рассказ Ключевского о девочке из захолустного Цербста, которая стала матушкой-государыней Екатериной Второй, или портретные главы «Немецкой истории XIX и XX вв.» Голо Манна: что это, как не примеры высокоталантливой художественной словесности!

«Лишь историография создает историю, – говорит Себастьян Гафнер ("В тени истории", 1985). – История не есть реальность, история – это отрасль литературы».

Но ведь история все-таки не вымысел беллетриста, а нечто такое, что было на самом деле, о чем свидетельствуют документы, материальные памятники, археологические находки. История есть совокупность фактов, выстроенных в хронологическом порядке. История растолкует, почему то, что случилось, случилось так, а не иначе; разъяснит закономерности исторического развития. Чтобы окончательно закрепить за собой статус науки, история нуждается в фундаментальных концепциях, в общей теории. Всякая теория не только объясняет, но и прогнозирует; освещенный теорией, как ночная дорога – фарами автомобиля, исторический процесс в самом себе содержит собственное предопределение; история есть научно обоснованная судьба.

3

Мы знаем такие теории – по крайней мере, слыхали о них. Одна из самых знаменитых книг только что ушедшего века открывается фразой: «Здесь впервые делается попытка предопределить историю». Шпенглер заблуждался: такие усилия уже предпринимались. Историософские концепции, попытки подобрать ключ к истории человечества, претензия истолковать прошлое с единой точки зрения и на этом основании предсказать будущее – все это было и до автора книги, которая в русском переводе не совсем точно, но эффектно на-

зывается «Закат Европы». Несчастье в том, что книга предсказала закат самих этих концепций.

Среди них – надо ли напоминать? – схема, предложенная в блестяще написанной, вышедшей в Брюсселе в 1848 году брошюре под названием «Коммунистический манифест». Вся прежняя история человечества, говорится в нем, была историей борьбы тех, кто, владея средствами производства, ничего не производит, и тех, кто производит, но ничем не владеет. Последним классом собственников-эксплуататоров является буржуазия, последний класс неимущих – пролетариат. Растущее противоречие между трудом и капиталом будет рано или поздно разрешено – чем раньше, тем лучше. Класс тунеядцев загнивает, дни буржуазии сочтены; пролетарская революция сметет стяжателей и эксплуататоров и установит бесклассовое общество. На смену царству необходимости придет царство свободы.

Автор «Заката Европы» явился со своим трактатом-пророчеством спустя семьдесят лет. Подобно Марксу и Энгельсу, он все знает заранее. Но Маркс пророчил человечеству лучезарное будущее. Историософия Шпенглера дышит смертью. История общества есть история смены культурных организмов, в главных чертах они повторяют друг друга. Но, как и биологические организмы (ближайшая аналогия – растения), культуры самодостаточны, замкнуты в себе и – ничего не поделаешь – располагают ограниченным сроком жизни: возрастают, цветут, вянут и умирают. Истории известно восемь культур: египетская, греко-римская, индийская, китайская и другие; последняя, западноевропейская, иначе фаустовская, доживает свои дни. На очереди девятая, еще не состоявшаяся, русско-сибирская культура. Что ж, спасибо и на этом.

4

Здесь можно упомянуть еще несколько универсальных доктрин, например, выдвинутую незадолго до Шпенглера, но оставшуюся малоизвестной схему истории как цепи колец-звеньев: каждое звено замкнуто и вместе с тем связано с предыдущим и последующим. Имя автора этой теории – Ульрих фон Виламовиц-Меллендорф – знакомо каждому, кто занимался классической филологией. Не забудем и Константина Леонтьева, предвосхитившего многое из того, что было развито впоследствии то Ницше, то Шпенглером. Каждая цивилизация, по Леонтьеву, переживает один и тот же циклический процесс созревания, цветущей сложности, старческого смесительного упрощения и умирания. Такова судьба Западной Европы, то же в конце концов ждет и Россию. «Странное суеверие XIX века, – заметил по этому поводу С. С. Аверинцев, – согласно которому ***заимствованные из естественных наук сравнения немедленно приобретают силу доказательства в науках социальных».***

Остается добавить к этому перечню – кого же? – Гитлера с его расово-кровяной историософией, как она представлена в хаотическом сочинении «Моя борьба». Здесь снова, уже в совершенно карикатурном исполнении, решающим аргументом служит биология. В главе XI первого тома «Народ и раса» говорится, что железным законом всего живого является размножение, равно как

и неравенство видов; при этом разные виды не смешиваются. То же самое народы и расы, для которых «кровь» служит определяющим фактором. Все живое утверждает себя не в смешении, ссли жс таковос случается – последствия гибельны. «Исторический опыт дает этому бесчисленные доказательства... при всяком перемешивании крови арийцев с низшими расами в результате наступает конец носителей культуры». История человечества – это история борьбы, высшие расы противостоят низшим, раса, призванная побеждать и править миром, – германцы, раса, подлежащая искоренению, – евреи, и так далее.

5

Отцом всего этого систематизирующего и пророчествующего философствования был, разумеется, Гегель. Его диалектика и его историческое мышление, покорившие и поработившие XIX век, покоились на вере в исторический разум. Божественный промысел уступил место самодвижению мирового духа. Иудейская стрела приняла вид дорожного указателя с надписью «Прогресс».

Но мы помним, что нашелся ум, который не поддался этому совращению. Это был Артур Шопенгауэр, родившийся на десять лет позже Гегеля. Не более ста экземпляров его главного сочинения, выпущенного в конце 1818 года, были проданы в первые полтора года, тираж пролежал еще пятнадцать лет без движения и пошел в макулатуру. Время Шопенгауэра еще не наступило. Он объявил цикл лекций в Берлинском университете, это был вызов: по настоянию философа лекции были назначены на те же часы, когда читал свой Hauptkolleg (академический курс) ординарный профессор Гегель. Двести пятьдесят студентов слушали Гегеля. Шопенгауэр вошел в аудиторию, где сидело пять человек.

Известно, какого мнения он был о Гегеле: шарлатан! Его система – ложь, абсурд, если она так популярна, то виноваты в этом ослы-профессора, и – «не современникам, не соотечественникам – человечеству вручаю я ныне завершенный труд мой, в уверенности, что оно оценит его значение». Этим скромным заявлением было предварено спустя четверть века второе издание трактата «Мир как воля и представление», теперь уже двухтомного.

Никакого разумного плана, никакого прогресса франкфуртский мыслитель не находит в истории; никакой закономерности, если не считать законом бесконечную смену масок на одном и том же кровавом карнавале. В великой и жалкой драме человечества меняются только декорации и костюмы.

Eadem, sed aliter – по-другому, но та же. Вот девиз истории, вот единственный урок, который можно из нее извлечь. Та же в смене эпох и событий – подобно тому, как всегда равна самой себе в круговороте объективаций безначальная, беспричинная, иррациональная сущность всего сущего – черное пламя мира: воля.

6

И все же: так хочется думать, что «все не напрасно»! Хочется говорить о борьбе прогрессивного с ретроградным, о постепенном росте благосостояния,

о совершенствовании человека, о построении справедливого общества. Идет ли человечество к какому-то финалу или кружится по замкнутой кривой? Какая из двух моделей исторического процесса верна: иудейская стрела или греческий круг? Или, может быть, соединение двух чертежей, спираль Гегеля: кругами, но все выше и выше?

Историософские построения обладают свойством, которое сближает их с романами. Они заражают нас чем-то лежащим по ту сторону логики. Вдобавок они обладают насильственной тотальностью. Они всеобъемлющи и просты, потому что дают единый ответ на множество вопросов, предлагают окончательную разгадку.

В 1933 году, после нацистского переворота, 48-летний Эрнст Блох бежал в Швейцарию, оттуда перекочевал в Америку, где написал свой главный труд «Das Prinzip Hoffnung» («Принцип Надежда»), одну из самых завораживающих книг XX века. Огромное – 1600 страниц – сочинение представляет собой и философский трактат, и род рапсодии, может напомнить книги Ницше. Но Блох отнюдь не следовал Ницше, своим учителем он считал Маркса.

После войны он вернулся – правда, не в Западную Германию, а в Восточную, и занял кафедру в Лейпциге. Он был превосходным лектором, блестящим говоруном, одним из тех, кто живет в замкнутом мире идей, похожем на роскошный заоблачный замок. Над этим замком реял флаг «первого социалистического государства на немецкой земле». Президент ГДР Вильгельм Пик наградил Блоха орденом. Вскоре, однако, начались неприятности, профессор оказался строптивым, был отставлен от должности, кончилось тем, что он снова эмигрировал, на этот раз в Федеративную республику. Здесь вышел в свет его труд.

Философия Блоха представляет собой попытку соединить Гегеля с утопией иудаизма – Царством Божьим на земле – и привести все вместе в единую систему с помощью диалектического материализма. Человек победит социальное отчуждение, и тогда – что тогда? Гигантский опус, обетование надежды, заканчивается такими словами:

«Человек все еще живет в своей предыстории, собственно говоря – даже до сотворения мира, подлинного мира. Настоящая Книга Бытия пишется не в начале, а в конце – когда общество и бытие станут радикальными, то есть – буквально – доберутся до самых корней. Корень же истории есть трудящийся человек, творящий, преобразующий и перешагивающий наличные данности. И когда он овладеет собой и утвердит себя и свое достояние без всякого отчуждения, не уступая своих прав, в реальной демократии – вот тогда в мире возникнет нечто такое, что, мнится, осталось в детстве, земля, где никто еще никогда не бывал: родина».

Какие слова!
Хочется в батистовый платочек
Высморкать прекрасные мечты.
(Из юношеского стихотворения
Якова Серпина, 1929–2002)

7

За всем этим слышится какой-то плач. Блоха уже давно нет в живых, нет многих и славных, а их ученики и наследники сидят вокруг пепелища. Праздник утопической мысли отшумел, и нужно довольствоваться скучной обыденщиной, суровой прозой. Скучно жить в обществе, где задают тон не мечтатели и пророки, а бизнесмены. Тошно просыпаться утром в понедельник, когда за окнами брезжит XXI век. И это еще хорошо, если ждет обыденное существование...

Дело не в том, что всемирно-исторический прогноз Маркса и Энгельса провалился – как и всякий другой. Дело идет о крушении веры в исторический разум. Метаисторические построения молчаливо исходили из постулата, что в истории кроется некий смысл, ratio, Sinn, raison. Этот смысл, эту разумную необходимость они должны были открыть и продемонстрировать. Иначе говоря, *оправдать* историю.

Что такое оправдание? Обоснование целесообразности, закономерности, справедливости. Что такое смысл?

В Четвертом евангелии сказано: в начале был Логос. О том, что означает греческое слово, написаны фолианты. Обычное объяснение – Слово и Смысл. В русском толковом словаре говорится: смысл – это внутреннее логическое содержание, значение, постигаемое разумом. По Людвигу Витгенштейну, смысл мира должен лежать вне мира.

Последняя фраза как будто обесценивает историософию. Ведь и Маркс, и Шпенглер, и кто там еще хотели убедить нас в том, что смысл истории не есть нечто, привнесенное извне, но лишь расшифровка того, что содержится в ней самой. Смысл имманентен истории. Какой же?

Никакой, ответил пророк мировой воли, но приходится возразить и Шопенгауэру. История не вечно одна и та же, и, например, время, в котором нас угораздило родиться и жить, демонстрирует кое-что новое. За спиной у нас уже не XIX век, а XX, с ним пришло то, о чем не ведали прежде. Явились концентрационные лагеря.

Явилось тоталитарное государство. Народились «массы» (прежде называвшиеся народом), для которых вездесущая пропаганда, лживая по определению, оснащенная новейшей технологией массовой дезинформации и всеобщего оглупления, заменила религиозную веру. Почувствовалось повсеместное присутствие тайной полиции, государства в государстве. Расцвел культ ублюдочных вождей. Оказалось недостаточным одной мировой войны, разразилась вторая. Ничего подобного никогда не бывало. Апокалиптические разрушения, астрономические цифры жертв. Стало возможным в считанные минуты уничтожить с воздуха целый город, плоды труда и культуры многих поколений. Стало возможным, руководствуясь безумной теорией, истребить в короткий срок, с помощью специально сконструированных газовых камер и печей, шесть миллионов мужчин, женщин, детей и стариков. И так далее. Спрашивается: во имя чего?

Для всего нашлись объяснения, всему были свои причины. Все – казалось

бы – тщательно обдумано и расчислено. Построено на рациональных основаниях, распланировано, бюрократизировано, оснащено изумительными достижениями техники, санкционировано идеологией, выдающей себя за науку. Но за этой техникой и наукой, логикой и организацией скрывается пустота – черный провал. Двигаясь назад по цепочке причин, следствий, оснований для поводов и причин для причин, мы в конечном итоге наталкиваемся на абсурд.

8

Ближайшей иллюстрацией может служить отечественная история. Эмиль Чоран говорит о том, что «дьявол – это полномочный представитель демиурга... ангел, на которого возложена грязная работа вершить историю» («Злой демиург»; пер. Н. Мавлевич). Стоит только оглянуться на последние восемь–десять десятилетий. Сгнившая монархия и безумная мировая война четырнадцатого года, в которую неизвестно зачем ввязалась Россия. Поражение и спровоцированная войной революция как возмездие за обветшалый, изживший себя политический и социальный строй, как месть ничем не желавшему поступиться, ничего не желавшему менять правящему классу. Октябрьский переворот, этот российский термидор, гражданская война, еще яростней, еще ожесточенней, чем мировая. Голод, разруха, массовое бегство за границу; новый порядок, рядом с которым старые времена стали казаться каким-то потерянным раем. Чернь, дорвавшаяся до власти, режим бессмысленных жертв, опустошения культуры, злодеяний, неслыханных в русской истории, отнюдь не образцовой по части христианской человечности.

Дела давно минувших дней, история... Но она продолжается – кровавой бессмыслицей Афганистана, Чечни.

Есть любопытная страница в «Размышлениях о мировой истории» Якоба Буркхардта, швейцарского историка культуры и искусства: он делит исторические события на счастливые и несчастливые. Это деление более или менее удается, пока речь идет о древности, о Средних веках, даже о Новом времени. Но чем ближе к современности, тем решить труднее, слишком часто последствия противоположны тому, что ожидалось. Слишком часто историк сталкивается с тем, что можно назвать коварством истории. Не говоря уже о самих участниках событий: ведь никто так плохо не знает свое время, как тот, кто в нем живет.

На этом фоне победа в войне 1941–1945 гг. выглядит единственным по-настоящему достойным того, чтобы им гордиться, событием. Счастливым? Да, конечно. Страшно подумать, что стало бы со всей страной, со всеми нами, если бы не победа. И все-таки... Тот, кто помнит 9 мая 1945 года в Москве, эти счастливые толпы, песни, танцы на улицах, объятия, слезы, это небывалое и никогда больше не повторившееся чувство, что все страшное позади, все прекрасное впереди, тот, у кого этот день, как у меня, все еще стоит перед глазами, будет, наверное, возмущен, если ему станут возражать. Если скажут, что победа мало чем отличалась от поражения, может быть, самого страшного за всю тысячелетнюю историю России. Ибо эта победа была оплачена ценой, со-

поставимой с той, которую заплатил агрессор за свое нападение, и повлекла за собой последствия, каких мало кто ожидал.

9

Вот она, дилемма Буркхардта, никак не решаемая, а вернее, решаемая так, что лучше бы ее не предлагать вовсе. Тогда, в мае 1945-го, газеты называли Сталина Спасителем с большой буквы – он отождествил себя с Христом.

Война, докатившаяся до Москвы и Сталинграда, закончилась в Берлине, на Эльбе и в Северной Италии. Война привела к расчленению Третьей империи, дала возможность отхватить изрядный кусок Польши, аннексировать Восточную Пруссию, создать послушные Советскому Союзу тоталитарные режимы в государствах Восточной и Центральной Европы. В конце концов, она превратила СССР во вторую великую державу. Кто спорит? Но это был триумф разбитого и обескровленного победителя.

Многие десятилетия война была спасительным якорем пропаганды. Можно было с успехом списывать на войну все долги. Сославшись на военные трудности, оправдывать все ошибки и преступления. Победителей не судят, не так ли?

Нам говорили, что колоссальные жертвы, принесенные ради победы, оправданы победой, что, в конце концов, никакая цена не была слишком высокой, жертвы неизбежны, необходимы. Не вернее ли будет сказать, что гибель миллионов людей была нужна, по понятиям советского режима и его вождя, не знавшего иных методов решения военных задач; что жертвы оказались непомерны не только потому, что страна испытала небывалое в ее истории нашествие, но и потому, что в стране существовал этот режим и страной управлял Сталин. Абсурд нашел свое воплощение, свою персонификацию.

Многие задавались вопросом: почему удалось победить? Причин, вероятно, много, но ответ один – потому что военачальники не щадили солдат. Жестокость высшего руководства не знала границ. Американцы, даже немцы по возможности берегли живую силу. Советские командиры, от высших до низших, знали: невыполнение приказа грозит опалой, трибуналом, смертью. Выигрыш должен быть достигнут ценою любых жертв. Такой подход был основан на молчаливом – и, разумеется, спорном – допущении, что другим способом, не столь дорогой ценой одолеть врага не удалось бы. Шапками закидаем! Людские ресурсы России неисчерпаемы. Они, однако, оказались почти исчерпаны. И мы знаем, что последствия катастрофы не изжиты до сих пор.

Вождь, не имевший военного опыта и образования, надел погоны маршала, а затем стал генералиссимусом, полагая, что таким способом он сравняется с Суворовым; на самом деле он оказался в одной компании с генералиссимусом Чан Кайши и диктатором микроскопической Доминиканской республики генералиссимусом Трухильо. Вождь объявил себя «величайшим полководцем всех времен и народов» – буквально так же именовался Адольф: groesster Feldherr aller Zeiten.

Правитель, облеченный всей полнотой власти, должен нести и всю полно-

ту ответственности. Этот спаситель объяснял неудачи первых военных месяцев внезапностью нападения, и никто не смел возразить, что неожиданность и неподготовленность как раз и были самым оглушительным свидетельством его военной и политической несостоятельности. Недолговечная дружба с нацистской Германией была одним из его самых печальных просчетов, не говоря уже о постыдности этой дружбы. Узнав о вторжении, он исчез, и почти две недели никто не знал, где он. Этот полководец ни разу не был на фронте. Многие и сегодня думают, что он выступил 7 ноября 1941 года на параде перед войсками, которым предстояло отправиться на фронт. Парад состоялся, но вождь на нем не присутствовал; то, что было показано в кино – Сталин в шинели на трибуне мавзолея, – было инсценировкой в студии.

Лживая пропаганда (другой не бывает) убедила народ и самого вождя в том, что от тайги до британских морей Красная Армия всех сильней. Один просчет повлек за собой другой. Армия ввязалась в открытые бои с явно превосходящими силами врага, вместо того чтобы использовать преимущество России – колоссальную глубину ее тыла, как это сделали в 1812 году Барклай де Толли и Кутузов. Ошибка стоила Красной Армии неисчислимых потерь. К концу декабря сорок первого года передовые части армейской группы вермахта «Центр» оказались в двадцати километрах от Кремля. Врага удалось отогнать. Но вождь приказал наступать на всем гигантском фронте от севера до юга, и результат был прискорбен. Весной Верховный главнокомандующий отдал приказ о новом большом наступлении на Юге; кончилось тем, что вермахт опрокинул Красную Армию и на всех парах понесся по степям к Кавказу и Волге. Неисчислимое множество молодых солдат погибло в последние дни войны в Берлине только потому, что город, заведомо обреченный, лишенный подвоза и задыхающийся в дыму пожаров, надо было взять непременно к 1 Мая. Надо было рапортовать вождю, что знамя победы водружено над рейхстагом. Почему именно над рейхстагом? Опустевшая руина, бывший парламент, который в гитлеровском государстве не играл никакой роли, почему он должен был выглядеть как конечный пункт и символ победы, почему не подлинное сердце нацистского режима – помпезная Имперская канцелярия, почему не Бранденбургские ворота? Это осталось загадкой.

10

Сова Минервы расправляет крылья на закате. Мы, конечно, не умней и не проницательней наших отцов, но у нас есть то преимущество, что мы пришли позже. И наша оглядка на военное и послевоенное прошлое не может не отличаться от стереотипа, который пропаганда внушила трем поколениям советских граждан. Триумф оказался мало отличим от поражения и потому, что не оправдались надежды и ожидания, связанные с победой. Напротив: ее результатом было новое ужесточение режима. Ни о каких реформах не могло быть и речи. Вождь известил свой народ о том, что капиталистическое окружение сохраняется, – это была условная формула, сигнал к возобновлению террора.

Растущий, как на дрожжах, аппарат тайной полиции поглощал все новые отрасли – военные, идеологические и хозяйственные. Тайная полиция переросла сама себя. Эта универсальная организация выполняла и сыскные, и следственные, и псевдосудебные, и карательные функции, служила одновременно инструментом тотального контроля и устрашения и рычагом экономики. Органы безопасности гребли рабочую силу из лагерей советских военнопленных и в бывших оккупированных областях; для той же цели был изобретен указ о «расхищении социалистической собственности» и использован на всю катушку: 25 лет и 5 «по рогам». Поезда с заключенными непрерывно поставляли трудовые контингенты для концлагерей. Ничего другого, чтобы заставить людей работать, режим придумать не мог, принудительный труд в той или иной форме вытекал из его природы, был условием его существования. Тотальная пропаганда превзошла все прежние достижения. Воспевание вождя, истерический культ приняли характер какого-то массового безумия. Еще далеко было до агонии режима, до гниения заживо в семидесятых и восьмидесятых годах, и все же это было началом конца.

Через пятьдесят лет после смерти Иосифа Сталина мы спрашиваем, что осталось от вождя. Осталась память о победе, которую он приписал себе. Остались сочинения, поражающие убогостью мысли и языка. Остались воспоминания о нищете и голоде, о двадцати миллионах расстрелянных, замученных, закопанных на гигантских полях захоронений, погибших на этапах, в концлагерях и ссылках. Осталась толпа почитателей, с морковными знаменами, с нестареющим портретом на палке. Остались сапоги.

11

Забыть, забыть этот кошмар... Кто старое помянет... Вот тайная подоплека всеобщего желания отгородиться от прошлого утешительной мифологией, откреститься от монстра, враждебного человеку, – от истории.

У истории есть фактотум, мальчик на побегушках; для краткости назовем его политикой. На фоне живой, реальной жизни, той жизни, которой живет каждый нормальный человек, политика представляется чем-то мнимым. Но этот фантом обладает неслыханной властью. Эта власть чудовищно раздулась за последние сто или сто пятьдесят лет. Никогда еще политике не удавалось так успешно побеждать живую жизнь.

Никогда прежде зловещие абстракции: История, Нация, Держава и как они там еще называются – не вмешивались так беспардонно в жизнь каждого человека, не норовили сесть с ним за обеденный стол и улечься в его постель. Никогда человеческие ценности не были до такой степени девальвированы, никогда стоимость человеческой жизни не падала так низко. В девятнадцатом столетии говорилось об отчуждении человека-производителя от производства. В двадцатом обозначилось отчуждение человека от истории.

Политики заботятся о человеке. Так они, по крайней мере, говорят. Об этом твердят они на трибунах и в телестудиях. Что из этого получается, хорошо из-

вестно. Под натиском политики ваше существование, ваши заботы, чувства, любовь, семья – все, что по-настоящему ценно и дорого, что составляет реальную жизнь человека, – не стоит ровным счетом ничего. С человеческой точки зрения, частная, интимная жизнь и есть подлинная жизнь. С точки зрения истории и политики, она значит не больше, чем жизнь дерева в тайге. Лагерные электропилы валят деревья одно за другим. Топоры обрубают верхушки и ветви, корилки сдирают кору. Лагерные лошади выволакивают голые стволы с делянок на лесосклады. Зеленый убор сгорает на кострах. Остаются кладбища пней и поля черного праха.

Перед лицом истории вы ничто. Вы абсолютно бессильны. Вы, как муравей в щелях и трещинах лживой, политизированной, притязающей на статус общеобязательного национального достояния, размалеванной, словно труп в палисандровом гробу, навязанной вам истории. Она преследует вас повсюду: помпезными памятниками на улицах, парадированием войск, болтовней домашнего экрана, газетной дребеденью, ангажированной публицистикой и псевдолитературой.

«Что вы хотите сказать? – не понял мистер Дизи.

Он сделал шаг вперед и остановился, челюсть косо отвисла в недоумении. И это мудрая старость? Он ждет, пока я ему скажу.

– История, – произнес Стивен, – это кошмар, от которого я пытаюсь проснуться» («Улисс», гл. 3; пер. В. Хинкиса).

12

Говорят, Джойс, услыхав о том, что началась мировая война, сказал: а как же мой роман?.. Книга, действие которой укладывается в один-единственный день, четверг 16 июня 1904 года, была, как известно, опубликована после войны; книга рассказывает о блужданиях по городу некоего агента по рассылке рекламных объявлений: Леопольд Блум – дублинский еврей, совершенно незначительная личность, но за спиной у него – тень бессмертного скитальца Одиссея. Книга представляет собой реализацию тезиса, приведенного выше: история как кошмарный сон; и хорошо бы, наконец, от него пробудиться.

Легко сказать!

Игнорировать историю? Но семена, сыплющиеся на жернова, не могут «игнорировать» мельницу.

Бежать? Из своего века не убежишь.

В одном английском стихотворении Бродского сказано:

As you're adjusting your tie,
People die.

«Ты поправляешь галстук, а в это время умирают люди».

И вдобавок нам твердят, что мы жили или живем в «великое время». Были ли когда-нибудь невеликие времена?

13

Возможно ли (прежде это удавалось) связать то, что никак не связывается, соединить два времени, историческое и человеческое, найти волшебное уравнение литературы – нечто сравнимое с физическим соотношением неопределенностей Гейзенберга?

Что делать русской литературе – той ее части, которая существует в России, и той, которая вегетирует за рубежом, что делать литературе, которая, в конце концов, ничем другим не занята, ничем другим не интересуется, как только индивидуальной, тайной, внутренней, интимной жизнью человека, – литературе, для которой нет великих и малых и слезинка ребенка дороже счастья человечества, не говоря уже о том, что и счастье-то оказалось мнимым?

Как всякое искусство, литература существует ради самой себя, другими словами – ради человека. Литература абсолютна: человеческая личность – ее абсолют. Человек не как представитель чего-то, будь то профессия, социальный слой, общество или нация – но прежде всего человек сам по себе, «просто так», хоть он и живет – где же ему еще жить? – в своем веке, а иногда и в «своей стране». Хоть и ходит в наручниках, хоть и приковали его к себе общество и государство и сочли его своей собственностью. Фет на вопрос, к какому народу он хотел бы принадлежать, ответил: «Ни к какому».

Если художественная литература несет какую-то весть, то лишь эту: человек свободен. Он свободен не потому, что он этого хочет (чаще всего не хочет). Но так он устроен. Такова природа существа, наделенного индивидуальным сознанием; литература же, по выражению Сьюзен Зонтаг, есть воплощенное сознание. Человек заперт в своей свободе. Человек постольку человек, поскольку он свободен; литература напоминает ему об этой – иллюзорной, как может показаться, – свободе.

Литература есть воплощение его достоинства – в этом ее скрытый пафос. В этом, может быть, и ее последнее оправдание. То, чего не добилась религия, чему не смогла научить гуманистическая философия, взваливает на свои плечи художественная литература.

Твердить посреди сумасшедшего дома истории об абсолютном приоритете человеческой личности? Это звучит риторически. Между тем это то самое, чем наше скромное ремесло занималось со времен Гомера. Писатель живет в своем времени и вопреки ему. Литература не аполитична, она *над*-политична. В старом романе Виктора Гюго, читанном в детстве, командир отряда санкюлотов грозно спрашивает женщину, которая бежит куда-то, подхватив детей, спасается: ты с кем, гражданка? С Революцией или со старым режимом? Я с моими детьми, отвечает она. Я с тобой, говорит писатель. Литература есть последнее убежище человечности. А великие исторические и патриотические задачи оставим журналистам.

Савелий Дудаков

РУССКИЕ ЕВРЕИ НА ФРОНТАХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ*

Никаких точных данных об участии евреев в Первой мировой войне нет. Конечно, среди генералов были выкресты, но они составляли в лучшем случае несколько десятков человек... Пожалуй, одним из самых выдающихся был генерал-адъютант Николай Иудович Иванов (1851–1919), главнокомандующий Юго-Западным фронтом, родом из семьи кантониста. Интересную версию приводит состоявший при нем во время войны полковник Б. С. Стеллецкий: генерал был сыном ссыльнокаторжного и носил другую фамилию[1]. Одно время, а именно после взятия Львова, генерал-адъютант Иванов слыл народным героем. За командование Юго-Западным фронтом он был награжден орденом св. Владимира I степени с мечами и Александра Невского с бриллиантами.

В своей относительно недавней статье (1994) майор И. В. Образцов привел краткий и неполный список евреев-генералов (выкрестов), служивших в армии до и во время Первой мировой войны: М. В. Грулев (1857–1943); генерал-майор Сергей Владимирович Цейль (1868–1915), окончил Академию Генерального штаба, командовал пехотной дивизией; Александр Александрович Адрианов (1861–?), окончил Александровскую военно-юридическую ака-

*Из книги С. Дудакова «Этюды любви и ненависти» (М., 2003).

Савелий Дудаков – доктор философии, историк, автор четырех книг («Петр Шафиров», «История 1-го мифа», «Парадоксы и причуды филосемитизма и антисемитизма», «Этюды любви и ненависти»). Живет в Израиле.

демию, московский градоначальник (1908–1912). Несколько наивно, по-антисемитски трактует Образцов религиозный вопрос: «Если бы евреи не придерживались Талмуда в дополнение к своей вере, то они могли поступить в офицеры. Талмуд же исключал эту возможность. В Своде военных постановлений (кодекс законов о войске) предписания о порядке принесения присяги новобранцами были дополнены приложением, гласившим, что за еврейским раввином, читающим солдатам-евреям текст присяги, надо внимательно наблюдать, чтобы он не кашлянул или не сплюнул, потому что, согласно Талмуду, такое действие аннулирует присягу. Раз мораль еврея-талмудиста руководствовалась такими и им подобными трюками, то невозможно было ему доверить выполнение обязанностей офицера, требующих весьма высоких моральных качеств»[2]. Талмудистам противопоставлен иудаист-караим Александр Павлович Хануков, окончивший Академию Генерального штаба и в 1916 г. бывший начальником 41-го армейского корпуса, одним словом, сделавший успешную карьеру.

Интересно было бы узнать, велось ли наблюдение за раввинами в армиях других стран, дабы они не сумели аннулировать присяги? Например, во время присяги военного министра Италии, некрещеного еврея, генерала Джузеппе Оттоленги (1838–1904)? Что же касается «высоких моральных качеств» русского офицерства, то интересующихся отсылаю к повестям А. И. Куприна «Поединок» и Е. И. Замятина «На куличках». Крещеных евреев-генералов в русской армии во всех родах войск было намного больше, чем принято считать. Лидер белого движения Антон Иванович Деникин писал: «Совершенно закрыт был доступ к офицерскому званию лицам иудейского вероисповедания. Но в офицерском корпусе состояли офицеры и генералы, принявшие христианство до службы и прошедшие затем военные школы. Из моего и двух смежных выпусков Академии Генерального штаба я знал лично семь офицеров еврейского происхождения, из которых шесть ко времени войны достигли генеральского чина. Проходили они службу нормально, не подвергаясь никаким стеснениям служебным или неприятностям общественного характера»[3].

Последнее утверждение не совсем верно: судя по воспоминаниям генерала Грулева, он был вынужден уйти в отставку из-за антисемитских интриг великого князя Николая Николаевича. Деникин писал воспоминания после Гражданской войны, вероятно, забыв к этому времени и о погромах в белой армии, которые он, по собственному признанию, не мог остановить, и о положении офицеров-евреев (их в его армии было несколько десятков), которым – случалось и такое – сослуживцы стреляли в спину. Этих фактов он отрицать не мог[4].

К списку Образцова можно добавить имя генерала от инфантерии Платона Александровича Гейсмана (1853–1919), командующего 16-м армейским корпусом, с которым в начале войны он отправился на фронт. Известен как крупный военный историк и писатель. Окончил с золотой медалью Кишиневскую гимназию, затем 2-е военное Константиновское училище. В качестве добровольца воевал на стороне Сербии против Турции, участник русско-турецкой войны. Награжден орденами св. Анны IV степени «За храбрость» и

св. Станислава III степени с мечами и бантом. После войны окончил Николаевскую академию по первому разряду и был переведен в Генеральный штаб. В 1882 г. защитил диссертацию. С 1892 г. экстраординарный, а с 1894 г. ординарный профессор. Автор многочисленных военно-исторических трудов. Слушателями Академии именовался «Гершко». Принял советскую власть; в звании приват-доцента служил в Петербургском университете и был сотрудником Государственного архива.

В книге воспоминаний генерала Александра Александровича Самойло (1869–1963) «Две жизни» есть любопытное, хотя и косвенное, упоминание имени Гейсмана. Во время Брест-Литовских переговоров весной 1918 г. между А. А. Самойло и начальником штаба Восточного фронта немецким генералом Максом Гофманом, кстати сказать, хорошо говорившим по-русски, произошел обмен мнениями по поводу возможности «рационального» ведения войн. Самойло сослался на «принцип Гейсмана», согласно которому оправданны лишь целесообразные с точки зрения политики и стратегии и планообразные с точки зрения тактики бои. «"А что, Гейсман был немец?" – не без внутреннего удовольствия спросил меня Гофман, несомненно предполагая, что дельные мысли могут родиться только в немецкой голове»[5]. Вероятно, Самойло тоже не без удовольствия поведал Гофману горькую для немца правду: увы, еврей.

Тот же А. А. Самойло довольно подробно рассказал о подполковнике Абрамовиче (его инициалы он, к сожалению, не указал). Выпускник Киевского университета, Абрамович с отличием окончил Михайловское артиллерийское училище и академию, став выдающимся специалистом в своей области. С ним считались генерал М. И. Драгомиров и военный министр В. А. Сухомлинов. В отличие от Драгомирова, Абрамович был сторонником так называемой щитовой артиллерии, сполна оправдавшей себя на полях сражений Первой мировой.

В Военной энциклопедии Сытина есть данные о генерал-майоре Сергее Семеновиче Абрамовиче-Барановском (1866 – после 1931). Окончил в Москве Кадетский корпус и Павловское военное училище, затем был произведен в офицеры и отправлен в Кронштадтскую крепостную артиллерию; в 1893 г. окончил по первому разряду курс Александровской военно-юридической академии. В 1897 г. защитил диссертацию и был назначен в эту академию профессором. В 1909 г. получил звание генерал-майора. Автор многочисленных трудов по военному судопроизводству. Принял советскую власть, работал в библиотеке Академии наук СССР. В 1928 г. был арестован по так называемому делу академиков и осужден 10 февраля 1931 г. «тройкой» на 10 лет лишения свободы. Реабилитирован посмертно. Год смерти не установлен.

В одном из журналов времен Первой мировой войны я обнаружил следующую заметку: «Недавно отправился на театр военных действий в качестве добровольца 62-летний полковник С. Бернштейн, сын еврейских родителей». Ребенком он был взят в кантонисты и участвовал в Турецкой кампании 1877–1878 гг., отличился в бою и был произведен в офицеры. Бернштейн участвовал также в качестве добровольца в русско-японской войне; вышел в от-

ставку в чине полковника и поселился в Вильно, где организовал «белорусский музыкально-драматический кружок и вообще является одним из пионеров современного белорусского возрождения. По роду оружия Бернштейн – кавалерист»[6]. (Прочитав эту заметку, я возгордился, так как одним из основателей белорусского литературного языка считается Змитрок Бядуля (Самуил Ефимович Плавник, 1886–1941). Другой еврей, Михаил Иосифович Гузиков (1806/9–1837), уроженец Шклова, смастерил новый музыкальный инструмент – ксилофон на основе белорусской цимбалы с деревянными и соломенными пластинками. Он восхищал своей игрой. «Паганини на инструменте из дерева и соломы» – так прозвали его современники.)

Начальником Генерального штаба в первый период войны был перешедший в православие поляк Н. Н. Янушкевич. Дабы восполнить огромные потери офицерского состава, он предложил правительству следующий проект: православных студентов высших учебных заведений посылать в военные училища, а евреев – рядовыми в окопы. По этому поводу известный адвокат О. Грузенберг обратился к очередному военному министру генералу А. А. Поливанову, который признал недопустимость столь унизительного неравенства и категорически заявил: «Военное министерство... не одобрит подобного законопроекта: или новые категории студентов-евреев пройдут, наравне с товарищами своими, христианами, через офицерские курсы, или вовсе не будут призваны. Разве что закон этот издаст Ставка помимо меня»[7].

Главнокомандующий армией генерал А. А. Брусилов занимал в чем-то сходную позицию. Вероятно, не случайно и он, и Поливанов – оба признали новую власть и стали ей служить. Брусилов считал, что большинство евреев были посредственными солдатами (весьма распространенное мнение, что называется «общее место». «Я нежно люблю анекдот про еврея, который, попав на позиции, первым делом спросил: "А где здесь плен?"» – писал Анатолий Мариенгоф[8]). Однако тот же Брусилов в своих воспоминаниях описал два типичных случая вопиющей несправедливости по отношению к солдатам-евреям. Первый – это когда лучшему разведчику дивизии некрещеному еврею не присвоили звания младшего офицера, так как занимать офицерские должности евреям было запрещено. Брусилов расцеловал его перед строем, вручил Георгиевский крест I степени (разведчик был полный Георгиевский кавалер) и в нарушение закона присвоил звание подпрапорщика. Второй случай еще более неприглядный. Прапорщик православного вероисповедания должен был получить за храбрость орден св. Владимира IV степени с мечами и бантом. Когда выяснилось, что он «коренной» еврей, оказалось, что вместо награды его ждет разжалование. Брусилов встал на его защиту и заявил командиру корпуса, что в случае огласки дела вину возьмет на себя. «Из этих двух примеров видно, – писал Брусилов, – что евреям, в сущности, не из-за чего было распинаться за родину, которая для них была мачехой. А потому на них как на солдат я не был в претензии... в боевом отношении требуется строгая справедливость, а тут они играли роль париев»[9]. Эта филиппика, как и ряд ей подобных, в советском издании, разумеется, отсутствует.

А вот весьма драматичное свидетельство А. И. Деникина: «По должности командира полка в течение четырех лет мне приходилось много раз бывать членом Волынского губернского присутствия по переосвидетельствованию призываемых на военную службу. Перед моими глазами проходили сотни изуродованных человеческих тел, главным образом евреев. Это были люди темные, наивные, слишком примитивно симулирующие свою немочь, спасавшую от воинской повинности. Было их жалко и досадно. Так калечили себя люди по всей черте еврейской оседлости. Ряд судебных дел в разных городах нарисовал мрачную картину самоувечья и обнаружил существование широко распространенного института подпольных "докторов", которые практиковали на своих пациентах отрезывание пальцев на ногах, прокалывание барабанной перепонки, острое воспаление века, грыжи, вырывание всех зубов, даже вывихи бедренных костей...»[10]. Бессмысленно оспаривать эти факты. Лучше проанализировать причины, их породившие. Служба представлялась новобранцам хуже любого увечья. Деникин же считал, что не может служба так страшить людей. Вероятно, сословная ограниченность мешала ему видеть то, что творилось в казармах. Народ по поводу службы, точнее, по поводу нежелания служить, слагал частушки. Вот пример такого фольклора:

Деревенски мужики
Право слово дураки:
Пальцы режут, зубы рвут
В службу царскую
Нейдут!

Далее А. И. Деникин упоминает командира 5-й дивизии генерала Перекрестова, «человека не узкого и не формалиста», предок которого был еврей-выкрест.

В 1937 г. в нацистской Германии еще функционировал Союз евреев-фронтовиков. К 25-летию начала войны в его печатном органе «Шильд» были опубликованы данные об активных участниках-евреях в войне, согласно которым во всех странах таковых оказалось полтора миллиона. Что значит «активные участники», сказать трудно, но можно предположить, что имеются в виду только «окопные солдаты», а мобилизовано было больше. По странам «активных еврейских штыков» было:

• Англия	55 000	• США	250 000
• Германия	100 000	• Россия	600 000
• Австрия	200 000		

Ничего не сказано о Франции, хотя цифра потерь приведена. Странно, что цифры потерь Австрии и Венгрии указаны раздельно. Вот список потерь:

• Германия	12 000
• Англия	2500
• США	3000
• Франция	4000

• Венгрия	10 000
• Австрия	30 000
• Россия	80 000

Для полноты картины приведу еще несколько цифр, касающихся германских евреев. Из 100 тыс. мобилизованных более 75% находились на фронте. 12% евреев являлись добровольцами, 35 тыс. награждены, в том числе 17 тыс. – Железным крестом II степени и 900 – Железным крестом I степени. 23 тыс. евреев были повышены в чине, среди них более двух тысяч офицеров. Евреев-офицеров погибло на фронте 322 человека (16%). Из 1857 офицеров санитарной службы – 185. В германской авиации служили 200 евреев, из них 50 погибли[11]. Понятно, что эти цифры Союз евреев-фронтовиков опубликовал, защищаясь от нацистских репрессий. Как известно, лишь незначительному числу семейств фронтовиков удалось спастись. Обычно в роли спасителей выступали нацистские бонзы, лично им чем-то обязанные (например, Геринг).

...Полтора миллиона евреев – участников Первой мировой войны составляли 2% от 65 млн мобилизованных всех воевавших стран. Если учесть, что евреи в этих странах составляли 1% населения, то цифра поражает. Согласно данному источнику, общее число убитых равнялось 170 825 человекам, или 11,3% всех евреев, принимавших участие в войне. Таким образом, евреи составили 2% всех погибших. Другими словами: на 100 погибших пришлось двое наших дедов и прадедов.

По отдельным странам в источнике указан процент участвовавших в войне от общей численности населения. В США евреи составляли 3% населения, в то время как в армии это цифра возросла до 4 или даже 5%, причем добровольцы составляли почти пятую часть призыва – 40 тыс. человек (точнее, 18% еврейского контингента). В некоторых американских дивизиях евреи составляли до 40% состава! (77-я и 26-я дивизии, сформированные в Нью-Йорке). В американской армии был значительное количество евреев-офицеров – около 10 тыс. в кавалерии и авиации. Среди них создатсль полевой артиллерии генерал Милтон Г. Форман, командир Американского легиона генерал Абель. Среди 900 евреев-офицеров морского корпуса следует назвать генерала Иосифа Штрауса, командующего эскадрой минных заградителей в Северном море. В боях под Верденом во главе своих полков погибли храбрейшие из храбрых – лейтенанты М. Розенфельд и М. Зильберберг. Тысячи евреев получили военные награды.

В Великобритании из 420 тыс. евреев было мобилизовано 50 тыс. – в процентном отношении больше, чем представителей других наций, населяющих империю. Около тысячи страниц «Британской книги чести» посвящены евреям, принимавшим участие в войне.

Среди новобранцев был большой процент добровольцев. Самые аристократические еврейские фамилии посылали своих сыновей на фронт: семья Ротшильдов – пятерых, из коих один, майор Эвелин де Ротшильд, погиб в Палестине. Известная всему миру фамилия Сассун послала на фронт десять своих представителей, трое из них удостоились высших наград. Майор сэр Филипп Сассун состоял личным секретарем фельдмаршалов Дж. Френча и Д. Хейга. Несколько представителей аристократических еврейских фамилий сложили на полях сражений свои головы за Великобританию – Монтефиоре, Мон-Монтегью, Самоэль и др. Лесли Хор-Белиш провел четыре года на фронте, впоследствии стал военным министром. И самое главное: большинство евреев британских островов, влившихся в ряды армии, были выходцами из Российской империи!

Из 650 британских солдат, награжденных редким орденом – Крестом королевы Виктории, пять были евреями. Среди командного состава редкой доблестью отличался австралийский еврей генерал Джон Монаш, стяжавший громкую славу на Галлиполийском фронте. Другой еврей-генерал, Х. Д. Зелиман, командовал королевской артиллерией. Созданный В. Жаботинским и И. Трумпельдором в составе британских войск Еврейский легион (почти 10 тыс. бойцов) сыграл огромную роль во время оккупации в 1917 г. британскими войсками Палестины.

Во Франции к началу войны проживало приблизительно 245 тыс. евреев, из них 55 тыс. были мобилизованы, т. е. 20%. Почти 6,5 тыс. погибли на полях сражений, особенно много в составе Иностранного легиона. Согласно официальным данным, около 100 евреев были награждены орденом Почетного легиона и 140 медалями за мужество и отвагу. К концу войны число генералов-евреев возросло с двух (генерал-лейтенант Валлабрен и бригадный генерал Блок) – до девяти, среди них Хейман, Даннери и Ернсфорт. Все трое заслужили многочисленные награды. Напомню, что среди защитников отечества был и майор А. Дрейфус, известный по сфабрикованному против него в 1894 г. обвинению. Общее число евреев-офицеров в чине полковника и выше достигло к концу войны 40 человек. В авиации служили 120 евреев, среди них – барон Дж. Ротшильд, известный драматург Анри Бернштейн, а также Морис Бокановский, впоследствии министр авиации. Два раввина – Борух из Люневиля и рабби Векслер – служили во французской армии в качестве капелланов[12].

Небезынтересно знать, что родной брат убийцы Столыпина Дмитрия Багрова доктор Ю. Багров, дважды контуженный и раненный на войне, но вернувшийся в строй, был удостоен Анненского оружия с надписью «За храбрость» и награжден орденами св. Станислава II и III степени и св. Анны III степени...

Обычно евреев награждали медалями и Георгиевскими крестами IV степени. Причин было много. Об одной я уже писал, ссылаясь на генерала Брусилова. Даже во время Великой Отечественной войны еврейская фамилия порож-

дала заминку. (Отсылаю к эпизоду романа Константина Симонова «Живые и мертвые» с немцем Поволжья, имевшим «еврейскую фамилию Гофман».) Корреспондент «Еврейской трибуны» Л. Яковлев уже после войны писал: «...особенно сказалось усердие цензуры в деле сокрытия положительных военных актов русских евреев не только от Запада, но и от русского общественного мнения... В отношении деяний еврейских воинов цензура налагала запреты на все. Она препятствовала опубликованию имен получивших отличия евреев-героев... воспроизводить их в кинематографах. Она противилась проникновению не только в еврейскую, но и в общую русскую печать всяческих сведений о выдающихся подвигах воинов-евреев. Она закрывала даже еврейские органы за одну попытку предпринять анкеты о евреях на войне. И потому вклад русского еврейства в общее дело борьбы за великие принципы мало известен русскому обществу и совершенно неизвестен всему остальному культурному миру»[13].

Другая причина – следствие прочих: евреи «состояли в нижних чинах», а значит, их награждали солдатскими наградами. Из-за цензуры военного времени описания подвигов короткие и отрывочные, многое осталось «за кадром». Лишь изредка еврейские газеты и журналы печатали подробные рассказы о героях, как правило, о тех, которые после ранения находились в госпиталях, т. е. сведения корреспонденты добывали из первых рук.

Примечания

1. *Шавельский Г.* Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота. Нью-Йорк, 1954. Т. 1. С. 245–246.

2. *Образцов И. В.* Российские офицеры: Офицерство и нация // Воснно-исторический журнал. 1994. № 2. С. 43–49.

3. *Деникин А. И.* Путь русского офицера. Нью-Йорк, 1953. С. 283.

4. См.: Еврейская делегация у ген. Деникина // Рассвет. 1923. № 17. С.17–18; № 18. С.17–18.

5. *Самойло А. А.* Две жизни. Л., 1963. С. 67, 152, 210. См. также: *Дрейер В. Н.* На закате империи. Мадрид, 1965. С. 25.

6. Новый восход. Пг., 1915. № 1. Стлб. 36.

7. *Грузенберг О.* Вчера; Бред войны. Париж, 1938. С. 64.

8. *Мариенгоф А.* Роман без вранья. Л., 1991. С. 39.

9. *Брусилов А. А.* Мои воспоминания. Рига, 1929. С. 152.

10. *Деникин А. И.* Указ. соч. С. 284.

11. Еврейская жизнь. Харбин, 1937. № 47. С. 13.

12. *Гостап Б.* Евреи в мировой войне // Гадегел. Харбин, 1940. № 7. С. 5–7.

13. *Яковлев Л.* Русские евреи и война // Еврейская трибуна. Берлин, 1921. № 66. С. 4.

NOTA BENE
Литературно-публицистический журнал

Главный редактор **Эдуард Кузнецов**
Заместитель редактора **Рафаил Нудельман**
Заведующая редакцией **Елена Вайнштейн**
Корректор **Лена Драгицкая**
Полиграфические услуги **«Клик» (Иерусалим)**

Адрес редакции:
POB 45156, Har-Hotsvim, Jerusalem 91450, Israel
Тел. 02-5325931. Факс 02-5324863
Электронный адрес: omegag@bezeqint.net

NOTA BENE
Literary-Publicistic Magazine

Editor-in-Chief **Eduard Kuznetsov**
Deputy-editor **Rafael Nudelman**
Manager **Lena Wainstein**
Printing-house **«Click» (Jerusalem)**

The Magazine's Address:
POB 45156, Har-Hotsvim, Jerusalem 91450, Israel
Tel: 02-5325931. Fax: 02-5324863
E-mail: omegag@bezeqint.net

NOTA BENE
כתב-עת ספרותי פובליציסטי

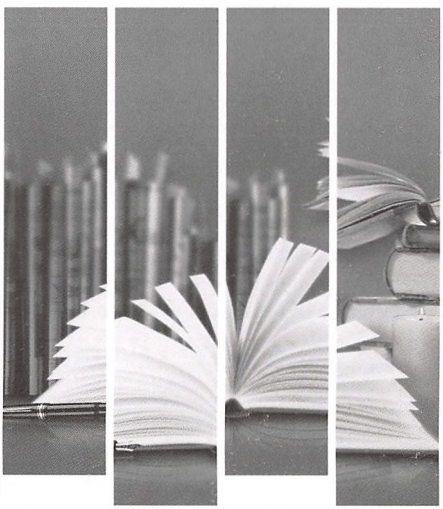
אדוארד קוזניצוב עורך ראשי
רפאל נודלמן סגן העורך
לנה ויינשטיין מנהלת אדמיניסטרטיבית
הדפסה סטודיו "קליק" ירושלים

כתובת:
ת. ד. 45156, הר-חוצבים, ירושלים 91450, ישראל
טל: 02-5325931
פקס: 02-5324863
E-mail: omegag@bezeqint.net

Nota Bene (NB) © Э. Кузнецов

Nota Bene

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



Использование материалов журнала без ведома и согласия редакции не разрешается.

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Мнение авторов публикаций не обязательно совпадает с мнением редакции. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

6 номеров, включая доставку

Журнал выходит раз в два месяца

СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ*

В Израиле (почтой)	₪ 210
В России (авиапочтой)	$65
В Европе (авиапочтой)	€ 55
В США (авиапочтой)	$70

** Цена включает доставку и НДС*

Телефон для справок: **02-5325931**

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

В Израиле:	
в магазине	₪ 40
в редакции (вкл. доставку почтой)	₪ 35
В России (авиапочтой)	$11
В Европе	€ 9
В США	$12

Желающие оформить подписку могут выслать чек, выписанный на имя компании «Journal Omega», по адресу редакции

Журнал
можно приобрести
в книжных магазинах:

■ **Афула:** ● «Арбат», ул. Арлозоров, 13 ■ **Ашдод:** ● «Спутник», Мерказ Сити, ул. Ха-Клита, 3/6; Мерказ «йуд», ул. Ха-Невиим, 7 ● «Исрадон», Мерказ «бет» ■ **Бат-Ям:** ● Книжный мир, ул. Бальфур, 49 ● «Исрадон», ул. Бальфур, 39 ■ **Беэр-Шева:** ● «Радость», ул. Гистадрут, 37 ● «Спутник», ул. Яир, 33; ул. Гистадрут, 55/4 ■ **Герцлия:** ● «Спутник», ул. Соколов, 58 ■ **Герцлия-Питуах:** ● «Меркурий», Каньон Мерказим 2001 (напротив «Моторолы») ■ **Иерусалим:** ● «Золотая карета», ул. Яффо, 129; ул. Агрипас, 3 ● «Гешарим», ул. Агрипас, 10 ● «Аквариум», ул. Бен-Йегуда, 34 ● «Меркурий», ул. Кинг Джордж, 20 (или ул. Элиаш, 6) ● «Престиж», Тахана мерказит, 3-й этаж ● «Спутник», ул. Яффо, 91 ● «Букинист», ул. Яффо, 234 ■ **Кармиэль:** ● «Альтернатива», ул. Ха-Галиль, 2 ■ **Кфар-Саба:** ● «Арлекин», ул. Вейцман, 72 ● «Спутник», ул. Вейцман, 148 ■ **Нагария:** ● «Альтернатива», ул. Геатон, 2 ■ **Нацрат-Илит**: ● «Арбат», Мерказ Раско ● «Альтернатива», Мерказ Раско ■ **Петах-Тиква:** ● «Пегас», ул. Хаим Озер, 13 ● «Спутник», ул. Хагана, 14 ■ **Раанана:** ● «Ямб», ул. Элиэзер Яфе, 5 ■ **Реховот:** ● «Рая», ул. Герцль, 175 ● «Спутник», Пассаж Фарлан, ул. Герцль, 161 ● «Исрадон», ул. Ахад-ха-Ам, 9 ■ **Ришон ле-Цион:** ● «Элла», ул. Ротшильд, 82 ■ **Тель-Авив:** ● «Букинист», ул. Алленби, 71 ● «Миллениум», Новая тахана мерказит ● «Дон-Кихот», ул. Алленби, 98 ■ **Хадера:** ● «Арбат», Пассаж, напротив банка «Дисконт» ■ **Хайфа:** ● «Дон-Кихот», ул. Герцль, 59 ● «Роман», ул. Нордау, 31 ● «Находка», ул. Ха-Невиим, 23 ● «Азбука», ул. Хаим, 4 ● «Колизей», ул. Ха-Невиим, 24 ● «Улыбка», ул. Халуц, 55 ● «Адар», ул. Герцль, 48 ● «Альтернатива», ул. Халуц, 42, ● «Спутник», ул. Ханита, 40 ● «Исрадон», Кирьят-Элиэзер, Кикар Меерхоф ■ **Холон:** ● «Спутник», Кикар Вейцман, 13 ● «Исрадон», ул. Соколов, 65

■ **Книжный интернет-магазин:**
www.neshima.com